СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Доклады в обществе

Критика и библиография

ОБЗОРЫ

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

РЕЦЕНЗИИ

Хроника

М. Н. Покровский

Н. Г. Чернышевский как историк

«Какою отраслью знания может интересоваться публика, которую не интересует история? Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук, и все-таки быть образованным человеком; но не любить истории может только человек, совершенно не развитый умственно» [1].

Эти слова взяты из одной ранней статьи Чернышевского,—но это отнюдь не юношеское увлечение. Как мы увидим дальше, основные взгляды Чернышевского начали складываться гораздо раньше 1854 года, к которому относится цитированная только-что статья о сборнике «Пропилеи». Можно сказать, что на протяжении всей своей дальнейшей литературной деятельности Чернышевский оставался верен этому пониманию истории, и что редко к кому, больше чем к Чернышевскому, приложимы слова Ленина, что публицист есть историк современности. Публицистика и история у Чернышевского постоянно переливаются одна в другую, говоря о прошлом, он постоянно имеет в виду настоящее, а настоящее постоянно стремится об'яснить исторически, идя от прошлого. Он чрезвычайно охотно берется за исторические темы, с явной любовью—характерный признак именно историка по склонности—относится к конкретным историческим фактам, и, когда у него нашелся «досуг», в Алексеевском равелине, он принимается за писание своей собственной истории, за свою «Автобиографию», которая является в то же время таким великолепным образчиком местной истории, истории Нижнего Поволжья первой половины XIX века, что из «Автобиографии» Чернышевского многому могут научиться наши краеведы.

Но Чернышевский не только любил конкретное прошлое, как любит его всякий историк, он—нередко, хотя и не всегда—и понимал это прошлое, как нужно его понимать настоящему историку, т.-е. историку-материалисту. Некоторые его замечания прямо поразительны для его времени. Догмат о «глубоком историческом своеобразии» каждого отдельного народа, каждой отдельной страны, в дни Чернышевского был почти непоколебим. Считалось само собою разумеющимся, что история России должна быть чем-то непохожим на историю других стран. Об этом говорили не только славянофилы, для которых это несходство было исходной точкой всего их понимания исторического процесса, но от этого недалеки были и западники, готовые согла-

---

[1] Чернышевский. Том. I, стр. 367, из статьи «Пропилеи».

ситься, что материал, из которого строится история, одинаков в России и в Западной Европе. Материал одинаков, но постройка все-таки совершенно другого стиля. На Западе общество создало государство, в России государство создало общество со всеми его классами. Запад шел путем революции снизу, Россия шла путем мудрых реформ сверху. Словом, никак нельзя мерять Россию европейским аршином. И в новейшее время материалистической историографии пришлось проделать очень большую работу по разрушению этого основного предрассудка историографии идеалистической, будто у нас все не так, как у других.

Чернышевский уже в 1860 году прекрасно понимал, что под этими «своеобразиями» скрывается основное тождество исторического процесса в самых различных странах. Он нарочно берет две страны, гораздо далее отстоящие друг от друга, чем Россия и Западная Европа, и рисует такую картину: «В Англии мы видим Лондон и Манчестер, доки, наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь якутов нет, повидимому, ничего, соответствующего этим явлениям. Но загляните в основательное описание жизни якутов, и оно уже самым оглавлением своим наведет нас на мысль, что поверхностное заключение наше было ошибочно; оглавление книги о якутах точно таково же, как оглавление книги об англичанах: почва и климат; способы добывания пищи; жилища; одежда; пути сообщения; торговля и т. д. Как? спрашиваете вы себя:—неужели у якутов есть и пути сообщения и торговля? Да, разумеется есть, как и у англичан; разница только та, что у англичан эти явления общественной жизни сильно развиты, а у якутов они развиты слабо. У англичан есть Лондон,—но и у якутов есть явления, возникающие из того же самого принципа, которым создан Лондон: на зиму якуты, бросая кочевую жизнь, поселяются в землянках; эти землянки вырыты по составу одна от другой; так что составляют какую-то группу, — вот вам и зародыш города; в самой Англии дело началось с того же: зародыш Лондона была такая же группа таких же землянок. У англичан есть Манчестер с гигантскими машинами, которые называются бумаго-прядильною фабрикою; но, ведь, и якуты не довольствуются звериными шкурами в их натуральном виде, они сшивают их, они делают из шерсти войлок; от валяния войлока уже не далеко до тканья; от иголки не далеко до веретена, а Манчестер составляется просто накоплением десятков миллионов веретен с удобною для них обстановкою; в работе якутского семейства над изготовлением одежды лежит уже зародыш Манчестера, как в якутской землянке—зародыш Лондона. Дело иного рода, насколько где развилось известное явление: но явления всех разрядов в разных степенях развития существуют у каждого народа. Зародыш один и тот же; он развивается повсюду по одним и тем же законам, только обстановка у него в разных местах различна, оттого различно и развитие: берлинский кислый виноград тот же самый виноград, какой растет в Шампани и в Венгрии; только климат разный, потому с практической точки зрения можно говорить, что берлинский виноград, который ни на что не годится, вещь совершенно иного рода, чем виноград Токая или Эперне, из которого делают дивные вина; так, разница огромная, явная для всякого,

но согласитесь, что ученые люди поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском винограде таких элементов, которых не нашлось бы в берлинском винограде» [1].

В другом месте той же статьи Чернышевский выразил ту же мысль еще яснее и короче, и притом в применении именно к русской истории. «Русская история понятна только в связи со всеобщею, об'ясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории». Между историями двух различных народов разница только количественная, а не качественная. «Быть может, раса народа имела некоторое влияние на то, что известный народ находится ныне в таком, а не в ином состоянии; абсолютно нельзя отвергать этого, исторический анализ еще не достиг математической безусловной точности; после него, как и после нынешнего химического анализа, еще остается небольшой, очень небольшой residuum, остаток, для которого нужны более тонкие способы исследования, еще недоступные нынешнему состоянию науки; но этот остаток очень мал» [2].

Но современная Чернышевскому историография была не только националистической,—она была еще и индивидуалистической. При чем индивидуализм и национализм в некоторых исторических школах сливались,—как это было, например, со школой Ранке. Чернышевский и в этом отношении стоял на позициях, гораздо более к нам близких. В пресловутом «вопросе о роли личности в истории» он шел, пожалуй, дальше самых ярых отрицателей этой «роли» 1890 годов. «Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода», пишет он, «ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от исторического нашего положения; и если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другою фамилиею, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг.

Итак, оставим в стороне личность Белинского: он был только слугою исторической потребности, и с нашей отвлеченной точки зрения нас интересует только развитие содержания русской критики, во всем существенно важном с необходимостью определившееся обстоятельствами, созданными историею. И если мы будем иногда упоминать имя Белинского, говоря о той или другой идее, то вовсе не потому, чтобы собственно от его личности зависело выражение этой идеи: напротив, в том, что есть существенного в его критике, лично ему, как отдельному человеку, принадлежат только те или

[1] Том VI, стр. 221—222, «Антропологический принцип в философии». Курсив везде, где это особо не оговорено, мой.—*М. П.*

[2] Том VII, стр. 21, Из примечаний к «Политической экономии» Милля.

другие слова, употребление того или другого оборота речи, но вовсе не самая мысль: мысль всецело принадлежит его времени; от его личности зависело только-то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль»[1].

Но и признание основного единообразия исторических процессов различных стран, и отрицание творческой роли личности в истории,—все это вещи еще весьма элементарные, давным давно нашим поколением усвоенные и переваренные. Как от всего переваренного, от них остался также и некоторый «резидуум», который пришлось отбросить; и мы теперь знаем, что и исторические своеобразия в истории отдельных стран глубже, нежели кажется с первого взгляда, и личность в истории играет большую роль, чем сначала казалось. Для того, чтобы попасть в цель, всегда необходимо сначала дать перелет. Но Чернышевский поднимался до понимания вещей, не всегда ясных даже людям нашего поколения. Едва ли можно утверждать, что уже теперь является общераспространенным мнение, что не только публицистика и общественные науки в тесном смысле этого слова являются отражением классовой борьбы, но что и в самых отвлеченных из отвлеченных теорий достаточно глубокий анализ откроет ту же классовую борьбу. А Чернышевский в том же «Антропологическом принципе в философии» уже в 1860 году писал: «Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политическою стороною жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббз был абсолютист, Локк был виг, Мильтон—республиканец, Монтескье—либерал в английском вкусе, Руссо—революционный демократ, Бентам—просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг—представитель партии, запуганной революциею, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель—умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы, в надежде не допустить до развития революционный дух, служащих ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди,—это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий,

[1] Том II, стр. 165, «Очерки гоголевского периода».

к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всегда того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений— это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки» [1].

Итак, лишь очень наивные люди могут думать, что даже отвлеченные теории не зависят от политики,—т.-е. от классовой борьбы. Так представлял себе дело Чернышевский в 1860 году. Если мы вспомним, что слишком полстолетия спустя, в 1918 году, органы советской власти издавали буржуазных историков, в то время как марксистских историков в это же самое время издавали частные издатели, — мы поймем, насколько Чернышевский опередил свое время. Ибо, если даже отвлеченнейший философ есть не что иное, как одно из орудий политической борьбы, то что же сказать об историке, который к политике неизмеримо ближе? И тем не менее, наши государственные издатели 1918 года были, видимо, твердо убеждены, что история—все равно история, кто бы ее ни писал, это об'ективная наука, а если на ней «до известной степени отражается» классовое положение ее автора, то таких солидных авторов, как Ключевский, это нисколько не портит.

Я боюсь, что у читателя уже готово представление, очень «модное» в наши юбилейные дни: Чернышевский—«самородный марксист», «наш национальный Маркс» и т. д. Представление это, вытекшее из похвального, но недостаточно как будто продуманного желания возвеличить юбиляра, несомненно дает нам исторически (а мы помним, как Чернышевский любил и уважал историю!) совершенно неправильный образ. И нет никакого труда привести из произведений того же автора отрывки, вполне уполномочивающие к заключению, какое в свое время сделал Плеханов: что Чернышевский в истории был и д е а л и с т о м.

Возьмем, например, его знаменитую полемическую статью против Герцена «о причинах падения Рима». В этой статье Чернышевский, исторически совершенно правильно, ополчается против той точки зрения, что в истории «всегда побитый виноват», и что падение Римской империи было исключительно результатом ее внутреннего разложения. С большой исторической меткостью он подчеркивает, что нельзя судьбу культур и народов об'яснять исключительно условиями их внутреннего развития, когда этих культур и народов на сцене несколько, и они между собою борются. Нет никакого сомнения, что Римская империя в эпоху наиболее интенсивного нажима на нее германских племен переживала тяжелый внутренний кризис, и что этот кризис очень облегчил победу германцев. Но без германцев кризис мог получить и иную развязку,—а с точки зрения внутреннего развития Римской империи германцы были, конечно, случайностью. В особенности же возмущает Чернышевского утверждение, что этот разгром большого культурного об'единения народами, стоявшими на гораздо более низкой ступени развития, был сам по себе чем-то хорошим и благодетельным для человечества,—

[1] Том VI, стр. 180.

был проявлением какого-то «прогресса». И вот, по этому поводу Чернышевский неожиданно пускается в рассуждения, совершенно опрокидывающие то представление о Чернышевском как историке, какое могло сложиться у читателя на основании предшествующих цитат.

«Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар. Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложение лучшего знания к разным сторонам практической жизни производит прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучиваются читать, получают привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных,—тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было,—значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса—наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания»[1].

Движением культуры вперед мы, оказывается, обязаны исключительно накоплению и развитию знаний. От Маркса мы оказываемся неожиданно отброшенными на позиции Бокля и Щапова (последний, к слову сказать, в этом пункте был несомненно учеником Чернышевского). Возьмемте теперь другой отрывок. Читателю, конечно, хорошо известно, какую роль в буржуазной русской историографии играла теория, изображавшая русский общественный строй со всеми его особенностями как результат влияния государства. Эта теория очень живуча. Ее отзвуки можно встретить еще в советской литературе (об'яснение деления русского общества на классы, как результата воздействия «политических факторов», у Огановского). И вот, представьте себе, что и эта теория, резко буржуазная, резко анти-марксистская и анти-ленинская, могла бы найти себе точки опоры в некоторых писаниях Чернышевского. Возьмите статью «Суеверие и правила логики» и вы прочтете там: «Мы нашли коренную причину не только явления, об'яснением которого специально занимаемся в этой статье, но и всех тех факторов, которые представлялись нам ближайшими причинами его. Не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность в развитии нашего населения вообще, нашего городского населения в частности, неудовлетворительное состояние наших путей сообщения, торговли, промышленности, недостаток оборотного капитала в земледелии,—все это, и не только это, но также и крепостное право, и упадок народной энергии, и умственная наша

[1] Том VIII, стр. 158, «О причинах падения Рима».

неразвитость — все эти факты, подобно всем другим плохим фактам нашего быта, коренную, сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти. Даже другая сильнейшая причина нашей бедности — крепостное право произошло некогда от дурного управления и поддерживалось им. О происхождении крепостного права мы заметим только, что это учреждение развилось от бессилия нашей старинной администрации сохранить прежние свободные отношения поселян, живших в известной даче, к владельцу дачи, и удержать постепенное расширение произвольной власти, захватываемой владельцем над населявшими его землю людьми; заметим еще, что возможность учредить крепостное состояние происходила только оттого, что вольные люди, слишком плохо защищаемые управлением, терпели слишком много притеснений, так что переставали дорожить своею свободою и не видели слишком большой потери для себя от записки в принадлежность сильному человеку. Излагать подробнее этот предмет, относящийся к старине, было бы неуместно в статье, говорящей о нынешнем положении дел. Мы хотели сказать, что если крепостное право держалось до сих пор, то оно было обязано такою продолжительностью своего существования только дурному управлению. Действительно, каковы бы ни были законы, определявшие права помещиков над крепостными людьми, но если б даже эти законы соблюдались, то, во-первых, все помещики давно бы перестали находить выгоду в крепостном праве, во-вторых, почти во всех поместьях крепостное право было бы прекращено частными судебными решениями по процессам о злоупотреблении власти».

Читатель понял, без сомнения, что статья, напечатанная в подцензурном издании, из'яснялась «эзоповским» языком, и что под «состоянием нашей администрации и судебной власти» следует разуметь не кого другого, как самодержавие. Но методологически дело от этого нисколько не улучшается. Что социальный строй дореформенной России был создан государством, что деятельность самодержавного государства была «коренной причиной», «сильнейшей причиной», определившей все экономическое и социальное развитие России, это все становится лишь ярче, если мы переведем нашу цитату с «эзоповского» языка на обыкновенный. «Политические факторы» Огановского могут похвастаться, как мы видим, весьма блестящей генеалогией. Но и это еще не предел. В одной из крупнейших историко-литературных статей Чернышевского «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» мы прочтем такую тираду:

«Немецкая литература застала свой народ ничтожным, презренным от всех и презирающим себя, не имеющим даже никакого сознания о своем существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях, развращенным до нравов времен регентства в других слоях, ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным. Она дала ему сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах. В половине XVIII века немцы, во всех отношениях, были двумя веками по-

зади англичан и французов. В начале XIX века они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII века немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX века немцы явились народом, полным могучих сил,—народом, готовым дать начала обновления для всех других европейских народов, если бы тот или другой из них нуждался в посторонней помощи для своего обновления. Все это совершила литература».

Что история движется вперед прогрессом знаний, прогрессом науки, это еще современный читатель может кое-как освоить. Что творческим движущим началом является государство,—верить этому, опять-таки, еще есть охотники: пример—Огановский. Но что перевороты в жизни народов может совершать литература,—к этому едва ли могли отнестись серьезно даже более или менее исторически образованные современники Чернышевского. В особенности, если вспомнить, что народные массы Германии этой литературы даже и не читали. Едва ли честные немецкие ремесленники времен Лессинга читали что-нибудь, кроме Библии и газет (тогдашних газет!), а крепостные крестьяне были наверняка и вовсе безграмотными. Как и какими путями литература при таких условиях могла произвести переворот в жизни целого народа, едва ли это сумел бы об'яснить даже и сам Чернышевский. Хотя, нужно сказать, некоторая теория по этому поводу, теория, к сожалению, не имеющая совершенно ничего общего с историческим материализмом,—у него была. В статье «Обзор исторического развития сельской общины в России» Чичерина (1856 г.) мы читаем: «известно, что общий ход исторического движения состоит в расширении его круга; начинается оно с передовых классов общества и достигает низших слоев народа, что совершается очень медленно. И в Англии и во Франции народ еще недавно и очень мало вовлечен в историческое движение, тем естественнее полагать, что у нас оно еще и не касалось сельского быта, и факты доказывают, что историческими деятелями у нас доселе были только высшие сословия и отчасти города: о народе история упоминает редко, разве в исключительных случаях, как в 1612 году, да и то для того только, чтобы тотчас же опять забыть о нем».

Тут мы имеем уже не только вообще идеалистическую, но определенно классово-буржуазную постановку. Историю, оказывается, совершают не классы производящие, а классы потребляющие. Естественно, что и движущим началом является не развитие производительных сил, а процессы, происходящие в мозгу потребителей. И что за странный аргумент, что о классах-производителях истории приходится говорить очень мало. Да что же это доказывает, кроме того, что наши исторические источники создавались исключительно командующими классами,—а обрабатывавшие их историки, сами вышедшие из этих классов, еще заботливо отметали то, что интересам этих классов противоречило?

Итак, Чернышевский, как историк, стоит перед нами в образе некоего двуликого Януса. С одной стороны, как-будто совсем марксист, с другой стороны как-будто совсем буржуа. Тем, кто полагает, что в дни юбилея нужно только или хвалить или ругать (примером последнего может служить отно-

шение некоторых товарищей к юбилею Толстого), по отношению к Чернышевскому попадают в положение одного персонажа из одного—черносотенного—романа, который (персонаж, разумеется, а не роман), подвергаясь равносильному давлению и своих аристократических друзей справа, и своих демократических друзей слева, на известной лекции Костомарова, в дни петербургской студенческой забастовки 1861 года, руками хлопал, а губами свистел. Мы полагаем, что наша обязанность по отношению к нашим великим мертвецам не хлопать и не свистеть, а постараться понять их,— и этим самым выделить то, что в них есть подлинно бессмертного, т.-е. такого, что вошло, как неразрывное звено, в общую цепь исторического развития, и определило, таким образом, в той или другой степени, мировоззрение нас самих.

Нужно, прежде всего, понять, как складывалось мировоззрение самого Чернышевского. Для этого у нас есть теперь богатейший материал в только что опубликованных юношеских его дневниках, охватывающих последние годы его студенчества и первые его провинциального учительства до переезда Чернышевского в Петербург, до того, как он из провинциального учителя превратился в столичного литератора. Трудно переоценить значение этих дневников как одного из ценнейших источников не только для биографии Чернышевского, но для истории умственного развития всей его эпохи, всего того поколения, к которому принадлежал Чернышевский.

Эти дневники лишний раз устанавливают, какое глубокое и почти непосредственное влияние на историю русской общественной мысли имела революция 1848 года, обыкновенно в баланс этого развития вовсе не включавшаяся. Мы знали, конечно, какой огромный сдвиг обозначала эта революция в миропонимании Герцена. Но Герцен как раз жил за границей, и могло показаться, что именно поэтому и именно только для него революция 1848 года была таким сдвигом. Теперь мы знаем, какое влияние она имела не только на очевидцев, непосредственно с нею соприкасавшихся, но и на рядовую петербургскую интеллигенцию, которая знала об этой революции только по газетам, пропускавшимся цензурой Николая I.

Тому, кто не читал дневников Чернышевского в подлиннике, трудно себе представить, с какой живостью реагировал на далекие, в тогдашние времена, без железных дорог и телеграфа, особенно далекие, события европейской истории этот зеленый юноша, еще не совсем освободившийся от впечатлений и привычек патриархальной саратовской обстановки. Вот два отрывка.

«Прочитал окончательно о том, что Роберт Блюм, член Франкфуртского Собрания, расстрелян в Вене, и о том, как единогласно во Франкфурте принято требование наказания всех, кто участвовал в этом поступке. Это меня взволновало, и теперь я об этом думаю: как Европа так еще близка к тем временам, когда деспотизм осмеливался нарушать формы явно! Расстрел члена Собрания без его ведома! Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который показал бы всему миру тщету и безумство злодейства—да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право

дело таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех! Господи, помилуй раба твоего, да воцарится он в жизни твоей! Когда шел от Славинского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам».

Но, конечно, больше, чем германская, интересовала Чернышевского французская революция 1848 года. Вот что он писал в сентябре этого года, когда в национальном собрании шли дебаты о выдаче суду Ледрю-Роллена, Луи Блана и Коссидьера за участие в майских-июньских событиях этого года. «Вчера до 3 час. читал об'яснение Ледрю Роллена, Луи Блана и, пропустивши, Коссидьера; в конце заседания Ледрю Роллен сказал превосходно, не хуже, а, может быть, лучше какого-нибудь Верньо, которого, однако, я знаю только по отрывкам у Беккера. Что за высота, на которую он возвел прения! Он не оправдывался, а разил своих противников, он обвинитель, а не обвиняемый, и не совсем-то ловко должно было быть Комиссии, когда он так говорил. Он говорил собственно не о себе, а о них вообще, о Луи Блане и Коссидьере: «нет, вы не должны отдавать их под суд!».—П р е в о с х о д н о, т а к ч т о я н а ч а л, н а к о н е ц, ч и т а т ь в с л у х. После также хорошо стал говорить Луи Блан. В первой части своей речи, когда он говорил об общем направлении дела и оправдывал свое учение, он также велик, может быть, еще выше Ледрю Роллена по красноречию и увлекательности; во второй—когда он об'ясняет свое поведение в мае,—он удивителен, хотя здесь интерес не такой общий. По моему мнению, он совершенно уничтожил, точно так же, как и Ледрю Роллен, все обвинения, на него возводимые, совершенно уничтожил, так что я даже дивился, как у него достало, как и у Ледрю Роллена, средств и силы так оправдаться. Я всегда считал их невинными перед историей и вижу, что они невинны должны быть и перед судом полиции, если только судить будет она беспристрастно. Великие люди!»

Луи Блан и долго после оставался героем для Чернышевского. Год спустя, мечтая о своем личном будущем, он писал в дневнике: «через несколько лет я—журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, н е ч т о в р о д е Л у и Б л а н а... надежды вообще: у н и ч т о ж е н и е п р о л е т а р и а т с т в а и вообще всякой материальной нужды—все будут жить, во всяком случае, как теперь живут люди, получающие в год 15—20.000 руб. дохода... Аминь, аминь».

Луи Блана Чернышевский впоследствии разгадал и оценил гораздо правильнее,—как впоследствии он избавился от обаяния Гизо-историка, восторженными отзывами о котором наполнен дневник. Один раз Гизо даже убедил Чернышевского, что всеобщего избирательного права не нужно... Напомним еще раз, что все это мы читаем в дневнике 20-летнего студента. Повторяю, от мимолетных, хотя и весьма восторженных, симпатий Чернышевский впоследствии вылечился. Но на его исторической концепции неизгладимо легло впечатление от того колоссального п р е д м е т н о г о у р о к а к л а с с о в о й б о р ь б ы, каким для всех мыслящих людей своего времени явился 48-ой год. Мы уже видели, что 21 года от роду Чернышевский ставит «уничтожение пролетариатства» как одну из своих жизненных задач. В его дневнике классовые оценки в связи с отзывами о событиях 1848 года встречаются на каждом шагу. Вот один отрывок. «Эх, господа, вы думаете, дело

в том, чтобы было слово республика, да власть у вас—не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться—мужчины трусами или отчаянными, а женщины—продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода—и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором $^9/_{10}$—орда, рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого».

Было бы удивительно, если бы на такого вдумчивого и страстного в то же время юношу, каким был тогда Чернышевский, события «безумного года» не произвели именно такого впечатления, ибо эти события учили классовому пониманию истории не только крупных современников, безразлично какого лагеря, реакционера Токвиля и революционеров Герцена и Бакунина,—но не понять урока не могли даже самые дюжинные люди, вроде шпиона III отделения в Париже Якова Толстого, доносившего своему начальству о происходившем в весьма точных классовых терминах. Уже 9/21 марта 1848 г. он пишет: «Парижские беспорядки нашли отзвук в провинции: повсюду фабриканты и собственники—в открытой борьбе с рабочими и народом»... 12/24 июня 1848 г.: «Это всецело восстание рабочих, полных ненависти и поклявшихся уничтожить Национальную гвардию и богатых»... 15/27 июня 1848 г.: «Пленный, которого упрекали за то, что он поднял оружие на своих братьев, ответил: «Чего вы хотите? Это война неимущего против имущего!». Таков вообще был лозунг мятежников» [1].

---

[1] Центрархив. «Революция 1848 г. во Франции». Донесения Я. Толстого (стр. 42, 87). Так как на заседаниях Общества историков-марксистов, посвященных юбилею Чернышевского, в ходу было противополагать «буржуазного либерала» Герцена «революционному коммунисту» Чернышевскому, не худо привести несколько отрывков из «Писем из Франции». (Письма 9—11).

«Демократическая партия была незрела, у ней не было ничего готового, народ вообще до такой степени привык быть управляем другими, что сейчас удовольствовался правителями, взятыми в рядах парламентской и журнальной оппозиции, не сообразив, что край буржуазного радикализма против Гизо становился ретроградным в отношении к социализму и пролетариату». (Т. VI, стр. 74).

«Временное правительство окрепло, и Ламартин, как вы знаете, подвергая свою жизнь опасности, отстоял трехцветное знамя. Знамя народа, знамя, водруженное под пулями, знамя демократии, республики грядущей, было отринуто; знамя прошедшей республики, перешедшей в империю, знамя Наполеона, обидное для всей Европы, обагренное кровью всех народов, знамя, семнадцать лет осенявшее Людовика-Филиппа, знамя, из-под которого стреляли муниципалы в народ, знамя буржуазии—было принято хоругвией новой республики. Новая республика об'являла себя мещанскою, она не разрывалась с прошедшим, и, следственно, необходимо должна была встретиться с республикой ожидаемой, и встретиться злее, нежели монархия, потому что между монархией и социа-

Чернышевский запомнил урок на всю жизнь. Его мысль, как публициста, постоянно возвращается к французской революции 1848 года и ее подготовке. Все три его большие исторические статьи («Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия» и «Кавеньяк») посвящены, в сущности, истории классовой борьбы во Франции перед 1848 годом и являются лучшими образчиками применения материалистического метода в русской исторической литературе до Плеханова. Кстати, читатель вероятно удивляется, что я не пользуюсь для характеристики Чернышевского-историка именно этими статьями. Об'яснение этому весьма простое.

Чернышевский в этих статьях широко пользуется заграничной литературой, являвшейся нецензурною в тогдашней России. По вполне понятным причинам, он не делает никаких цитат,—переводя, нередко, в иных статьях на каждом шагу, дословно. По отношению к июльской монархии во Франции он прямо пишет, что «вовсе не Гизо» (мемуары Гизо были названы как источник в начале статьи. *М. П.*), «будет нашим руководителем. Читатель, знакомый с литературой французской истории, конечно, назовет наши рассказы почти простым переводом,—мы не имеем другой претензии, кроме той, чтобы эти статьи могли назваться не совсем дурным переводом. Теперь мы считаем излишним распространяться об этом, но со временем удовлетворим и требованию библиографической точности представлением цитат, от приведения которых ныне уклоняемся только для того, чтобы не сделать свое изложение чрезмерно тяжелым» («Июльская монархия». Полн. собр. соч., т. 6-й, стр. 53).

Цитируя текст этих статей,—так же, как и текст великолепных политических обзоров Чернышевского, где им использовались иностранные газеты того времени,—можно попасть в то забавное положение, в какое 30 лет назад попала «Рабочая мысль», тогда уже об'являвшая Чернышевского пред-

---

лизмом именно стояла еще политическая, формальная республика. Как только буржуазия узнала о трехцветном знамени, лавки открылись, у нее отлегло от сердца. За эту уступку и она, с своей стороны, делала не меньшую,—она соглашалась признать республику». (Т. VI, стр. 76).

«Между тем, в Париж наезжали со всех сторон представители. Народ и республиканцы, с негодованием и краснея до ушей, смотрели на эти ограниченные лица, на эти скупые глаза проприетеров, на эти черты, искаженные любовью к барышу и к порядку, на жирные носы и узкие лбы провинциалов-стяжателей, шедших теперь перед лицом мира устраивать судьбы Франции, создавать республику, имея критериумом аршин лавочника и разновес эписье. И вы отдали будущность вашей прекрасной Франции им, вы их допустили, вы позволили им,—несите же горький плод». (Т. VI, стр. 95).

«Обыкновенно думают, что социализм имеет исключительною целью разрешение вопроса о капитале, ренте и заработной плате, т.-е. об уничтожении людоедства в его образованных формах. Это не совсем так. Экономические вопросы чрезвычайно важны, но они составляют одну сторону целого воззрения, стремящегося, наравне с уничтожением злоупотреблений собственности, уничтожить на тех же основаниях и все монархическое, религиозное—в суде, в правительстве, во всем общественном устройстве, и всего более,—в семье, в частной жизни, около очага, в поведении, в нравственности». (Т. VI, стр. 99).

Чем не культурная революция?

течей и чуть не родоначальником научного социализма. «Рабочей мысли» понесчастливилось для характеристики понимания Чернышевским рабочего вопроса взять отрывок из «Июльской монархии»,—почти целиком переведенный из «Истории 10 лет» Луи Блана. Если добавить к тому, что Чернышевский не просто переводил свои «нелегальные» для того времени источники, а и поправлял их, сокращал или расширял там, где оригинальный текст казался ему недостаточно понятным для русского читателя,—то мы поймем, перед какой гигантской историко-литературной работой, даже еще и не начатой, мы стоим. Несомненно, что, когда дойдет речь до «академического» издания сочинений Чернышевского, все его заимствования будут текстуально вскрыты, и отмечено будет также и то, в чем он добавил или исправил свои источники. Пока эта работа не произведена, как ни соблазнительно ссылаться на статьи Чернышевского из истории Франции, делать это было бы крайней неосторожностью,—это могло бы поставить цитирующего в то смешное положение, в каком оказалась «Рабочая мысль».

Вот почему Чернышевского-историка удобнее характеризовать по его попутным историческим замечаниям в его неисторических работах. Как правильно он оценил и запомнил впечатления своей юности, показывают, например, его примечания к Миллю. Вот что он там пишет: «В 1848 году повсюду, где был переворот, бывали в нем более или менее заметны или у всей массы простонародья, или у довольно большой части ее какие-то отчасти неясные тенденции, казавшиеся сходными с коммунизмом, тенденции, клонившиеся к коренному ниспровержению существующего экономического порядка. В то же время обнаружилось, что бывшие защитники коммунизма и социализма в литературе думают воспользоваться этими тенденциями, которые были порицаемы даже и самыми радикальными из демократов, не бывших коммунистами или социалистами. То-есть раскрылось для всех, что между коммунистами или социалистами и всеми другими партиями есть большая разница, гораздо значительнее даже той, какая существует между самыми далекими друг от друга из остальных партий. Приверженец абсолютизма и красный республиканец чувствовали, что у них обоих есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты. А эти люди, оказавшиеся идущими против учреждений, равно драгоценных и для реакционеров и для огромного большинства революционеров, оказались в некоторых местах довольно близкими к получению власти над обществом» [1].

Можно сказать, что в общем, когда Чернышевский говорит о западноевропейской или даже о восточной истории, он ближе всего к точкам зрения марксизма. Правда, это марксизм довольно относительный, поскольку Чернышевскому совершенно чуждо представление, что «пролетариатство» есть совершенно необходимая стадия социального развития, без которой не может быть социалистической революции. Вот что мы читаем в очень известной статье Чернышевского о Studien Гакстгаузена (1857 г.): «Экономическое движение в Западной Европе породило страдания пролетариата. Мы ни мало не сомневаемся в том, что эти страдания будут исцелены, что эта болезнь

[1] Том VII, стр. 629.

«не к смерти, а к здоровью», но переносить настоящие свои страдания для Западной Европы все-таки тяжело, и врачевание этих страданий требует долгого времени и великих усилий. У нас, принимающих ныне участие в экономическом движении Европы, сохранилось противоядие от болезни, соединенной с этим движением на Западе, и мы поступили бы очень нерасчетливо, если бы по нелюбви к патриархальности вздумали отступиться от него в такое время, когда оно оказывается чрезвычайно пригодным для предохранения нас от страданий, видимых нами на Западе».

Итак, пролетариат и его классовая борьба с буржуазией—факт этой борьбы Чернышевский, конечно, признавал, признавал еще в 1848 году, как мы помним—вовсе не являются чем-то необходимым для будущего социалистического переворота. Это—самый дорогой и тяжелый путь к перевороту,—можно найти более легкий и дешевый. Естественно, что такое отношение к пролетариату должно было деформировать до известной степени и изображение истории классовой борьбы на Западе, как ни близок здесь Чернышевский к историческому материализму. Так как приходится слышать сравнения «Кавеньяка» Чернышевского с «Борьбой классов во Франции» К. Маркса, причем будто бы то и другое произведения являются единственными в мировой литературе образчиками материалистического анализа французских событий 1848 года, то не бесполезно сравнить хотя бы характеристику июньских дней у того и другого автора. Еще раз напоминаем читателю о всей условности такого сравнения—источников для этой страницы Чернышевского мы не знаем, и не можем сказать, насколько наш автор от них зависел. Тут важны не слова и не отдельные факты, а общая окраска, общие черты характеристики: свои или не свои, Чернышевский их ввел в свою статью, значит, эта общая характеристика не казалась ему неправильной. Вот она:

«Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших беспокойства во Франции, июньское междоусобие отличается от других парижских междоусобий; в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этою резнею. Массы шли на битву без всяких руководителей: ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего хотели они?—Это до сих пор остается смутно для того, кто не считает достаточным об'яснением их мятежа перспективу голодной смерти, открывшуюся перед ними. То не были ни коммунисты, ни социалисты, ни красные республиканцы,—эти партии не участвовали в битвах июньских дней; чего хотели они?—улучшения своей участи; но какими средствами могло быть улучшено положение рабочего класса, если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам; чего же они хотели, если не были даже коммунистами? Отчаяние—вот единственное об'яснение июньских дней, оно составляет отличительный характер этого восстания. Инсургенты сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь политической формы,—они не имели ни определенного политического образа

мыслей, ни определительных требований от правительства или общества, кроме одного требования: *они хотели иметь работу и кусок хлеба, доставленный работою, и думали, что противники хотят истребить их, чтобы не давать ни хлеба, ни работы, столько раз торжественно обещанной.* Оттого-то и дрались они с таким отчаянным мужеством. Их было тысяч сорок; *далеко не все работники Парижа, далеко не все работники Национальных Мастерских взялись за оружие*; надежды на успех почти не было, *инсургенты шли на погибель, почти несомненную, и потому к ним не присоединился никто из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести, или вероятность иметь работу на фабриках.* Зато отважившиеся на битву почти безнадежно дрались с энергией, какой не было ни в июле 1830, ни в феврале 1848 года. Против них выведены были регулярные войска, гораздо многочисленнейшие, выведена была «подвижная гвардия», garde mobile, составленная из отчаянных юношей парижской бездомной жизни, выдвинута была страшная артиллерия тяжелого калибра,—всего было мало, постоянно прибывали по железных дорогам новые войска и новые отряды национальной гвардии из всех городов Франции, и только на четвертый день это громадное превосходство в силах подавило мятеж,—да и этою медленною победою противники инсургентов были обязаны только новой системе борьбы, которую Кавеньяк применил к делу с редким искусством и еще более редкою непоколебимостью» [1].

А теперь возьмем сжатую характеристику Маркса: «Рабочим не оставалось выбора: они должны были умереть голодною смертью или вступить в бой. 22 июня они ответили грандиозным восстанием, — *первой битвой между двумя классами, раскалывающими современное общество.* Это была борьба за сохранение или уничтожение *буржуазного* строя. Покрывало, скрывавшее республику, разорвалось.—Известно, как рабочие с беспримерным мужеством и гениальностью, без вождей, без общего плана, без средств, по большей части без оружия в продолжение пяти дней боролись против армии, летучей гвардии, парижской национальной гвардии, а также против национальной гвардии, нахлынувшей из провинции. Известно, как буржуазия неслыханным зверством вознаградила себя за испытанный ею смертельный страх и перебила более 3.000 пленных» [2].

Разница в трактовке события бьет в глаза. Для Маркса июньские дни—первый взрыв социалистической революции; страдания парижского пролетариата только *повод* для взрыва. Для Чернышевского эти страдания—*причина* взрыва, которого могло бы и не быть, веди себя буржуазия иначе. Поднялись люди потому, что их обманами и издевательствами довели до отчаяния; и Чернышевский заботливо подчеркивает, что, кого не довели до отчаяния, те и остались спокойно дома: «далеко не все работники Парижа взялись за оружие... не присоединился никто из работников, сохранивших или хлад-

[1] «Сочинения», т. IV, стр. 21—22.

[2] «Сочинения Маркса и Энгельса», т. III, стр. 49. Первая разрядка моя.—*М. П.*

нокровие в своей горести (!) или вероятность иметь работу на фабриках». Нужно очень пристрастно относиться и к Марксу, и к Чернышевскому, чтобы видеть тут какое-нибудь сходство, кроме того, самого общего, какое будет у любых двух историков, изображающих классовую борьбу. И если уж сравнивать всех, писавших об этом сюжете, то ближе к Марксу будет, конечно, Герцен,—отрывки из «Писем» которого о том же самом нами приведены выше. У Герцена неизбежность конфликта проходит яркою чертою через всю характеристику событий от февраля до июня 1848 года. Все остальное дано на фоне этой нарастающей трагедии. Все отдельные характеристики связаны этим единством основной мысли. Возьмите его, саму по себе великолепную, характеристику Бланки:

«Не таков был Бланки. Разрывая связи с правительством, он разрывал их окончательно; он никого и прежде не любил из этих слабых людей; теперь он их ненавидел и подозревал. Бланки, человек сосредоточенный, нервный, угрюмый, изнуренный и больной от страшного тюремного заключения, сохранил невероятную энергию духа; Бланки—революционер нашего века; он понял, что поправлять нечего, он понял, что первая задача теперь—разрушать существующее. Одаренный совершенно оригинальным красноречием, он потрясал массы; каждое слово его было обвинением старого мира. Его меньше любили, нежели Барбеса, но слушались больше. Правительство было испугано этим беспощадным человеком; что бы оно ни делало, злой и иронический взгляд Бланки был у них перед глазами, и они бледнели. Извести его старались все: Ледрю-Роллен и Коссидьер так же, как другие; с Барбесом они надеялись поладить» [1].

А Чернышевский находил для Бланки только эпитет «интригана» («...слабые движения, возбужденные интриганами вроде Бланки...»), чуть ли не помешавшего «предотвратить эти волнения». Пусть «интриган» навязано ему испугавшейся цензуры редакцией «Современника», но не мог же Чернышевский допустить, чтобы под его именем было напечатано нечто, в корне противоречащее его воззрениям. От себя лично Чернышевский, может быть, и не назвал бы великого французского революционера «интриганом»—как он назвал Барбеса и Гюбера в первоначальном, нецензурированном тексте не «фанатиками», как напечатано, а «энтузиастами». Все же, что Бланки и его позиция для Чернышевского—случайность, притом ухудшавшая дело, не подлежит сомнению. Дело могло бы быть улажено, «волнения» могли бы быть «предотвращены», будь другие люди—а главное, будь буржуазия менее слепа и более добросовестна по отношению к рабочим. На неизбежность классового взрыва, как исходного момента социалистической революции, это все же мало похоже—гораздо больше это похоже на схему будущих историков русского революционного движения, об'яснивших террор землевольцев и народовольцев тем, что полиция «ожесточила» революционеров своими преследованиями.

Но если по отношению к западной истории все это лишь досадные «уклоны», портящие в общем правильно взятую материалистическую линию,

[1] Герцен. Собр. сочинений, т. VI, стр. 90.

по отношению к русским событиям, с которыми Чернышевский непосредственно соприкасался и историю которых он писал по горячим следам, дело обстоит гораздо хуже. Классовое чутье тут временами совершенно покидает Чернышевского, и он начинает говорить вещи, ни с каким материализмом ничего общего не имеющие, вещи, целиком оправдывающие характеристику Плехановым Чернышевского, как историка-идеалиста.

Едва ли не самой сильной из статей Чернышевского по поводу крестьянской реформы 1861 года являются «Письма без адреса»—они столь ярко написаны, что царская цензура на минуту растерялась, но в конце концов опубликование их допущено не было. Есть, однако, основания думать, что адресат, т.-е. Александр II, их прочел—и что в трагической судьбе Чернышевского они сыграли не последнюю роль, хотя на процессе и не фигурировали. Таким языком с самодержцем еще никто в России не разговаривал. Не знаю, обращал ли кто-нибудь внимание, что в самом названии статьи скрывается каламбур. Чернышевский рассказывает в «Прологе», что к Волгину (т.-е. к нему, Чернышевскому), обращались с предложением написать адрес царю. Волгин от этого поручения со смехом отказался—адреса он писать не стал, ну, а просто «письмо» Александру II, «без адреса», это другое дело. Политически письма чрезвычайно смелы, со времен Радищева русский печатный станок не видел ничего подобного. Чернышевский угрожает Александру революцией совершенно определенно, всеми словами. Но нас интересует сейчас историческая оценка Чернышевским момента. Вот как он характеризует те общественные силы, которые были на сцене в этот момент:

«В самом деле, каково было положение фактов при начатии крестьянского дела? Существовали четыре главные элемента в этом деле: власть, имевшая дотоле бюрократический характер; просвещенные люди всех сословий, находившие нужным уничтожение крепостного права; помещики, желавшие отсрочить это дело из опасения за свои денежные интересы, и, наконец, крепостные, тяготившиеся этим правом. В стороне от этих четырех элементов находилась вся остальная половина населения—государственные крестьяне, мещане, купцы, духовенство и то большинство беспоместных чиновников, которое не получало больших выгод от бюрократического порядка» [1].

Согласитесь сами, что «просвещенных людей всех сословий» ни под какую классовую характеристику не подведешь. Это вовсе не маскировка для «буржуазии»—Чернышевский как-будто нарочно принимает меры против такого толкования, упоминая далее «купцов» в числе слоев общества, стоявших «в стороне» от активных сил реформы. Это даже не «разночинная интеллигенция», взятая ка́к класс—хотя и такая постановка никаким способом с марксизмом связана быть не могла бы. Это чисто идеалистическая категория «просвещенных людей», какую можно было бы встретить у любого «просветителя» XVIII века.

Это не единственное отступление от материалистического анализа, какое мы встречаем в «Письмах без адреса». По своей установке—это

[1] «Сочинения», т. XI. стр. 299.

сплошь идеалистическое произведение. Возьмите, например, такой отрывок. Сказав Александру почти всеми словами, что наиболее выгодным путем для народной массы был бы путь революции, Чернышевский квалифицирует свое обращение к царю—хотя только с «письмом», а не с «адресом», как «измену». «Да, я изменяю своему убеждению и своему народу. Это низко. Но мы принуждены были делать уже столько низостей, что одна лишняя ничего для нас не значит. А я предчувствую, что она будет совершенно лишнею, что останется недостигнутою та жалкая цель, для которой изменяю я народу. Никто не в силах изменить хода событий: одни хотели бы, но не имеют средств; у других есть средства, но не может быть желания».

Итак, изменить ход событий, т.-е. ход истории— вопреки тому, что мы читали в свое время в «Очерках гоголевского периода» — можно: для этого только нужно, чтобы те люди, которые хотят изменения, имели в руках и силу, могущую изменить. Нет сомнения, что от таких высказываний Чернышевского шли позднейшие рассуждения Ключевского об идее, которая становится силой, когда завладевает властью. Но нет сомнения также, что никакого исторического материализма в подобных высказываниях нет и следа. А они характерны не только для «Писем без адреса», но и для всех статей Чернышевского, посвященных крестьянскому вопросу— для всех статей конца 50-х годов, где ему приходится касаться современной ему русской истории.

В статье «Труден ли выкуп земли?» мы читаем: «Совесть говорит, что дурно поступает тот, кто не старается миролюбиво и ко взаимному удовольствию кончить взаимными уступками дело, которое очень может кончиться миролюбиво и ко взаимному удовольствию, но которое не может кончиться ничем хорошим, если не будет ведено миролюбиво к общему удовольствию, со взаимными уступками».

Еще позже, в статье «Материалы для решения крестьянского вопроса», Чернышевский пишет: «От образа действий самих помещиков будет зависеть, останется ли недоброжелательство к ним у поселян, или оно увеличится, или, напротив, исчезнет, заменившись признательностью и преданностью. Привязанность людей бедных и угнетенных приобретается легко. Будьте только справедливы к ним, хотя даже не совсем справедливы, а лишь несколько справедливы, и они станут обожать вас. Не делайте им напрасных убытков и обременений без всякой выгоды для самих вас, и их любовь станет ограждать вас от всяких неприятностей; вы будете не только спокойны, но и сильны, как никогда еще не были».

Итак, помещики могут повернуть свои отношения к крестьянам, как хотят—все дело зависит от поведения помещиков, точнее от правильного понимания помещиками своих интересов. Это, конечно, чистейшей воды исторический идеализм. Пусть не говорят, нам, что это «демагогия». Во-первых, об'являя Чернышевского демагогом, мы лишаем себя права считать его серьезным революционером—ибо серьезные, большие революционеры никогда не опускаются до средств мелкой демагогии. Больших революционеров всех стран их враги всегда обвиняли в дема-

гогии, с целью этих больших революционеров дискредитировать. А те, кто говорят по этому поводу о демагогии, считают Чернышевского одним из величайших русских революционеров. Но станем на минуту на эту, неприемлемую по существу, точку зрения «демагогии» Чернышевского. К чему, как крестьянский революционер, он должен был стремиться? К ускорению взрыва крестьянской революции, без сомнения. Что для этого нужно было? Раздувать классовую вражду между помещиками и крестьянами. А о чем заботился Чернышевский в приведенных цитатах? О примирении тех и других. Какая же это демагогия, если Чернышевский только действительно был революционер, а не «соглашатель»?

Нет, «демагогия» тут ничего не об'яснит, даже, если мы и унизим Чернышевского до демагогических приемов. Для того, чтобы понять, почему Чернышевский немедленно опускается до исторического идеализма, как только дело касается русских отношений (хотя, мы видели, спорадически это с ним случается и когда он пишет об истории Запада: это надо запомнить), нужно какое-то другое об'яснение.

Некоторые материалы для этого об'яснения мы найдем, прежде всего, если спустимся снова к «годам учения» Чернышевского—к тем годам, когда он идеологически складывался под влиянием уроков революции 1848 года. Эти уроки познакомили его с классовой борьбой на Западе. Но вот как преломлялась эта борьба в русских условиях — возвращаемся опять к знакомому нам «дневнику».

«Вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком слабым и сильным; между тем, у кого есть состояние, и у кого нет; между тем, у кого развит ум и не развит? Нет, и если вы допустили борьбу между ними, конечно, слабый, неимущий, невежда станут рабами. Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимала бы свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемым, а утесняемые— это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себе главою их и защитницей их интересов...». «Так действовал, например, Петр Великий, по моему мнению, но эта власть должна понимать, что она временная, что она средство, а не цель, и благородно и велико будет ее достоинство и значение в истории, если она поймет это и будет стремиться к развитию человечества, хотя это должно повести к ее уничтожению; поняв, что она для человечества, а не человечество для нее, и что, противясь вечному ходу вещей, действительно можно, может быть, затруднить его, но, может быть, нельзя даже и замедлить— беременная женщина не может не родить, но можно облегчить или затруднить ее роды, и то, что должно пасть с развитием человечества, то и падет, только падет, сопровождаемое благословением человечества, если само сознается, что время пасть, и само передаст его воспитаннику или падет с кровью и проклятием, которое заставляет позабывать и о заслугах его, если захочет пережить свое время».

Что тут мы имеем именно скрещивание уроков западной истории и традиций истории русской, не подлежит сомнению. Год спустя, после расправы с петрашевцами, крайнего обострения николаевской реакции, выступления самодержавия в образе всеевропейского жандарма во время венгерской войны, на самодержавие Чернышевский смотрит уже иначе. В дневнике 1850 года он пишет: «С год, должно быть, тому назад или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих об'ятиях до конца развития в нас демократического духа, так что как скоро начнется народное правление, правление de jure и de facto перейдет в руки самого низшего и многочисленнейшего класса — земледельцы + поденщики + рабочие — так чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае, нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном — монарх, а тем более абсолютный монарх, только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащий к ней... Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше, пусть народ неприготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться потому, что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному, даже и в средних классах; низшим, которые ты предоставил на решительное угнетение, на решительное иссосание средних, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что они угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым».

Отнесемся к этой цитате внимательно. Конечно, она свидетельствует о редкой гениальности этого «мальчишки»,—как назвал Чернышевского эпохи «дневника» один из его панегиристов». Тут, при желании, даже зачатки социал-демократической программы можно вычитать: самодержавие «причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах» — ср. самодержавие, как «враг культурного развития всего народа», в проекте Ленина[1]. Но вчитайтесь в ход мысли Чернышевского: пока существует самодержавие, нет классовой борьбы; она начнется только, когда самодержавие будет свергнуто. А смутное время, а разинщина, а пугачевщина, а бесчисленные бунты кре-

---

[1] Т. V, изд. 2-е, стр. 33.

стьян и убийства помещиков во времена уже самого Чернышевского? Это не классовая борьба? Чернышевский забыл обо всем этом нечаянно, но подчиняясь бессознательно традиции русской официальной историографии, которая нарочно все эти факты классовой борьбы затушевывала,— т.-е. замаскировывала тот факт, что это была классовая борьба. Самого факта, например, пугачевщины и Устрялов не мог скрыть—к его популярной книжке, изданной для вящшего восхваления Николая I, даже географическая карта была приложена, с обозначением «мест, где злодействовал Пугачев». Но что это была классовая борьба помещиков с крестьянами, об этом, конечно, ни слова. И «гениальный мальчишка», многое поняв, чего не понимали его современники, этого обмана официальной историографии все же раскрыть оказался не в силах. И для него царская Россия оставалась страной, где «классовая борьба еще не началась».

Но, скажете вы, нельзя же из юношеских произведений Чернышевского прямо выводить оценку им русской истории эпохи освобождения крестьян, сделанную им уже в зрелом возрасте. Конечно, нельзя — прямо этого никто и не выводит; тут был целый ряд посредствующих звеньев. Одно из этих звеньев дает нам едва ли не сам Чернышевский, ретроспективно обозревая историю развития русской общественной мысли в 1850-х годах. В марте 1860 года в «Колоколе» было напечатано письмо за подписью «русский человек». Принадлежность этого письма Чернышевскому не бесспорна, но все же очень вероятна — есть прямые указания. Как бы то ни было, это писал один из русских революционных демократов того времени, человек, во всяком случае, из одного лагеря с Чернышевским (персонально, как на другого возможного автора, указывают на Добролюбова). Жестоко бичуя Герцена за его веру в «социальную монархию» в России, горячо доказывая, что у русского народа нет другого выхода, кроме революции («К топору зовите Русь!»), автор, тем не менее, так изображает ход политического развития русского общества до его окончательного разочарования в Александре II:

«Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула»... «Тогда люди прогресса из так-называемых образованных сословий не разошлись бы с народом, а теперь это возможно и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустился ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, как-будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей. Все заговорили об умеренности, о мирном процессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою» [1].

[1] Лемке. «Политические процессы в России 1860-х гг.», стр. 168—169.

Чернышевский (или кто бы ни был автор) не даром два раза говорит о «всех», очутившихся в угаре «социальной монархии». Бичуя Герцена, автор задним числом бичует и себя. И у него был своего рода «ухаб», только не такой глубокий и широкий, как у его корреспондента. Детские мечты о «власти», стремящейся к «развитию человечества», не дотла были вытравлены Николаем I, как ни успешно действовал он в этом направлении. Достаточно было его сыну показать хотя некоторые черты благоразумия и человечности, как мечты возродились снова.

Нужен был опыт настоящей классовой борьбы в процессе крестьянской реформы, борьбы за землю и личность крестьянина, чтобы снова рассеять этот мираж. Но форма, в которой велась борьба, мешала ему рассеяться до конца и на этот раз. Это вздор, будто самодержавие мешает классовой борьбе: но что оно мешает сознавать классовую борьбу, в этом нет никакого сомнения. В этом отношении самодержавие является почти столь же удачной маскировкой, как и демократия: в первом случае налицо как-будто внеклассовая власть, во-втором как-будто всеклассовая власть, — что власть есть и может быть только классовой ни там, ни тут сразу не видно. Русской историографии именно самодержавие мешало так долго — до Плеханова включительно! — отделаться от внеклассового призрака. И, даже прозрев на минуту, легко забывали мелькнувшее перед глазами видение истины. Казалось бы, еще в 1850 году дойдя до сознания, что абсолютизм есть «верхушка аристократии», нетрудно было перейти к мысли, что самодержавие есть организованный, как государство, помещичий класс. И однако же еще двенадцать лет спустя Чернышевский апеллирует на помещиков — к царю. Конечно, автор «Писем без адреса» уже сам полусмеется над своей апелляцией; конечно, он почти вполне уже понимает, что надежды отсюда ждать нечего— и об'ясняет свой поступок исключительно глупой писательской привычкой. Но все же апеллирует...

Написанная почти за год до «Писем» прокламация «К барским крестьянам»—самое яркое воззвание именно к классовой борьбе крестьян против помещиков, какое мы имеем от этого времени — показывает, что привычка была уже почти механической, что сознательно Чернышевский уже стоял на классовых позициях. К сожалению, цитировать этот замечательный документ так же трудно, как и статьи Чернышевского из истории Франции, и по той же причине—нельзя сказать, что именно в этом тексте принадлежит самому Чернышевскому, а что прибавлено и подправлено его молодыми друзьями, нашедшими текст учителя слишком сухим (а может быть присочинено или переврано даже и провокатором, через руки которого прошел документ,—судьба его была так сложна; во всяком случае подлинника руки Чернышевского мы не имеем). Но основная идея прокламации не оставляет никаких сомнений — это воззвание к новой пугачевщине, только сознательной, а не стихийной, какой была пугачевщина XVIII века [1].

---

[1] Стихийной в целом, как классовая борьба—что, конечно, не исключает и в старой пугачевщине отдельных моментов сознательной агитации. В одном из своих

Революция 1848 года открыла глаза Чернышевскому на факт классовой борьбы и ее огромное значение в европейской истории. Русское самодержавие замаскировывало, насколько это было возможно, русскую классовую борьбу от Чернышевского. Начинавшаяся крестьянская революция начинала снимать с глаз писателя и эту специфическую, «национальную» пелену. Дошел ли бы по этому пути Чернышевский до конца, до чисто-материалистического понимания русского исторического процесса? На это должна ответить не только обстановка исторического момента — это обусловлено было и особенностями того класса, который представлял в революции Чернышевский. Чернышевский был вождем, точнее, готов был стать вождем крестьянской революции. Но мы помним, как изображал Ленин крестьянскую революцию в России даже 1905 года — через полвека после написания прокламации «К барским крестьянам». «В нашей революции меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»...» [1].

И это было в 1905 году, когда в России вырос уже настоящий революционный класс, существовал пролетариат, который — мы знаем это теперь доподлинно, по документам — на самом деле вел крестьянскую революцию. Чем она была в 1861 году, без этого вождя, скажем опять словами Ленина. «Революционное движение в России было тогда слабо до ничтожества, а революционного класса среди угнетенных масс вовсе еще не было»... Крестьянские массы «были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием»... [2].

Крестьянская революция без пролетариата, как руководителя, была осуждена на то, чтобы остаться недоконченной, половинчатой, непоследовательной. Она не могла, даже в умах сильнейших из ее участников и руководителей, сформировать законченную, последовательную идеологию. «Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» [3].

От слабых сторон исторического мировоззрения Чернышевского пошло народничество. Но я не хочу кончить, не приведя еще одного образчика силы исторического суждения Чернышевского, — образчика, показываю-

---

прежних произведений я усвоил Чернышевскому, на основании одного места прокламации, меньшевистскую тактику. То, что выше сказано о тексте «К барским крестьянам» совершенно устраняет всякую возможность таких выводов. Мы не знаем, кому это место принадлежит.

[1] Ленин. Собр. соч., т. XI, ч. I, стр. 116, «Лев Толстой как зеркало русской революции».

[2] Ленин. Т. XI, ч. II, стр. 262, «Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция».

[3] Ленин. Т. X, стр. 306.

щего, насколько он был выше многих из своих идейных потомков. Как долго загромождали народники нашу социологическую литературу рассуждениями о том, что в России развитие капитализма невозможно! А вот что писал Чернышевский на эту тему еще в 1857 году. «Достоверно, что развитие экономического движения, заметным образом начинающееся у нас пробуждением духа торговой и промышленной предприимчивости, построением железных дорог, учреждением компаний пароходства и т. д., необходимо изменит наш экономический быт, до сих пор довольствовавшийся простыми формами и средствами старины. Волею или неволею, мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы. До сих пор семейство наших селян покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушаки, серьги и проч., и проч.,—все остальное производилось домашним хозяйством: и сукно, и ткань для женского платья и для белья, и обувь, и мебель, и самая изба с печью. Скоро будет не то: домашнее сукно сменится на поселянине покупным фабричным (мы не знаем, будет ли он покупать фабричное сукно лучшего сорта, нежели покупает теперь, но в том нет сомнения, что его жена разучится ткать сукно),—льняные и посконные ткани домашнего изделия сменятся хлопчато-бумажными (которые, очень может быть, будут не выше их добротою, но все-таки вытеснят их своею дешевизною) и т. д., и т. д. Все это совершится еще на глазах нашего поколения в селах, как до сих пор совершилось только в больших городах» [1].

---

[1] Чернышевский. Том III, стр. 181, «Заметки о журналах».

В. Кирпотин

Чернышевский и марксизм

Воздать деятелю прошлого должное, оценить его справедливо, т.-е. об'ективно, исторически верно—это задача, которая не всегда удается сразу.

Иногда мы историческое лицо, отделенное от нас изрядным количеством десятилетий, как бы вырываем из современной ему политико-социальной сферы, переносим его в план отношений сегодняшнего дня—и разделываемся с ним как представителем сегодняшнего дня.

И хотя и Плеханов, и Ленин, подчеркивая преемственную историческую связь марксизма с революционным «наследством» 60-х и 70-х годов, в первую голову имели в виду Н. Г. Чернышевского—последний также не избежал вышеописанной операции.

У Чернышевского,—пишет т. Ладоха,—«барская мягкость и раздвоенность. С одной стороны, он ругает интеллигента («Русский человек на rendez vous»), с другой—он отводит интеллигенции почетное место в исторических переменах. В народ он не верит и далек от идеализации крестьянства. Чернышевский предстовляет аристократическую часть интеллигенции, «образованных людей». В связи с этим и его политические воззрения далеки от радикализма» [1].

В этом мнении т. Ладохи очень много недоразумений. В статье «Русский человек на rendez vous» Чернышевский не интеллигента ругает, а либерала из дворян. Это верно, что Чернышевский обращался со своею проповедью в первую голову к образованным людям, к интеллигенции, но в то же время он ставит ставку и на науку, опирающуюся на реальные интересы масс. Чернышевский не идеализирует крестьянства, это верно—но в каком смысле? Он не верит, что отсталость может служить путеводительным фонарем для народов—русского, а тем паче европейских, как полагали это и славянофилы, и Герцен, и позднейшие народники. Но в народ, и в крестьянство в том числе, он крепко верит, и надежды на прочное осуществление своей демократической и социалистической программы он связывает с усвоением ее теми, кто в этом прежде всего заинтересован—народом, простолюдинами, работниками, крестьянами. Барской мягкостью и раздвоенностью в самом деле страдала аристократическая, дворянская часть русской интеллигенции, но к Чернышевскому это вовсе не относится. Он был

---

[1] Русск. истор. лит. в класс. освещении, т. I, стр. 419—420.

От ред. Редакция считает необходимым отметить, что критикуя т. Ладоху, т. Кирпотин по существу критикует Плеханова.

плебей с головы до пят, последовательный демократ и последовательный по тому времени социалист. Вовсе для этого не нужно его сравнивать с Герценом. Достаточно сопоставить его поведение в крепости и перед судом с поведением таких людей, как Бакунин и Писарев, все же вышедших из дворянской среды. Элементы раздвоенности и мягкости у двух последних мы найдем, а у Чернышевского, их не оказалось ни на гран.

Неверно, что Чернышевский, расходясь в этом, как и в некоторых других вопросах с Добролюбовым, является родоначальником суб'ективно-исторических воззрений народничества[1]: Чернышевский и Добролюбов — одно направление в истории русской общественной мысли, и направление это своими сильными сторонами являлось подготовительным не по отношению к народничеству, а по отношению к марксизму.

Здесь-то мы сталкиваемся с ошибкой иного порядка при установлении об'ективно-исторической оценки выдающихся деятелей прошлого. В слова и поступки прошлых деятелей мы вкладываем иногда смысл, соответствующий уровню нашего сегодняшнего понимания, модернизируем их, марксизируем их, если позволено будет так выразиться. И ежели, как показывает наблюдение, в ошибку первого рода впадают обычно исследователи молодые, то ошибкам второго рода подверженными оказываются неожиданно исследователи зрелые. Под пером вдумчивого историка русской литературы Писарев[2] вдруг оказывается по структуре своего мышления, по характеру своего социализма фигурой, знаменующей высшую точку приближения к марксизму в России до Плеханова.

В подобную же ошибку впадает Ю. Стеклов в своих исследованиях о Чернышевском. Он приходит к выводу, что великий шестидесятник самостоятельно дошел до круга идей, в общем и целом совпадающих с марксизмом. В свое время ошибка эта была разобрана Плехановым. Так как т. Стеклов в своих статьях, посвященных Чернышевскому в текущей журнальной литературе, вновь возвращается к ней, то возникает надобность вновь подвергнуть обсуждению вопрос о том, в каком смысле мы имеем право говорить о Чернышевском, как о предшественнике марксизма в России.

Чернышевский знал Гегеля, Чернышевский был диалектиком. Послушаем, как говорит об этом Ю. Стеклов: «Отвергая положительные заключения Гегеля, он признавал его диалектический метод, который особенно пленял его своей разрушительной, революционной стороной. Ибо вместе с Жюлем Элизаром, т.-е. Бакуниным, Чернышевский должен был полагать, что «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Стоя на рубеже старой и новой России, готовясь очищать столбовую дорогу русской истории от накопившегося на ней мусора традиции, Чернышевский не мог не оценить великого значения диалектического метода»... «Принцип диалектического развития Чернышевский далеко не понимает абстрактно»[3].

---

[1] См. там же, стр. 370.

[2] Между прочим 60-летие со дня смерти Писарева приходится на один месяц со столетием со дня рождения Чернышевского.

[3] «Под знаменем марксизма», 1927 г., кн. 5-я, ст. Стеклова «Философск. воззрения Чернышевского», стр. 52.

Полемизируя с Плехановым, показавшим на разборе знаменитой «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», что Чернышевский не был до конца диалектиком, что он сочетал здоровые и жизнеспособные зародыши диалектики с воззрениями абстрактными и рационалистическими, Стеклов пишет: «если правильно понять его статью, то окажется, что он сумел в ней применить диалектический метод весьма удачно» [1].

Создается такое впечатление, будто т. Стеклов считает диалектику Чернышевского чрезвычайно близко совпадающей с диалектикой у Маркса. А между тем это не так. Чернышевский не был совершенным диалектиком. Приписывание его диалектическому методу качеств, вполне совпадающих с качествами диалектического метода Маркса и Энгельса, является прикрашиванием воззрений Чернышевского, в котором они вовсе не нуждаются; нельзя говорить о диалектике Чернышевского, не подчеркивая пунктов несовпадения диалектики Чернышевского с диалектикой у Маркса. Иначе мы вложим в произведения Чернышевского такое содержание, какого в них еще не было, прививая в то же время мимоходом неправильные представления о диалектике вообще. Ибо если мы, без всяких оговорок, начнем указывать, что такие-то и такие-то суждения у Чернышевского являются вполне диалектическими, мы тем самым говорим, что такие-то и такие-то положения являются характерными для современной диалектики. Получается двойная ошибка—неправильная историческая оценка исследуемого мыслителя и искажение самой диалектики.

Возьмем статью «Капитал и труд». В ней Чернышевский, поучая русского экономиста Горлова, а через голову последнего его учителя Бастиа, подчеркивает, как и во многих других своих работах, важность гегелевой диалектики, необходимость знания ее для всякого просвещенного человека, становящегося смешным в своих ученых рассуждениях при незнании, при неумении применить в них диалектический метод. Но тут же сам Чернышевский обнаруживает характерное свойство своего понимания диалектики, сводящегося к сочетанию вполне диалектических положений с абстрактно-рассудочными суждениями: «...в истории общества каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека... [2]. Или в другом месте той же статьи: «Цель практической деятельности постановляется природою человека, то-есть элементом, присутствующим постоянно. Способ действия есть элемент, зависящий об обстоятельств, а обстоятельства имеют характер временный и местный, разнородный и переменчивый» [3].

Процесс исторической жизни рисуется Чернышевским диалектически, как смена фазисов, из которых каждый последующий подготовляется разви-

[1] «Под знаменем марксизма», 1927 г., кн. 5-я, ст. Стеклова «Философск. воззрения Чернышевского», стр. 55.

[2] Чернышевский, т. VI, стр. 37.

[3] Там же, стр. 7.

тием элементов предшествующего. Но развивающееся начало человеческой истории имеет некоторый постоянный неизменяющийся стержень, в виде абстрактной и раз навсегда данной человеческой природы. Второе положение ослабляет значение первого. Оценивая диалектику Чернышевского, мы не имеем права фиксировать свое внимание только на первом положении, абстрагируясь от второго. При учете же обоих положений, мы должны признать, что метод Чернышевского содержал в себе отдельные проявления диалектики, ограничиваемые в своем значении абстрактно-рациональными суждениями.

Логическая структура мышления Чернышевского вовсе не была низкой. Он был мыслителем сильным. Сфера формально-логического мышления была им далеко превзойдена. Он учился у Гегеля и много вынес из этого учения. Отдельные элементы, отдельные законы диалектического мышления Чернышевский умел использовать мастерски. Он понимал, что ко всему исследуемому следует подходить с точки зрения его развития, с точки зрения связи одних явлений с другими. Он в общей форме понимал, что диалектика является не столько формой обсуждения предмета, сколько формой его бытия. Он понимал значение категории качества и умел пользоваться законом перехода количественных изменений в качественные и т. д. Но отдельные элементы диалектического мышления не увязывались у него в целостную систему. Чернышевский не понимал значения понятия противоречия в диалектике, он не понимал, что противоречие ведет вперед, что отразилось, как мы увидим ниже, и на его толковании значения классовой борьбы. Он оценивал противоречие и его разрешение, столкновение различных начал и его результат как в биологии, так и в общественной жизни чисто механически, по аналогии с параллелограмом сил. «Например, милый мой Саша,— писал Чернышевский сыну своему из Сибири о дарвинизме,—существует на первых страницах всякой книжки для первоначального ознакомления ребятишек с физикою теорема с чертежем, изображающим параллелограм сложения сил. Рассмотрели б они (дарвинисты. *В. К.*) эту нехитрую картину (Чернышевский тут же приводит нужный чертеж) и постигли бы многое неведомое им. Дело пойдет о новомодной истине, о «борьбе», из которой, видишь ли, развивается будто бы всякая жизнь и всяческий прогресс... Дело просто: «пособие»—это выгодно; «индифферентность» не мешает; «противодействие»—задерживает. Каким же способом и когда же возможно, чтоб из борьбы с препятствием результат выходил лучше, нежели если бы препятствий не было и не было бы ровно никакой борьбы? Никогда ничего такого нелепого не бывало в действительности, и не могло быть»... «Труд полезен. Да. Ну, вот, например, мужик пашет землю; лошадь порядочная; соха—тоже; почва—тоже. Много труда мужику пахать; и пользы будет много. Но он пашет, а не борется.—Вот иное дело, если лошадь начнет биться да еще сломает соху и убежит; тут шла борьба у мужика с лошадью, выиграл от этого труд? Или мужику польза, что лошадь лягнула его? Или сохе, что она сломалась? Или лошади, что мужик бил ее, чем попало, и когда поймал, снова побьет?—Увы, никто не выиграл от борьбы: ни лошадь, ни соха, ни мужик. А труд?—был прекращен борьбой, и—скоро ли возобновится?—соха сло-

мана; и лошадь—поди, ищи ее, лови. Это называется: трата времени, пустая и вредная трата сил и средств к труду»[1].

Повторяем еще раз. Материализм Чернышевского соединялся со многими отдельными элементами диалектики. Это делало направление Чернышевского головой выше всех других направлений русской общественной мысли, ему современных и господствовавших после него. Лишь марксизм превзошел учение Чернышевского по своей теоретической силе. Но Чернышевский так и не овладел диалектикой, как целостной системой, так и не сделался диалектиком в нашем смысле этого слова.

Положение, взятое из механики и гласящее, что противопоставление сил ведет к уменьшению результата, Чернышевский применял и к оценке значения классовой борьбы в истории. Ю. Стеклов пишет: «Возражая консерватору Б. Чичерину, предостерегавшему русское общество от увлечения борьбою, Чернышевский подчеркивает, что вся история была до сих пор борьбою и что без борьбы не было победы и движения вперед. И боролись при этом общественные классы»... С этой точки зрения, под углом классовой борьбы, на почве противоположности экономических интересов, Чернышевский и анализирует обычно исторические события как в своих статьях на отдельные темы, так и в своих замечательных политических обозрениях. Подобно Марксу, он особенно удачно применил свой материалистический метод к анализу событий 1848 года и вообще французской истории первой половины XIX века[2].

Это верно, что Чернышевский умел различать общественные классы и что он правильно понимал экономические основы классового членения общества. Чернышевский умел сводить политические, экономические и философские течения к интересам определенных общественных групп. Он почти с марксистской правильностью умел об'яснять исторические события борьбой классов—и тем не менее мы должны подчеркнуть, что Чернышевский не понимал значения борьбы классов в истории.

Стеклов снова привнес современную нам точку зрения в систему воззрений Чернышевского.

Попытаемся обосновать это наше положение. В статье «О поземельной собственности» Чернышевский рисует процесс концентрации земельной собственности на основе свободного действования экономич. законов. Процессу концентрации земли противостоят, по мнению Чернышевского, два, как он выражается, «коррективных средства». Одно из средств—порок и болезнь, идущие вслед за роскошью и развратом и неизбежно ведущие к вымиранию и разорению владетельных фамилий. «Другое коррективное средство, как известно, начинает действовать тогда, когда порча общественного организма, вследствие чрезвычайной неравномерности имуществ и ее последствий, указанных выше, достигает размеров, несовместимых с сохранением общественного порядка. Тогда-то частные кризисы, сливаясь в один общий кризис,

---

[1] Чернышевский в Сибири, вып. I, стр. 78—80.

[2] «Красная новь» за 1927 г., кн. VII, ст. Стеклова—Историко-философские взгляды Н. Г. Чернышевского, стр. 190 и 193.

начинают потрясать общественное тело, и этот кризис продолжается до тех пор, пока его потрясениями не будут разбросаны чрезмерно агломерировавшиеся массы»—это другое коррективное средство действует «посредством гнева со стороны обделенных расширением этой агломерации» [1].

Под действием другого коррективного средства Чернышевский понимает классовую борьбу на почве неравномерного распределения земельной собственности, нарастающую вплоть до революционного взрыва со стороны обездоленных масс. Послушаем же, как Чернышевский оценивает самый факт классовой борьбы и революции. «Кризисы эти, на языке некоторых ученых называемые ликвидациями общества, очень тяжелы и для ликвидирующих, и для ликвидируемых, и нельзя не сказать, что драгоценны те учреждения, которые предотвращают надобность в подобных ликвидациях, когда все отдано во власть рокового сосредоточивающего стремления слепых принципов, исчисленных нами выше» [2].

Марксизм оценивает классовую борьбу не как неизбежное зло, а как положительную силу, ведущую к преобразованию общественного целого на новых, более совершенных основах. Чернышевский оценивает классовую борьбу, как нечто такое, что приносит обществу ущерб, что желательно было бы, по возможности, как-либо обойти,—по крайней мере самые острые формы классовой борьбы.

Этот ход мыслей не случаен у Чернышевского. В статье об «Июльской монархии», в которой в самом деле много блестящих мыслей и много формулировок, сходных с формулировками Маркса в его исторических работах, мы находим следующее место: «Этот ход дела приводит нас к заключению, какое вообще выводится почти из всех катастроф. Напрасно было бы думать какой-нибудь партии, что вред, наносимый противникам, непременно должен обратиться ей в пользу. Нет, действительно существуют выше всех вопросов о победе той или другой партии интересы целого общества, и те действия, которые вредят им, приносят в результате вред не одним противникам, но всем без исключения, в том числе даже людям, основывающим свой успех на них... Каковы бы ни были цели известной партии, но каждая должна была бы помнить, что нанесение вреда обществу не может быть полезно даже и для частных ее целей. Конечно, хорошо говорить это людям, спокойно смотрящим издали на историческую борьбу, и почти нет человеку возможности удержаться от опрометчивых действий, когда он охвачен вихрем исторической жизни, влекущей к столкновениям, столь же неизбежным, как и напрасным. Но если уже нельзя удержаться от вредной растраты собственных сил и общественных средств в бесплодных катастрофах, то надобно, по крайней мере, помнить, что есть другой гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, путь ученого исследования; и надобно было бы не бесславить тех немногих людей, которые ра-

---

[1] Чернышевский, т. III, стр. 495.

[2] Там же.

ботают на этом пути за всех нас, увлекающихся пристрастием к внешним событиям и к эффектному драматизму, собственно так называемой, политической истории»[1].

В механике сочетание сил, противоположно направленных, дает меньший результат, чем это получилось бы при сложении сил, а то может и вовсе привести к нулевому результату. То же и в общественной жизни. Борьба классов, катастрофа, революция приносят лишние издержки обществу, а то могут и вовсе оказаться напрасными, не дав ничего, кроме вреда, кроме разрушения.

Такой взгляд на классовую борьбу не является совпадающим с воззрениями марксизма на этот предмет. Это надо уловить—и это надо сказать, когда сравниваешь воззрения Чернышевского с марксизмом. Ю. Стеклов этого не делает— и тем самым интроецирует в учение нашего великого шестидесятника такой взгляд, который стал достоянием русской общественной мысли лишь с восьмидесятых годов.

Нам могут возразить. Как же сочетать вышеизложенный нами взгляд Чернышевского на классовую борьбу с его несомненным участием в революционной работе, с его надеждами на революцию, на революцию не одиночек, не меньшинства образованного, а революцию масс, революцию угнетенных классов, революцию крестьянства в первую голову?

Да очень просто. Тактика Чернышевского перерастала рамки его теории, Чернышевскому, при его теоретическом уровне, тесно было в рамках утопизма. Он подвергался воздействию тех теоретических течений, со стороны которых подвергались воздействию Маркс и Энгельс; и Фейербах, и английские экономисты, и великие утописты и историки времени реставрации были учителями не только основоположников марксизма, но и Чернышевского. Чернышевский относился к своим учителям аналогично Марксу, т.-е. стремился усвоить их положительные результаты, отвергнуть то освещение рассматриваемых вопросов, которое связано было с ограниченностью буржуазной точки зрения, и пойти, поелику возможно, дальше своих учителей в своих теоретических изысканиях. Но то, что удалось Марксу и Энгельсу, то не удалось Чернышевскому, действовавшему в совершенно иной социально-экономической среде, где прежде всего не было пролетариата, как активной исторической силы.

Отсюда известная неслаженность в воззрениях Чернышевского. Но неслаженность эта не имеет ничего общего с эклектизмом. Она свидетельствует не о слабости ума Чернышевского, а о его великой силе. Она свидетельствует о том, что Чернышевский стоял на правильной дороге, что он толкался в ту самую дверь, которую открыл настеж Маркс.

Однако Чернышевский, в общем и целом, так и не вышел за рамки до-марксовского социализма. В то же время его воззрения стояли на такой высоте, были уже настолько в движении к марксизму, что русская общественная мысль на уровне теоретических достижений Чернышевского удержаться не могла. Она должна была или пойти вперед, к марксизму—или

[1] Чернышевский, т. VI, стр. 125.

откатиться назад. Случилось по всей совокупности русских исторических условий последнее. Вплоть до начала марксистского периода деятельности Плеханова русский социалист стоял на уровне ниже теоретических воззрений Чернышевского.

Мы сказали, что тактика Чернышевского перерастала его теорию. Без понимания этого момента мы не уразумеем одной, весьма характерной для Чернышевского, черты его деятельности. Мы имеем в виду его у г о в а р и в а н и е власть имущих, дворян, Александра II разрешить крестьянский вопрос таким образом, чтобы удовлетворить крестьян. У г о в а р и в а н и е Чернышевского не имело ничего общего с уговариванием, скажем, Герцена. У последнего в этом уговаривании решающую роль играла либеральная умеренность его программы, дворянская психология, идеализировавшая царя, первого дворянина государства. Чернышевский понимал, что демократическая монархия есть миф, основных положений своей радикальной программы он не сдавал, в своих уговариваниях он в с е г д а давал понять тем, к кому он обращался, что, мол, если не дадите нужного крестьянству добром, то народ возьмет свое силой. Даже в статье «О новых условиях сельского быта» эпиграфом к которой Чернышевский взял слова псалмопевца, переадресовав их Александру II: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза тя Бог твой»—даже в этой статье, которой впоследствии Чернышевский стыдился, он писал, что вся намечаемая им программа, на проведение в жизнь которой он надеялся, может быть осуществлена только в том случае, если правительственная власть послушается голоса здравого смысла. «Но, кроме здравого смысла,—добавлял он,—бывают в людях страсти. Против них существуют аргументы, еще более точные, и т. д.»[1].

На тогдашнем подневольном языке это и обозначало угрозу народными страстями, народной революцией, в случае неудовлетворительного разрешения крестьянского вопроса.

Почему же Чернышевский, в самом разгаре либеральных восторгов сохранивший в душе плебейскую недоверчивость к правительству, у г о в а р и в а л его? Да потому, что он не столько надеялся на правительство, как Герцен, сколько хотел избежать насильственного развития, пути открытого столкновения классов, несущего с собой, согласно механистическому воззрению Чернышевского, слишком большие разрушения, слишком большие издержки.

Этот недостаток утопического взгляда на классовую борьбу явственно выражен даже в его «Письмах без адреса», в которых по сути дела ставка взята на новую пугачевщину. И пока еще не разыгралась эта пугачевщина, Чернышевский спешит очистить свою совесть, спешит в последний раз предупредить Александра II, хотя он и понимает тщетность своей попытки.

«Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут от этой ожидаемой развязки. Н е в ы о д н и,

---

[1] Чернышевский, т. IV, стр. 85.

а также и мы желали бы избежать ее; ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее, даже тот из наших интересов, который мы любим выставлять, как единственный предмет наших желаний, потому что он совершенно чист и бескорыстен— интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек; он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково; он не пощадит ни нашей науки, ни нашей поэзии, ни наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию.

Потому мы также против ожидаемой попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел. Нас так ослепляет страх за себя и свои интересы, что мы не хотим даже рассуждать, какой ход событий был бы почетнее для самого народа, и мы готовы для отвращения ужасающей нас развязки забыть все,—и нашу любовь к свободе, и нашу любовь к народу.

Под влиянием этого чувства обращаюсь к вам, м. г., с изложением моих мыслей о средствах, которыми можно отвратить развязку, одинаково опасную для вас и для нас.

Делая это, я понимаю, что делаю.

Я изменяю народу» [1].

Теория, старая утопическая теория говорит Чернышевскому, что борьба, противопоставление сил, борьба классов, революционное столкновение классов являются растратой общественных сил. Прогрессивным являлось бы мирное действие по принципу сложения сил. Но так как последний путь не удается, то плебейский инстинкт толкает Чернышевского, наперекор его теории, к революционному призыву, к революционным действиям. Выступив в своей тактической проповеди за рамки утопического взгляда на классовую борьбу, Чернышевский сохранил его еще в своей голове. Тов. Стеклов погрешает против истины, когда он сближает воззрения Чернышевского на классовую борьбу с точкой зрения Маркса, сознательно считающего классовую борьбу великой и прогрессивной движущей силой истории.

Считая доказанным, что взгляд Чернышевского на классовую борьбу совпадал со взглядом Маркса на этот вопрос, Ю. Стеклов переходит к исследованию исторической миссии рабочего класса по воззрениям Чернышевского. И опять т. Стеклов интроецирует нашу современную оценку роли пролетариата в истории в систему воззрений Чернышевского, а потом приходит к выводу, что Чернышевский самостоятельным путем пришел к воззрению, совпадающему с воззрением марксизма в этом пункте.

«Все это хорошо, но сознавал ли Чернышевский значение и историческое призвание рабочего класса? Не оказала ли окружавшая его непосредственно российская обстановка влияния в том смысле, что он невольно для себя стал идеологом мелкой буржуазии, в частности крестьянства? Сумел ли

[1] Чернышевский, т. XI, стр. 295.

он силою критического ума преодолеть влияние этого отсталого окружения и подойти к отвергаемой им капиталистической системе с критерием будущего, под углом зрения пролетариата крупной промышленности?...».

«На взгляд Чернышевского, который он не переставал развивать в своих статьях и особенно в своих политических обзорах, ни одно серьезное историческое действие не может совершиться без участия народных масс. Специально относительно социализма Чернышевский определенно высказывал ту мысль, что социалистическое переустройство общества будет достигнуто только путем самостоятельного исторического действия рабочего класса» (курсив Ю. Стеклова)[1].

Таким образом, т. Стеклов приходит к выводу, что Чернышевский совершенно так же, как и Маркс, понимал значение пролетариата в социалистической революции, одинаково с последним понимал историческую миссию пролетариата. Верно ли это? Попробуем проверить.

Несомненно, что Чернышевский давал совершенно правильное определение понятию «пролетариат», что он умел отличать пролетария от бедняка, от трудящегося вообще. Но этим вопрос еще не исчерпывается. Мало понимать экономическую природу пролетариата, надо понимать еще его особую социально-политическую миссию — только тогда мы имеем право говорить о совпадении взглядов того или иного мыслителя, в данном случае Чернышевского, с воззрениями Маркса на сей предмет. И именно второй половины подчеркнутой нами формулы Чернышевский не понимал. В статье Чернышевского о «Кавеньяке» мы читаем: «С другой стороны, были люди, желавшие, как мы говорили, изменения в материальных отношениях сословий, желавшие законодательных и административных мер для улучшения быта низших классов. Естественно было бы полагать, что вся масса простолюдинов станет на этой стороне. Но знание о новых мерах, предполагавшихся в их пользу, было распространено только между простолюдинами больших городов. Поселянин во Франции ничего не читал, почти не встречал образованных людей, которые рассказали бы ему, в чем дело. Потому реформаторы имели на своей стороне только городских простолюдинов; из сельского населения, погруженного в совершенное незнание, большая половина следовала за своими обычными авторитетами,—землевладельцами и духовенством, и только в немногих, ближайших к большим городам, округах поселяне сочувствовали идеям городских простолюдинов»[2].

В приведенной цитате Чернышевский говорит о социалистах («реформаторы») и о необходимости усвоения их учения трудящимися классами. Но особой роли рабочего класса в движении Чернышевский вовсе не подчеркивает. Для него представляются одинаково важными в деле успеха социализма и простолюдин городов, соответствующий не только рабочему, но и ремесленнику, и простолюдин деревни, т.-е. поселянин, крестьянин.

---

[1] «Красная новь» 1927 г., кн. VII, стр. 194, 195.

[2] Чернышевский, т. IV, стр. 29.

Точно так же и в статье «Капитал и труд», содержащей в себе план социалистического переустройства общества, Чернышевский ничего не говорит об особой роли пролетариата в этом деле, а зато очень много рассуждает о социализме, как о теории трудящихся вообще, в число которых входят и домохозяева из французских и русских деревень.

Число таких примеров можно было бы увеличить до очень большого числа.

Марксизм выделяет пролетариат из всей массы трудящихся и угнетенных, определяет его особую природу и его особую историческую миссию, и лишь после этого определяет условия, при наличии которых пролетариат может возглавить эксплоатируемых и угнетенных других классов в их освободительной борьбе и сочетать борьбу последних со своей социалистической борьбой.

Ю. Стеклов, развивая взгляд, что Чернышевский — не различивший особой исторической роли пролетариата—сходился с Марксом в своей оценке исторической миссии рабочего класса, попутно, ненароком, смазывает это весьма существенное положение марксово-ленинской теории.

Ю. Стеклов, полемизируя с Плехановым, клонит к тому, чтобы доказать, что и в вопросах истории Чернышевский был достаточно совершенным диалектиком и материалистом. «Итак, исторический детерминизм Чернышевского—вне всякого сомнения. Но не только это сближает его с современным научным социализмом. Как мы сейчас увидим, он и в других вопросах довольно близко подошел к материалистическому истолкованию истории. Несмотря на сказывающиеся у него временами идеалистические уклоны при об'яснении исторических событий, в большинстве случаев, когда ему приходилось говорить о движущих силах истории, он указывал их в экономических факторах и в борьбе классов» [1].

А между тем дело вовсе не в идеалистических «уклонах» от марксистской в основном концепции. Чернышевский развивался по направлению к историческому материализму. Его стремления к «историческому детерминизму и об'ективизму» несомненны. Но исторический детерминизм и об'ективизм еще не есть исторический материализм. Чернышевский еще не сумел преодолеть утопических представлений об истории (что вовсе не умаляет ни глубины его ума, ни значения его в русской истории). Это приводило к тому, что Чернышевский, наперекор своим стремлениям, в итоге своих попыток материалистического об'яснения истории все же оказывался идеалистом. Вот пример, непонятый Ю. Стекловым: «Крепостное право... возникает так же естественно, как впоследствии возникает отношение наемного работника к капиталисту» [2]. Положение, свидетельствующее об историческом детерминизме и об'ективизме. Но этот исторический об'ективизм тут же оборачивается таким своим концом, который в итоге оказывается идеализмом чистейшей воды. «Естественность известного явления, к сожалению, вовсе не ручается за его сообразность с здравыми экономическими

[1] «Красная новь», стр. 177.

[2] Чернышевский, т. VI, стр. 4.

понятиями»—продолжает далее Чернышевский—и приводит примеры: «Ведь и протекционная система—явление совершенно естественное в известных обстоятельствах (т.-е. когда масса не имеет здравых экономических понятий, проникнута завистью к иноземцам, думает, что богатство состоит главным образом в деньгах и т. д.)... Война тоже—дело самое естественное, и останется самым естественным делом в истории, пока массы не будут перевоспитаны»[1].

«Естественность» оказывается зависимостью от воззрений масс. Стремление к исторической об'ективности превращается в исторический идеализм. И все это поэтому, что положение, высказанное наиболее красноречиво Чернышевским в статье «О причинах падения Рима»: «Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах знаний»[2] — положение это вовсе не является случайным «уклоном», а одной из коренных черт мировоззрения Чернышевского.

Насколько Ю. Стеклов модернизирует Чернышевского, видно из следующего его тезиса, рисующего следующим образом постановку вопроса у Чернышевского об условиях перехода России—через общину—к социалистическому способу производства. «По существу Чернышевский ставит вопрос так: если дворянство в России будет лишено власти и земля достанется народу без выкупа, что поможет общине удержаться, и если, с другой стороны, община сохранится до того времени, когда в Европе начнется социальная революция, то в таком случае общинное землевладение сможет послужить исходным пунктом для некапиталистического развития, для перехода в высшую социалистическую форму[3]. Взгляд этот по существу сходится со взглядом Маркса, высказанным им в предисловии к русскому изданию «Коммунистического манифеста» 1882 г. и в письме в редакцию «Отечественных Записок»—добавляет Ю. Стеклов.

И опять перед нами плод недоразумения, являющийся результатом своеобразной интроекции взглядов, взятых из системы зрелого марксизма, в систему воззрений Чернышевского.

Между позицией Чернышевского по вопросу о перспективах социалистического преобразования России и формулировкой, рисующей эту его позицию, данной Стекловым—есть формальное сходство. Но нет сходства по существу, ибо воздействие Запада на Россию Чернышевский понимал в виде перенесения взглядов, открытых уже на Западе, в Россию, в виде простого научения России передовым Западом, как надо правильно строить основы своего экономического быта. Роль же общины сводилась по Чернышевскому лишь к тому, что она облегчала понимание и усвоение новых взглядов, от сравнения с общинным устройством терявших свою необычность. Что речь шла именно о такой идеалистической концепции, можно видеть из поясняющего примера, приводимого самим Чернышевским. В Китае суще-

[1] Чернышевский, т. VI, стр. 4.
[2] Чернышевский, т. VIII, стр. 158.
[3] «Под знаменем марксизма», 1928 г., кн. I, статья Стеклова—«Был ли Чернышевский утопистом?», стр. 84.

ствуют архаические висячие мосты, сделанные из веревок. Европейские инженеры между тем пришли к изобретению металлических висячих мостов, построенных согласно последним достижениям техники. Когда для Китая наступит время устройства у себя современных путей сообщения, факт существования у китайцев примитивных висячих мостов окажется способствующим усвоению ими принципа современных висячих мостов. «Ведь мандарины не сделаются же вдруг просвещенными европейцами, истинными реформаторами, какими-нибудь Стефенсонами или Робертами Овенами; долго будет у них в головах сидеть азиатская рутина с отвращением от всего истинно-европейского. Вот им и будут говорить порядочные инженеры: «Что же такое, ведь висячие мосты—чисто национальное наше китайское учреждение; ведь в них нет ничего европейского, развращенного и гибельного для китайских порядков». Да и народ китайский не легко поверил бы удобству и прочности железных висячих мостов, если бы не привык к своим веревочным; ну, теперь каждому будет видно, что железные висячие мосты безопаснее во всех отношениях: и с китайскими порядками сходны, и ходить или ездить по ним вовсе не страшно. Значит, китайцы будут много обязаны своим нынешним веревочным мостам за легкие успехи нового инженерного искусства в их стране.

Вот точно такого же рода история и с нашим обычным землевладением»[1].

Идеалистическая концепция Чернышевского по вопросу о перспективах социалистического переустройства России не совпадает с материалистическими воззрениями Маркса по этому вопросу. Ю. Стеклов идеализирует воззрения Чернышевского и тем самым попутно, нехотя умаляет Маркса.

А между тем Чернышевский вовсе не нуждается в идеализации. Он достаточно велик сам по себе, такой, каким был, чтобы по своим собственным заслугам, по своему собственному значению заслуживать нашего благодарного внимания. И не только юбилейного внимания. Кое-каким существенным деталям и сейчас не грех было бы поучиться нашему времени у шестидесятников, группировавшихся вокруг Чернышевского. Например, их умению вести журналы так, чтобы и направление было выдержанным, и чтобы журнал был остро-интересным. Или, например, типу их литературно-художественной критики, умевшей сочетать задачи чисто эстетического разбора с задачами общественного служения.

Чернышевский в свое время пользовался огромным вниманием. Хотя он и не может быть причислен к числу тех писателей, которые не были поняты своими современниками, он, несомненно, опередил свое время. Чернышевский на почве изучения результатов западной науки и на почве внимательного изучения тех сторон русской жизни, которые могли быть удовлетворительно разрешены только революционным путем, встал на путь, ведущий к марксизму—тогда, когда в России еще не было пролетариата как действующей исторической силы.

---

[1] Чернышевский, т. VIII, стр. 172.

Чернышевский так и не доразвился до марксизма. Но, соединив утопический социализм с внимательным изучением Фейербаха, политической экономии и русских аграрных отношений, он стал приходить к таким выводам, которые уже не вполне умещались в рамках старого утопизма. Это двойственное динамическое состояние его теории требовало какого-то разрешения. Если бы в России существовало уже рабочее движение, хотя бы в самой начальной стадии, если бы кризис шестидесятых годов дошел бы до силы революционного кризиса, Чернышевский, вероятно, дошел бы до теории, совпадающей по своему значению с марксизмом. Соответствующие жизнеспособные элементы в его учении были. Но этих социальных условий не было тогда в России— и Чернышевский, повторяем, марксистом так и не стал.

Даже то, до чего уже доработался Чернышевский, оказалось для русской общественной мысли не по силам. Освобождение крестьян и другие куцые «великие реформы» были проведены таким образом, что слишком медленно развивался первоначально капитализм в России. Массовых классовых сил в открытом борении на авансцене русской истории не оказалось. Тяжесть революционной борьбы на целых два десятилетия пала, главным образом, на плечи революционной интеллигенции. Борьба классов в России сказывалась таким усложненным и невнятным для самих участников способом. Возник спрос на идеалистические и суб'ективные теории общественной борьбы. Спрос этот был удовлетворен Лавровым и Михайловским. Оба они по теоретической глубине своих работ стоят позади Чернышевского. Неспособность удержаться на теоретическом уровне Чернышевского сказывается на его непосредственных учениках. Антонович, очень недурно ведший пропаганду фейербахианства под руководством Чернышевского, после удаления Чернышевского от руководства «Современником», начинает вдруг говорить об «эмпирическом», а не об антропологическом материализме. Рост влияния Писарева уже свидетельствовал о понижении теоретического уровня прогрессивной части русского общества. Но особенно рельефно выступает снижение уровня русской общественной мысли после Чернышевского на Лаврове. В своих работах «Очерки о вопросах практической философии» и «Трех беседах о значении философии», вышедших при Чернышевском — редакторе «Современника» Лавров уже в достаточно развернутом виде преподнес русской публике концепцию «Исторических писем», включая их формулу прогресса. При наличии Чернышевского в Петербурге они были мало замечены и никакой существенной роли не сыграли. После удаления Чернышевского из Петербурга, когда уже обозначилась слабость реальных сил русской революции, в ту пору—в 1869 году,—тот же круг идей делает Лаврова знаменосцем освободительного лагеря.

Однако теоретическая работа Чернышевского вовсе не была проделана втуне. Изучение Чернышевского, помноженное на бакунистскую революционную практику, при первых шагах русского рабочего движения дала возможность передовой группе русской революционной молодежи адэкватно усвоить западно-европейский марксизм.

Г. С. Зайдель

Коммунисты во время революции 1848 года во Франции

I

Классовый смысл победоносной революции февральских дней в Париже был настолько ясен уже в первые дни, что не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы его уловить и понять. Не только такие революционеры, как Маркс или Бакунин, но умеренные либералы типа Токвиля или Гарнье-Пажеса, и даже просто реакционера, в роде лорда Норманби или посла Николая I в Париже, графа Киселева и его сподручного агента III отделения, Якова Толстого, — в своих воспоминаниях недвусмысленно об этом свидетельствуют.

«Этот огромный город—писал Бакунин в «Исповеди»—центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте баррикады, взгроможденные как горы и досягавшие крыш, а на них между каменьями и сложенной мебелью как лезгинцы в ущелиях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с ног до головы; *из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, épicier, с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на месте их мои благородные увриеры торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающимися своей победой*»[1]. Не менее красноречивы воспоминания Токвиля, которого 25 февраля поразил прежде всего «всецело и исключительно народный характер совершившейся революции, все могущество, которое оно вручило *народу в собственном смысле, т.-е. классам, занятым ручным трудом, по отношению ко всем остальным*»[2]. Не будем увеличивать числа цитат, уже приведенные свидетельствуют, что людям совершенно противоположных мировоззрений было ясно, что революция 1848 года победила, как революция

---

[1] М. Бакунин.—«Исповедь». Цитирую по «Материалам для биографии Бакунина», под ред. В. Полонского, стр. 129. Курсив мой—*Г. З.*

[2] Tocqueville. «Souvenirs» Paris 1893, стр. 102, Курсив мой—*Г. З.*

«увриеров», как революция людей «ручного труда», т.-е. рабочая революция [1].

Но кем руководилась эта победоносная революция? Действия народных масс в дни баррикадных боев 22, 23 и 24 февраля поражали современников своей организованностью. Гарнье-Пажес пишет о ночи накануне 24 февраля, что «было бы бесполезно сделать попытку передать чудеса активности этой достопамятной ночи. Поднятые электрической силой, камни мостовой всюду образовывали груды: повсеместно возникали баррикады. Вокруг каждого поста, каждого отряда поднималась каменная ограда. Самые большие деревья на бульварах были срублены. Барьеры были сожжены и забаррикадированы. Днем сообщения оказались прерванными. От центра до периферии, под самыми окнами Тюльерийского дворца, восстание поднимало голову за своими валами. И эти укрепления—добавляет Гарнье-Пажес—уже не были более, как накануне, бесформенным делом спешащих рук, игрой готовящегося восстания. Нет, те отборные работники, ради которых мир нам завидует: каменщики, плотники, кузнецы, механики, это удивительное парижское население, которое догадывается о том, чего не знает, благодаря бесконечному разнообразию своих способностей и специальных занятий, создало из них настоящие предметы искусства» [2]. Токвиль, наблюдавший построение баррикад на утро 24 февраля, был поражен отсутствием того «всеобщего возбуждения (bouillonement)», которое он видел в 1830 г., и методичностью работ: «эти баррикады—пишет он—были искусно построены небольшим количеством людей, работавших очень усердно, не как преступники, подгоняемые страхом быть захваченными на месте преступления, а как хорошие рабочие, которые хотят сделать свое дело скоро и хорошо» [3]. Луи Блан, который, вообще, проявляет сентиментальное отношение к событиям и гордится тем, что он, в числе других членов Врем. Правительства, способствовал охране бежавших членов свергнутой династии, повидимому, довольно точно передает умонастроение баррикадных бойцов, которое он наблюдал в ночь на 26 февраля. Будучи уже членом Вр. Правительства, он был задержан караулом одной из баррикад, так как не знал пароля. Но, как только он назвал себя, его тотчас же отпустили и «даже дали нечто в роде почетного конвоя». «Что меня поразило в этой ночной прогулке по баррикадам,—пишет он,—так это необычайное соединение торжественной почтительности, военной дисциплины и гражданской гордости, с которыми повсюду был приветствуем один из членов этого правительства, получившего от народа и свое существование, и свою силу» [4]... И даже упоминавшийся нами Яков Толстой констатирует по-

[1] Для агента III отделения, Я. Толстого, февральская революция представляется, как «победа черни». Отмечая в своих донесениях, что «иностранцы, богатые люди бегут», он одновременно возмущается тем, что рабочих, которые являются господами положения, «теперь принято называть трудящимися». См. «Революция 1848 г. во Франции» (Донесения Я. Толстого) под ред. и с пред. Г. Зайделя и С. Красного, изд. Центрархива. Гиз. 1925 г., стр. 37.

[2] Garnier-Pagès. «Histoire de la Révolution de 1848». Paris 1861 т. V, стр. 25

[3] Tocqueville—op. cit.

[4] Луи Блан—«История революции 1848 г.» Русск. перевод С. П. Г. 1907, стр. 105—106.

разительную организованность баррикадных бойцов: «К шести часам утра — пишет он — 24 февраля до 2.000 баррикад уже возвышаются на улицах, площадях, окраинах... Решетки у всех застав, вокруг всех памятников разрушаются и служат для укрепления баррикад, из коих некоторые доходят до уровня второго этажа. Все деревья на бульварах скошены, как после бури. Бьют сбор. Национальная гвардия сливается с толпой и шествует вместе с нею. Железнодорожные рельсы сняты, чтобы воспрепятствовать прибытию войск. Эти гигантские приготовления совершились как будто одновременно и одним человеком» [1].

Сомнений как будто не может быть: организованность революционеров бросается в глаза самым разнообразным наблюдателям. И, однако, было бы ошибочно заключать на этом основании, что революционеры имели какой-нибудь крепкий, дисциплинированный центр, руководились какой-нибудь сплоченной организацией. Наоборот, ни у буржуазных республиканцев из «National», ни у мелко-буржуазных демократов из «Réforme» ни, конечно, у династической левой во главе с Одиллоном Баро не было и тени какого-нибудь плана восстания, организованного руководства революцией. Последняя проходила мимо них и через них, ужасая всех этих представителей словесной оппозиции, которые так долго пугали правительство народным восстанием, что, когда оно пришло, они сами растерялись и не знали, что делать.

Некоторое подобие организации было только у тайных обществ. Но и те к моменту революции влачили жалкое существование. Героические времена 39 г., когда «Общество времен года» устроило свое знаменитое восстание, и 40 г., когда «Общество новых времен года», авангардом и самой деятельной частью коего было коммунистическое «Общество рабочих-эгалитариев», поставлявшее участников покушений на короля и королевскую семью и даже деятельных пропагандистов во время чуть ли не всеобщей стачки рабочих в Париже в мае—сентябре этого же года [2], — эти героические времена давно прошли: Бланки, Барбес и др. вожди тайных обществ томились в тюрьмах, Дезами и Пильо, руководители и идеологи «О-ва рабочих-эгалитариев», повидимому, отошли от непосредственного руководства движением. Тайные общества разбились на множество групп, друг с другом враждовавших и часто вырождавшихся в беспорядочные сообщества, без всякой определенной программы и тактики. Агенты правительства Луи-Филиппа проникли руководителями тех обществ, которые продолжали еще сохранять свою организацию. Накануне революции, в 1847 г., полицией и судом было ликвидировано «Общество материалистов-коммунистов», являвшееся продолжением разгромленного в начале 40-х годов «О-ва рабочих-эгалитариев» [3]. Остатки «Общества времен года», руководимого с 1845 года Делягоддом,

[1] «Донесения Якова Толстого» ук. изд., стр. 27—28.

[2] См. мою статью «Жан Жак Пильо и коммунистическое движение 40-х г.г. во Франции» в Сборнике Ленинградского Института марксизма «Проблемы марксизма». Л-д. 1928 г.

[3] Во время обыска у участников «Общества материалистов» у них нашли сочинения Кабе, Дезами, аббата Констана и Прудона. См. «Gasette des Tribunaux» от 14 июля 1847 г.

Буавеном и Альбером [1], находились в состоянии бездействия. Тактика Делягодда, разоблаченного позже во время революции в качестве агента полиции, заключалась, по его собственному признанию, в том, чтобы держать о-во в состоянии развала и привести к тому, чтобы «эти львы восстания сами себе сломали когти» [2]. Бездействие о-ва было нестерпимо для наиболее активных членов, которые вскоре организовались в отдельную диссидентскую группу, требовавшую выработки и подготовки определенного плана восстания всеми мерами и способами. Эта группа, так и известная нам из писаний Делягодда и Шеню, как «Общество диссидентов» (Société dissidente), предприняли кой-какие действия, и, конечно, большинство ее руководителей попало не без содействия Делягодда и Шеню в руки полиции [3]. Если верить Делягодду, «Общество диссидентов» все-таки насчитывало к началу революции около четырехсот человек и было готово вмешаться во всякие беспорядки: «с 22 февраля члены этого общества вели деятельную пропаганду в предместьях, призывая рабочих бросать работы и выходить на улицу». Трудно проверить это сообщение Делягодда, который при том уверяет, что многие из них были агентами полиции и «отправлялись прямо в префектуру со своими донесениями, чтобы получить несколько пятифранковых монет» [4]. Из сообщений Шеню и того же Делягодда мы знаем также, что вожди «О-ва новых времен года» собрались вечером 22 февраля в галлереях Пале Рояля для обсуждения способа действия [5]. На этом совещании Коссидьер высказывался за немедленную организацию восстания, а Делягодд, придерживаясь своей обычной тактики, высказывался против. Кончили на том, что надо подождать событий и назначили новое собрание на завтра в квартале Сен-Мартен. Но и на следующий день вожди собственно ничего не предприняли в смысле руководства восстанием. Наиболее деятельными оказались, повидимому, все-таки члены «О-ва диссидентов», к которым, по словам Делягодда, присоединились и такие люди, как Собрие [6], игравший впоследствии крупную роль в клубе Барбеса. Альбер днем 23 февраля вынужден был также поплыть по течению и присоединиться к баррикадным бойцам [7].

---

[1] См. De-la-Hodde — «Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain dépuis 1830». Paris 1850, стр. 368—69, его же—«La naissance de la Republique», стр. 14, а также Chenu — «Les conspirateurs».

[2] De-la-Hodde—«La naissance de la République», стр. 14.

[3] Вожди «О-ва диссидентов»: Гюло, Виту (отец и сын), Флотт, Лакамбр и Шеню проектировали во главе верных им четырехсот сторонников напасть на Тюльери и Палату Депутатов и, при помощи бомб, захватить эти здания и овладеть властью. См. Chenu—«Les conspirateurs», стр. 62 и «Gazette des Tribunaux» от 17 окт. 1847 г.

[4] De-la-Hodde — «Hist. des soc. secr.», стр. 432.

[5] См. Chenu—«Les conspirateurs», стр. 72 и De-la-Hodde—«Histoire des société, secrètes», стр. 439.

[6] По словам Делягодда Собрие требовал: «баррикад, боя, провозглашения республики — и всего этого немедленно». De-la-Hodde — Ib., стр. 440.

[7] De-la-Hodde—ibid., стр. 451.

Если о руководстве секретных обществ движением, как мы видим, собственно говорить не приходится,—то этим мы вовсе не хотим сказать, что роль коммунистов и республиканцев во время баррикадных боев была ничтожна. Нам важно было установить, что даже наиболее подготовленные к революционному взрыву элементы не обладали заранее выработанной программой и не имели определенного плана и тактики деятельности. Организованное руководство движением началось, повидимому, лишь с 25 февраля, когда существовало уже временное правительство и когда выпущенные на свободу политические заключенные и появившийся в Париже Бланки делают, как мы увидим ниже, первую попытку повести движение по определенному руслу.

Тем не менее в источниках мы встречаем достаточно указаний на немаловажную роль революционных деятелей, в частности коммунистов[1], в баррикадных боях 22, 23 и 24 февраля. Так, по словам Виктора Бутона, рабочий-часовщик Симар, один из виднейших участников коммунистических тайных обществ начала 40-х годов, был во главе революционеров, атаковавших отступающую колонну генерала Бедо[2]. Известно также, что в ночь с 24 на 25 февраля, когда Временное правительство, стиснутое со всех сторон наполнившим Hôtel de Ville вооруженным народом, еле нашло комнату для заседания, где разыгрались прения по вопросу о немедленном провозглашении республики и—вынуждено было пересмотреть текст Ламартина и вставить слова: «Временное правительство хочет республики, утвержденной народом, который будет немедленно опрошен»,—под давлением восставших, выбравших 14 человек «народных делегатов» (délégués du peuple), которым вменялось в обязанность «присутствовать на всех заседаниях нового правительства и немедленно сообщать народу о результатах и следить за тем, чтобы республика была провозглашена без замедлений»[3]. Надо, однако, отметить, что лица, выбранные «народными делегатами» являлись случайными людьми: мы не находим среди них ни одного известного революционного деятеля, который играл бы большую роль до или во время революции. Мы имеем также сообщение секретаря Ледрю-Роллена, Дельво, который пишет в своей «Истории февральской революции», что во главе колонны рабочих-плотников, подошедших на следующий день к ратуше и требовавших немедленного провозглашения республики, был Распайль. Яков Толстой в своих донесениях[4] пишет 24 февраля: «Толпа держит себя угрожающе. Лица, принадлежащие к республиканским и коммунистическим организациям, руководят рабочими, раздают пули, порох, оружие и дают инструкции». Есть упоминания и о том, что руководители О-ва «рабочих-эгалитариев», Пильо и

---

[1] В секретных обществах кануна революции руководство принадлежало не коммунистам, а революционным демократам типа Коссидьера. Коммунистические элементы находились, повидимому, в «О-ве диссидентов», но и это О-во было разнокалибренным по составу.

[2] V. Bouton. — «Profils révolutionnaires», стр. 432.

[3] Drevet — «Mystères de l'Hôtel-de-Uille. Révélation de Drevet-père, président des délégués du peuple» Paris. 1850, стр. 28.

[4] Я. Толстой. — Донесения, стр. 27.

Дезами были 24 февраля в Ратуше и выставляли свои требования. Пильо, по словам Виктора Бутона, составлял «свое правительство» в то время, как в первом этаже составлялись синие и красные временные правительства» [1], Дезами, «поддержанный рядом уважаемых граждан», выставлял следующие требования: «1. Всеобщее, прямое и абсолютное избирательное право. 2. Неограниченная свобода слова и печати. 3. Немедленное вооружение всех граждан. 4. Никакой оплачиваемой внутри страны милиции» [2].

Попытку организованно вмешаться в движение сделали также и социалисты мирного толка, группировавшиеся вокруг Виктора Консидерана и Пьера Леру. Но и у них мы не видим никакой программы действий: они ограничились тем, что на предварительном собрании 15 февраля большинством отвергли предложение Пьера Леру—воздержаться от участия в движении и решили присоединиться к манифестации, что и было сделано впоследствии; при чем, как это нередко бывает, ученики Фурье и противники революционных методов борьбы силой стихии были вовлечены в вооруженную борьбу и сами дрались на баррикадах [3].

Таким образом, организованность восставших меньше всего была следствием предусмотренного плана или же централизованного руководства со стороны какой-либо крепкой, дисциплинированной организации. Революция 1848 года была событием огромной, стихийной силы, перед которой пасовали не только буржуазные республиканцы, но и привыкшие к сектантским методам борьбы революционеры из секретных обществ эпохи июльской монархии. Организованность революции была исключена всем ходом предшествующих революции событий, состоянием пролетариата, в первую очередь, среди которого находили своих сторонников многочисленные представители разноообразных школ, начиная от «христианского социализма» Ламеннэ и кончая революционным коммунизмом бланкистов и бабувистов.

В известном докладе, представленном префектом парижской полиции в 1847 г. министру внутренних дел, обращалось внимание на «социалистические брошюры, которые в течение последнего года были еще более многочисленными, чем в предшествующие годы» и, в частности, указывалось на «Кабе, Дезами, Пьера Леру, Прудона, сотрудников газеты «Atelier» и «Fraternité» и на фурьеристов. «Хотя они—писал префект—и отличаются друг от друга, но исходят из одного и того же принципа, а именно из идеи более или менее насильственного ниспровержения существующего общественного порядка путем уничтожения семьи и собственности». Почтенный блюститель порядка июльской монархии явно преувеличивал революционные намерения некоторых групп, в частности кабетистов и сторонников соглашательской «Atelier»: эти группы уже во всяком случае открещивались от всякого напоминания о насильственной революции; но в воображении перепуганного префекта и все указанные им группы обратились в «анархические пар-

---

[1] V. Bouton.—op. cit., стр. 154.

[2] «Les Droits de l'Homme», газета Дезами от 2 марта 1848 г. См. также A. Lucas—«Les clubs et les clubistes», стр. 162.

[3] См. A. Crémieux—«La Révolution de février. Etude critique sur les journées des 21, 22, 23 et 24 février 1848». Paris. 1912, стр. 83—85.

тии». В одном только был прав префект полиции: он указывал на «тенденцию» упомянутых «анархических партий» «пренебречь вопросами политики в собственном смысле в пользу идей социального обновления». Действительно, эту характеристику можно приложить одинаково и к Кабе, и к Дезами, и к Прудону, и к фурьеристам типа Консидерана или Леру и, не говоря уже о «Fraternité», даже к сторонникам умеренной бюшетистской рабочей газеты, «Atelier». Все они меньше всего понимали связь между необходимостью политических и социальных реформ, все они на первый план выдвигали вопросы «организации труда», «права на труд», реорганизации собственности, семьи и пр. и пр. Даже к Луи Блану, несмотря на то, что он безусловно понимал необходимость политической реформы,—характеристика префекта полиции, в общем и целом, подходит: поскольку упомянутые идеи «организации труда» и «права на труд» получили самое яркое развитие в его ставших весьма популярными книгах. В заключительных строках своего доклада префект писал: «Нетрудно понять, какое влияние могут приобресть такого рода произведения на легкомысленный и неразвитый ум рабочих, всем материальным вожделениям коих здесь вдобавок льстят. В этом заключается истинная язва времени, и необходимо признать, что она делает с каждым годом новые успехи» [1].

Но эта «истинная язва» для режима июльской монархии была вместе с тем и «истинной язвой» для рабочего класса, ибо он находился всецело под влиянием проповеди о возможности полной экономической и социальной организации общества немедленно. Утопические проекты социалистов и коммунистов сороковых годов воспитывали рабочего в убеждении, что, по выражению Маркса, «философы имели в своем портфеле разрешение всех загадок, и глупому непросвещенному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки» [2]. Рабочий класс Франции был уверен, что исцеление от всех социальных бедствий является следствием магических заклинаний докторов от утопии. То, что казалось такой всеразрушающей силой полицейским чиновникам Луи-Филиппа, на самом деле было величайшей слабостью французского пролетариата кануна революции 1848 г. Стихийно поднявшийся и в течение трех дней почти без руководства и совсем без плана, без крепкого дисциплинированного центра, силой собственного энтузиазма сокрушивший июльскую монархию,—французский рабочий с первых же дней революции оказался во власти идеи о наступлении новой эры социалистического господства, в которое он страстно верил, но осуществить которое он не мог, именно потому, что полагал, что социалистический рай наступит сам собой.

Это характерное настроение парижского пролетариата прекрасно изобразил умный реакционер Токвиль: «На этот раз дело заключа-

---

[1] «Revue rétrospective». Доклад префекта полиции, Делессэра, напечатанный в «Revue», перепечатан в «Histoire de la Révolution» т. V, стр. 387-393. Гарнье-Пажеса—«Rapport de la préfecture de police, Publications ánarchiques de l'année 1846. Cabinet du préfet de police». Paris, à 19 janvier 1847.

[2] К. Маркс. — «Из переписки 1843 г.». (Письмо Маркса к Руге). Сочинения, т. I, стр. 361.

лось не в том, чтобы дать победу партии; стремились к тому, чтобы основать социальную науку, философию, я почти мог бы сказать религию, способную быть усвоенной и принятой к руководству всеми людьми... Кроме королевской власти и парламента, все остальное осталось еще не тронутым, а между тем казалось, что революционные события повергли в прах самое общество, что установлен конкурс для изобретения новой формы, которую надлежало дать зданию, которое готовились возвести взамен»... Слабая сторона победоносной революции, таким образом, заключалась, прежде всего, в том, что французский пролетариат, фактически ничего не тронувший, кроме королевской власти и парламента, был охвачен религиозной верой в то, что социализм будет осуществлен сам собой; он не понимал необходимости организоваться, он не имел и не мог иметь своей партии, которая могла бы руководить боями и действительно закрепить победу. И когда попытка ввести движение в определенное русло, по определенной программе и с заранее намеченной тактикой, и была сделана,—французский пролетариат, в большинстве своем, оказался неподготовленным к подобного рода действиям, пренебрег возможностью создать уже в процессе революции нечто в роде своей, пролетарской партии, слабо поддержал ее—и потерпел поражение.

II

Возникает, однако, вопрос: а были ли вообще, во Франции группы, которые уже в процессе революции пытались повести массы по определенной пролетарской программе с определенно выработанной тактикой,—имелись ли или были созданы организации, которые с достаточной трезвостью учитывали обстановку, сложность обстоятельств, чтобы на основе этого учета уже строить свою деятельность? Луи Блан и его группа, организовавшаяся вокруг Люксембургской комиссии, несмотря на то, что она пользовалась огромной популярностью в рабочих массах Парижа, конечно, по существу, не пыталась руководить пролетариатом в боях за установление социализма.—Всей своей деятельностью группа Луи Блана разоружала рабочие массы, усиливала позиции буржуазии и собственно предавала революцию. Говорить о руководстве пролетариатом против буржуазии со стороны мелкобуржуазных республиканцев типа Ледрю-Роллена, конечно, также не приходится. Даже группа Барбеса, которая создала сравнительно централизованную организацию (Клуб революции) с представительством в провинции, по программе своей не может считаться представительницей пролетариата: Барбес и его друзья были продолжателями и наследниками якобинской политики эпохи 1793 года. Если Ледрю-Роллен и его товарищи, считавшие себя «горой» в 1848—49 гг., были на самом деле жалкими эпигонами, игравшими на руку реакции, то группа Барбеса была действительной продолжательницей якобинской программы героической эпохи Великой Французской Революции. Но, увы, эта программа для 1848 года была явно устаревшей и негодной. Чтобы не быть голословным, процитируем один документ, вышедший из «Общества прав

человека и гражданина» в первые дни революции: «Общество ставит себе целью», говорилось в воззвании: 1) защищать права народа, которые завоевала для него февральская революция (dans l'exercice desquels la Révolution de février l'a réintegrée); 2) извлечь из этой революции все социальные последствия. Точкой отправления оно берет Декларацию прав человека и гражданина, сформулированную в 1793 г. Робеспьером. Под этим воззванием стоит также подпись Барбеса[1]. Тщетно мы будем искать у Барбеса и его друзей формулировки коммунистических идей: роль, которую сыграл Барбес 15 мая 1848 г., вовсе не об'ясняется тем, что Барбес хотел разогнать собрание для установления социалистической республики,—выступая против национального Собрания, Барбес думал, быть может, о политике в духе Комитета Общественного Спасения, но отнюдь не о проведении социалистических мероприятий. И вражда Барбеса к Бланки об'ясняется, конечно, не только личной антипатией к «вечному узнику», а разницей в программах деятельности, в мировоззрениях.

Еще в меньшей мере можно говорить о Распайле, как о вожде группы, которая представляла себе ясно задачи, стоящие перед пролетариатом. Высокое мнение о Распайле, которое неоднократно высказывал Маркс в своих работах, посвященных революции 1848 года[2], об'ясняется тем, что Распайль, действительно, в решительные моменты оказывался во главе пролетарских масс: так было 25 февраля, когда он во главе масс требовал установления республики, так было 15 мая, когда Распайль в Нац. Собрании прочел знаменитый адрес в защиту Польши. Высокая суб'ективная революционность Распайля, его ненависть к реакции и к буржуазии — не подлежат никакому сомнению. Но те расплывчатые фразы, посредством которых Распайль формулировал свои положительные идеи, отнюдь не свидетельствуют даже о том, что Распайль был коммунистом, в том, например, смысле, как Маркс, Бланки или даже Кабе. Распайль был за ассоциацию, так как она дает, по его словам, увеличение производства, уменьшение потерь и экономию времени и труда; но он категорически высказывался против абсолютного равенства: «подлинный раздел, — писал он, — будет разрушением, а абсолютное равенство будет бичом всего мира»[3]. Фанатически преданный народу, ненавидя королевскую власть, Распайль был полон мистиче-

[1] «Les Murailles révolutionaires», t. I. 1856, стр. 261. Теми же словами начинается воззвание, изданное Обществом (и подписанное также Барбесом) позднее, в связи с кровавыми событиями в Руане. См. S. Wassermann — «Les clubs de Barbès et de Blanqui», стр. 149.

[2] См. «Борьба классов во Франции 1840—50 гг.» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. т. III. Гиз. 1921 г.). Маркс на стр. 58 называет Распайля коммунистом, а на стр. 63 пишет: «Наполеон был нарицательным именем для всех партий, соединившихся против буржуазной республики; Ледрю-Роллен и Распайль были собственными именами, первый для демократической мелкой буржуазии, второй—для революционного пролетариата». Курсив Маркса—*Г. З.*

[3] «Réformateur» от 17 февр. 1835 г. Цитирую по S. Wassermann—«Le club de Raspail en 1848» в «La Révolution de 1848. Bulletin de la société d'histoire et de la Révolution de 1848. Cinquieme anneé. 1908—09, стр. 592.

ской веры в свое призвание. На одном из процессов в эпоху июльской монархии он говорил о великой освободительной миссии, которую выполняют революционеры и которая является «не только миссией, но священным культом, верой, которая нас сжигает, любовью к человечеству» [1].

Еще сильнее он выразил свою мистическую веру в собственное призвание миссионера-освободителя народа в своих «Lettres sur les prisons», указывая на то, что его идеи «имеют основанием оптимизм, поддерживаемый религиозной верой в человечество». В социальной науке он искал, как и во всех науках, «закон гармонии, закон, который направляет все силы, все интересы общества в одно русло, вместо того, чтобы погрузить их в беспрерывный антагонизм» [2].

Мы не найдем у Распайля также отчетливого представления о социалистическом строе; он был только убежденным, горячим сторонником всеобщего избирательного права и высказывался за выборного главу государства, временного, ответственного и отзываемого. В противовес Бланки и бабувистам Распайль не стоял на точке зрения строгой централизации государственной власти и был против «диктатуры Парижа»; он говорил о «централизации для всеобщих интересов и децентрализации для местных интересов». Не понимал он также значения классовой борьбы: в своих речах в «Club des Amis du Peuple» Распайль никогда не говорил о борьбе с буржуазией, об интересах пролетариата, как класса. Мало того, Распайль и его клуб собственно до событий в Руане не реагировал на политические вопросы дня. Речи его в клубе носили абстрактный и общий характер и являлись импровизациями на тему о свободе и рабстве. «Свобода,—заявлял он,— является уделом умеренного климата Европы, деспотизм—Азии, а теократия — Африки». Неудивительно, что Распайль был против отсрочки выборов в Нац. Собрание, а, наоборот, требовал их ускорения, не принимал участия в манифестации 17 марта и в событиях 16 апреля. А клуб Распайля в числе выдвинутых им кандидатов в Нац. Собрание имел не только несколько рабочих, но и двух буржуа—одного торговца и одного крупного собственника,—и даже ярого легитимиста, присоединившегося после революции к республике из ненависти к орлеанистам, Ларошжакелена (Larochjacqueleine), и известного князя Московского (le prince de Moskowa). При чем близорукость Распайля доходила до того, что он заявлял, будто «присоединение Ларошжакелена к республике составляет эпоху в истории».

Нет поэтому ничего удивительного в том, что девизом для своей газеты «Ami du Peuple» Распайль избрал следующие слова: «Бог и отечество, полная и всеобщая свобода мысли, неограниченная религиозная терпимость, всеобщее избирательное право». Этому расплывчатому девизу соответствовали и содержание газеты, и выступления самого Распайля в его клубе. Даже в угрожающем и полном гнева адресе, принятом клубом по поводу Руанских событий, мы не найдем понимания классового смысла совершившегося. Для

---

[1] J. Tchernoff—Le parti républicain sous la monarchie de juillet. Paris 1905, стр. 252.

[2] S. Wassermann—Le club de Raspail, стр. 604.

Распайля—это не нападение буржуазии на пролетариат, как квалифицирует Руанские события Бланки, а «заговор, организованный против общественных свобод», «реакционные махинации», «губительное для свободы покушение». Петиция, выработанная клубом Распайля по вопросу о Польше, требовавшая вооруженного вмешательства Франции для освобождения поляков, кончается следующими словами: «И это будет справедливостью, и бог благословит успех нашего оружия!» [1].

Вот почему, несмотря на то, что Распайль в событиях 15 мая играл одну из выдающихся ролей, несмотря на то, что суб'ективная революционность, мужество и готовность к самопожертвованию этого человека вызывают удивление,—Распайль не может считаться представителем той группы, которая трезво разбиралась в событиях, в сложной классовой обстановке революции и руководствовалась правильной (или хотя бы приблизительно правильной) пролетарской программой и тактикой. Будучи популярным революционным деятелем, отдавшийся притом научной деятельности [2] и мечтавший всю жизнь о том, чтобы завоевания науки перенести в массы, он, этот «отец Распайль», как звали его рабочие, был любим и выбираем рабочими массами Парижа, именно потому, что неопределенные, спутанные, любвеобильные, «коммунистические» идеи Распайля прекрасно соответствовали не менее бесформенным и прекраснодушным «коммунистическим» мечтам французского пролетариата этой эпохи.

Остается проследить деятельность чисто коммунистических групп во время революции 1848 г. — бланкистов, бабувистов и кабетистов, — чтобы решить вопрос о том, была ли в Париже во время революции группа, которая имела определенную классово-пролетарскую программу и тактику.

Мы уже указывали на то, что о попытке повести победоносную революцию по определенному руслу,—можно говорить только с 25 февраля, т.-е. с того момента, когда Временное Правительство уже было организовано. Первый отклик коммунистов на события прозвучал в газете «Le Populaire» 25 февраля. В воззвании «К коммунистам-икарийцам», подписанном Кабе, напоминалось о том, что икарийцы — «прежде всего французы, патриоты, демократы,—не менее бесстрашные, чем человечные и гуманные». Доказывая это, Кабе заявляет, «сегодня только Единение, Порядок и Дисциплина могут обеспечить народу плоды его победы, гарантировать его права и его интересы». И «отец Кабе» совершенно недвусмысленно призывает к поддержке Временного Правительства. «Об'единимся же — пишет он—вокруг Врем. Правительства под председательством Дюпона (дельЭр), сменившего ненавистное правительство, которое обагрено кровью граждан. Будем поддерживать Временное Правительство, об'являющее себя Республиканским и Демократическим, провозглашающее национальное Верховенство и единство нации, принимающее в принципе Братство, Равенство и Свободу, а Народ в качестве девиза и лозунга

[1] Ibid., стр. 674.

[2] О научных работах Распайля см. G. Vapereau — Dictionnaire universelle des contemporains. 1870, стр. 1502.

(mot d'ordre), и распускающее Палату, чтобы созвать Национальное Собрание, которое даст Франции нужную ей Конституцию»[1].

Далее воззвание призывает добиваться осуществления «всех последствий этого принципа»: всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, свободы собраний, «ассоциации» слова (discussion), свободы печати и уничтожения налогов и штемпельных сборов с периодических изданий, «организации труда и обеспечения существования посредством труда», уничтожения налогов на «предметы первой необходимости», всеобщего, бесплатного образования для народа и установления «институтов и гарантий» для благополучия женщин и детей так, чтобы каждый имел возможность жениться, будучи уверенным, что он сумеет воспитать свою семью и сделать ее счастливой». Воззвание требует «отказа от всякого мщения и уважения к собственности». «Никаких покушений на собственность! — восклицает Кабе, — но настойчивые требования к осуществлению всех условий, которые может установить справедливость для уничтожения нищеты: именно, принятие демократической системы последовательно уменьшающегося неравенства и последовательно увеличивающегося равенства»[2].

Кабе предостерегает далее от утопических попыток немедленного введения коммунизма. «Остережемся требования немедленного проведения наших коммунистических доктрин. Мы всегда говорили, что мы желаем их победы посредством дискуссии, убеждения, могущества общественного мнения, индивидуального сочувствия и национальной воли. Останемся верными нашим словам»[3]. Если в этом призыве к благоразумию и отказу от насильственного внедрения коммунизма мы не видим ничего нового и можем констатировать продолжение старой линии Кабе, в течение всей своей предыдущей деятельности отмежевывавшегося от тактики революционных коммунистов и боровшегося с последними[4], — то нечто новое можно видеть в заключительных строчках цитируемого нами воззвания, которыми он призывает баррикадных бойцов сохранить оружие. «Пусть парижский народ — пишет Кабе, — останется под ружьем, организованным, дисциплинированным во главе с начальниками со собственному выбору; только тогда можно будет иметь реальную гарантию Порядка и Свободы»[5]... Однако и эта новая нотка в устах Кабе, боявшегося насилия и оружия в руках рабочих, не может вызвать нашего удивления, если принять во внимание, что даже рабочие-бюшетисты из «Atelier» призывали сохранять оружие[6]: повидимому, с одной стороны,—

[1] «Les Murailles révolutionnaires». Paris 1856, т. I, стр. 46. Воззвание «Le Populaire. Aux communistes-icariéns». Курсив везде подлинника — *Г. З.*

[2] Ibid., стран. 46—47.

[3] Ibid., стран. 47.

[4] См. Cabet: — «Comment je suis communiste»; «Réfutation de l'Humanitaire» и, в особенности, его «Utile et franche explication avec les communistes lyonnais sur des questions pratiques», в котором он полемизирует с Дезами, выступившим против Кабе с убийственным памфлетом.

[5] «Les Murailles révolut.», т. I, стр. 47.

[6] «Рабочие — писала редакция «L'Atelier»,—сохраним наше оружие! Соединимся с национальной гвардией! Будем требовать вместе с ней: Реформы! Полной рефор-

воспоминания об обмане народа в 1830 году, а с другой,—стихийное восстание рабочих, недвусмысленно требовавших сохранения оружия и дальнейшего вооружения,—и вызывали даже у сторонников «Atelier» прилив революционных чувств.

Но зато в воззвании, мы не найдем отклика на волновавший уже тогда революционных рабочих вопрос о знамени республики: Кабе просто проходит мимо этого вопроса, имевшего, конечно, принципиальное значение. Как реагировали на это коммунисты-революционеры? Того же 25 февраля на стенах Парижа появилось следующее воззвание, никем не подписанное: «К Временному Правительству. Республиканские борцы прочли с глубокой болью прокламацию Временного Правительства, восстанавливающую гальского петуха и трехцветное знамя. Трехцветное знамя, водруженное Луи XVI, было прославлено первой Республикой и Империей; оно было опозорено Луи-Филиппом. Наконец, мы не имеем теперь ни Империи, ни Второй Республики. Народ водрузил красный цвет на баррикадах 1848 г. Пусть не пытаются его обесчестить. Он красен от благородной крови, пролитой народом и национальной гвардией. Он развевается, сверкая над Парижем; он должен быть сохранен. Победоносный народ не спустит своего флага (pavillon)» [1]. Мы имеем разноречивые свидетельства о том, кто является автором этого документа: Виктор Бутон утверждает, что продиктовал это воззвание Бланки [2], Люка,—что написал это воззвание Лакамбр [3]. Во всяком случае, если невозможно наверняка установить, что автором этого воззвания является Бланки [4], то совершенно ясно, что в составлении воззвания он принимал непосредственное участие. В тот же день вечером в зале Прадо состоялось собрание, на котором присутствовали от четырехсот до пятисот человек, принадлежавших к революционным обществам, в большинстве бывшие политические заключенные—бланкисты и бабувисты. Бланки в это время вел переговоры с Коссидьером и нащупывал настроения революционеров, примкнувших к Временному Правительству. Как видно из свидетельств современников, Бланки вынес впечатление, что выступление не будет поддержано большинством баррикадных бойцов [5]. Между тем заседание в зале Прадо, происходившее в отсутствие Бланки, носило бурный характер; ждали возвращения Бланки в уверенности, что он явится с сигналом к восстанию. «Какие зловещие лица! — восклицает Бутон, описавший это заседание,— какое сборище людей, которые в течение двадцати пяти лет избороздили

мы! Предания суду тех, которые ввергли нас в гражданскую войну!» Это воззвание, появившееся без указания даты, повидимому, относится к 24 февраля. См. «Les Murailles révolutionnaires», т. I, стр. 21.

[1] «Les Mur. révolution.», т. I, стр. 67.

[2] V. Bouton — «La Patrie en danger», стр. 39.

[3] Lucas—«Les clubs et les clubistes», стр. 213.

[4] Издатель «Affiches rouges», утверждает, что Бланки сам написал это воззвание. А издатель цитированных нами «Murailles révolutionnaires» подтверждает точку зрения Бутона. См. «Affiches rouges» par un Girondin, стр. 107 и «Murailles révolutionnaires» t. II., стр. 107.

[5] См. S. Wasserman—op. cit., стр. 47—48, где дана превосходная сводка событий этого дня, связанных с колебаниями Бланки.

(avaient silloné) царствование Луи-Филиппа покушением всех сортов: всякое слово казалось эхом старой угрозы: попытки Дармэса, Кениссэ, «гуманитаристов», все заговоры социалистов имели там своих участников, готовых продолжать, в том или другом виде, традицию. Дезами и Пильо оспаривали друг у друга пальму первенства в насильственных речах и наперерыв руководили аудиторией в виде как бы революционных раввинов»[1]. Не менее красочно описывает это же собрание издатель «Les Affiches rouges»[2]. По его словам, воззвание, написанное Бланки, предназначено было к вручению вооруженной рукой Временному Правительству. «Прибыв к Hôtel de Ville, вооруженный клуб[3] должен был конституироваться в Комитет Общественного Спасения, предварительно делегировав членов во Временное Правительство... Приклады ружей—пишет он далее—стучали о плиты, и зал ощетинился штыками, торчавшими поверх красных колпаков. Председательствовал Грусс. Пильо, экзальтированный атеист, потрясал зал раскатами и взрывами своего голоса. Делент (Delente) с высоты своего роста, четкими жестами и громким, уверенным, вибрирующим словом, доминировал над окружавшими его людьми. Отец Фомберто, со сверкающим взором, с прыщеватым лицом, резкой речью и грубым словом, крепко сжимал свое оружие. Вилькок (Vilcoq) с жестокой иронией на губах, пристроился в углу, опираясь на свою палку. Лимар выделялся своим решительным видом, выразительным лицом, ясной речью, падающей как свинец; его ружье в руках, его голова, одетая в красный колпак—придавали ему вид секционера 93 года. Гранмениль с туповатыми глазами и брызгавшим слюною ртом влез туда со своими большими башмаками. Дезами с подавшимся назад лбом, большим носом, отвислыми губами и угрюмо сверкающими глазами махал руками и призывал (poussait) к восстанию»[4]. Оставляем в стороне вопрос о том, насколько правильно изображены автором присутствовавшие лица—нет сомнения, что контр-революционный памфлетист изобразил Дезами, Пильо, Гранмениля и др. какими-то пугалами для того, чтобы позабавить читающую, буржуазно-реакционную публику. Но колорит этого собрания на котором присутствовало большинство выдающихся вождей тайных обществ, готовность к восстанию, напряженность ожидания Бланки,—все это совершенно неоспоримо запечатлевается при чтении цитированных нами авторов. Положение было как будто наиболее выгодным для успешного проведения восстания: баррикады еще не были разобраны, Временное Правительство только что организовалось и не имело еще корней в массах, манифестанты у Ратуши требовали красного знамени, цвет революционных деятелей собрался в Прадо, готовый двинуться в Ратушу. Председатель Грусс, по словам Люка, в своей речи призывал «спасти республику»

---

[1] V. Bouton.—op. cit., стр. 52. Курсив Бутона—*Г. З.*

[2] «Les Affiches rouges», стр. 37. Издатель этих «Афиш» утверждает, что собрание в зале Прадо происходило 26 февраля. Это—неверно: автор смешал это собрание в зале Прадо с первым собранием клуба Бланки, которое происходило, действительно, 26-го. См. S. Wassermann—op. cit., стр. 41.

[3] Имеются в виду собравшиеся в зале Прадо: мы уже указывали, что автор смешивает собрание с первым заседанием клуба Бланки.

[4] «Les Affiches rouges», стр. 36.

и поднять красное знамя, «павшее от голоса Ламартина, вчера еще поэта-реалиста, сегодня проснувшегося республиканцем». При громких аплодисментах и криках одобрения Грусс говорил: «мы представляем Республику и Революцию; все мы бывшие политические заключенные. Дело, ради которого мы сотни раз рисковали нашей жизнью и нашей свободой, восторжествовало; это мы должны руководить республикой, которая установлена нами. Если мы не захватим власти в этот первый момент колебаний, который даст нам эту власть, она ускользнет от нас навсегда» [1].

При таком настроении собравшихся, речь вскоре пришедшего Бланки кажется совершенно неожиданной. Он категорически призывает воздержаться от восстания. Не есть ли это начало отхода Бланки от своей прежней революционной линии, нечто в роде измены прежним принципам, за которые так неутомимо боролся Бланки на протяжении всей своей предыдущей деятельности? Анализ речи Бланки, показывает, что Бланки себе не изменил, что он остался верен своим прежним взглядам, но что, учитывая соотношение классовых сил, Бланки менял тактику и считал необходимым от заговорщических методов перейти к методу завоевания масс. Вот что говорил Бланки: «Франция не является республиканской, совершившаяся революция является не чем иным, как счастливым сюрпризом. Если мы пожелаем сегодня привести к власти людей, скомпрометированных в глазах буржуазии политическими процессами, провинция будет испытывать страх; она вспомнит о терроре и Конвенте и призовет, быть может, бежавшего короля. Сама национальная гвардия была только нашим невольным союзником; она состоит из испуганных лавочников, которые завтра будут разрушать то, что они сделали вчера при крике: Да здравствует республика!.. Предоставьте людей из Hôtel de Ville их бессилию: их слабость является верным признаком их падения. Они держат в своих руках эфемерную власть; мы имеем народ и клубы, где мы его организуем революционным образом, как некогда организовали якобинцы. Найдем в себе благоразумие подождать еще несколько дней, и революция будет принадлежать нам! Если мы овладеем властью внезапным нападением, подобно ворам посреди темной ночи, кто нам гарантирует продолжительность нашей власти? Кроме нас, разве не найдется энергичных и честолюбивых людей, которые будут гореть желанием низвергнуть нас подобным способом? То, что нам нужно, это—широкие народные массы (le peuple immense), восставшие предместья, новое 10 августа. Мы будем обладать тогда, по крайней мере, престижем революционной силы» [2].

Поразительно метко схвачено в этой речи соотношение классовых сил во Франции: реакционность крестьянства («провинция будет испытывать страх»), межеумочная позиция мелкой буржуазии («испуганные лавочники»), неорганизованность пролетариата. Правильно намечена также линия поведения — не отказываясь

---

[1] Lucas — «Les clubs et les clubistes», стр. 23.

[2] Lucas — «Les clubs et les clubistes», стр. 214. Курсив наш — *Г. З.*

от мысли овладеть властью, которая находится в руках «бессильного» правительства, увлечь за собой народные массы, главное, организовать—предместья, т.-е. рабочий класс, — после чего можно будет совершить подлинную народную революцию («новое 10 августа»). Все это—конечно, не отказ от прежней революционной линии, а новая тактика, основанная на трезвом учете классовых сил.

III

Реакционные памфлетисты, описавшие собрание в Прадо, утверждают, что поведение Бланки «спасло Францию», мы склонны, наоборот, расценивать эту речь Бланки, как чрезвычайно важный шаг, который спас пролетариат от преждевременного разгрома уже в первые дни революции [1]. Что тактика Бланки была понята и признана не только его непосредственными сторонниками—бланкистами, но и несколько более «лево» настроенными бабувистами, — об этом у нас есть достаточно солидные свидетельства. В организации на следующий день «Центрального республиканского общества» приняли участие все виднейшие революционные деятели. Коммунисты-бабувисты, организовавшие «Клуб гобеленов» во главе с Дезами, также участвовали в создании и организации клуба Бланки. У нас нет достаточных материалов, чтобы судить о том, чем отличался организационно и программно клуб Дезами от «Центрального республиканского общества» [2], но зато у нас есть драгоценный документ—газета Дезами «Les Droits de l'Homme», первый номер которой вышел 2 марта 1848 года [3]. По этому документу мы можем судить о программе, деятельности и тактике коммунистов-бабувистов.

В передовой первого номера своей газеты Дезами указывает, что он будет пропагандировать «три основные принципа», которые должны быть

---

[1] Этим мы вовсе не хотим сказать, что в этот момент смелым натиском нельзя было свергнуть временное правительство и захватить власть,—скорее всего это удалось бы сделать; но последствия были бы самые плачевные: массы были настолько неорганизованы и охвачены столь иллюзорными ожиданиями, что захватчики власти во главе с Бланки были бы очень быстро скомпрометированы к вящшему удовольствию реакции. Революция была бы разгромлена значительно раньше и гораздо основательнее.

[2] Люка, у которого мы находим сведения об организации «Клуба Гобеленов», ограничивается следующей характеристикой клуба: Клуб Гобеленов основан в марте 1848 г. Имя председателя говорит о том, чем был клуб Гобеленов. Гражданин Дезами был, в самом деле, одним из самых активных коммунистов, действовавшим в секретных обществах царствования Луи-Филиппа. Он, один из первых, провозгласил эгалитарные лозунги, он был замешан во все революционные попытки, предшествовавшие провозглашению республики»... Вот все, что мы имеем о клубе Дезами. См. A. Lucas—«Les clubs et les clubistes», стр. 162. До основания «Клуба Гобеленов» Дезами в первые дни революции выступал от имени «Клуба Сорбонны». См. «Les Affiches rouges», стр. 52.

[3] Вышло всего три номера — последний 9 марта 1848 г. С третьего номера газета носит следующий заголовок: «Les Droits de l'Homme. Tribune des Prolétaires». Все время редактировалась Дезами. Люка называет эту газету органом «Клуба Гобеленов». В самой газете об этом не упоминается.

положены в основу человеческого общежития: «все должны пользоваться всеми свободами: политический свободой, свободой ассоциаций, свободой образования, обмена и промышленной свободой. Все эти свободы—продолжает Дезами—друг с другом перекликаются, друг друга предполагают, связывают, сплетаются воедино, друг друга защищают и оплодотворяют»[1]. Мы увидим из дальнейшего конкретизацию этих требований неограниченных свобод, в особенности «обмена и промышленной», которые с первого взгляда производят довольно странное впечатление. Сейчас остановимся на двух других «принципах», которые выставляет Дезами: газета—заявляет он—«будет с силой и настойчивостью бороться с привилегией и монополией, целью наших усилий является проведение в нравы и общественные законы принципа равенства»[2]. И, наконец, в-третьих, «газета покажет, что принцип солидарности, являясь принципом основным, должен найти свою санкцию не только в практической морали, но еще в гражданских и политических законах».

Высказываясь, таким образом, за неограниченные свободы граждан, за борьбу с привилегиями и монополией, за солидарность и равенство,—Дезами, однако, оговаривается, что проведение их в жизнь немедленно (de prime-saut) невозможно: «мы полагаем — заявляет он, — что нужно считаться (avoir egard) с обстоятельствами и непреоборимыми фактами (aux faits de force majeure), что будет разумнее удовольствоваться в счет этих принципов частью наших естественных прав, для того, чтобы активно и последовательно продвигаться к завоеванию всего остального»[3]. Как бы полемизируя с теми, которые утверждают, что коммунисты хотят все и всех экспроприировать, Дезами заявляет, что «эгалитарный принцип ни в какой мере не затрагивает никаких законных прав, что он покушается только на узурпацию и монополию», и что «20 миллионов мелких собственников, которыми аргументируют, найдет в этом принципе заметное увеличение необходимого и устойчивого, а сверх того, рост их семьи не причинит им при этом режиме ни уменьшения их доходов, ни других неудобств, — что невозможно при нынешнем режиме»[4]. Утпверждая, что разрешение проблемы равенства может дать только «политическая и социальная экономия», Дезами считает необходимым поставить на широкую дискуссию проблемы организации труда, социализма и коммунизма. Он печатает заметку, в которой выражается благодарность коммунистам всех направлений (nuances) за величие самопожертвования, которое они показали. «Они великолепно понимают—пишет Дезами,—что осуществление их теорий не может быть делом насилия или авторитета: этого осуществления коммунисты ожидают от убеждения и свободной ассоциации».

Таким образом Дезами, который несколько дней тому назад был в числе главарей собрания в зале Прадо, требовавших немедленного восста-

---

1 «Les Droits de l'Homme» № 1 от 2 марта 1848 г. Курсив везде Дезами, как и дальше, кроме оговоренного мною — *Г. З.*

2 Ibid.

3 Ibid.

4 «Les Droits de l'Homme» № 1.

ния,—теперь говорит языком, почти напоминающим Кабе. Но было бы ошибочно полагать, что осторожные требования, выставляемые Дезами, аналогичны лозунгам Кабе. Основные лозунги последнего—«никакого покушения на собственность!» и «поддержка Временного Правительства». Во втором номере своей газеты «Le Populaire», выпущенном 27 февраля, Кабе перепечатывает из газеты Консидерана—«Democratie pacifique» статьи «Reforme» и «Presse»—строки, заявлявшие, что «красная розетка это—розетка коммунизма». Газета Кабе пишет: «Если это утверждение не является почти непростительной ошибкой в нынешних обстоятельствах, то это просто клевета. Нет, наш икарийский коммунизм не нападает ни на собственность, ни на семью, каковые он, напротив, наиболее яростно защищает. Мы не касаемся вопроса о том, являются ли наши доктрины приемлемыми для большинства или для меньшинства, но мы заявляем, что утверждение, будто красное знамя есть знамя коммунизма—ложь»[1]. Возвращаясь через несколько дней к тому же вопросу о красном знамени, Кабе пишет: «Мы больше одобряем трехцветное знамя, чем красное, но почему вы водрузили красное знамя—обращается он к Временному Правительству—в Hôtel de Ville под приветствия народа, чтобы спустить его затем, как бы под реакционным влиянием»[2]. Мы увидим из дальнейшего, что Кабе, подтверждая преданность икарийских коммунистов Временному Правительству, все же энергично его критикует за его «колебания и слабость», что поддерживает Кабе с особой силой это—законную и мировую пропаганду» посредством которой он собирается действовать: он вновь и вновь повторяет, что икарийцы не хотят ни «аграрного закона», ни «раздела земли», ни «разрушения семьи». «Мы не анархисты—пишет Кабе в статье «Appel à l'impartialité publique»,—так как никто не является большим приверженцем, чем мы, истинного порядка и никто более, чем мы, не убежден, что анархия будет гибельной для самого народа[3].»

Дезами ставит вопрос о красном знамени решительнее. Отмечая радость реакционных журналов по поводу принятия правительством трехцветного знамени, Дезами пишет: «Les Debats, la Presse и tutti quanti проклинают наше баррикадное знамя, которое они называют грязным и окровавленным». Что делать?—спрашивает он и отвечает:«Протестовать против реакции, не обвиняя в преступлении правительство, которое виновно только в слабости. Оставим вопрос открытым, решит Национальное Собрание. В ожидании последнего сохраним сами наши красные цвета: само правительство носит нашу розетку и шарф. Но, вместе с тем, не забудем истинного характера революции». И Дезами напоминает лозунги, которые им выставлялись еще 24 февраля, о которых мы уже упоминали в другой связи.

Принципиальное отличие программы Дезами от Кабе заключается в следующем: Кабе склонен считать вопрос о красном знамени несущественным,

---

[1] «Le Populaire» № 2 от 27 февраля 1848 г. См. «Murailles révolutionnaire», т. I, стр. 115. Курсив везде Кабе—*Г. З.*

[2] «Le Populaire» № 3 от 29 февраля 1848 г. См. «Murailles révolutionnaires», t. I, стр. 165.

[3] Ibid., стр. 164.

Дезами остается верным красному цвету баррикад; Кабе подчеркивает свое уважение к институтам частной собственности и семьи, Дезами об этом умалчивает. Но самое характерное заключается в том, что и Кабе, и Дезами не склонны призывать к свержению Временного Правительства: они обвиняют его в слабости и нерешительности, в том, что оно находится под влиянием реакции,—и ждут от Национального Собрания выпрямления политической линии Временного Правительства. Если вера Кабе в Национальное Собрание является продолжением его предреволюционной программы, то в тех надеждах, которые Дезами возлагает на всеобщее голосование, несомненно есть нечто новое, в корне меняющее прежнюю тактику бабувистов. В свое время Дезами относился к избирательному праву в эпоху существования частной собственности с величайшим презрением: «Какое уважение можно испытывать к законодательным декретам—писал он в начале 40-х годов, при условии, что не краснея превращают избирательную урну в сосуд проституции?..» [1]. В этих обстоятельствах Дезами всякий закон считал «фиктивным», поскольку он издается «узурпатором-законодателем в собственных интересах» [2]. Только после уничтожения частной собственности и установления коммунизма демократия, с точки зрения Дезами, сможет дать свой надлежащий эффект.

Таким образом, значение, которое Дезами после революции придавал всеобщему избирательному праву—нельзя не рассматривать, как тактический поворот бабувистов: отказавшись от немедленного восстания, бабувисты вслед за бланкистами занялись вопросом организации и подготовки к выборам. Вот почему вопрос о выборах, как мы увидим, приобрел такое острое значение для всех коммунистов, независимо от направления — от Бланки до Кабе.

Отметим еще несколько интересных черточек, характерных для позиции, занятой Дезами. Выступая за Национальное Собрание и возлагая на него, как мы видели, большие надежды, Дезами не отказывался от своих прежних взглядов и не переходил на позицию Кабе, проповедывавшего соглашение между трудом и капиталом. Публикуя в своей газете призыв Люксембургской комиссии к рабочим о выборе представителей, Дезами заявляет: «Рабочие должны отвергнуть всякую систему организации, которая мешает им свободно располагать собой или держит их под влиянием хозяев. Говорят об об'единении капиталиста и рабочего: плохое средство! Необходимо добиться уничтожения системы заработной платы, вместо которой должен быть установлен свободный труд и национальные магазины (entrepôts nationaux). Только тогда слово республика станет истиной!» [3].

Перемена тактики политической борьбы влекла за собой и смягчение утопических планов немедленного осуществления «естественных прав абсо-

---

[1] Dézamy—«Code de la communauté», стр. 253.
[2] Dézamy—«Laménnais refuté par lui-même...», стр. 22.
[3] «Les Droits de l'Homme», № 3, 9 марта 1848 г. Курсив Дезами—*Г. З.*

лютного равенства», которое проповедывали в свое время бабувисты [1]. Тем не менее революционный пыл, который обуревал крайних сторонников учения Бабефа, какими являлись коммунисты-бабувисты, чувствуется в ряде статей Дезами. В первом номере своей газеты Дезами посвящает особую статью «международной солидарности» пролетариата: «Мы начертали—пишет он—на нашем знамени международную солидарность. Если короли братья между собой, то ими являются также и народы» [2]. Возвращаясь к этой мысли в следующих номерах своей газеты Дезами заявляет: «В Европе существуют два несоединимых принципа: аристократия и демократия, революция и контрреволюция. Борьба, иногда смягчавшаяся, но никогда не прерывавшаяся после революции 1789 г., нашла свое разрешение для Франции на баррикадах 1848 г.». Обозревая все события в Европе, Дезами приходит к выводу, что «все деспоты призывают друг друга к взаимной поддержке, когда им надо воевать против народа», поэтому и народы должны об'единиться: «Демократы всех стран—заканчивает свою статью Дезами—боритесь против тиранов» [3].

IV

Революционные коммунисты-бабувисты, как мы уже указывали, работали в тесном контакте с бланкистами. Еще 28 марта мы в депутации, явившейся к Временному Правительству с требованием организации министерства труда и прогресса, находим бланкистов (Флотта, Графэна и Лапорта) и Дезами, который тогда представлял клуб Сорбонны [4]. Подпись главы бабувистов, Дезами, мы находим на всех важнейших документах, относящихся к событиям до 15 мая: он был в числе делегатов от парижских клубов, требовавших 15 марта отсрочки выборов [5], им подписан вместе с Бланки призыв от 26 мар-

[1] Характерно, что Дезами в своей газете выступает с планом организации «Банка Труда», гораздо более реалистичным, чем планы Оуэна или даже Прудона: в проекте, выдвинутом Дезами, нет утопических рассуждений о «справедливой цене», об «обмене труда на труд» и пр. «Банк Труда» Дезами ставит себе целью снабжать тех, «которые не обладают ничем, кроме рук своих, пролетариев», «необходимым сырьем для работы», «орудиями и средствами производства», а также помогать неимущим кредитом для обеспечения их «пищей, квартирой, одеждой и мебелью». Банк обязуется «продавать произведенные его клиентами продукты», а каждыя вступающий в члены Банка обязуется давать Банку «все произведенные им теперь и в будущем продукты», «движимое имущество, которым он располагает» и «другие ценности, которые он приобретет в будущем».Проект Дезами, таким образом, напоминает современные нам кредитные товарищества для ремесленников. Само собой разумеется, что «пролетарии Дезами—это разоряющиеся ремесленники города (и деревенские батраки — о них тоже говорит Дезами), которые и составляли в ту эпоху большинство рабочего населения Парижа. См. «Les Droits de l'Homme» № 2 от 4 марта 1848 г. Устав Банка и «Modele d'engagement».

[2] «Les Droits de l'Homme» № 1.

[3] Ibid. № 3. Передовая статья «L'Alliance des Peuples».

[4] «Les Affiches rouges», стр. 52. Издатель «Афиш» неправильно указывает дату этого события — 1-го марта. На самом деле это происходило 28 февраля. См. «Moniteur», от 1 марта 1848 г., а также Луи Блана: «Ист. рев. 48 г.» Русск. пер., стр. 157.

[5] «Murailles révolut.», t. II, стр. 297.

та к клубам организовать Центральный избирательный комитет[1]. 3 апреля он был выставлен кандидатом в Национальное Собрание Центральным республиканским о-вом[2], и того же числа Дезами выступил с речью в защиту Бланки от инсинуаций, которые распространял Ташеро в своем известном документе[3]. В этой речи Дезами заявил, что «не было ни одного члена О-ва (времен года—*Г. З.)*, который не знал бы всех фактов, опубликованных в мемуаре, документе явного фальсификатора»[4].

Рассмотренная нами программа, которую Дезами выставлял в 1848 г., как мы увидим, в существенном также не отличается от программы, выставлявшейся Бланки и его клубом. Конечно, некоторая догматичность формулировок, которые мы видели у Дезами—характерны как раз для бабувистов: Бланки и до, и во время революции больше действовал, чем постулировал,—в этом смысле, в смысле полного отсутствия каких-либо разработанных утопических проектов будущего Бланки и бланкизм более всех других течений в социализме близок к марксизму.

Но перейдем к программе клуба Бланки. Работа, проделанная Сусанной Вассерман, облегчает нам возможность проследить деятельность клуба Бланки во время революции: в общем, вплоть до своего ареста Бланки руководствовался мыслью не о свержении Временного Правительства, а о критике его слабостей, при одновременной организации пролетарских сил: Захват власти мыслился Бланки в этот период только в результате деятельности длительной организации и упорной воспитательной работы, которую нужно проделать над народными массами.

6 марта клуб Бланки представил Временному Правительству адрес, в котором были выставлены следующие требования: «1) полная и неограниченная свобода печати; 2) абсолютное и безвозвратное уничтожение залогов и штемпельных сборов (droits de timbre et de poste); 3) полная свобода распространения произведений мысли (des oeuvres de la penseé), всевозможными путями—через афиши, при помощи разносчиков, публичных глашатаев (crieurs publics),—без всяких препятствий и ограничений и без необходи-

---

[1] «La Voix des clubs, journal quotidien des assemblées populaires», № 15 от 26 марта 1848 г.

[2] «Sentinelle des Clubs» от 5 апреля.

[3] Мы в данной статье не задаемся целью осветить всю деятельность Бланки и в частности, вынуждены пройти мимо всей совокупности обстоятельств, связанных с обвинениями Ташеро. Приведем только отрывки из «Декларации», выпущенной 18 апреля 1848 г. от имени «бывших членов секретных обществ, «Семейств» и «Времен Года», как. гласит декларация, в которой авторы с негодованием «протестуют против употребления, которое хотели сделать с документом (d'une piéce) неизвестного источника, чтобы поразить гражданина, которого видели на передовых позициях (sur la brêche) в течение семнадцати лет и долголетние страдания которого, его долготерпение, твердость в тюрьмах, нравственная чистота и вся его строгая и суровая жизнь — являются беспрерывным опровержением трусливых обвинений, исходящих от его бесстыдных политических врагов». Среди подписавших «Декларацию» мы находим также и Дезами. См. A. Lucas—«Les Hommes et les choses dépuis février 1848». Paris 1848—49, стр. 180.

[4] «Sentinelle des Clubs» от 5 апреля.

мости в предварительном разрешении; 4) свобода для типографской промышленности и уничтожение всех привилегий, предоставленных патентами, несмотря, на то, что уплата по этим патентам уже произведена; 5) абсолютная неответственность типографов за все произведения, авторы коих известны; 6) уничтожение 291 статьи Уголовного Кодекса, закона 9 апреля 1834 г. и формальная отмена всех законов, ордонансов, декретов постановлений, эдиктов или каких-либо правил, утвержденных ранее 25 февраля 1848 г., которые могут сузить или ограничить естественное и абсолютное право ассоциаций и собраний; 7) отставка назначенной и присяжной магистратуры трех последних царствований; 8) вооружение и немедленная организация в национальную гвардию безработных и работающих рабочих, без исключения, с оплатой за каждый день службы; 9) уничтожение статей Уголовного Кодекса и специальных законов против рабочих коалиций». Принимая во внимание, что Временное Правительство уже до этого говорило о том, что оно без Национального Собрания не может отменить ни одного закона, даже залогов и штемпельных сборов на печатные произведения,—адрес, представленный клубом Бланки, заканчивался следующими словами: «Мы не думаем, граждане, что Временное Правительство может признать наше предложение неприемлемым на основании недостаточности своих полномочий. Народ предоставил вам свой суверенитет. Именем этого суверенитета вы провозгласили низложение короля; этим же именем вы должны отменить декреты, побуждаемые вашим патриотизмом» [1].

Неограниченная свобода печати, собраний, организации и пропаганды и поголовное вооружение рабочего населения—было требованием, как мы видели, и Кабе и Дезами: адрес клуба Бланки выражал эти требования только более энергичным языком. Временное Правительство, которому адрес был представлен, в общем вынуждено было согласиться с этими требованиями, оговорив только устами Ламартина, что право ассоциаций должно быть урегулировано правительством и ограничено рамками «общественного порядка».

Если этот вопрос, волновавший все крайние левые, особенно коммунистические группы, был так или иначе разрешен самим ходом событий: неограниченная свобода слова и организаций фактически были установлены, штемпельные сборы и залог на периодические издания были отменены правительством,—то гораздо острее стоял вопрос о выборах в Национальное Собрание.

В связи с вопросом об этих выборах, которые были назначены на 9 апреля, выборы начальников национальной гвардии, назначенные на 18 марта, представляли меньший интерес. Однако, и этот последний вопрос волновал народные массы не меньше, чем выборы в Национальное Собрание. Поэтому почти все левые клубы связывали эти два вопроса воедино, особенно в связи с постановлением правительства ввести в Париже вооруженные линейные войска. Уже 6 марта клуб Бланки поднял вопрос об отсрочке выборов [2] Адрес, выработанный клубом, был представлен 7 марта Временному Правительству—и Ламартин ответил, что Правительство не хочет сохранять на-

---

[1] «Les Murailles révolutionnaires», t. II, 106—107.

[2] S. Wassermann — «Les clubs de Barbès et de Blanqui», стр. 57.

долго своей диктатуры, почему и спешит с выборами. Но уже через несколько дней «Центральное республиканское общество» Бланки выпустило второй адрес к парижскому населению, в котором вновь повторялось требование об отсрочке выборов. Точная дата принятия клубом этого второго адреса нам неизвестна, однако нет никакого сомнения, что адрес этот был принят клубом до 12 марта [1]. 13 марта Кабе в своем клубе «Центральное братское общество» тоже выступил с призывом об отсрочке выборов. Выступление Кабе особенно важно отметить, так как еще 6 марта, т.-е. тогда, когда клуб Бланки уже принял первый адрес об отсрочке выборов, Кабе в своем клубе выступил с речью, одобряющей декрет Временного Правительства о выборах в Национальное Собрание. В этой речи мы не встретим ни одного слова об отсрочке выборов. Кабе говорит, что в декрете о выборах «мы находим почти все принципы демократии, приложенные к выборам», что уже не может быть речи о восстановлении монархии, так как—говорит он—«когда я вижу, что практически проводят всеобщее голосование, прямой вотум и что в то же время уничтожают залоги и штемпельные сборы, что разрешают и даже поощряют наши народные собрания и наши публичные дискуссии, я говорю: Да, мы сохраним нашу республику!» [2]. Но кампания, начатая клубом Бланки, действия правительства и инсинуации реакционной прессы вывели Кабе из его состояния доверия, в котором он пребывал после опубликования декрета о выборах в Национальное Собрание. Уже 10 марта Кабе выступил в «Populaire» с призывом манифестировать за отсрочку выборов, а 13 марта он произнес большую речь на эту же тему в своем клубе. Сопоставляя речь, произнесенную Кабе 13 марта, с адресом, выпущенным Центральным республиканским обществом Бланки, мы увидим, что и Кабе и Бланки на первый взгляд оперируют как будто почти одним и тем же аргументом: слишком быстрые выборы не дадут возможности массам исполнить их долг. «Чтобы национальная гвардия и выборы в нее—говорит Кабэ—были истинными, необходимо, чтобы все граждане были в них вовлечены; необходимо также, чтобы выборы были раз'яснены путем предварительной дискуссии... Необходимо, чтобы все могли собираться на ваши народные собрания, чтобы вы могли сконцентрировать ваше внимание на ваших интересах для выборов в национальную гвардию так же, как «для выборов ваших депутатов. И поскольку дела проводятся с такой быстротой, поскольку национальная гвардия не полна, поскольку вы не можете обсудить достоинств (les titres) ваших кандидатов, совершенно очевидно, что выборы будут ложью, что вы не сумеете выбрать ваших начальников, и что обещания Революции так же, как и все предшествующие обещания, будут сведены на-нет» [3].

---

[1] Об этом говорит Бланки в своем «Réponse» на документ Ташеро. В № 2 «Bulletin de la République», выпущенном министерством внутренних дел 15 марта 1848 г., адрес этот напечатан полностью с припиской, что он распространен в Париже: принимая во внимание, что в «Бюллетене» мы находим декреты, изданные не позже 12 марта, надо полагать, что время принятия адреса, указанное Бланки, правильно.

[2] Société fraternelle centrale. Discours du citoyen Cabet sur la garde nationale, la liberté de la presse...etc. 4-e seance du lundi 6 Mars 1848, Paris 1848, стр. 10.

[3] Société fraternelle centrale. 2-e Discours du citoyen Cabet... Sixième seance du lundi 13 Mars. Paris 1848, стр. 8.

«Мы требуем отсрочки выборов в национальную гвардию и в Национальное Собрание—говорится в адресе клуба Бланки. Эти выборы будут комедией. В Париже лишь весьма малое количество рабочих занесено в избирательные списки. Урны собрали бы лишь голоса буржуазии. В городах класс трудящихся, приученный долгими годами гнета и нищеты к ярму, не принял бы никакого участия в голосовании или очутился бы под руководством своих хозяев, как слепой скот (comme un betail aveugle). В деревнях все влияние сосредоточено в руках аристократов. Своей системой индивидуального обособления опытная тирания задушила в сердцах масс всякую активность (toute spontanéité). Несчастные крестьяне, доведенные до положения крепостных, оказались бы опорой для их врагов, которые их угнетают и эксплоатируют» [1].

Язык адреса клуба Бланки классово более четок, чем язык Кабе: расстановка классовых сил в городе и деревне, которую дает Бланки совершенно правильна и еще раз свидетельствует о великолепном понимании «вечным узником» всей сложности и совокупности политической обстановки; что касается Кабе, то в его речи упор делается на городские массы, главным образом. Если, таким образом, Кабе менее четко представлял себе обстановку, хотя исходил из той же важнейшей предпосылки, которую выдвигал и Бланки—необходимость обеспечить массам возможность участия в выборах,—то и выводы, в котором приходили Кабе и Бланки, на первый взгляд как будто одинаковые—отсрочка выборов—также отличались один от другого. Бланки г л у х о указывал в адресе срок, необходимый для того, чтобы массы освободились из-под влияния реакции и выполнили свой долг. В адресе клуба Бланки говорится: «народ не знает: нужно, чтобы он знал! Это не дело одного дня или одного месяца. Контрреволюция господствовала в течение пятнадцати лет одна; неужели будет слишком много, если предоставить, б ы т ь м о ж е т о д и н г о д свободе, которая претендует лишь на половину трибуны (qui ne réclame que la moitié de la tribune) и которая сама не зажмет рта своим врагам» [2]. В цитированной нами речи Кабе нет указаний на время, которое он требует для отсрочки. Но в адресе, впоследствии предложенном Кабе и принятом комиссией [3], последний требовал отсрочки выборов в Национальную гвардию до 5 апреля и в Национальное Собрание до 31 мая, между тем как проект адреса, предложенный тогда же Бланки и отвергнутый большинством, требовал о т с р о ч к и в ы б о р о в б е з у к а з а н и я с р о к а. Из разных предпосылок, из которых исходили Кабе и Бланки, следовали и разные требования: для Бланки было ясно, что процесс приобретения политической зрелости массами города и деревни будет процессом длительным. «Необходимо—читаем мы в уже цитированном адресе клуба Бланки, — чтобы свет проник в последнюю деревушку республики... Нужно, чтобы трудящиеся подняли свои головы, согбенные рабством, и поднялись из того состояния оцепенения и прострации, в котором их держат господствующие касты, поставив

---

[1] «Les Murailles révolution.», t. II, стр. 323—324.

[2] Ibid., стр. 324.

[3] Эта комиссия была составлена из представителей разных клубов. Подробнее о ней будет ниже.

свои ноги на их головы» [1]. Если выборы состоятся в скором времени до того, как массы поймут, в чем дело и сумеют самостоятельно действовать, победительницей выйдет реакция, а «эта победа, по мнению Бланки, равносильна гражданской войне! Париж, сердце и мозг Франции, Париж не отступит перед наступательным возвратом прошлого» [2]. В предвидении этой гражданской войны, в которой Париж может оказаться противопоставленным провинции, рабочие—крестьянам, Бланки и требует не просто отсрочки выборов, а отсрочки на неопределенное время.

Интересно отметить один факт: Кабе уже 10 марта, как мы указывали, говорит о мирной манифестации за отсрочку выборов, а 13 марта его клуб принимает резолюцию «провести манифестацию в пользу двух спешных мероприятий: 1) просьбы удалить войска из столицы; 2) отсрочки выборов в национальную гвардию» [3].

Таким образом, инициатива манифестации исходила не от Бланки, а от Кабе. От клуба же Кабе исходит инициатива организации комиссии из представителей клубов и рабочих корпораций для проведения этой манифестации [4]. Такая комиссия, состоявшая из представителей 25 клубов, обратилась 15 марта к правительству с просьбой ее принять. Вот документ, свидетельствующий об этом: «К членам Временного Правительства. Париж, 15 марта 1848 г. Граждане, нижеподписавшиеся, делегаты клубов, представляющие всю массу парижского населения (la généralité de la population parisienne), просит вас назначить им час, когда Временное Правительство сумеет их сегодня принять и выслушать их по вопросам величайшей важности». Среди подписей мы находим в числе других Кабе, Бланки и Дезами [5].

Инициатива Кабе была, как мы видим, поддержана и бланкистами и бабувистами. Но, если Кабе ожидал от этой манифестации весьма многого, то революционные коммунисты, повидимому, не были так оптимистически настроены. По крайней мере, мы имеем позднейшие свидетельства об этом Бланки, который считал, что раз комиссия приняла адрес Кабе, в котором требовалась отсрочка выборов на незначительный срок, то даже успех манифестации положения дел не изменит. «Отсрочка на два месяца или никакой отсрочки—говорил он—это одно и то же; нельзя разрушить, переделать в два месяца дела пятидесяти лет. Воспитание страны производилось нашими врагами; она будет голосовать за своих наставников». Но — продолжает Бланки — «мое мнение не возобладало. С этого момента демонстрация была в моих глазах бесполезна (sans objet), и я бы никогда в нее не вмешался, если бы я мог предвидеть этот оборот».

И продолжая далее описание своего поведения во время манифестации 17 марта, Бланки пишет: «Я следовал за депутацией в Hôtel de Ville, я слушал адрес, речи, но с совершенным безразличием. Отказ или согласие мне были

[1] «Les Murailles révolutionnaires», t. II, стр. 324.
[2] Ibid.
[3] Société fraternelle centrale. 2-e Discours du cit. Cabet., стр. 14.
[4] «Les Murailles révolutionnaires» t. II, стр. 297.
[5] S. Wassermann — «Les clubs de Barbès et de Blanqui», стр. 71—72.

безразличны; цель ускользнула, даже мои товарищи меня не поняли. Вот что об'ясняет мою позицию 17 марта, которую интерпретировали, по обыкновению, как черный замысел. Это было молчание покорности и упадка духа» [1].

Бланки, действительно, вел себя 17 марта пассивно, не выступал нигде и как будто стушевался, не пытаясь руководить движением. Причины этой пассивности, как мы видели, Бланки поведал нам сам. Становится совершенно ясно, что легенда о заговоре Бланки 17 марта, о том, что он в этот день хотел использовать манифестацию в целях изгнания из правительства умеренных элементов, не выдерживает никакой критики [2]. Прекрасно учитывая соотношение сил, понимая, что манифестация 17 марта направлена на поддержку лозунгов, которые ни в каком случае этого соотношения сил не изменят,—Бланки, не желая мешать ходу событий, предпочел остаться в стороне.

V

Нужно отдать справедливость предвидению Бланки. Известно, что Временное Правительство пошло на уступки: выборы были отсрочены—в национальную гвардию до 5 апреля, а в Национальное Собрание до 23 апреля, но положение от этого не изменилось в пользу народных масс. Насколько наивно звучит речь Кабе, произнесенная им в тот же день в его клубе Центральное братское общество. «Слава парижскому населению!—говорил Кабэ,—сегодня оно не дралось на баррикадах, но оно одержало победу, которая будет иметь, быть может, не меньше последствий для народа, победу, которая будет иметь не меньше откликов во Франции и во всей Европе... Мы одержали победу без сражения, и эта победа кажется мне по своим последствиям неисчислимым благодеянием; когда народ оказывается столь единым, столь твердым, можно надеяться, что отныне не будет больше попыток внутри к возмущению общественного порядка и что внешние враги не сумеют больше воспользоваться нашими внутренними разногласиями, чтобы осуществить губительные для свободы проекты, которые они могли бы выдвинуть против независимости нашей страны» [3].

---

[1] S. Wassermann—op. cit., стр. 72.

[2] Луи Блан, который совершенно не понимает смысла событий, с наивным прекраснодушием приписывает себе заслугу в вопросе о мирном исходе манифестации 17 марта. «17 марта—пишет он—нечего было опасаться, что правительственные барабаны подадут сигнал к гражданской войне; 17 марта существовал центр, Люксембургский Дворец, откуда мог быть дан толчок правильному движению, которое предотвратило бы всякий беспорядок»... (См. Луи Блан—op. cit., стр. 425). Опесывая манифестацию 17 марта, Луи Блан заявляет, что срени присутствовавших он заметил «незнакомые лица, в выражении которых было что то угрожающее. Я сей час не понял—продолжает он,—что к движению примешались посторонние карпорациям люди..., нетерпеливо желавшие опрокинуть тех членов Врем. правит., которые держались противополижных мнений» (Луи Блану, Ледрю-Роллену, Флагону и Аьберу. *Г. З.* См. Ibid., стр. 342). На самом деле, «посторонние корпорациям люди», во главе с Бланки вовсе не собирались лого-либо опрокидывать: лозунги манифестации были совсем иные.

[3] Société fraternelle centrale. 3-e Discrours du citoyen Cabet. Seance du 17 Mars, стр. 3—4. Курсив Кабе — *Г. З.*

То, что казалось Кабе «неисчислимым благодеянием», справедливо расценивалось революционерами, как признак слабости революции. Бланки и пытается с этого момента организовать все истинно революционные элементы столицы. 25 марта в ответ на призыв клуба Барбеса организовать «Клуб клубов» появляется следующее воззвание: «К демократическим клубам Парижа.

«Республика будет ложью, если она станет только заменой одной формы правительства другой. Недостаточно изменить слова, необходимо изменить вещи. Республика—это освобождение рабочих, это—конец царства эксплоатации, это наступление нового порядка, который освободит труд от тирании капитала. Свобода! Равенство! Братство! Этот девиз, который горит на фронтонах наших зданий не должен стать пустой оперной декорацией. Довольно побрякушек (Point de hochets)! Мы больше не дети. Нет свободы, когда нет хлеба. Нет равенства, когда изобилие выставляется напоказ наряду с нищетой. Нет братства, когда работница валяется со своими умирающими с голода детьми у дверей дворцов. Работы и хлеба! Существование народа не может отдаваться на милость махинаций и недоброжелательства капиталистов». В заключение все народные общества, разделяющие эти принципы», приглашались на собрание для организации «Центрального избирательного комитета» [1].

Подписано воззвание Бланки, Дезами и др. Характерно отметить, что подписи Кабе нет под этим воззванием. Известно, что из попытки организовать «Центральный избирательный комитет» ничего не вышло—на собрании присутствовало всего 25 клубов, в то время, как «клуб клубов» об'единил уже на первом собрании 71 клуб [2]. Революционные коммунисты-бланкисты и бабувисты—явно оказывались в меньшинстве: большинство парижских рабочих шло либо за Луи Бланом, либо за Барбесом, привлеченное его расплывчатыми, якобинскими формулами. Даже Кабе, который, как мы видим, выступал значительно умереннее Бланки, и тот оказался менее популярным среди народных масс, чем мелкобуржуазные демократы.

Мы не ставим себе задачи дать исчерпывающую картину поведения Бланки во время революции. Для того, чтобы судить о *тактике* коммунистов во время революции нам достаточно будет бегло остановиться на событиях 16 апреля и 15 мая. После 15 мая революционные коммунисты оказываются из'яты из обращения—они либо арестованы, либо уходят в подполье. Реакция торжествует. Если, как мы видели, инициатором манифестации 17 марта были не революционные коммунисты, а Кабе, если 17 марта Бланки вовсе не собирался свергать правительство,—то поведение революционных коммунистов после 17 марта надо считать переходом к несколько новой тактике, к старанию об'единить все истинно революционные элементы в отдельную центральную организацию с совершенно четкими лозунгами — *против буржуазной республики за социальную*. Эта новая

[1] La voix des clubs, journal quotidien des assemblées populaires. Dimanche 26 Mars 1848 № 15.

[2] S. *Wasserman*—«Les clubs de Barbès et de Blanqui», 83—84.

тактика и вызвала усиленное наступление реакции: документ Ташеро, имевший целью дискредитировать виднейшего коммунистического вождя, является важнейшим шагом в этом направлении.

16 апреля против Бланки и революционных коммунистов вообще об'единяются не только реакция и правительство, но и такие революционеры-демократы, как Барбес. «Барбес—пишет Прудон—от имени клуба революции, участником которого я был вместе с Пьером Леру и который заседал тогда непрерывно, обратился к правительству, чтобы защитить его и к нему присоединиться. Мы ничего не знали в точности о том, что происходит: были ли это белые или красные, которые угрожают республике; находясь в неизвестности, мы об'единились вокруг власти, как вокруг знамени революции» [1]. Единый фронт против коммунистов в день 16 апреля увлек за собой и часть рабочих масс. Бланки, оценивая события 16 апреля, подчеркивал именно это обстоятельство: «он говорил,—читаем мы в отчете о вечернем заседании клуб «Центр. респ. о-ва» в тот же день—что наибольшую печаль ему доставило зрелище большой массы заблуждающихся братьев (так называл он рабочих, которые находились среди национальной гвардии), выступающих вместе с реакцией. Он прибавил, что этот триумф, этот энтузиазм штыков был слишком труслив, чтобы длиться долго: что посреди этой толпы ему было невозможно встретить взгляд, который смотрел бы прямо; наконец, он заявил, что необходимо доверие, мужество и терпение, в ожидании великого дня реванша» [2].

Оценка Кабе событий 16 апреля совершенно иная: он стремится оправдаться, стремится доказать, что коммунисты не принимали участия в событиях 16 апреля, что они были заняты в это время «своими внутренними делами», в частности обсуждением вопроса: «какими способами ускорить наш от'езд, чтобы присоединиться к нашим братьям, которые находятся уже в Икарии». Он вновь повторяет, что икарийцы-коммунисты не против собственности, семьи, брака, что они за демократию, за благосостояние «всех людей», и высказывает надежду, что «гроза пройдет, рассудок сменит безумие и страсти, после обсуждения и споров люди станут более справедливыми, и высшие классы, которые сегодня являются, быть может, нашими злейшими врагами, когда-нибудь признают, что истина, порядок, братство и глубокое чувство человечности обретается у нас» [3].

Если Кабе, как мы видим, оправдывался и отрекался от всякого участия в событиях и, действительно, в дальнейшем коммунисты-икарийцы не принимают участия в народных выступлениях, то Бланки, призывая к «мужеству и терпению, в ожидании великого дня реванша», готовился к новым боям. Деятельно подготовляясь к выборам, продолжая критиковать поведение Временного Правительства, «Центральное республиканское общество» одновременно сделало попытку перестроить свои ряды для нелегальной работы. На заседании 17 апреля О-во постановило организоваться на основе преж-

[1] Proudhon — «Les confessions d'un révolutionnaire». Paris 1899, стр. 82—83.

[2] «Commune de Paris» от 19 апреля 1848 г.

[3] Société fraternelle centrale. 9-e Discours du cit. Cabet. Séance du 24 Avril. Paris 1898, стр. 8—9.

них тайных обществ и назначило начальников секций. Попытка эта, правда, как будто практического значения не имела, в дальнейшем—по словам Сусанны Вассерман—речи об этом не было [1]. Однако это постановление имеет огромное значение и показывает, что с этого момента революционные коммунисты понимали всю неизбежность победы реакции и перемены вследствие этого своей тактики. Подготовка к выборам, которую вел в то время клуб мешала развертыванию нелегальной работы, а поражение, которое коммунисты потерпели во время выборов, и последовавшая вслед за тем катастрофа в день 15 мая—явились сильнейшим ударом для работы революционных коммунистов, сошедших со сцены почти совершенно вплоть, как мы увидим, до февраля, марта 1849 г. Однако работа в подпольи продолжалась. Нам известен теперь текст договора (опубликованного т. Рязановым), заключенного около 1850 г. между Марксом и Энгельсом, с одной стороны, бланкистами (Видаль, Адам) и революционными чартистами (Гарни)—с другой [2]. Заключая договор об учреждении «Всемирного Общества Коммунистов—Революционеров», договаривающиеся стороны продолжали старую, испытанную, революционную тактику: об'единение всех подлинно революционных сил для борьбы всеми мерами против капитализма и реакции. Само собой разумеется, что «Всемирное Общество Коммунистов—Революционеров» было тайным обществом. Высказываясь против заговорщических методов борьбы, Маркс иЭнгельс вовсе не отрицали необходимомсти нелегальной организации. Лучшим доказательством является редакция первого пункта Устава Союза Коммунистов, относящаяся к концу 1850 г., т.-е. к тому же приблизительно времени, когда было учреждено «Всем. Обществом Ком.-Рев.»: «Цель Союза Коммунистов,—гласит этот пункт,—добиться при помощи всех средств пропаганды и политической борьбы, разрушения (Zerstümmerung) старого общества, духовного и политического освобождения пролетариата, коммунистической революции. Союз—тайный и не будет распущен, пока пролетарская революция не добьется своей конечной цели» [3].

Вернемся, однако, к клубу Бланки и подготовке к выборам. Что касается кандидатов, которых выставляло «Центральное республиканское о-во», то список их довольно пестрый: в первых списках мы находим людей от Клемана Тома, республиканца из «National»—до Дезами, вождя бабувистов. Окончательный список—несколько более однородный и составлен из левых республиканцев: от Ледрю-Роллена до Бланки. Эта пестрота кандидатов, выставляемых самым революционным клубом Парижа,—повидимому, является результатом тактики, принятой не только бланкистами, но и бабувистами.

По крайней мере, в цитированной нами газете Дезами, так же, как и в его предвыборном воззвании [4] мы читаем: «Демократы, социалисты, ком-

[1] S. Wasserman—«Les clubs de Barbès et de Blanqui», стр. 133.

[2] «Бюллетень Института Маркса и Энгельса» № 1, стр. 11. Перепечатано в «Историке-Марксисте» т. I, стр 325—326.

[3] Wermuth und Stieber—«Die Kommunisten—Verschwörungen». Berlin 1853. Ср. этот пункт со статьей первой Устава «Всем О-ва Ком. Рев.».

[4] Дезами не фигурирует в окончательном списке кандидатов «Центрального республиканского общества», и выступал на выборах самостоятельно.

мунисты всех направлений,—об'единяйтесь каким угодно способом. Об'единяйтесь в десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч.... Какое значение, в самом деле, имеют наши различия по вопросу о путях и средствах, если мы согласны относительно исходной точки, принципов и цели? Мы ищем царства будущего (la cité future), различие в путях поисков является само условием прогресса»[1].

Однако эта осторожная тактика выставления совместных с левыми республиканцами кандидатов не дала коммунистам успеха. Наоборот, результаты выборов в Национальное собрание оказались совершенно катастрофическими для коммунистов: ни Бланки, ни Дезами, ни Кабе не были избраны.

Из пестрого списка, выставленного клубом Бланки, попало в Национальное Собрание всего пять человек: из них четверо являлись членами Временного Правительства—Луи Блан, Ледрю-Роллен, Флокон и Альбер. Реакционный состав национального собрания превзошел все пессимистические предсказания: характерны слова, произнесенные Бланки немедленно после выборов: «гражданская война должна неминуемо разразиться и пролитая кровь падет на голову национальной гвардии, которая провоцирует гражданскую войну всеми своими действиями»[2].

Прекрасно понимая, что буржуазно-монархическая реакция, укрепившись, постарается спровоцировать пролетариат на то,чтобы начать гражданскую войну, Бланки всеми мерами старался, с одной стороны, разоблачить поведение буржуазии, а с другой—удержать пролетариат от преждевременного выступления. В свете, именно, этой единственно верной при создавшихся с победой реакции и изоляцией коммунистов тактики,—становится совершенно ясным поведение Бланки в день 15 мая. Движение 15 мая было движением стихийным: лозунг освобождения Польши скрывал в себе нечто другое—протест народных масс против реакции. Роспуск Национального Собрания, провозглашенный Юбером, который оказался, как выяснилось потом, провокатором, был также совершен под стихийным напором масс. Что Бланки великолепно понимал всю бессмысленность роспуска Национального Собрания,—видно из его последующих признаний: Сюзанна Вассерман приводит интересный отрывок из неопубликованных рукописей Бланки, являющихся подготовительными материалами к защитительной речи на Буржском процессе. «Совершали глупость—пишет он о роспуске Национального Собрания,—все фатальные последствия которой я представлял себе, и, так как я, в общем, сохраняю хладнокровие, я обратил глаза к часам: было четверть пятого, и я мог себе сказать: «Вот час великой ошибки!». Составляли различные списки правительства, которые бросали в толпу. На трибуне ни один список не был провозглашен. Я не оставлял своей скамьи, откуда я смотрел с жалостью на это сумасшествие. Это был пароксизм безумия»[3].

[1] «Les Droits de l'Homme» № 1. См. также предвыборную листовку Дезами: «Aux ouvriers. Candidature à l'Assemblée Nationale».

[2] S. Wassermann—«Les clubs de Barbès et de Blanqui», стр. 145.

[3] S. Wassermann—op. cit., стр. 180. Даже Луи Блан признает, что Бланки от роспуска Нац. Собр. «ничего хорошего не ожидал, но он (Бланки) не счел разум-

Таким образом, не может быть сомнения в том, что Бланки был категорически против роспуска Национального Собрания. Роспуск этот был бутафорским актом, так как организованных масс, поддерживающих тех, которые распускали Национальное Собрание, не было. Бланки трезво учитывал обстановку 15 мая, как он учитывал ее с начала революции. Для того, чтобы совершить новое 10 августа, чтобы взять «реванш», т.-е., чтобы захватить власть, не было наличия тех условий, которые Бланки считал необходимыми с первых дней революции: массы были дезорганизованы, крестьянство настроено против города, реакция была сильна несознательностью городских масс и ненавистью деревни против городских «раздельщиков» [1].

Только поддающимся стихии, не способным к подлинному руководству и плетущимся в хвосте масс мелкобуржуазным революционерам типа Барбеса, либо провокаторам типа Юбера могло прийти в голову пойти на авантюру роспуска собрания, обреченную на явную неудачу и могущую повлечь за собой лишь обескровление масс. «Пароксизм безумия», о котором писал Бланки, оказался прелюдией к кровавым июньским дням. Но движение июньских дней, независимо от об'ективных условий, делавших невозможным победу рабочих в 1848 г., было тем легче разгромить, что 15 мая буржуазия, воспользовавшись «пароксизмом безумия» малосознательных масс, бросила в тюрьмы выдающихся вождей рабочего класса и тем обескровила революцию [2].

ным—продолжает Луи Блан—противиться чувству, которое, повидимому, всюду брало верх. Он настаивал только на двух пунктах: чтобы манифестация была спокойной и чтобы на нее отправились без оружия. Он прибавил: «не нужно даже, чтобы из Нац. Собрания можно было видеть народные полчища». См. Луи Блан—op. cit., стр. 424. На Буржском процессе Ламартин, в общем, подтвердил показания Бланки. См. показания Бланки в «Gazette des Tribunaux» от 1 марта 1849 г.

[1] В интересной статье, напечатанной в 5 т. Б. С. Э. т. Красный отмечает новую тактику Бланки во время революции 48 г. по сравнению с его тактикой в 30-е годы. Беглый обзор поведения Бланки, сделанный нами здесь, подтверждает правильность точки зрения т. Красного. Непонятно только, почему т. Красный утверждает, что Бланки пришел к диктатуре пролетариата только после революции 1848 г. Нам известен документ, приведенный в книге Вассерман, относящийся к 1851, в котором Бланки писал, что предпосылкой успешной революции является: «всеобщее разоружение буржуазной гвардии. 2. Вооружение и организация в национальную милицию всех рабочих... Франция — продолжает Бланки — ощетинившаяся вооруженными трудящимися, — это приход социализма. Перед пролетариями, опирающимися на свои ружья, препятствия, сопротивления, невозможное — все исчезнет!..» (См. Wassermann — «Les clubs de Barbès et re Blanqui», стр. 56). То, что изображает здесь Бланки, это — конечно, диктатура пролетариата, но требование его вооружить пролетариат и разоружить буржуазию—фигурировали и в многочисленных воззваниях клуба Бланки во время революции, а «новое 10 августа», о котором говорил Бланки 25 февраля 1848 г., — что это, как не псевдоним установления революционной диктатуры?

[2] Пролетариат — писал Маркс в «Классовой борьбе во Франции» — ускорил решение, ворвавшись в Национальное Собрание и сделав безуспешную попытку возвратить свое революционное влияние; он только отдал своих энергичных вождей в руки тюремщиков буржуазии». В той же работе Маркса мы находим следующую фразу: «15 мая Бланки, Барбес, Распайль и др. сделали попытку разогнать учредительное собрание, проникнув во главе парижского пролетариата в зал его заседа-

VI

На этом можно было закончить наш краткий очерк поведения коммунистов во время революции 1848 г.: ни в июньские дни, ни в последовавший за ними период деятельности Национального Собрания участие коммунистов в событиях не видно—по крайней мере, в известных нам документах и исследованиях эпохи о деятельности коммунистов ничего не говорится, если не считать ругательств и инсинуаций, которыми осыпала реакция томившихся в тюрьмах вождей и их «разделительские» теории. О новом появлении на политической арене коммунистов, можно говорить только в связи с выборами в Законодательное Собрание весной 1849 г. и начавшимся политическим оживлением левых групп, об'единившихся вокруг Горы и составивших так назыв. «социально-демократическую партию». В Парижской Национальной Библиотеке нам удалось найти газету коммунистов-бабувистов «Le Communiste» [1], оставшуюся совершенно неизвестной исследователям этой эпохи. Газета содержит пространное изложение доктрины бабувистов и имеет целью раз'яснить публике программу Шарассэна и Савари, выставленных кандидатами на выборах в Законодательное Собрание [2]. В передовой статье, озаглавленной «Que nous sommes?», газета ставит следующий вопрос: «Что такое коммунизм (communauté)?» «Коммунизм — отвечает автор статьи—это е д и н с т в о во всей общественной организации, как для людей, так и для вещей; это единение, гармония, согласие, мир. Коммунизм, это — н е д е л и м о с т ь (l'indivisibilité), это—противоположность федерализму. Коммунизм, это — принцип участия всех людей, без исключения: в правительстве, в воспитании, в работе, должностях, в наслаждениях. Коммунизм — это об'единение всех благ, всех доходов, всех интересов, всех усилий» [3]. Возражая против тех, которые считают коммунизм утопией, газета заявляет, что многое, что казалось раньше химерой, теперь оказывается реальностью: статья приводит примеры с применением пара в промышленности, газа в освещении, гальванизации металлов, электрического телеграфа и «других чудес», как, например, «недавнее открытие компаса, типографского искусства, гравирования,

---

ний». Таким образом, Маркс приписывает Бланки одну из руководящих ролей в деле разгона Национального Собрания, но приведенное в конце его суждение о том, что 15 мая пролетариат «только отдал своих энергичных вождей в руки тюремщиков буржуазии», свидетельствует о том, что Маркс прекрасно понимал все отрицательные результаты этого стихийного акта парижского пролетариата. Бланки, против своей воли, стал одним из главарей этого разгона. Как подлинный революционер, он не дезертировал и шел с массами, хотя и в глубине души понимал, что это — «час великой ошибки». Таким образом, отношение Маркса к движению 15 мая ничем не отличается от поведения в этот день самого Бланки.

[1] Полное название газеты: «Le Communiste, journal mensuel». Вышел только один номер (1-re année № 1, Mars 1849) под редакцией J. Gay. Ге один из друзей Дезами, редактировавший вместе с ним в 1843 г. «Almanach de la communauté».

[2] См. V. B o u t o n.—«Profils révolutionnaires. Par un crayon rouge». Paris 1848—49. Изложив доктрину Дезами и бабувистов, вообще, Бутон сообщает: «Шарассэн, Савари и некоторые другие социалисты мая 1849 г. являются продолжателями этих доктрин». Стр. 156.

[3] «Le Communiste».

открытие Америки, Индии и Океании. Почему же, однако, спрашивает газета «на ряду с общим прогрессом человеческих знаний, одна наука об организации общества должна остаться неподвижной (stationnaire)? Не очевидно ли, что материальные открытия изменяют лик земли (face du monde) и облегчают разрешение социальных проблем, не разрешенных до сих пор?»[1]. И не ясно ли—заключает автор статьи, что принципы «Свобода, Равенство и Братство», провозглашенные в 1793 г., не могут и не должны оставаться фикцией? «Достаточно ли сказать несчастным, умирающим с голоду: «Вы свободны, мы все равны, все братья; или надо принять необходимые меры, чтобы великие принципы стали реальностью? Вот в чем вопрос, граждане?»[2].

Повторяя вслед за Дезами[3] рассуждения о разделении труда, о свободном рабочем, о необходимости гигиенической обстановки при работе, о прекрасном настроении рабочего, как результате новой организации труда, газета уверяет, что при коммунизме «самые мощные машины, наиболее полезные процессы будут всюду установлены. Капиталы, т.-е. средства производства, и орудия труда будут предоставляться в изобилии и в нужный срок всюду, где в них будет необходимость». Об'единение усилий всего общества даст огромные, положительные результаты. «В каждом кантоне будет большое коммунальное здание, распланированное и построенное совместно лучшими архитекторами Республики; будут собраны чудеса и шедевры всех родов искусств, ныне рассеянные во многих местах и слишком часто теряемые. Обширная кухня, в совершенстве устроенная и оборудованная, позволит посредством той же суммы расходов, расстрачиваемыми тысячами плохих, маленьких, частных кухонь,—обеспечить обильный и комфортабельный стол для всех членов коммуны». Будут достигнуты экономия и увеличение, а не уменьшение богатств[4].

Отвечая на вопрос, «хотят ли коммунисты взять у богатых, чтобы дать бедным?», автор передовой отвечает, что в результате общественной реорганизации, предлагаемой коммунистами, «никто ничего не потеряет», а, наоборот, «все выигрывают». «Нас—продолжает газета—представляли перед жителями деревень, как раздельщиков, мы же не только не собираемся делить богатств, наоборот, мы стремимся их об'единить». Энергично высказываясь против «аграрного закона», газета заявляет, что разделение земли поровну между всеми усугубило бы еще несчастье, которое существует во Франции, насчитывающей 5 миллионов земельных собственников, которые, по существу, умирают с голоду[5]. Газета высказывается далее за полную свободу граждан и заявляет, что понимает под равенством не физическое равенство, а общественное и экономическое. Равенство может быть только в том случае, если все будут экономически равны: «Мы требуем—говорится в статье, — также и для женщин всех политических и гражданских прав. Ком-

---

[1] «Le Communiste».

[2] Ibid.

[3] См. его «Code de la communauté».

[4] «Le Communiste», статья «Que nous sommes?».

[5] Ibid.

мунисты вовсе не желают уничтожить семью, они только считают, что идеалом является общечеловеческая семья; коммунисты — материалисты и атеисты, они считают, что «единственная религия — это наука»[1].

Переходя к изложению конкретного проекта общественных реформ, газета намечает следующие основные моменты: «Человечество образует одну большую, братскую семью; земля является единым и нераздельным владением этой семьи; французский народ, признав эти истины, отказывается от названия французов и конституируется во всемирную семью, под названием Всемирной Республики; однако, в ожидании, что другие народы, признав в свою очередь эти истины, присоединятся к Всемирной Республике добровольно, и, побуждаемые собственным желанием, мы со скрупулезным уважением относимся к национальностям и их независимости. Все территории, принадлежащие Республике, а в будущем все земли всего земного шара образуют единственную и общую коммуну, или общность имуществ (communauté)». Эта коммуна делится на кантоны по 6.000 человек, которые управляются при помощи общего собрания граждан, «наподобие клубов». Для удобства обсуждения вопросов кантон может быть разделен, по желанию, на секции[2].

Во всей республике устанавливается общность имуществ (communauté). Что касается граждан, не желающих добровольно примкнуть к коммуне, то они не принуждаются к этому силой, наоборот, к их независимости относятся с уважением; однако для этих граждан устанавливается прогрессивно-подоходный налог: с 1.000 до 2.000 франков дохода налог в 1%, с 2.000 до 3.000 — в 2%, с 3.000 до 4.000 — 3% и свыше 20.000 франков 20% чистого дохода. Кроме того, устанавливается налог на наследство: до 10.000 франков — 10%, с прибавлением затем на каждую тысячу — 1%, а свыше 25.000 — 25%[3].

В коммуне немедленно уничтожается армия и военный бюджет, и таким образом, получается экономия в 2 млн. франков в день; затем уничтожается всякое содержание, выдававшееся священникам и другим упраздненным должностям, при чем уволенным, которые подают об этом прошение, предоставляется должность в одной из служб, установленных Республикой. Всех этих средств хватит на построение обширных дворцов с большим залом для собраний, библиотекой, выставками, залами для чтения и пр., конторами для общественной администрации, школами, помещениями для стариков, театром, банями и т. д. Эти здания будут окружены террасами для общественных прогулок, садами, вокруг них будут расположены промышленные мастерские и фермы. Этими благами, так же, как и общественным воспитанием детей, будут пользоваться все граждане, как входящие в коммуну, так и не входящие в нее, граждане же члены коммуны сверх того должны работать согласно их силам и способностям, за что получают право на жилище, питание, одежду и содержание согласно их потребностям и вкусам. При чем, в коммуне граждане работают восемь часов в день[4].

---

[1] Ibid. Курсив наш — *Г. З.*

[2] «Le Communiste», статья «Nos projèts».

[3] Ibid. Это о прямых наследствах. «Les successions collatérales — прибавляет газета «payeront double droit».

[4] Ibid.

Программа, изложенная газетой «Le Communiste», как будто списана у Дезами, развивавшего идеи Бабефа: мысли о социальной науке, которыми должно руководствоваться общество, огромное значение, придаваемое развитию техники и искусства, новая организация труда, единая неделимая коммуна, подоходный налог на граждан, не входящих в коммуну, т.-е. на буржуазию, гуманитарные идеи об общественном воспитании всех детей, независимо от их происхождения, о городах-садах, материализм и атеизм—все это можно найти у Бабефа и в более развитом виде у вождя бабувистов 40-х годов, Теодора Дезами. Но, если эти основные принципы, образующие конечную цель, к которой стремятся коммунисты, по существу вошли в железный инвентарь научного социализма также, и в этом смысле сохраняют интерес до наших дней—то пути достижения этой конечной цели, которые выдвигала газета «Le Communiste», наивны до чрезвычайности. Если в произведениях Дезами мы можем найти, кроме довольно пространного изложения переходного периода, понимание о необходимости революционной диктатуры, опирающейся на массы,—то никакого упоминания об этом в газете «Le Communiste» мы не найдем.

Выставляя свою программу и агитируя за своих кандидатов, газета надеется на то, что... законодательное собрание проведет эту программу в жизнь. «Необходимо только—обращается газета к читателям,—чтобы вы этого захотели, граждане, и, благодаря всеобщему избирательному праву, все это не сможет быть у вас отобрано, оно естественно наступит» [1]. Недооценка до революции всеобщего избирательного права, которая характерна для бабувистов, превратилась, повидимому, под влиянием разгрома революционных организаций, в свою противоположность—в переоценку могущества избирательного бюллетеня. Газета открещивается от всякого насилия. Мы вовсе не за насилие—читаем мы в уже цитированной нами статье—только отчаяние толкает народ на восстания. Мы знаем, что наука спасет человечество. Поэтому мы—за спокойствие, поэтому сен-симонисты, Фурье, Оуэн, Кабе и др. «все социалисты поддерживали мир», ибо «социализм—это наука, и необходимо спокойствие, чтобы хорошо ее изучить и понять». Именно те, которые обвиняют коммунистов в насилии, сами употребляют насилие: «Пушки, последний довод королей, являются также последним доводом аристократов. Это не мы, а они в тот момент, когда общественное презрение готово их низвергнуть, провоцируют народ на восстание, уверенные, что они это восстание подавят и продлят, таким образом, свою вызывающую отвращение власть. Ружья, пушки и самые многочисленные армии являются только орудиями угнетения и вовсе не служат для распространения науки и истины» [2].

За этими справедливыми тирадами против насилия господствующих классов следует вновь подчеркивание наивной веры во всемогущество всеобщего голосования. «Если—пишет автор другой статьи—даже тогда, когда мы не об'единены, наши кандидаты поддержаны большим числом, то, орга-

[1] Ibid.
[2] Ibid. Статья «Que nous sommes?».

низовавшись в совершенстве, мы вскоре проведем в качестве национальных представителей достаточное большинство наших друзей, чтобы законно установить учреждения, которые единственно могут дать счастье человеческому роду»[1].

Революционные коммунисты, особенно Бланки, боролись в период февраль—май 1848 года за использование всеобщего избирательного права всеми эксплоатируемыми: пролетариями и крестьянами. В момент, когда силы революции только лишь начали развертываться, при условии, что длительное воспитание народных масс окончательно эти силы развяжет,—можно было еще ожидать, что в Национальном Собрании большинство окажется в руках трудящихся, во всяком случае можно было использовать длительную предвыборную агитацию для организации масс, чтобы при помощи «восставших предместий» произвести «новое 10 августа». Между этой тактикой и верой бабувистов 1849 г., что через Законодательное Собрание можно будет «законно» установить чуть ли не полный коммунизм—дистанция огромного размера. Пацифистские речи бабувистов 1849 г.—плод разгрома революции: утопические мечты их знаменуют собой упадок бабувизма; последний, как отдельное течение в пролетарском движении Франции, с этого момента сходит с исторической сцены[2].

* * *

Нам остается сделать выводы, которые из нашего изложения вытекают сами собой. Неудача коммунистов во время революции 1848 г. была неизбежным результатом об'ективных условий эпохи: важнейшей движущей силой революции оказался пролетариат, а об'ективный смысл революции заключался в победе крупного производства над мелким, т.-е. в доделывании буржуазной революции. При том, будучи важнейшей движущей силой революции, пролетариат французский и, в силу мелкоремесленного своего состава и идеологического воспитания, полученного им в предшествовавшую эпоху, не понимал задач, стоящих перед ним, как классом. Он был всецело охвачен идеей, сводившейся, по выражению Маркса, к «воображаемому уничтожению классовых отношений. Это благодушное абстрагирование от классовых противоречий, это сантиментальное примирение противоречивых классовых интересов—пишет Маркс в «Классовой борьбе во Франции»,—это фактическое воспарение над классовой борьбой—fraternite—это слово было настоящим лозунгом февральской революции». Весь во власти этого лозунга, пролетариат отдавал свои симпатии «утопии», «доктринерскому социализму» Луи Бланов и других мелкобуржуазных социалистов, сыгравших роковую роль во

[1] Ibid. Статья «Nos projèts». Подчеркнутые нами слова звучат так: pour ètablir legalement les institutions qui seules peuvent faire le bonheure du genre humain».

[2] Мы не хотим этим сказать, что влияние бабувизма, как теории, вовсе перестает играть роль в рабочем движении: можно отметить влияние бабувизма, этого специфического французского социализма, даже на таких людей, как Гед. См. J. Guesde. — «Essai du catéchisme socialiste». Bruxelles 1878 г.

время революции. Поэтому революционный социализм, коммунизм, «для которого сама буржуазия изобрела имя Бланки» (выражение Маркса), оказался поддержанным только изолированным меньшинством рабочего класса, и потому он был обречен на поражение.

Но революционные коммунисты—бланкисты и бабувисты, — наиболее выдающимся вождем которых был Бланки, при всех своих недостатках (догматичность бабувистов, остатки демократических иллюзий у бланкистов и бабувистов, выражавшиеся в поддержке на выборах таких кандидатур, как Луи Блан и даже Ледрю-Роллен), оказались наиболее способными понять сложность обстановки и правильно учесть обстоятельства. Наш обзор тактики коммунистов во время революции показывает, что революционные коммунисты вовсе не были сторонниками восстания во что бы то ни стало. Буржуазия, которая стремилась всеми способами дискредитировать коммунизм, изображала бабувистов, и особенно Бланки, как «черных заговорщиков», конспираторов par excellence, «раздельщиков» и перманентных «путчистов». Эта легенда была впоследствии подхвачена реформистами-ревизионистами во главе с Бернштейном. Последний с усердием, достойным лучшей участи, на протяжении бесчисленного количества статей и книг услужливо распространял эту буржуазную ложь. Трудно сказать, чего в этих ревизионистских писаниях больше—невежества или лакейства,—но того и другого совершенно достаточно. Берем наугад одно место из «Социальных проблем» Бернштейна: по его словам, программой сторонников Бабефа было «ниспровержение буржуазии пролетариатом при помощи насильственной экспроприации. В февральской революции 1848 года клубные революционеры—продолжает Бернштейн—столь же часто обзывались «бабувистами» и «партией Барбеса» (?), сколько по имени того, кто за это время успел стать их духовным вождем, т.-е. Огюста Бланки». Чего только в этой фразе нет: «партия Барбеса» «бабувисты» и «бланкисты» смешаны в одну кучу, программа и тактика, которой бабувисты и бланкисты придерживались до революции, представлены, как незыблемые для революции 1848 г. Неудивительно, что Бернштейн с невинным видом утверждает, что «в Германии, на почве гегелевской диалектики, Маркс и Энгельс пришли к учению, совершенно сходному с бланкизмом», и что в циркулярах Союза коммунистов от марта 1850 г. «все экономические знания превращаются в ничто перед программою, иллюзорнее которой не мог бы составить любой клубный революционер». Однако изучение тактики бабувистов и бланкистов во время революции 1848 г. показывает, чем были «клубные революционеры», прекрасно понимавшие, что одним прыжком в царство социализма не перескочишь и что необходимы длительная организация масс и подходящие исторические условия для того, чтобы совершить «последнюю революцию». Даже эпигоны бабувизма в 1849 г., выставляя совершенно утопическую программу, вовсе не собираются, как мы видели, действовать путем заговора. Марксу, таким образом, нечем было заражаться от бланкизма или бабувизма 1848 г.—«путчистские» элементы, которые были у этих течений в 30—40-х г.г., Маркс отбросил еще в начале 40-х годов. А во время революции он мог только следить с величайшим одобрением за основной линией поведения «клубных революционеров» типа

Бланки, который оказался проницательным и весьма трезвым революционным тактиком. Именно это обстоятельство и сблизило марксизм и бланкизм и заставило Маркса и Энгельса подписать наряду с бланкистами в эту эпоху документ об организации «Всемирного Общества коммунистов-революционеров». Ревизионистские писания о «путчистских» влияниях бланкизма на Маркса в эпоху революции 1848 г., таким образом, оказываются жалкой клеветой, нарочитое невежество Бернштейна перестает служить прикрытием для одной из самых живучих легенд, которую распространяла про пролетарских революционеров буржуазия.

ДОКЛАДЫ В ОБЩЕСТВЕ

Диспут о книге Д. М. Петрушевского

(О некоторых предрассудках и суевериях в исторической науке) [1]

I заседание

Заседание открывает т. Кушнер. Об'являю заседание социологической секции открытым. Сегодня у нас в порядке дня дискуссия по вопросам, возникшим в связи с книгой проф. Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы». Не случайно тема дискуссии совпадает с названием первой главы в книге проф. Петрушевского: «О некоторых предрассудках и суевериях, тормозящих развитие науки средневековой истории». Мы считаем, что сама по себе книга является знамением времени. Она заострена против некоторых старых теорий, которые пользовались одно время большим распространением и в настоящее время значительно уже устарели, против теории германистов, но еще больше, пожалуй, заострена она против марксизма, как определенного течения философского и исторического, освещающего исторические факты под определенным углом зрения.

Мы считаем, что обсуждение этой книги, вернее даже—не самой книги, а вопросов, которые из нее вытекают, которые в ней, может быть, вскользь затронуты, может привести к выяснению некоторых спорных вопросов среди самих марксистов-историков, должно выявить ваше отношение к ряду новых течений в западно-европейской науке, в частности к теории Допша, которая до сих пор у нас в обществе еще не подвергалась разбору.

Желающих выступать я прошу записаться. Можно говорить или целиком о книге, или выделяя отдельные вопросы.

Я предоставляю слово т. Кривцову.

С. С. Кривцов

Товарищи, я не «спец» по средневековой истории и об этой части книги Петрушевского говорить не буду. Должен только отметить, что в свое время, в мои университетские годы, мне приходилось, конечно, сдавать курс средней истории проф. Петрушевского. Постольку, поскольку я сравнивал те высказывания, которые были у него в лекциях и зафиксированы в известных «Очерках по истории средневекового общества и государства», с его новой книжкой: «Очерки экономической истории средневековой Европы», я не мог не обратить внимание на существенные изменения, начиная с самого заглавия,—эти изменения носят весьма и весьма важную принципиальную методологическую установку. Я уже не говорю о том, что само представление о феодализме и о других основных категориях истории средних веков, которые рассматривает проф. Петрушевский в этих двух книгах, рассматриваются с диаметрально противоположных точек зрения. Возьмите самое заглавие. В то время как в

[1] Стенограмма заседаний социологической секции о-ва историков-марксистов от 30 марта и 6 апреля 1928 г.

первой книге автор обращал внимание преимущественно на общественные отношения, в последней книге он рассматривает феодализм, как, главным образом, предмет государственного образования. Я имею в виду некоторую, так сказать, общую установку, о чем буду говорить в конце своих небольших замечаний.

Я хотел бы прежде всего остановиться вот на каком моменте. Книга проф. Петрушевского помимо того, что дает определенный конкретный исторический материал, дает также возможность подходить к тем проблемам общей методологии истории, которых она касается. Его книги всегда отличаются общими принципиальными установками, и, если мы с такой принципиальной установкой подойдем, то мы увидим, что один и тот же вопрос, один и тот же предмет интересует проф. Петрушевского как в первой его книге «Очерки по истории средневекового общества и государства», так и в последней «Очерки по истории средневековой Европы», хотя между ними расстояние, примерно, свыше 20 лет. Какой же это общий вопрос? Этот вопрос, который нам приходится разрешать методологически и в истмате и в философии, это вопрос об отношении общего к единичному, о правильной установке этой роли общего и конкретного. От определенной постановки этого вопроса и разрешения его зависят все те приключения, если так можно выразиться, которые произошли с Д. М. Петрушевским. Мы считаем, что нет изолированного ни одного общего, ни одного единичного. Мы говорим, поэтому об единстве. В нашей марксистской исторической литературе мы имеем великолепные образчики такого об'единения общего и единичного. Я имею в виду теоретические работы Ленина. В самом деле, если возьмем его книгу «Развитие капитализма в России», то мы увидим, что Ленин, исходя из общей истории капитализма, вместе с тем, с помощью этой общей теорией капитализма имеет возможность проследить то особенное, то индивидуальное, что имеется в русском капитализме. Благодаря этой двуединой точке зрения, ему удается подчеркнуть не только то общее, что имеется в русском капитализме, но и нарисовать в общих красках то индивидуальное, что имеет принципиально важное значение при установлении той или иной тактики и т. д. Этот вопрос об отношении общего к единичному, повторяем, в высшей степени занимает проф. Петрушевского. Но, если мы посмотрим на то решение, которое он дает в первых своих произведениях и в последней своей книге, то мы имеем диаметрально противоположное решение.

На первой книге я останавливаться не буду, это для нас не столь интересно. Остановимся на решении этого вопроса, которое он дает в своей последней книге. Он становится на точку зрения Канта, а с точки зрения кантианства это примирение общего и единичного, по-моему, невозможно. В предисловии проф. Петрушевского мы видим, что один из основных его постулатов, совершенно четко идущий за Кантом, заключается в том, что с точки зрения Петрушевского действительность вообще непознаваема. Это сказано на 22 странице его книги. Исходя из этого общего положения, проф. Петрушевский указывает сам на значение гносеологии Канта. Отсюда проистекает ряд моментов принципиальной установки, которые дают возможность методологически подойти к самой книжке, к самому методологическому подходу проф. Петрушевского. На трансцендентальных предпосылках всякой науки о культуре Макса Вебера (стр. 30) может быть остановятся другие товарищи.

В своем первом предисловии проф. Петрушевский указывает на недостатки Эд. Мейера, когда тот выступил вслед за Риккертом. А в книжке 1914 г. он идет за Риккертом. Теперь он идет еще дальше и идет вслед за известным Максом Вебером. В сущности он пересказывает работу Макса Вебера и нигде не говорит, что он не согласен с ним. Отсюда можно сделать вывод, что он вполне солидаризируется со взглядами М. Вебера. Проф. Петрушевский дает несколько важных методологических установок, указывает,

что трансцендентальная предпосылка всякого исторического знания заключается в том, что мы можем становиться в определенные отношения к миру и сообщать ему тот или иной смысл. Что это значит? В сущности, это значит, что мы должны примыслить этот мир и должны дать ему то или иное оправдание. Это уже есть телеология. Известно было выражение Канта о том, что наша мысль диктует законы миру,—вариацию этой мысли мы видим в данных положениях проф. Петрушевского, когда он говорит,—я в данном случае не расчленяю взглядов Макса Вебера от взглядов проф. Петрушевского—что мысль упорядочивает действительность. Таким образом, мы возвращаемся к идеализму. Эта мысль является, в конце концов, как бы демиургом действительности. Даже больше: нужно взять действительность и, как выражается сам Петрушевский, пригнать ее к идеальному типу. До сих пор всегда только марксистов обвиняли в том, что к Прокрустову ложу теории мы примеряем действительность, причем неправильно; у Петрушевского мы видим какой-то идеальный тип, к которому нужно подогнать действительность; т.-е. подлинное Прокрустово ложе.

Откуда же эта самая мысль, этот идеальный тип? Оказывается, что это есть ни что иное, как результат вышколенной, выдрессированной фантазии. Таким образом, приходим мы к определенному суб'ективизму постановки того или другого историко-методологического вопроса. Это вопрос в высшей степени важный и интересный. Итак, мы отсюда совершенно четко видим, что для проф. Петрушевского совершенно одинаково законна всякая, любая точка зрения, т.-е. плюрализм. Возможна и множественность взглядов—плюрализм,—множественность типов, множественность идеально-типового построения истории, к которой мы должны подгонять об'ективную действительность, и это не только не плохо,—этот плюрализм,—но, наоборот, по мнению проф. Петрушевского, очень хорошо.

Что же эта мысль, к которой мы должны подгонять действительность, что она из себя представляет? Тут проф. Петрушевский производит один очень любопытный подмен. Он говорит, что история до сих пор устанавливала определенные законы, закономерности и т. д. Но проф. Петрушевский этим не ограничивается. По его мнению, эти самые общие законы являются равными, адекватными, равнозначными общим понятиям, о чем он говорит на 21 странице, причем эти общие понятия вневременны и внепространственны. И отсюда он идет к рассмотрению, вслед за Риккертом, образования этих самых общих понятий. Ясное дело, что раз эти мысленные конструкции в конце концов вневременны и внепространственны, они являются явлениями чистой фантазии. Отсюда они, очевидно, могут быть проверены только с точки зрения формальной логической конструкции. И действительно, Петрушевский эти свои идеальные типы называет логическими конструкциями, иначе мысленными утопиями. Мы подошли тут к основному месту методологического подхода Петрушевского. Он говорит, что те мерки, с которыми мы должны подходить к общественному явлению, будут являться как раз мысленными утопиями. Что такое эти мысленные утопии? Мне думается, что здесь проф. Петрушевский, в противоположность прежнему проф. Петрушевскому, становится на имманентную точку зрения, аналогичную кантовскому долженствованию: этого нет, но это должно быть, и мы должны к этому стремиться. Мы строим таким образом ту или иную логическую утопию. Эти утопии различаются по своим типам, причем наиболее утопической из утопий, как выражается проф. Петрушевский, является социологическая утопия, то-есть наиболее утопической утопией в конце концов являются исторические категории, исторические понятия и т. д. Интересно рассмотреть, как же с этими категориями мы будем подходить к конкретному историческому материалу. И здесь мы сталкиваемся с основной ошибкой, с повторением той основной ошибки, которую еще давно высказывал Риккерт в знаменитом

положении, что в исторической науке, в науке о культуре мы имеем дело с отнесением к определенным ценностям,—не оценка данных явлений, а отнесение их к определенным культурным ценностям.

Здесь сразу должен заинтересовать нас вопрос: эти ценности, к которым мы должны, по мнению проф. Петрушевского, относить то или иное историческое явление, в конце концов на чем-нибудь базируются или же являются свободным полетом творческой фантазии, правда, как сказано, вышколенной в тех или других рамках, в той или другой школе? Имеются ли критерии этих ценностей и где их искать? Оказывается, что критерия этих ценностей не имеется. Даже больше всего,—вместо этого дается простое указание на то, что существуют общепризнанные ценности, к которым мы и должны относить то или иное общественное явление.

Но понятие общепризнанности в конце концов ставит вопрос: кто признает, какая группа? Что же, всеобщим голосованием что ли решать? Весьма трудный вопрос. Нас должен интересовать вопрос, откуда же берется эта общепризнанная ценность. И вот здесь мы сталкиваемся с резким противоречием между старым проф. Петрушевским и новым проф. Петрушевским.

Во «Введении» 1907 г. он указывал на доверие, которое он имеет к историческому материализму. Между прочим, в скобках скажу, что в первой своей работе он называет еще марксизм прямо историческим материализмом. В новой книге—мы имеем уже атаки проф. Петрушевского, направленные против марксизма, против диалектического материализма, но это завуалировано. Здесь говорится о так называемой методологии натурализма, а методологией натурализма по существу и является марксизм. Это, видимо, делалось по цензурным соображениям,—но это одно и то же. Вот здесь мы имеем опять резкое столкновение между старым проф. Петрушевским и новым проф. Петрушевским. В старой своей книге он указывает, что как бы ни относиться к историческому материализму, как бы далеко он ни заходил в отдельных своих высказываниях, но одна непререкаемая громадная методологическая заслуга признается за ним проф. Петрушевским. Какая заслуга? Заслуга марксизма в том, что он дал определенную методологию, определённую методологическую установку для подхода к изучению социологических форм,—он дал в этом отношении теорию базиса и надстройки, против которых будем возражать, но, говорит Петрушевский, я считаю, что на долгие годы это останется непререкаемым наследством исторического материализма, служа импульсом для дальнейших работ (стр. 10—12).

В новой работе Петрушевского этого не говорится. Он говорит, что мы должны брать данное явление и относить его к общепризнанной ценности. Эти ценности, несмотря на то, что сам проф. Петрушевский и указывал, что они являются общезначимыми, общераспространенными и общепризнанными, по существу носят всецело суб'ективный характер. Он говорит, что в самих об'ектах нет никакого критерия для их определения. Значит, никакого об'ективного критерия нет. Мы все отстаиваем таким образом определенную суб'ективную точку зрения. Мотив выбора в этом отношении особенно любопытен. Как же производится выбор того или другого явления, на котором нужно остановиться? Оказывается: «самое простое и бесхитростное описание исторического факта выбирает лишь самые характерные для него черты, оставляя в стороне все остальные, мало или вовсе ничего не дающие для понимания его в его культурно-ценной с той или иной стороны индивидуальности» (Петрушевский, «Очерки», стр. 50—51).

Опять, если мы спросим, чем же определить эти характерные черты, то в конце концов, кроме такого словесного, вербального описания, никаких масштабов мы не найдем. Это имеет, по-моему, весьма, и весьма важное значение. Это отсутствие об'ективного критерия опять приводит к той общей принципиальной кантовской установке, которой во всей этой работе

проф. Петрушевский рабски следует за Максом Вебером. Отсюда получается то, что можно поразмыслить мир, и мы скатываемся на точку зрения чистого суб'ективизма. Но вместе с тем оказывается, что здесь никак нельзя сводить концы с концами, что существуют не только суб'ективные истины, но существуют до некоторой степени и об'ективные истины. На 31 странице проф. Петрушевский пишет следующее,—при чем самое определение истины в высшей степени любопытно: «Но из всего этого все же, само собою разумеется, не следует, что и культурно-научное исследование может давать только результаты, которые суб'ективны в том смысле, что для одного они имеют значение (gelten), для другого не имеют. То, что меняется, есть скорее степень, в какой они одного интересуют, а другого не интересуют. Другими словами, что становится предметом исследования, и как далеко это исследование простирается в бесконечность причинных связей, это определяют господствующие над исследователем и его временем ценностные идеи; в том, как в методе исследования руководящая «точка зрения» является, правда, как мы еще увидим, определяющей для образования понятий, которые он применяет как вспомогательные средства, но в способе их применения исследователь, само собою разумеется, здесь как и везде, связан нормами нашего мышления. Ибо научная истина есть лишь то, что желает иметь значение (gelten will) для всех, кто желает истины» (Очерки, стр. 31). Приводя эту длинную цитату из Макса Вебера, подчеркнув в ней ряд мест, проф. Петрушевский не оговаривает своего несогласия с ней, почему мы вправе считать данные взгляды взглядами самого проф. Петрушевского.

В конце концов это ведет к тому, что автор становится на совершенно суб'ективную точку зрения. Это естественно, потому что, с точки зрения проф. Петрушевского, в исторических явлениях существует до известной степени по аналогии с Кантом какой-то бесконечный хаос катящегося во времени процесса. Мы ни начала его, ни конца ни знать, ни предвидеть не можем. Это не случайно. Если возьмете того же самого Макса Вебера, то мы встретим у него указание на в высшей степени интересное явление. Он говорит, что нас должно интересовать настоящее, но для того, чтобы понять настоящее, мы должны интересоваться прошлым. Ну, а будущим, спросите меня, можем мы интересоваться или нет? И на основе этого прошлого и настоящего можем мы какие-нибудь прогнозы ставить? Нет, этого мы не можем, — это будет знахарство, шарлатанство и т. д. Это нам совершенно не нужно. Из этого маленького анализа мы видим, что в сущности проф. Петрушевский становится на точку зрения чистого суб'ективизма, на точку зрения утопии. Он сам говорит, что эта идеальная конструкция есть ни что иное, как утопия, и совершенно закономерно, по его мнению, существует множественность этих утопий. Спрашивается, почему мы одну утопию проф. Петрушевского должны предпочесть «утопии» марксизма, я не вижу никакой методологической установки. Они одинаково приемлемы с его точки зрения—и та и другая: может быть даже до бесконечности этих утопий. А раз так, то никакой науки быть не может. В этом отношении здесь мы опять видим резкую противоположность построения проф. Петрушевского, старого проф. Петрушевского 1907 г., когда он спорил с Эд. Мейером, Риккертом и с другими «случайниками». Тогда проф. Петрушевский стоял на точке зрения обязательности социологизма, теперь он не стоит на этой точке зрения. Теперь он вместе с Максом Вебером берет определенную индивидуальность явления. Если взять его старую концепцию феодализма, он указывал тогда, например, что не только прав Эд. Мейер, когда он говорит о феодализме в Греции, о средневековьи в Греции, но, очевидно, феодализм и средневековье есть тот фазис, тот этап, через который всякое общество должно пройти. Теперь он стоит на совершенно иной точке зрения. Он говорит, что историческое, общественное развитие должно итти по определен-

ному пути. А для чего это нужно проф. Петрушевскому? А вот для чего. Скажем, возьмем капитализм. Для нас совершенно ясно понятие капитализма, а для проф. Петрушевского совершенно не ясно. Я не специалист по средним векам, но, очевидно, он следует в данном отношении за Допшем. Сомнение во мне вызывает его термин «вотчинный капитализм». Но ведь это несколько не так. Мы видим определенное индивидуальное явление определенной общественно-экономической формации, а понятие общественно-экономической формации для проф. Петрушевского неясно. Мы говорим всегда об общих признаках, присущих той или другой общественно-экономической формации. Если мы говорим—«феодализм» и т. д., то мы стараемся говорить со сравнительно-исторической точки зрения. Можно видеть, что в первом предисловии проф. Петрушевский очень высоко ставит сравнительно-исторический метод, а в последнем—он не находит слов, чтобы издеваться над этим сравнительно-историческим методом.

Я с самого начала указал, что не берусь судить о специальных вопросах, о конкретном материале, но одна вещь, в связи с этим понятием капитализма, не может не обратить моего внимания.

Раз проф. Петрушевский всячески старается указать, что капитализм почти что вечен, я в этом вижу определенную тенденцию. В данном отношении я попробую подойти к выступлению проф. Петрушевского с его же старой основной методологической точки зрения. В этом самом предисловии 1907 г. проф. Петрушевский писал следующее: «Не следует только представлять себе дела слишком академически. Не следует думать, что работа происходит, начинается и кончается в стенах ученого кабинета, вдали от каких бы то ни было впечатлений живой жизни. В ученую работу часто даже незаметно для исследователя проникают тем или иным путем скорби и радости, сомнения и мечты того общества и той эпохи, среди которых он живет. Они-то и направляют, в конечном счете, его кабинетную работу, и как энергично он ни отрицался сатаны суб'ективизма, но его работа будет представлять собою зеркало его эпохи, ее умственных запросов и ее общественных стремлений, ее исторических и социологических представлений и идей. Вытравлять всячески такой суб'ективизм—бесплодная и бесполезная работа. Его нельзя вытравить и не следует вытравлять. В нем неиссякаемый источник жизни для самой общественной науки» (стр. 9—10).

Что же произошло в этой самой социальной среде, что заставило проф. Петрушевского изменить, ежели так можно выразиться, общественной точке зрения и заменить ее немарксистской точкой зрения. Это дело совершенно не случайное. Если возьмете другого крупнейшего представителя, такого же марксистообразного—проф. Петрушевского в свое время считали марксистообразным—если возьмете другого такого марксистообразного проф. Виппера и его книгу об Иоанне Грозном, то как раз там указывается, что мы переоцениваем экономический фактор, что экономический фактор вовсе не основной в истории, что основным фактором является государственный фактор и т. д. и отсюда выявление необычайной роли личности в истории. Я не буду говорить словами Петрушевского. Он издевательски прежде относился к роли личности в истории, он говорил, что это мифологизм, что это пережиток язычества и т. д. Не будем говорить об этом, а посмотрим его точку зрения на феодализм. Феодализм, оказывается, это крупное государство, самая феодальная система хозяйства была создана именно с помощью государства. Вы видите, какая перестановка всех основных методологических предпосылок, и это, конечно, совершенно не случайно. Дело в том, что тоска по сильной власти не случайна не только для нашей истории. Возьмите работу Гульома Ферреро, его возвеличение Юлия Цезаря, возьмите кризис парламентаризма и демократии, который намечался на Западе еще до войны,—все это явления одного и того же порядка,—это жажда

сильной власти для излечения социальных недугов. У проф. Виппера это более четко, но он находится за рубежом, у проф. Петрушевского, поскольку он говорит только о средних веках, это не столь ясно. Но у него есть этот момент в его представлении об аграрном коммунизме.

Аграрный коммунизм для нас методологически очень важная вещь, и вы великолепно знаете почему. Если мы принципиально докажем возможность существования несобственнического общества, бывшего раньше, мы тем самым до известной степени предвосхитим и несобственническое общество будущего. Если мы будем отрицать это и будем исходить из собственнической точки зрения, мы придем к точке зрения Максима Ковалевского, который стоит на точке зрения, что инстинкт собственности является не социальным, а биологическим, потому что и он рассматривал ряд животных, которые обладают весьма и весьма развитым чувством собственности.

Таким образом, здесь мы имеем определенную общественную тенденцию, с которой нам, очевидно, в работе нашего Общества придется определенным образом бороться.

В заключение я хочу остановиться вот на чем. Мы очень много занимаемся методологией марксизма—и совершенно правильно. У нас проходятся и истмат и диалект. мат. Но как только мы переходим в область конкретной работы той или иной дисциплины, там эта марксистская методология исчезает. Ведь мы хорошо знаем, что вопросы марксистской методологии истории для историков совершенно почти не затронуты, как вопросы теории исторического знания и т. д., а это чрезвычайно важная вещь. Ведь если будем рассматривать так, что надстроечные формы сами по себе, диалектический материализм во всех ступенях сам по себе, а в повседневной жизни историка мы «должны» об этом забыть и заниматься другими методами, исходящими из других предпосылок,—это положение ненормальное. Проф. Петрушевский является главой исторической школы у нас в РАНИОН'е, у нас в Союзе—и вот там указанное мною явление, к сожалению, наблюдается. Ясно, что в нашем конкретном исследовании мы должны будем итти по этому пути. И вот здесь я вижу то основное, на что мы должны обратить внимание.

Мы должны в наших вузах поставить изучение с точки зрения истмата вопросов исторических конкретных методов. И тогда будет совершенно нетрудно разбить это построение проф. Петрушевского, которое, конечно, имеет определенную общественную подпочву.

Ц. Фридлянд

Для нас книга Д. М. Петрушевского является не только очередной книгой по истории в СССР, для нас эта книга имеет большое общественное значение, и мы не можем рассматривать ее вне этой связи. Мы д о л ж н ы, как марксисты,—здесь категория «должного» действует,—отнести ее к определенным классовым «культурным ценностям», перифразируя известное положение Риккерта. Это требование для нас настоятельно, потому что Д. М. Петрушевский в нашей республике не просто «историк», а один из знатоков западно-европейской истории, большой эрудит, который долгое время был руководителем школы, воспитавший немало марксистов-историков, несмотря на все его разногласия с марксизмом. Исторический факт, который мы с грустью констатируем, что за десять лет революции этот виднейший ученый отошел от тех позиций, на которых он стоял раньше,—он не приблизился к марксизму, а о т д а л и л с я о т м а р к с и з м а. Это факт—общественного значения.

Здесь могут встать два вопроса. Первый—в самом ли деле имел место этот отход от тех близких к марксизму позиций, на которых проф. Петру-

шевский стоял раньше, и второй вопрос—каков диапазон отхода от этих позиций. Конечно, возможна и третья постановка вопроса: оставить эти «общие» разговоры, и заняться строго академическим рассуждением «по существу» вопроса. Для нас, марксистов, в «Обществе историков-марксистов» последняя постановка вопроса неприемлема хотя бы потому, что мы предполагаем, что при первой постановке вопроса последнее само собою разумеется. Если мы рассмотрим позиции проф. Петрушевского, в отношении тех проблем, которые он разбирает в своем введении, и дадим оценку его методологии истории, мы тем самым ответим и на вопрос по существу.

Тов. Кривцов сравнивал книгу проф. Петрушевского с его предисловием к «Очеркам» 1907 г. Но предо мною его статья 1915 г. «К вопросу о логическом стиле исторической науки». Я бы не сказал, конечно, что эту книгу можно назвать марксистской, но она ближе к нашей постановке методологических вопросов. Эта книга—последнее слово, сказанное Петрушевским перед тем, как спустя десять лет после революции он сказал другое и противоположное. Читая эту небольшую статью, наталкиваешься на следующий факт: проф. Петрушевский в 1915 г. резко и решительно осуждает Риккерта и прежде всего отрицает систему «отнесения к культурным ценностям», осуждает ее с точки зрения правильно взятой методологической установки. Он пишет: система культурных ценностей Риккерта есть привнесение в области действительных фактов того, чего в этих действительных фактах не имеется, что является произвольно привнесенным в действительные, фактические отношения, которые изучаются историей. Он отклоняет не только риккертианское деление науки на генерализирующие и индивидуализирующие, но даже излишне резко, с моей точки зрения, сливает историю с социологией.

Под этим углом зрения он совершенно правильно и очень убедительно критикует систему Риккерта. Прошло некоторое время, и многое изменилось. Я слышал мнение некоторых товарищей, что здесь мы имеем дело с эволюцией, постепенной эволюцией взглядов Петрушевского. Но во всякой эволюции наступает момент революции, и такой момент революции наступил в системе взглядов Петрушевского за время с 1915 по 1928 год. Здесь не только количественное изменение, вариация старой точки зрения, с точки зрения марксизма, старой ошибки, но какая-то «революция» во взглядах. Я бы не сказал, что эта революция во взглядах проф. Петрушевского является только его индивидуальной революцией, я бы сказал, что это «логический стиль» буржуазной методологии истории всей послевоенной эпохи. Это не только то, что свойственно проф. Петрушевскому, это общеевропейская проблема. Вот передо мною интереснейшая книга—книга Трельча «Der Historismus». Я останавливаюсь на Трельче потому, что он ставит те же вопросы и обостряет то, о чем не договаривает проф. Петрушевский. Трельч утверждает, что «лербюхерфабрик» в данное время не переживает кризиса. Кризис истории не в том, что при анализе той или другой конкретной исторической проблемы внесены радикальные в постановку вопроса изменения. Речь идет о том, что «кризис переживают основные, общепризнанные элементы исторического мышления», послевоенная эпоха породила колоссальный кризис основ и с т о р и ч е с к о г о мышления. Этот кризис исторической науки, по мнению Трельча, есть борьба между Марксом, с одной стороны, и Ницше, с другой. Это два «логических» стиля исторической науки.

Конечно, Петрушевский не ответствен за все мысли Трельча. Но и книга Петрушевского есть показатель общего кризиса методологии истории. Ошибка Петрушевского в том, что он в отличие от других «философов от истории» не поставил во весь рост проблему об общих основах этого кризиса. Для Трельча ясно: мировая война и революция поставили перед нами

вопрос о кризисе исторического сознания. И дальше он говорит, что кризис исторического сознания связан с кризисом всего нашего мировоззрения. Он идет еще дальше и утверждает, что кризис исторической науки, это кризис идеи о роли государственности. Мы прекрасно понимаем, почему, говоря о Максе Вебере, Трельч утверждает, что вся система Макса Вебера, основана на жажде национальной силы, национального величия. Обращает на себя внимание, прежде всего, тот факт, что каждый занимающийся проблемами методологии исторических наук в Германии, все время обостренно ставит вопрос о государственной власти, проблему национального величия. Даже в этом вопросе книга Петрушевского не представляет собой национальной особенности. Это глухой отзвук той борьбы различных течений, которая происходит теперь на Западе.

Можно было бы, конечно, в книге Петрушевского найти немало «параллелей», кивков на современное положение дел. Я отвлекаюсь от этого. Я отнюдь не собираюсь специально цитировать то, что может нас будировать, вызывать в нашей среде возмущение, но не могу обойти молчанием те страницы книги Петрушевского, где дано любопытное освещение рабочего законодательства XIV столетия, как законодательства, в котором проявлялась «социальная справедливость», проявился «внеклассовый разум» английского государства. Конечно, если считать, что это законодательство было в интересах развития производительных сил буржуазного общества, тогда это верно, с точки зрения этого общества,—но если эту проблему «исторического прогресса» рассматривать под углом зрения трудовых масс, то мы сможем вспомнить характеристику этого законодательства, данную Марксом. Мы отвлекаемся также от страниц, посвященных рабству государственного социализма, тем более возмутительных, что их научное значение равно нулю: оригинального в них, конечно, ничего нет. Но я повторяю, отвлечемся от всех этих положений, отвлечемся от того, что у проф. Петрушевского поразительна нелюбовь к терминам «класс» и «классовая борьба». Я попробовал в своем узком марксистском фанатизме, шутки ради, подсчитать, сколько раз он употребляет термин «классовая борьба» и пришел к печальным результатам, хотя об этом у него и идет речь, когда дается, например, очень интересный анализ идей Фомы Аквинского. В СССР понятие «классовая борьба» не популярный термин для профессора...

Еще один вопрос привлекает наше внимание—это путь, проделанный двумя людьми: путь Макса Вебера и Д. М. Петрушевского. Это, если хотите, проблема социальной биографии. Я не думаю, чтобы она не имела значения. Я думаю, что она может бросить свет и на философию книги Петрушевского.

Макс Вебер пришел из кругов немецкой интеллигенции, связанной в значительной степени с национальным крылом немецкого либерализма. Макс Вебер был связан с той частью этой школы, которая была основной катедер-социализма и была идеологической опорой величия империалистической Германии, симпатии к которой характерны и для значительных кругов немецкой либеральной интеллигенции. Макс Вебер в 90-х годах XIX в. выступил с работой, где анализировал положение земледельческого труда Пруссии и давал теоретическое обоснование исторической неизбежности и целесообразности этого вида эксплоатации с.-х. рабочих. Сравнительно недавно была напечатана статья в одном из немецких консервативных исторических журналов, которая подчеркивает именно эту заслугу Макса Вебера. И в дальнейшем Макс Вебер, особенно в годы войны, стал опорой немецкой буржуазной интеллигенции: в послевоенные годы он был украшением всего патриотически мыслящего в Германии.

Случаен ли тот факт, что представитель нашей радикально-демократической интеллигенции, близкой к марксизму, идет по пути, по которому

в свое время проф. Виппер пришел в лагерь реакции, и на этом пути сталкивается с идеологом национал-либеральной интеллигенции? Я не думаю, чтобы это было случайно.

Мне пришлось в специальной статье «Под знаменем марксизма» анализировать введение к книге. Я могу здесь ограничиться краткими замечаниями. Книга состоит из трех частей, методологического введения, изложения работ Допша, наконец, исторических конструкций проф. Петрушевского. Так как знакомство с работами Допша на немецком языке представляет значительную трудность для широкой массы читателей, то эта часть книги оправдывает ее издание. Мы не возражали бы, однако, чтобы Госиздат издал книгу самого Допша,—это было бы не менее целесообразно.

Что касается двух остальных частей книги, то они идут по нисходящей линии: неприемлемо введение, беспомощны исторические концепции. Я имею в виду те части книги, где автор от удачной, полезной критики Бюхера и Зомбарта переходит к «своим» построениям. Нужно признать определенно, что философское введение проф. Петрушевского страдает основным грехом — эклектизмом. Проф. Петрушевский делает попытку об'единить риккертианство и взгляды Макса Вебера. Он дает их в такой конструкции, в такой связи, чтобы они носили характер самостоятельной системы. Но так же, как трудно об'единить, по мнению самого Риккерта, индивидуализирующие и генерализирующие науки, также трудно об'единить идеи Риккерта и Макса Вебера с социологией на базе об'ективно исторического исследования.

Проф. Петрушевский начинает с критики системы Бюхера, и эта борьба с системой Бюхера, конечно, исторически оправдана. Для Д. Петрушевского в этом центральная проблема хозяйственной истории средних веков, та центральная проблема, которая оправдывает огромную эрудицию и огромный арсенал доводов, который проф. Петрушевский против нее выдвигает. Он забывает только сказать, что марксизм немало сделал для опровержения этой теории. Но все это только иллюстрация к введению. Исходным пунктом его конкретно-исторических рассуждений является введение,—оно органически связано со всей книгой. Между индивидуальным понятием с конкретным содержанием по Петрушевскому и общим понятием — пропасть, ее заполняют наши абстрактные построения, эти передаточные инстанции, свободные от конкретного содержания социологические понятия.

.«Об'ективное значение всего опытного знания покоится на том и только на том, что данная действительность упорядочивается с помощью категорий»—пишет Д. Петрушевский. Что же представляют из себя эти категории? Кто является носителем этих категорий? Категории эти это—то, что признано «всеми», интерес к той или другой части действительности обуславливается ценностными идеями. Их значение коренится в нашей вере в их сверх-эмпирическую сущность. И в то же время эти категории—орудие анализа конкретной действительности. Они помогают нам ориентироваться в жизни, богатой в своей иррациональности всевозможными значениями ценностных идей.

Таким образом, все время мысль проф. Петрушевского находится в тисках противоречий собственной системы, противоречий, которых не знает Риккерт в своем метафизическом монизме. Наш автор признает, как исходный пункт своих рассуждений, принципиальную разницу между понятием индивидуального и понятием общего, он предполагает перебросить мост между индивидуальным и общим, в виде «твердых» категорий, но они не являются абстракцией отношений конкретной действительности, из нее они выведены быть не могут. Он прибегает тогда к «идеальным типам» Вебера. Д. Петрушевский пытается снова и снова придать этим идеальным типам материализированный характер, потому что он иначе не может вырваться из об'ятий

своей эклектической системы, одним полюсом который является неизменный факт, а другим—социологически об'яснимые «идеальные типы». Последние только «мысленные образы». Д. Петрушевский предупреждает нас против превращения их в материальные категории. Он прежде всего отбрасывает рассуждения о рабочих гипотезах. Они—только указание того пути, по которому можно преодолеть конкретное в исторических фактах и дать «не изображение действительного», а лишь «средство однозначного выражения» (М. Вебер). В результате вся эта система, особенно в изложении Д. Петрушевского, представляет собой ни что иное, как эклектическую попытку установить прочные социологические законы, с помощью которых можно разобраться в неизмеримом потоке бытия, номографически непознаваемого. Основной грех концепции, которую представляет нам проф. Петрушевский, не в том, что он повторяет Риккерта, Виндельбанда и Вебера, но в том, что он пытается сочетать «неповторяемое» с «социологическим» методом. В этом особо-значительный вред его системы взглядов. А отсюда основная и характерная особенность его исторических конструкций: он беспрерывно орудует внеисторическими понятиями,—капитализм, государство.

Вот два примера. Д. М. Петрушевский говорит о «вотчинном капитализме» как о понятии такого же порядка, что и промышленный капитализм. Начало этой общественной формации отведено далеко назад, вглубь веков, и специфически отличное каждой данной стадии капиталистического развития сведено на-нет. Понятие натурального хозяйства по Бюхеру чуждо марксизму, и К. Маркс никогда не говорил о средневековьи, как о хозяйственной формации, не знающей обмена и т. п. Маркс говорит даже о так называемом «натуральном капитализме», он говорит о «сословном капитале». В «немецкой идеологии» мы читаем: «Капитал в этих городах был натуральным капиталом; он заключался в жилище, инструментах и натуральной, наследственной клиентуре, и, вследствие недостаточно развитых сношений и недостаточного обращения, не мог быть реализован, передаваясь по наследству от отца к сыну. Капитал этот в отличие от современного капитала—выражался не в деньгах, при которых безразлично, в какой именно вещи он заключается, это был непосредственно связанный с трудом владельца, совершенно неотделимый от него и постольку сословный капитал». В ходе исторического развития «сословный капитализм» перерастает в другую стадию—сословный капитал перерастает в движимый капитал: то «был капитал в современном смысле, поскольку можно так выражаться в применении к тогдашним отношениям».

Попробуйте с этой точки зрения расценить ту социологическую формулировку о капитализме, о «вотчинном капитализме», которую Петрушевский вслед за Допшем пытается ввести в русскую литературу. Что же «вотчинный капитализм», как капитализм, отличается какими-нибудь историческими признаками? Одна из особенностей исторических конструкций Петрушевского, это та, что, следуя рабски за своей эклектической системой, он выветривает всякое историческое содержание из абстрактных социологических понятий и тем самым, говоря об «идеальных типах», по существу превращает их в «экономические категории» Прудона. Я бы предложил маститому профессору прочесть еще раз письмо Маркса к Анненкову, где дан ясный анализ всякого рода экономических категорий, характерная особенность которых «вневременность» и «внепространственность». Я скажу совершенно откровенно, здесь проф. Петрушевский во многом отстает от Вебера, ибо любая историческая работа Вебера — скажем, его статья о городе,—при всей ее «метафизической социологичности» гораздо более исторична, чем та интерпретация хозяйственной истории средневековья, которую мы находим в книге Петрушевского. «Если,—пишет Петрушевский,—с понятием капитализма не соединять определенных социальных

признаков (?!), связанных с определенной исторической эпохой (!), социального развития новой Европы и не думать, что капитализм немыслим без лишенных средств производства рабочих, продающих свои рабочие руки монопольным обладателям этих средств, выступающих в роли организаторов производства (?!), то становится ясным (!), что капитализм (какой?) возможен в самой различной социальной обстановке». И это утверждение, как это ни странно, претендует на новизну. Таким образом думают заменить схему Бюхера другой еще более вредной схемой. Эти ошибки конкретно-исторического анализа являются результатом ошибок введения, так как вся конкретно-историческая часть книги есть не что иное, как иллюстрация общих положений методологического введения.

А это является источником серьезных недоразумений, дает нам основание говорить о том, что, благодаря неправильной методологической установке, пострадала и научная ценность конкретно-исторической части книги.

Обращу внимание на анализ Capitulare de vilis. Мы находим любопытное противоречие в трактовке этого документа, противоречие, которое лишний раз свидетельствует об ошибках «введения».

В самом деле, в одном месте (стр. 194—195) при анализе Capitulare мы читаем: «наряду с сильно подчеркнутыми» потребительскими задачами, поставленными перед этими королевскими вотчинами, следует отметить и второстепенные задачи, вводящие поместья в общий хозяйственный оборот страны».

Но на стр. 206, в угоду схеме, мы узнаем о существовании Сен-Жерменского аббатства, как крупно-капиталистического предприятия, где главная сумма продуктов попадает на рынок. И на стр. 208 общий вывод: «категории натурального хозяйства и замкнутого домашнего хозяйства совершенно неприменимы»... для любых землевладельцев, любой европейской страны, в любую эпоху средневековья. Как сочетать все эти положения?

Проф. Петрушевский предлагает нам избегать общедогматических утверждений. Он зовет к тщательному изучению деталей. Мы можем приветствовать это начинание проф. Петрушевского. Но дело обстоит совершенно иначе, дело обстоит так, что на каждой странице своей книги проф. Петрушевский сам противоречит себе, ибо каждый раз конкретный анализ его перебивается вредной схемой его методологического введения. Последнее должно быть отброшено вместе со всеми, вытекающими из него, ложными историческими конструкциями.

Книга проф. Петрушевского представляет собою, с нашей точки зрения, значительное общественное явление. Она доказывает, что многие из лучших наших профессоров не могут вырваться из тисков антимарксистской схемы.

Мысли Д. Петрушевского в шорах, в шорах заранее установленных антимарксистских взглядов, которые являются значительным отступлением от того, что проф. Петрушевский говорил в прошлом. Наилучшим ответом на его книгу было бы с нашей стороны создание кадра марксистов, которые могли бы противопоставить работе проф. Петрушевского подлинный марксистский анализ вопросов средневековой истории.

Е. А. Косминский

В книге проф. Петрушевского мы имеем очень крупное явление, как это все констатировали, но для того, чтобы ее оценить, нужно, прежде всего, установить точки зрения самой книжки, надо выявить точно, в каком смысле даны те или иные утверждения, что в данном случае хотел высказать автор, а не навязывать автору ту мысль и ту тенденцию, которой у него на самом деле не было.

Я здесь не буду останавливаться на вопросе о той части, которая обращала, главным образом, внимание говоривших до меня—именно на ее введении. Тут говорилось, что введение—это центральная часть книги, а все остальное—это только иллюстрация к введению. Я позволю себе с этим не согласиться. Это введение могло бы быть даже с большим успехом просто исключено из этой книги. Я буду останавливаться только на том, что содержится в конкретной части, которую я считаю именно основной и наиболее ценной частью книги. Конечно, эта книга является книгой заостренно-полемической и в силу этой заостренной полемичности в ней встречаются и односторонности, встречаются и преувеличения. Но против кого эта книга полемизирует, против кого и против чего она направлена? Здесь высказывалась мысль, что она направлена против марксизма. Я с этим совершенно не согласен. Книга эта не направлена против марксизма. Я позволю себе сказать, что Петрушевский в этой книге недалеко ушел от Маркса. Мне кажется, что в этой книге, во всяком случае, анти-марксистскую тенденцию вскрыть можно только путем некоторого насилия. Эта книга, я говорю, полемически заострена, но против кого и против чего? Это повторяется на многих страницах этой книги. Эта книга может быть вдвинута в определенный момент в развитии европейской историографии. Он знаменует собою, как тут правильно говорили, и сам Петрушевский отмечает,—определенный кризис, но в исторической ли науке вообще? В данном случае идет речь только о средневековой истории, о кризисе в науке о средневековьи, об известном накоплении новых фактов, новых исследований, которые заставляют пересмотреть заново целый ряд основных вопросов науки средневековой истории. Целый ряд конструкций, которые еще сравнительно недавно казались действительно незыблемыми, которые давали общую, стройную законченную картину средневекового развития, уже в настоящее время не удовлетворяет исследователей. Это разложение старой концепции, которую можно охарактеризовать по преимуществу, как германистскую и национально-либеральную в германской, главным образом, науке. Эта концепция уже не со вчерашнего дня подверглась разложению. Отдельные камни из этого здания вываливались, оно действительно в конце-концов обветшало, и мы имеем здесь смелую попытку построить новое здание вместо этого разрушенного. Причем тут, конечно, нельзя свести дело к тому, что здесь имеется только изложение Допша, изложение почти дословное. Это правда: здесь дословных выдержек не мало. Но тут не только изложение Допша. Книга основана на трудах ряда других авторов, изменивших старую точку зрения на средневековое развитие. И затем имеется целый ряд вопросов, проработанных самим проф. Петрушевским, проработанных самостоятельно, которые являются вкладом в науку, а вовсе не выходками в анти-марксистском стиле. Я должен сказать, что эта книга представляет собой действительно в смысле науки средневековой истории последнее слово того, что достигнуто сейчас на Западе в смысле фактической разработки вопроса, в смысле раскрытия нового материала. Эта книга представляет собой огромную ценность, и не только вследствие того, что она излагает Допша.—Если Допша переведут, это далеко не заменит этой книги. Мы видим здесь целый ряд вопросов, которые выходят далеко за пределы книг Допша.

Что собственно в данном смысле внесено книжкой Петрушевского нового в науку средневековой истории? Конечно, в этой книге Петрушевского налицо не только его оригинальная работа, но и изложение им чужих теорий, которые, однако, не являются случайно приведенными и склеенными, но являются органической частью книги. Мы видим здесь прежде всего весьма существенный вопрос о связи между античным миром и миром ново-европейским. Старые теории рисовали себе гибель античного мира и установление на его месте мира ново-европейского пришедшими из лесов германцами, которые принесли новое начало общинности и свободы и начали совер-

шенно новую страницу во всемирной истории. Эта точка зрения просто не выдерживает критики на основе новых, не только исторических, но и археологических и лингвистических исследований.

Затем другой вопрос, который здесь ставится, это вопрос о происхождении поместного строя, который тоже стоял в центре всего изучения средних веков. Этот вопрос теперь переносится всей своей тяжестью на более ранний период. Нам приходится обратить сугубое внимание на эпоху Римской империи, приходится обратить внимание на историю тех же германцев, у которых в известной степени это крупное поместное землевладение, крепостнический строй имеются. Таким образом, самая проблема о происхождении ново-европейского общества становится на совершенно новую почву.

Затем, конечно, центральное место занимает вопрос о так называемом натуральном хозяйстве. Здесь опять-таки острие обращено совершенно не против Маркса, а решительным образом против Бюхера, значение теории которого здесь преуменьшалось. Эта теория, несомненно, оказала крупнейшее влияние на западно-европейских и на русских историков. Хотя эта теория несостоятельна не только с точки зрения исторической, но и с точки зрения своей теоретической подкладки, тем не менее мы встречаем отдельные высказывания ее у целого ряда историков, которые стоят совершенно на другой теоретической почве. Поэтому полемика против Бюхера не является простой случайностью, стрельбой из пушек по воробьям. Здесь ведется борьба с теорией, которая действительно играла и еще все-таки продолжает играть немалую роль в общеисторических концепциях и построениях. Борьба с теорией натурального хозяйства Бюхера тесно приводит автора к другому вопросу, именно к вопросу о генезисе и характере феодализма, который в изображении западно-европейских историков расплылся, потерял всякие определенные очертания. В частности и здесь он выступает не против Маркса, а против Виноградова и тех ученых, которые разделяют точку зрения Виноградова относительно непосредственной связи феодализма с натуральным хозяйством.

Эта точка зрения у Виноградова как раз выражена грубо и шаблонно. Виноградов вообще в целом ряде высказываний своих подходит к точке зрения исторического материализма, но упрощенного, вульгарного исторического материализма. Но во всяком случае неопределенность понятия феодализма, та неопределенность, к которой пришло это понятие в новой западно-европейской науке, заставила Петрушевского подумать о более точном, о более ясном определении данного термина. С этим определением можно не согласиться, но критиковать то, что говорит Петрушевский о феодализме, можно, только исходя из этого определения. Но об этом я буду говорить еще потом.

Теперь остановлюсь на вопросе о поместьи, о его связи с рынком, или, наоборот, о хозяйственной изолированности—это вопрос чрезвычайной важности для проблемы о переходе, вульгарно выражаясь, от средневековья к новому времени, проблемы разрушения поместного строя, которое упрощенно рисовалось еще совсем недавно, как переход от натурального хозяйства к денежному, как разложение старых форм, связанных с натуральным хозяйством. Теперь этот вопрос чрезвычайно осложняется тем моментом, что поместье оказывается рано связанным с рынком. Затем, вопрос о социальном строении поместья, вопрос о составе населения поместья,—это вопрос центральной важности. Еще совсем недавно господствовало представление о почти полном закрепощении крестьянства в деревне, не оставляющем почти никакого места для свободного крестьянства. Этот вопрос теперь ставится совсем иначе, чем он ставился раньше, т. к. новые исследования обнаружили значительное количество свободного крестьянства в вотчине. Совсем новые проблемы ставятся в связи с вопросом о барщине, о переходе нату-

ральных повинностей в денежные платежи, теперь барщина ставится в связь не с натуральным хозяйством, а наоборот—с развитием связи с рынком, вызывающим усиление зависимости населения поместья. Опять-таки тут говорилось, что проф. Петрушевский отошел совсем от сравнительно-исторической точки зрения, но он несколько раз в своей книге прибегает к историческим сравнениям, он указывает на параллельное с Западом развитие Пруссии и России.

Этим поставленные в книге проблемы не ограничиваются. Мы видим коренную ломку в вопросе о происхождении городского строя, вопроса о городском хозяйстве,—вопрос, который формулирован Бюхером, и который в связи с новой концепцией раннего средневековья приходится поставить опять. Совершенно очевидно, мы видим здесь в этих концепциях, которые приводит Петрушевский, не разрозненные и отрывочные взгляды, а пересмотр всех основных проблем не на основании какой-нибудь предвзятой теории, а на основании огромного нового исторического материала, который в этих областях выдвинут историческим исследованием. Здесь мы видим действительно огромную работу, проделанную Петрушевским по пересмотру основных вопросов всей средневековой истории. Я нахожу, что эта книжка является во всяком случае, не менее интересной, чем те книги, на которые указывал т. Фридлянд. Она является, несомненно, крупным вкладом в науку, не только русскую, но и европейскую. Хотя значительная часть книги Петрушевского и стоит на чужих плечах, но такого полного пересмотра всех вопросов средневековой истории с точки зрения новых научных достижений мы еще не имеем нигде. Это, несомненно, книга крупного научного значения. Я уже с самого начала сказал, что книга эта является полемически заостренной. В книге этой приходится не только строить, но, прежде всего, расчищать место от старых теорий. Эта полемическая заостренность книги приводит к ряду преувеличений, к ряду, быть может, излишних обострений тех или иных моментов. Тут вызывают сомнение и вызывают наибольшее раздражение несколько таких преувеличений или несколько таких построений, которые кажутся рискованными. Но опять-таки я говорю, что к ним надо подойти с точки зрения самого автора, понять сначала, что автор хочет сказать, а потом уже их критиковать. Тут пока отметили три таких основных вопроса, вокруг которых, главным образом, ведутся и будут вестись споры. Прежде всего, это вопрос о первобытном коммунизме у древних германцев, другой вопрос—о феодализме и третий вопрос—о вотчинном капитализме. Я не знаю, в какой мере вопрос о первобытном коммунизме у германцев вообще является ценным с точки зрения теории марксизма—были ли когда-нибудь германцы в состоянии первобытного коммунизма, или нет, от этого основные вопросы марксизма и коммунизма пострадают очень мало. Скажут, что автор вообще отрицает наличие первобытного коммунизма, что он вообще становится на ту точки зрения, что первобытного коммунизма никогда не было и что собственность является вечной категорией. В сущности, он стоит на той точке зрения, что ничего в исторических источниках констатировать первобытного коммунизма он не может. Во всяком случае в настоящее время очень возрос скептицизм в этом отношении.

Теперь вопрос о феодализме и о преувеличении творческой роли государства. Здесь усматривают определенную антимарксистскую тенденцию. Я хочу сказать, прежде всего, что, конечно, концепция феодализма у Петрушевского, который не-марксист и никогда себя таковым не считал, концепция феодализма у него не-марксистская. Но так ли она далека от марксизма? Как он определяет феодализм? Феодализм есть система государственного соподчинения сословий. Он берет здесь феодализм, как определенную государственную форму. Если он говорит о творческой роли госу-

дарства по отношению к этим формам, к государственным формам, он в данном случае решительно ничего не говорит о том, что государство творит новые общественные формации. Когда говорят, что Петрушевского государство творит новые общественные формации, смешивают два представления: феодализм, как понимает его Петрушевский, и феодализм, как понимает его марксизм. Петрушевский понимает феодализм не как общественную формацию, а как определенную политическую форму. При этом Петрушевский совершенно определенно перечисляет те социально-экономические предпосылки, которые порождают этот феодализм. Он не однажды говорит о социальных предпосылках феодализма, говорит об аристократическом строе общества и т. д. Всем этим он обосновывает феодализм, которому старается дать определение как политической форме. Если мы примем за основу эту точку зрения, мы увидим, что обвинения в гипертрофии роли государства отпадут, хотя, может быть, кое-какие преувеличения тут есть (С места: С точки зрения Петрушевского). Действительно, в конце-концов, это будет спор о терминах, который разрешается очень просто. Для того, чтобы вскрыть замысел автора, нужно стать на его точку зрения и понять, что он хочет сказать, если же его термин будет понят в нашем собственном смысле, то мы можем обвинять его, в чем угодно.

Поэтому, признавая, что понимание феодализма у Петрушевского является не-марксистским, я совершенно не склонен думать, что оно является антимарксистским и что в данном случае Петрушевский вносит совершенно новую точку зрения, существенно отличающуюся от марксизма. Он лишь расходится с марксизмом преимущественно в сфере определения. И если Петрушевский так сильно напирает на вопрос как раз о политической природе феодализма, то этот путь мысли делается понятным, если даже мы будем рассматривать феодализм как общественную формацию, характеризующуюся определенными производственными отношениями, определенным способом выкачивания прибавочной стоимости из производителя. Присвоение прибавочного труда или продукта происходит здесь в силу внеэкономического принуждения, в силу политического принуждения. Момент, подчеркнутый Петрушевским, момент, в данном случае политический, не так уж далек от Маркса, как это кажется на первый взгляд.

Теперь я хотел бы остановиться на вопросе о вотчинном капитализме. Это вопрос, который является, может быть, наиболее спорным. В вопросе о вотчинном капитализме Петрушевский близко следует как раз за Допшем, повторяет его термины и далеко идет в этом направлении, именно в результате того, что тут имеется некоторое полемическое обострение, направленное против натурально-хозяйственной концепции. Я должен, прежде всего, сказать, что вопрос о законности употребления в данном случае термина «капитализм» является не таким простым. Петрушевский говорит, что он капитализм,—он это определенно подчеркивает,—не понимает, как определенную историческую формацию. Для него капитализм, в каком он сложился со второй половины XVIII века в новой Европе, это не есть капитализм вообще. Но разве он один находит возможным об этом говорить? Мы слышали о капитализме в самые разнообразные эпохи, чуть не в эпоху «Русской Правды» и Рюрика. Я хочу сказать то, что, кроме капитализма промышленного, имеется торговый капитализм. Торговый капитализм не характеризуется какой-нибудь определенной, четкой, общественно-экономической формацией. Он возможен на почве самых разнообразных производственных отношений и эксплоатирует уже сложившиеся до него производственные отношения. Собственно говоря, вопрос заключается лишь в определении хронологических рамок. Хотя Петрушевский термина «торговой капитализм» не употребляет, но совершенно ясно, что когда он говорит о капитализме средневековом, то имеет в виду именно капитализм, который связан с обменом, а не с производ-

ством. Таким образом, отправляясь от понятия торгового капитализма,—я лично не считаю этот термин удачным,—можно говорить до известной степени и о вотчинном капитализме в том смысле, что вотчина является связанной с рынком, что вотчинник эксплоатирует данную вотчину с целью торговой, с целью получения прибыли. Такой торговый капитализм принимает самые разнообразные формы, и он обостряет и усиливает старую феодальную эксплоатацию.

В этом смысле я опять-таки не нахожу такого резкого противоречия между марксизмом и этой теорией Петрушевского. Я не со всеми положениями Петрушевского согласен и нахожу, что Петрушевский в некоторых местах значительно преувеличивает момент раннего возникновения капиталистических отношений. Но констатировать здесь принципиальное противоречие с марксизмом я бы не решился.

Вот то, что я хотел сказать. Эта книга не является написанной с какой-то совершенно чуждой марксизму точки зрения, с которой у нас ничего общего нет. Эта книга является переработкой огромного материала, огромного количества новых фактов, новых исследований, введенных в историческую науку. Тут переработаны все основные концепции науки средневековой истории, и при этом с точки зрения, которая допускает очень нетрудный перевод ее на марксистский язык (Смех).

А. Д. Удальцов

Я начну свое выступление с той же самой мысли, которую высказывали почти все предшествующие товарищи, а именно с того, что книга Петрушевского, о которой мы говорим, представляет собою весьма интересное явление. Интерес ее, с моей точки зрения, заключается в том, что она воплощает в себе современное состояние западно-европейской буржуазной науки в области средневековья. Эта связь книги с западно-европейской наукой является, мне кажется, весьма знаменательным фактом. В сущности, книга стоит совершенно вне всех тех споров, всех тех дискуссий, всех тех интересов, которыми живет наша современная русская марксистская наука. Она ориентирована на Запад и можно было бы сказать, что по существу она и написана, пожалуй, для Запада. В этом, с моей точки зрения, ее слабая сторона. Но если не принять во внимание эту ее западную ориентацию, то в этом случае книга эта явилась бы, мне кажется, такой же вне-временной и внепространственной категорией, какими являются те социологические категории, о которых говорит в своем предисловии проф. Петрушевский.

Итак, в лице новой книги проф. Петрушевского мы непосредственно сталкиваемся с западно-европейской наукой. Какими же чертами она характеризуется? С одной стороны, мы в западно-европейской науке наблюдаем изощренность и весьма развитую технику в области разработки отдельных частных вопросов. Но вместе с тем у значительной части представителей этой науки отсутствует мировоззрение, отсутствует общая методология. Это высказывается многими самими представителями западно-европейской науки. И вот среди них начинаются поиски мировоззрения и поиски методологии. В этом отношении особенно интересна роль, которую играет Макс Вебер. Макс Вебер как раз и является тем пунктом, вокруг которого группируются и будут, мне кажется, все больше группироваться те представители западно-европейской науки, которые не удовлетворены, как у нас говорят, «ползучим эмпиризмом».

К этому же течению принадлежит и проф. Петрушевский. Он примкнул к тем, которые хотят иметь методологию и идут за Максом Вебером. В области же конкретных построений он в значительной степени примыкает к тому, что сделано в трудах Допша, как об этом многими уже и говорилось.

В сущности, мне кажется, что в этой последней своей работе Петрушевский как бы растворился в этой западно-европейской науке, как бы потерял в значительной степени свою индивидуальность. Весь процесс эволюции у проф. Петрушевского, мне кажется, заключался в потере этой своей индивидуальности, которую он в наибольшей степени имел в своих первых работах. Этот процесс вовсе не может быть сведен в рамки последнего десятилетия, этот процесс начался еще раньше. В сущности уже второе издание показывает, с моей точки зрения, значительный шаг по пути этого развития. Но и та работа, о которой говорил тов. Фридлянд «К вопросу о логическом стиле исторической науки» в значительной степени также составляет определенный шаг по направлению к этой позиции, которую он занимает в настоящее время. Так что это движение по направлению к современной позиции представляется мне движением, шедшим уже давно.

Итак, в конце-концов, как же должны мы относиться к этой западно-европейской научной мысли, которая вплотную подошла к нам в лице книги Д. М. Петрушевского? В ней мы имеем элементы двух родов. С одной стороны, мы имеем здесь те положения, которые основаны на современных научных достижениях западно-европейской науки. Но вместе с тем в этой западно-европейской науке все же имеется и ряд таких элементов, которые можно было бы назвать элементами, характеризующими борьбу этой науки с марксизмом. Д. М. Петрушевский в этом случае не является сознательным и активным, он только двигается по тому руслу, по которому идет западно европейская наука. Но эти моменты борьбы с марксизмом в западно-европейской науке несомненно имеются. Например, хотя я и не считаю, что для марксизма непременно нужно во что бы то ни стало доказывать существование первобытного коммунизма, но все-таки эта борьба с первобытным коммунизмом, несомненно, для западно-европейской науки является борьбой с современным марксизмом, с современным коммунизмом.

Теперь, какие же предрассудки выдвигаются проф. Петрушевским, с которым, по его мнению, должна бороться наша наука?

Первое—это вопрос о кризисе при переходе от античного строя к средневековому. И здесь дело вовсе не сводится только к тому, что выдвинул т. Косминский, к тому, что мы не в праве сводить дело к катастрофе, к тому, разрушили или не разрушили древние германцы всю римскую культуру. Конечно, они могли ее не разрушать. Дело не в этом, а в том, каков был строй древних германцев, с какими общественными навыками пришли германцы, когда они покорили области древнего Рима. И вот здесь мы не можем согласиться во всем с Дмитрием Моисеевичем. Это прежде всего вопрос о так называемой древне-германской марке. Я полагаю, что следующий после меня оратор остановится на этом вопросе, т. к. специально занимался им. Но я все-таки позволю себе высказать свою точку зрения по этому вопросу. Я думаю, что в своей книге Дмитрий Моисеевич не доказал, что у древних германцев не существовало общинного землевладения. Та интерпретация знаменитого текста Тацита, которую он дает в своей книге, нисколько неубедительна, и мне представляется, что тот вывод, который делали из этого знаменитого текста в пользу общинного землевладения, вполне правилен. Здесь следует только внести известные поправки. Эти поправки сводятся вот к чему. В социальном строе древних германцев мы наблюдаем весьма сильную социальную дифференциацию, мы наблюдаем там неравномерное распределение очень многих средств производства, мы имеем неравномерное распределение таких орудий производства, как рабы и скот, но мы не имеем там, как мне кажется, частной собственности на землю. Социальное неравенство еще не разрушило общинного землевладения, оно существует там в рамках этого общинного землевладения. Совершенно ясно тексты говорят о том, что в ту эпоху существовала переложная система хозяйства, что переход

с одного участка земли на другой совершался общиной, что земля там распределялась соответственно социальному положению отдельных лиц. Делать из этого вывод, который делает Петрушевский, будто это распределение земли совершается только в каком-то совершенно исключительном случае, когда люди основывают какой-то новый поселок, по-моему, нет ровно никаких оснований. Поэтому мне кажется, что возражение против общинного землевладения, как изначального факта жизни древних германцев, не обосновано в книге Петрушевского.

Мы имеем перед собою все еще общину, хотя и разлагающуюся под влиянием той социальной дифференциации, которая внутри этой общины происходит.

По другому вопросу—по вопросу о борьбе проф. Петрушевского с натурально-хозяйственными концепциями Бюхера здесь уже и т. Фридлянд высказывался о том, что нам нет надобности защищать Бюхера против проф. Петрушевского. Марксизм не связан со схемой Бюхера, но вместе с тем не следует и перегибать палки в противоположном направлении. Мы не можем, конечно, считать, что развитие производительных сил и развитие обмена достигало в ту эпоху, особенно же в эпоху раннего средневековья, в эпоху образования феодализма, почти такой же степени развития, какую оно достигло в настоящее время. А между тем один из тезисов Петрушевского так и гласит, что новая эпоха представляет собою лишь дальнейшее развитие, органическое продолжение средневековья, что здесь нет ничего принципиально нового, что все дело сводится только к некоторому количественному накоплению. Мы, разумеется, не можем считать, как это предполагает, может быть, а может быть и нет, я не понял—тов. Косминский, что в эпоху раннего феодализма можно предполагать существование торгового капитализма. Со слов т. Косминского можно было понять, что как будто бы это можно предполагать, что это не противоречит марксизму. Конечно, если бы у нас были достаточные данные в пользу того, что там действительно был торговый капитализм, то, разумеется, именно отрицание фактического положения вещей противоречило бы марксизму, но у нас ведь нет никаких данных утверждать, что будто бы в эту эпоху существовал торговый капитализм. Правда, мы, конечно, знаем, что торговля в ту эпоху существовала, и никто из нас против этого факта не может привести возражения — однако эта торговля, в особенности к эпохе Каролингов, достигала уже все меньшей и меньшей силы по сравнению с тем, чем эта торговля была в предшествующее время, может быть, еще в эпоху Меровингов, и этот упадок торговли шел все дальше и дальше под влиянием, конечно, того, что Средиземное море к этому времени оказалось в руках арабов, и, таким образом, тот товарообмен, который в первое время после германских завоеваний еще существовал по Средиземному морю, был нарушен. Поэтому мало-по-малу западноевропейская общественность принимала все более и более аграрный характер по сравнению с характером поздней римской эпохи. Так что, соглашаясь с тем, что мы не имеем права назвать хозяйственный строй средневековья натурально-хозяйственным, мы все-таки, конечно, не можем его себе представлять в терминах торгового капитала. Этот обмен, который там существовал, не был господствующим и не определял собою всей хозяйственной структуры эпохи.

Затем другая проблема, которая выдвигается проф. Петрушевским, это проблема феодализма. Здесь, прежде, чем рассмотреть этот вопрос, необходимо остановиться на следующем обстоятельстве. Исходя из методологических представлений об идеальных типах, как вневременных и внепространственных категориях, Дмитр. Моис., в сущности уже тем самым превращает некоторые категории, как, например, капитализм, как город, как предместье, в такие вневременные и внепространственные категории, но эта вневремен-

ность и внепространственность превращается у него, если хотите, в свою противоположность,—во всевременность и всеобщность в пространстве. В сущности, оказывается, что не существует из известных нам эпох таких, когда бы капитализма в той или иной форме не существовало, когда не существовало бы города, как экономической категории в противоположность деревне, когда бы не существовало частной поземельной собственности и поместья. Таким образом, с этой точки зрения мы имеем перед собой не развитие, а статистику, мы не имеем перед собою того исторического процесса, как мы его себе представляем, в виде перехода одной общественной формации в другую. Мы имеем здесь единую общественную формацию, характеризующуюся всеми указанными чертами, а раз мы имеем единую общественную формацию, то ясно, что, кроме этой единой общественной формации, никаких других общественных формаций не может быть. Таким образом, и феодализм не может мыслиться, как общественная формация. Для него остается только одно место, место в области политического развития, и ясно, что феодализм переносится в эту область: он превращается в политическое явление, т. е. в то, как определяет его проф. Петрушевский,—в систему, организованную государством, в систему соподчиненных тяглых сословий.

Можем ли мы с таким определением феодализма согласиться? Мы не можем согласиться с этим определением потому, что мы стоим на точке зрения общественных формаций, и феодализм для нас есть определенная общественная формация. Поэтому рассмотрение феодализма, как только одной из стадий в развитии политических форм, для нас, конечно, не является приемлемым, и уже поэтому мы принципиально не можем принять построения Петрушевского.

Я останавливался пока на этих конкретных положениях в книге проф. Петрушевского, не говоря о методологических его построениях. Об этих методологических его построениях говорилось уже достаточно. Мне кажется, что достаточно выяснена противоречивость этих построений. Они не сведены к единству. В них масса противоречий. Одни части, одни страницы этой книги полемизируют с другими страницами, находятся с ними в противоречии. С одной стороны, проф. Петрушевский вполне правильно, как мне кажется, протестует против абстрактного метода позитивизма, возражает против абстрактных законов, которые обязательны для общества «вообще». Это совершенно правильная точка зрения, потому что мы считаем, что законы существуют для каждой общественной формации свои, и что общественное развитие переходит от одной закономерности к другой. В этом пункте мы могли бы присоединиться к Петрушевскому, если бы он тут же не переходил как раз к возрождению той же самой точки зрения, с которой борется только в другой форме.

В самом деле, поскольку он вместо этих абстрактных законов устанавливает свои абстрактные социологические категории, которые обладают как раз таким же внепространственным и вневременным характером, постольку он возрождает то самое, с чем борется.

Затем товарищами достаточно уже указывалось на идеалистический характер построений Петрушевского. Это—возрождение нео-кантианства в той форме, которую представляет собой фрейбургская школа нео-кантианства. Это есть, вместе с тем, и суб'ективизм в той мере, в какой проф. Петрушевский прибегает к понятию «ценности» хотя бы в форме «отнесения» к этой ценности, потому что понятие «ценность» несомненно носит суб'ективный характер и об'ективного характера никогда иметь не может.

Кажется, что основные недостатки книги Петрушевского можно характеризовать следующим образом. Петрушевский не стоит на точке зрения марксизма вообще и на точке зрения теории общественных формаций в частности. Это основной недостаток проф. Петрушевского. Но это обстоя-

тельство, конечно, характеризует только то, что он не является диалектиком, потому что диалектическое рассмотрение общественного процесса, естественно, связано с теорией общественных формаций.

Итак, товарищи, каким образом мы должны относиться к этой книге? Я думаю, что эта книга является продуктом западно-европейского научного развития. И мы должны преодолеть ее, т.-е. с одной стороны, обострить на ней свой собственный марксистский метод, а с другой стороны,—противопоставить этому конкретному историческому исследованию ряд наших конкретных исторических исследований. Мы должны пройти своими марксистскими исследованиями по всем областям, затронутым проф. Петрушевским. Должны дать ответ на то, как смотрим мы на общественный строй первобытных германцев, ответить на то, как смотрим мы на общественный строй средневековья, как смотрим мы на городской строй, и я думаю, что лучшим ответом на эту книгу и будет такая конкретная историческая работа Общества историков-марксистов.

А. И. Неусыхин

Сегодня здесь происходила критика определенной концепции, концепции, прежде всего, конкретно-исторической, изложенной Д. М. Петрушевским в его известной книге. Я хотел бы, прежде, чем говорить дальше, остановиться в двух словах на логической природе самой критики такой концепции.

Конечно, критика всякой теории прежде всего должна быть иммамента, т.-е. должна понять эту теорию изнутри и затем уже преодолеть ее соответствующим образом. После понимания изнутри и преодоления возможен и социологический анализ этой теории и сведение ее к определенному базису. Конечно, это возможно только после того, как она будет понята, потому что нельзя сводить к базису то, природу чего не знаешь и не представляешь себе. Но безмерно усложняется задача, когда речь идет о критике конкретно-исторической концепции, потому что в этой последней—в отличие от философской теории, — всегда имеются элементы чисто конкретного материала, почерпнутые из документов, из источников. Поэтому критика идет в этом случае двояким путем: она не ограничивается вскрытием чисто формальных внутренних логических противоречий самой концепции, но пытается указать, как эти противоречия будут выглядеть, если разобрать их применительно к конкретному материалу источников. Вот, собственно, как должна была бы вестись критика этой книги. Но сегодняшняя критика сосредоточена на каких-то других задачах; она, в сущности, может быть, и вовсе даже не является критикой, и вот почему. В марксизме вообще чрезвычайно большое распространение приобретает одно явление, весьма печальное для всякого искреннего и желающего прогресса научной мысли марксиста, — это власть слов, это то, что Бэкон Веруламский называл «idola fori».

У нас, ведь, принято так говорить: «Раз Риккерт—то уже все с ним связанное—от дьявола. Все, что от Маркса, уже тем самым хорошо, не потому, что это хорошо, а потому, что от Маркса». Я сам полагаю, что Маркс гораздо лучше Риккерта, и сам являюсь не риккертианцем, а марксистом.

Но я думаю, что всякую попытку кого-либо критиковать следует все-таки обосновывать по существу, а не ограничиваться просто указанием, что это идет от Риккерта или от риккертианства. Ибо такое указание уже заранее настраивает на определенный лад. А между тем надо разобрать, к а к и м р е з у л ь т а т а м автор приходит при помощи Риккерта. Может быть, автор пришел к чему-нибудь неожиданному для нас. Это вполне возможно. Вот, благодаря тому, что у нас критика пошла, за исключением

последнего оратора—тов. Удальцова, не по этому пути, возник ряд странных недаразумений, которые я хотел бы отметить здесь.

Тов. Фридлянд пред'являет, как он выразился, «претензию» книге проф. Петрушевского: почему в ней нет ни одного слова о классовой борьбе? Но, тов. Фридлянд, неужели вы, прочитавши эту книгу, ничего не нашли в ней о классовой борьбе? Она переполнена ею.

Фридлянд. Имманентно не нашел.

Неусыхин. Я удивляюсь этому. Ведь анализ классовых отношений составляет основное содержание этой книги. Я думаю, что это у вас случилось так: вы заранее задались такой мыслью, что необходимо, совершенно необходимо, чтобы было употреблено слово «классовая борьба».

Фридлянд. Желательно, во всяком случае.

Неусыхин. Но так как этого слова в книге нет, то вы и не увидели классовой борьбы. Конечно, полезно называть вещи своими именами, и если автор книги пишет о классовой борьбе, но не употребляет этого слова, то я согласен с вами, что это — очень жаль. Но еще гораздо более печально, что вы за словами не видите сущности явлений и не можете найти искомого, раз оно не названо привычным для вас именем. В этом отношении весьма показателен также и пример трактовки английского рабочего законодательства. Некоторые ораторы освещали здесь отношение Д. М. Петрушевского к рабочему законодательству как какую-то идеализацию надклассовой мудрости государства. Это странно применительно к автору «Восстания Уота Тайлера», посвятившему блестящие страницы выяснению социальной природы этого законодательства. А между тем в той книге, которая здесь критикуется, ясна точка зрения автора на рабочее законодательство и ясна как раз в том месте, которое ему инкриминируется. как оправдание рабочего законодательства.

В сущности мысль автора, высказанная им на 257 стр., может быть выражена фразой Маркса о том, что не надо быть мелким лавочником для того, чтобы иметь психологию мелкого буржуа.

Фридлянд. Совсем не так.

Неусыхин. Автор утверждает, что творцы жестоких законов сами по себе лично не должны быть обязательно жестокими людьми. Вы скажете, что этот вопрос нас, как историков, не интересует, что эта мысль—само собой разумеющаяся, тривиальность. Хорошо. Но тогда не упрекайте Д. М. Петрушевского в идеализации классового господства.

Татаров. А где классовая борьба, которую вы обещали открыть?

Неусыхин. Ибо в приведенной мною цитате много говорится о попрании всех человеческих прав, о порабощении виланов, о превращении их в травимых зверей и т. д. И таких примеров обращения с мыслями автора критикуемой книги можно найти не мало.

Так, например, отношение тов. Фридлянда к точке зрения Д. М. Петрушевского на Бюхера весьма показательно и поучительно в качестве иллюстрации той мысли, которую я высказал в самом начале. Тов. Фридлянд рассуждает так: вот Д. М. Петрушевский критикует Бюхера, а, ведь, Бюхер вовсе не марксист. Почему же Д. М. Петрушевский критикует его?

При этом уже заранее предполагается, что Д. М. Петрушевский должен обязательно критиковать только марксистов. Но, ведь, Д. М. Петрушевский такого обязательства на себя не брал: оно приписано ему критиком. В сущности говоря, Д. М. Петрушевский критикует совершенно определенную и конкретную теорию—теорию Бюхера, которая его, как медиевиста, интересует именно с точки зрения весьма земного вопроса—действительно ли натуральное хозяйство господствовало в средние века и действительно ли города представляли собою те 4.000 пунктов, расположенные на

территории Германии, которые рисовал нам Бюхер. По его мнению — нет. Вот и все. Поэтому он критикует Бюхера, и только поэтому.

Затем, относительно вотчинного капитализма. Здесь, между прочим, т. Фридлянд указывал на то, что Д. М. Петрушевский буквально все взял у Допша—так уж он сам ничего не мог сказать нового, что все принужден был заимствовать у него. А между тем на стр. 211 он критикует понятие вотчинного капитализма у Допша.

То, что говорит здесь Д. М. Петрушевский, совершенно правильно. Всякий марксист согласится с тем, что нельзя проводить аналогии между современным капитализмом и капиталистическими отношениями в средние века на основании тех соображений, при помощи которых строит эту аналогию Допш. Допш усматривает сходство средневековой вотчины с современным капиталистическим предприятием в наличии двух категорий лиц.

Одна категория лишена средств и орудий производства; это прекаристы, которые иногда садятся на землю вотчинника, а иногда дарят вотчиннику свою землю, получают ее обратно в прекарий, снабжаются инвентарем и в результате всего этого получают возможность продолжать свое хозяйство. По мнению Допша, вотчинник выступает здесь в роли капиталиста: он дает и землю, и орудия производства людям, лишенным их. Эта точка зрения Допша неприемлема в том смысле, что с современным капитализмом здесь нет никакого сходства; взаимоотношения этих групп населения совершенно иные. И вот Д. М. Петрушевский сосредоточивает на этом внимание и говорит, что с этой точки зрения его не удовлетворяет теория Допша. Как видите, у Д. М. Петрушевского есть серьезное недовольство Допшем в вопросе о вотчинном капитализме. Допустим, что у Д. М. Петрушевского имеются противоречия в этом понятии; но, говоря о них, следует отметить все противоречия, а также и все разногласия его с Допшем, если руководствоваться научной совестью, о которой правдивые слова были брошены здесь тов. Фридляндом.

Очень наивно прозвучало здесь заявление тов. Кривцова о том, что отрицание аграрного коммунизма в древности — это есть тоже нечто немарксистское. А. Д. Удальцов уже отметил, что такое отрицание нисколько не противоречит марксизму: но он по чисто конкретным соображениям полагает, что у древних германцев была община. Это—другое дело. Но если бы я стал спорить на эту тему, то я принужден был бы анализировать здесь Тацита, в частности—чрезвычайно спорный текст 26-й главы его «Германии»: «Agri pro numero coltorum ab universis in vices occupantur, quod mox inter se secundum dignationem partiuntur».

Удальцов. А у Д. М. Петрушевского «In vices»-то и пропущено.

Неусыхин. Следовательно, это был бы чисто конкретный спор, о котором я говорил вначале. Но сегодняшняя дискуссия пошла не по этому пути, а потому и я на этом останавливаться не буду.

Говорят о первобытном коммунизме у древних германцев. Но какой может быть первобытный коммунизм у народа, у которого имеется частная собственность на землю, социальная дифференциация, дружинный строй, предпосылки феодализма и т. д., и т. д. Достаточно только правильно поставить этот вопрос, чтобы понять всю бесплодность подобных рассуждений.

Затем здесь много говорилось о политическом идеале Макса Вебера. Это тоже относится к области «власти слов». Вебер, видите ли, идеализировал государственную власть. Д. М. Петрушевский согласен с Вебером в вопросе о природе общих понятий. Значит, и Д. М. Петрушевский должен идеализировать сильную государственную власть, он ее жаждет. А вот между тем о государственном социализме в Риме он как раз отозвался непочтительно.

Фридлянд. О социализме? Допускаю.

Неусыхин. Отзывался непочтительно именно о государстве. Там подчеркнуто это. Мы не будем спорить о словах. Между прочим: некоторые возражения, которыми меня перебивают, только подтверждают мой тезис о «власти слов». Тут все время говорят: в словах: «государственный социализм» ударение на социализме, а не на государстве. Но прочтем внимательно то, что пишет Д. М. Петрушевский в главе о падении Римской империи. Какова его концепция? Это старая его концепция, которую он излагал в прежних работах. Она ни на иоту не изменена и заключается в том, что гипертрофия государственности привела к гибели Римскую культуру. А «государственный социализм»—это выражение как раз заимствовано у Допша.

Фридлянд. Подвел его Допш.

Неусыхин. А те quasi-марксисты, у которых слово на первом плане, как им скажут: «государственный социализм», так они уж и не видят—что на предыдущей и что на последующей странице. Они этим словом очарованы.

Фридлянд. Мы им не очарованы. Ошибаетесь, тов. Неусыхин.

Неусыхин. Тов. Фридлянд давал совет Д. М. Петрушевскому прочитать «Немецкую идеологию» Маркса. Это, конечно, очень дельный совет. Но какое поучение для средневековой истории извлечет он из работы, которая написана в 40-х годах прошлого столетия? Он может извлечь оттуда интересные идеи, богатые импульсы в области методологии; но данные по вопросу о том, была ли у германцев община или нет, он найдет в тексте Тацита, а не в философской работе, да еще написанной в 40-х гг., хотя бы она и принадлежала самому Марксу.

С места. Он может лучше читать потом текст Тацита.

Неусыхин. Я позволю себе привести здесь слова Фридриха Энгельса, которые можно прочитать в IV книге «Летописей марксизма». Энгельс указывает, что он хотел бы, чтобы русские, и не только русские, поменьше цитировали бы Маркса и его, а побольше занимались бы изучением явлений жизни историческим методом Маркса и Энгельса. Это—тоже очень дельный совет.

Татаров. Это из Бодена.

Неусыхин. Это из Энгельса. Я сомневаюсь в том, что у тов. Фридлянда есть основания не доверять сведениям, напечатанным Рязановым в «Летописях марксизма»...

Фридлянд. Я только подвергаю критике источник.

Неусыхин. Затем, я хотел бы остановиться на вопросе о том, как вообще производится это применение марксистского метода в конкретной исторической работе. Я считаю, что то или иное решение конкретных специальных проблем истории, т.-е. самый результат специального исследования,—особенно по отношению к древним эпохам—в сущности говоря, индифферентно к марксизму. Будем ли говорить, что у древних германцев была община или не было, марксизм от этого ничего не приобретет, ничего не потеряет.

Но для марксизма чрезвычайно важен метод достижения этих самых результатов, потому что применение ложного метода может привести к ошибочным выводам. И в этом смысле я полагаю, что всякий, изучающий конкретную действительность, марксист должен делать это марксистским методом. Если он, применяя марксистский метод, придет к убеждению, что все-таки у древних германцев не было общины, то пугаться этого отнюдь не следует. А между тем, если говорить о методе, то метод Д. М. Петрушевского далеко не всегда, но очень часто, — марксистский. Здесь совершенно была опущена вся глава о Фоме Аквинском...

Фридлянд. Извините, я говорил.

Неусыхин... в которой дан совершенно марксистский анализ явлений из сферы идеологии. Может быть выводы Д. М. Петрушевского опять-таки покажутся кому-нибудь неудовлетворительными, может быть, они противоречат какому-нибудь общепринятому шаблону. Но это значит лишь, что шаблон надо оставить и принять этот вывод.

Здесь много говорилось, что книга Д. М. Петрушевского полемически заострена. Я бы не согласился ни с кем из говоривших в оценке этой заостренности. В самом деле: в чем ее причина? Впечатление создалось такое, что Д. М. Петрушевский написал свою книгу для того, чтобы что-то или кого-то разгромить. Это не верно. Он не хотел разгромить ни марксистов, ни даже Бюхера, против которого книга, казалось бы, направлена. Ему просто нужно было осмотреться вокруг себя, как он сам пишет в предисловии, наметить назревшие и наболевшие вопросы. Но в процессе разрешения этих вопросов он, естественно, встретил на своем пути предыдущие теории и полемически заострил некоторые моменты. Но эта полемическая заостренность не новость в трудах Д. М. Петрушевского. Вы можете ее встретить во всех его старых книгах: в «Восстании Уота Тайлера», хотя это диссертация, в «Очерках из истории средневекового общества и государства» и т. д. Критикует ли он при этом Бюхера резко или мягко,—это вопрос, который нас интересовать не может. Может быть, Бюхера он мог бы интересовать, если бы он пожелал возразить на эту критику.

В двух словах я бы хотел коснуться вопроса о знаменитом введении. К сожалению, я не имею времени остановиться подробно на том, в какой мере воспринял Д. М. Петрушевский Риккерта и Макса Вебера. Это—интересная проблема. О Максе Вебере здесь говорили много, но у меня сложилось такое впечатление, что говорилось не о нем, а о ком-то другом. По крайней мере, самое понятие «идеальный тип», в сущности говоря, осталось здесь невыясненным.

В двух словах скажу, что идеальный тип не есть трансцендентное долженствование, вопреки мнению С. С. Кривцова и несмотря на то, что Вебер, конечно,—кантианец. Вообще у Вебера нет теории трансцендентных ценностей—у него есть нападки на эту теорию, он проповедует философию отсутствия таких ценностей. Ценности у него играют роль исторического интереса и больше ничего. Идеальные типы он считает лишь орудием исторического познания, но отнюдь не парящей над ним сущностью. Его идеальные типы—лишь возведение в перл создания «известных черт исторической действительности». Это не значит, что они трансценденты. Этого у него нет, и этого приписывать ему не нужно. Но предположим, что есть, так ведь у Вебера, а не у Д. М. Петрушевского. Напрасно тов. Фридлянд сопоставлял здесь Вебера и Д. М. Петрушевского. Это—совсем разные индивидуальности, и желательно их различать. Нельзя также отождествлять Д. М. Петрушевского и с Риккертом, как это здесь делали.

Голос. И взгляды тоже нельзя, или только личность?

Неусыхин. Я бы сказал, что эти самые взгляды Д. М. Петрушевского о Риккерте, которые изложены в его книге, представляют собою известное продолжение и развитие его прежних взглядов. Он, собственно, приходит к тому выводу, что историческая наука есть наука об индивидуальном и наука об общем. Это то, что он говорил всегда на всех своих лекциях и что напечатано в его курсе. Это же самое сказано и в его новой книге, только в ней это выражено в терминах риккертовой лигики. Но, ведь, слова производят здесь чарующее впечатление. Человек говорит об отнесении к ценности, о каких-то «заумных» ценностях. Но прочтите же его вывод. Он гласит, что историческая наука есть наука об индивидуальном, что она пользуется общими понятиями, что они совершенно необходимы и что без общих понятий не может быть и

нет никакой исторической науки. Эти общие понятия являются для него орудием познания действительности. И это для нас самое важное.

Фридлянд. Эти общие понятия ничего общего не имеют с конкретными фактами.

Неусыхин. Вот здесь во всех тех замечаниях, которые мне делались, и чувствуется различный подход. Я ведь, собственно говоря, не выступаю здесь ничьим адвокатом, а если я являюсь таковым, то в конце-концов лишь защитником марксизма от его вульгаризации. Мой подход ко всякой книге, которую я прочитываю, даже в сто раз менее ценной, чем книга Д. М. Петрушевского, такой: понять книгу, разобраться в ее методологии согласно научной совести, к которой взывает здесь т. Фридлянд, и, разобравшись в ней, взять из нее то, что мне нужно. Я попытался показать на некоторых примерах, что ценно в книге Д. М. Петрушевского. Может быть, я сделал это неудачно, но во всяком случае ясно, что эта книга, хотя она и написана не-марксистом, отнюдь не является анти-марксистским манифестом.

Д. М. Петрушевский написал специальную работу по средневековой истории, не думая этим бороться ни с марксизмом, ни решительно с чем бы то ни было, кроме тех взглядов на средневековую историю, которые ему представлялись неправильными. Допустим, что в его введении имеются ошибки; но ведь не всякий историк является специалистом-философом. Это желательно, но не всегда обязательно, и я думаю, что многие из тех историков, которые выступали сегодня, в гораздо меньшей мере являются философами, чем критикуемый ими автор.

Чему же учит нас книга Д. М. Петрушевского? Она зовет нас (как это уже отметил А. Д. Удальцов) к критическому исследованию фактов, к скептическому отношению ко всяким шаблонам, и в этом ее ценность,—ценность для марксизма.

II заседание

П. И. Кушнер

Я принужден несколько отвлечься от непосредственного обсуждения книги проф. Петрушевского, поскольку тов. Косминский затронул ряд принципиальных вопросов, попутно с книгой. Постараюсь, однако, держаться поближе к теме.

По Петрушевскому, феодализм—только политический строй, не имеющий для себя базы в соответствующей (феодальной) экономике. Мне кажется весьма странным то обстоятельство, что проф. Петрушевский, специалист по вопросам средневековой истории, не может установить никакой связи между экономическим и политическим строем средневековой Европы. Я пытался понять, каким путем проф. Петрушевский пришел к таким выводам, пытался, как советует тов. Неусыхин, встать на точку зрения автора и вскрыть то понимание, которое присуще самому автору. И, вот, проделав это, я пришел к заключению, что проф. Петрушевский не случайно отделил политический строй от экономического—причина тому лежит в исходной точке исследования. Проф. Петрушевский видит феодализм в довольно поздней эпохе общественного развития средневековой Европы — приблизительно около XII века: по отношению же к Московии он относит феодальный строй к XVI веку и сожалеет о том, что русские историки, не склонные толковать историческое развитие России в терминах западно-европейской исторической науки, не замечают типично феодального политического устройства Московского государства XVI века.

Если же брать за классический, наиболее развитой тип феодального строя тот строй, который сложился в Зап. Европе в XII—XIII веке, то, ко-

нечно, необычайно трудно вскрыть зависимость политических форм от современной им экономики. В этот период в Европе феодальное хозяйство находится в упадке, в процессе разложения; развивается широкое денежное хозяйство, торговый капитализм, политическая же надстройка сохраняет свой феодальный характер. Полнейший разрыв между базой (экономической) и политической надстройкой вызывает ряд политических переворотов (движения, которые Н. Рожков называл «дворянскими революциями»), но накануне этих переворотов, знаменующих собою приспособление политических надстроек к изменившейся базе, действительно, государственный строй не соответствует экономическому развитию. Мне кажется, что, беря подобную эпоху в статике, проф. Петрушевский неизбежно должен был притти к выводу, что политический строй феодализма не зиждется на соответствующей экономике. Это ошибка методологическая—взяв за исходный пункт исследования более раннюю эпоху (предположим, IX—X вв.), проф. Петрушевский должен был бы получить иные результаты.

Вообще, если отрицать метод исторического материализма (это делает проф. Петрушевский) и подходить к изучению исторических эпох только с точки зрения нахождения отдельных идеальных типов или даже отдельных исторических «ценностей», то сущность исторического процесса вскрыть невозможно. Можно ли понять исторический процесс, если пройти мимо понятия «общественные формации», как они формулированы К. Марксом,—т.-е. мимо понятия об особых эпохах, экономика которых непосредственно связана со всеми политическими и другими надстройками. Я думаю, что никакого другого пути для понимания исторического развития нет, потому что только через «общественные формации», только вскрыв содержание и изменение этих «формаций», можно притти к правильному истолкованию хода развития общества.

Пусть число «общественных формаций» и не окончательно установлено, пусть еще идут споры среди марксистов о сущности отдельных формаций, но само понятие формации настолько ясно и так важно для научного подхода к изучению истории, что пренебрежение им неизбежно отражается на результатах исследования. Формации—понятие совершенно об'ективное, потому что оно существует в действительности.

Феодализм—типичная формация, имеющая свою отличительную от других формаций экономику, свои политические и иные надстройки. Сущность этой формации состоит в том, что мелкое производство, имеющее натуральный характер, но способное вырабатывать уже прибавочный продукт хищнически подчинено сплоченной и необычайно сильной экономически группе, которая путем об'явления своей монополией права на землю, военную силу и торговлю, заставляет мелких производителей (отчасти экономическим путем, отчасти внеэкономическим путем) отдавать ту или иную долю прибавочного продукта этому классу-монополисту. Грабеж, дань, оброки, барщина и различные формы натуральной аренды (испольщина, издольщина, наем за отработки и пр.)—вот та форма, в какой отнимается этот прибавочный продукт. Подобная экономическая система, конечно, имеет и соответствующую политическую надстройку: класс-паразит берет на себя военные, административные и судебные функции и превращает эти государственные функции также в свое исключительное право. Таким образом, в развитом феодальном строе системе экономических классов соответствует система привилегированных сословий. Я не буду останавливаться на том, каким образом класс земельных собственников делается классом-паразитом—это завело бы очень далеко в сторону от предмета дискуссии—отмечу только, что генезис этого класса относится к концу родового строя, где ранние

представители этого класса выполняют общественно-полезные военные и административные функции.

Так как этой формации соответствует переход от натурального хозяйства к хозяйству товарному, то внутри общества происходит непрерывная передвижка натуральных и товарных взаимоотношений, которые борются между собою. Товарное производство сначала занимает весьма маленькое место в экономике общества, при чем идет оно не снизу, а сверху, так как денежное хозяйство развивается прежде всего в торговле-грабеже, которой занимаются собственные верхи. Торгуют короли, князья, высшие слои общества—торгуют данью, оброками и, даже, рабами. Эта торговля подтачивает натуральное хозяйство исподволь, но в феодальную эпоху все-таки преобладает натуральная система хозяйства. При нормальной обстановке, при росте производительных сил побеждают товарные отношения; они перерастают форму феодальной экономики и служат основной причиной исчезновения феодального строя. Пережитки же феодальных отношений в публично-правовых и государственных отношениях могут сохраняться еще очень долго после уничтожения самого феодализма.

Феодализм—общественная формация, но формы образования его могут быть различны. Феодализм может создаться в результате роста производительных сил (нормальное развитие), когда натуральные отношения постепенно заменяются товарными. Тогда родовой строй (или племенной) разлагается, создаются примитивные государства, которые быстро феодализируются. В пример можно указать древних германцев, древних славян, современных кара-киргизов.

Может создаться феодализм и иным путем—путем регресса, полного или частичного понижения уровня производительных сил. Общество развивается не прямолинейным путем—если взять отдельный народ или страну, то в их истории всегда можно найти некоторые заминки в развитии, а то и временный регресс. В таких случаях даже товарное развитое хозяйство, особенно на ранних ступенях торгово-капиталистического развития, может, деградируя, все более и более натурализироваться. При таком дегрессе создаются общественные отношения, которые с полным правом могут быть названы феодальными. Так как подобный феодализм (феодализм упадка) возвращает общество на давно уже пройденную ступень, возвращает во второй раз, то он может быть назван «вторичным» феодализмом, первый же тип феодализма (феодализм развития) можно назвать «первичным». Я думаю, что такая вторичная форма феодализма характерна для Рима в III веке нашей эры—здесь были налицо распад меновых связей, возврат к натуральному хозяйствованию и феодализация общества.

Проф. Петрушевский стоит, в общем, недалеко от подобного же толкования исторического развития Европы в первые столетия нашей эры. Он говорит о том, что задолго до эпохи империи в древнем Риме существовал феодализм, который он называет «муниципальным» (вернее было бы считать его лишь «первичным»); в III же веке Рим снова феодализируется (этот феодализм проф. Петрушевский называет «индивидуальным», как феодализм в Зап. Европе)—крупные земельные собственники выполняют на местах все функции государственной власти, подчиняют себе колонов и пр. Тем самым, что проф. Петрушевский толкует о разных типах феодализма, говорит о феодализме («индивидуальном») в Зап. Европе, в Англии и т. д.—он признает феодализм не историческим, а социологическим явлением. Отсюда было бы нетрудно перейти и к понятию «общественной формации». Но он останавливается на полдороге, цепляясь за «идеальные типы», которые у него заслоняют сущность общественного развития.

Форму общественного развития проф. Петрушевский рисует также, как и мы (если только изменить его терминологию), но сущность эпох

он не улавливает—более того, он толкует эти эпохи, как мы увидим дальше, с острым противо-марксистским нажимом.

Оба типа феодализма («первичный» и «вторичный») могут существовать самостоятельно, но могут, при столкновении двух народов с разной степенью развития, перекрещиваться и сливаться. С одной стороны, может итти рост производительных сил и натуральное хозяйство постепенно заменяться товарным, а с другой—продолжаться в некоторых областях и районах разложение товарного хозяйства и частичное вытеснение его хозяйством натуральным. Так можно себе представить, например, ранние эпохи феодализма в Зап. Европе. Германский «первичный» феодализм слился со «вторичным» феодализмом распадающегося Рима. В тех областях, которые находились в наибольшей экономической зависимости от Рима, продолжался еще в течение нескольких столетий распад товарных отношений, в районах же, расположенных на периферии, натуральное хозяйство медленно перерастало в хозяйство денежное. В конце концов оба процесса должны были столкнуться. Если бы в обществе производительные силы пришли во всех районах в некоторое равновесие и начался бы рост этих сил, товарное хозяйство должно было бы одержать победу, распад торговых связей, товарных отношений должен был бы прекратиться. Но могло бы быть и наоборот—мог победить процесс распада—захватить и стойкие натурально-хозяйственные районы.

Я думаю, что процесс феодализации в Зап. Европе проходил именно таким сложным образом. Западно-европейский феодализм, если его брать исторически, произошел от смеси двух типов—феодализма первичного, начавшегося у древних германцев, и феодализма вторичного, начавшегося у их хозяйственно-развитых соседей—римлян. Благодаря этой смеси двух типов, очень трудно разбираться в феодальных отношениях в Зап. Европе, потому что первичный феодализм приносит с собою остатки предыдущих родовых, племенных, натурально-хозяйственных отношений, а феодализм вторичный несет остатки товарных, денежных отношений, понятие о частной собственности, государственной власти и развитую религию. Если все это брать в статике, не выделять пережитков, исторических корней, да еще не пользоваться методом исторического материализма, игнорируя его—то каковы могут быть результаты при таком несовершенном способе исследования, об этом свидетельствует книга проф. Петрушевского. Она не дает даже понятия и об «идеальном» типе феодализма, потому что западно-европейский феодализм для таких идеально-типических обобщений неудобен. «Чистым» типом феодализма можно считать только тип первичного феодализма, между тем как он в Зап. Европе нигде развиться не успел (феодализм у германцев слился с феодализмом распадающегося римского общества). Поэтому изучение «чистых» типов следовало бы начать хотя бы с феодализма у древних греков (гомеровской и более поздней эпох), древних ирландцев (в V—VIII в.), у восточных славян, у японцев, даже на современных этнологических примерах—у кара-киргизов, но во всяком случае не у народов Зап. Европы. Мне кажется именно потому так запуталось самое понятие «феодализм», что эта формация изучается на нехарактерном примере. До сих пор, ведь, не существует в исторической науке точного определения феодализма—и это не случайно: об'ект научного исследования (для первоначального определения «типа») взят неудачно. Если бы исследователи шли от какого-либо другого, более простого исторического примера феодализма, наблюдали общество, развивающееся, и притом развивающееся без особо сильных внешних воздействий, тогда понятие феодализма—как формации, феодализма—как идеального «типа» (пусть даже так), обрисовалось бы перед нами гораздо отчетливее.

Проф. Петрушевский не внес ясности в понимание нами феодализма—скорее, наоборот. Так я подхожу к этому вопросу.

У проф. Петрушевского в книге есть много материала для правильного, научного истолкования феодализма—это ценная часть книги, но из всех этих материалов не сделано правильного вывода.

Теперь остановлюсь на отдельных моментах, которых касался тов. Косминский. Начну с древних германцев.

Тов. Косминский говорит, что книга проф. Петрушевского, согласно с последними исследованиями западно-европейской исторической науки, совершенно правильно отрицает родовой строй, общинное устройство и первобытный коммунизм древних германцев. Понятие-де это устарело, от него нужно отойти, тем более, что марксизм вовсе не связывает современное общественное развитие с каким-то «первобытным» коммунизмом. Я думаю, что тов. Косминский сам оперирует весьма древними понятиями и борется с ветряными мельницами. Сейчас, вообще, нелепо говорить о «первобытном» коммунизме, поскольку это понятие применяется к родовому строю, а этот строй вовсе не первобытный; также и общинный строй—не первобытный, а у древних германцев эпохи Тацита можно найти, в лучшем случае, общинные порядки. Следует говорить не о первобытном, а об аграрном коммунизме родовых групп. И здесь тов. Косминский сделал, по-моему, неправильную ссылку на Энгельса, который якобы признавал «первобытный» коммунизм, который тов. Косминский отрицает. У Энгельса, в его книге: «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (издание «Москов. Рабочий», стр. 92—93), написано следующее:

... «почти у всех народов доказана совместная обработка земли родом, а впоследствии коммунистическими семейными общинами, существование которых Цезарь установил у свевов»... «Если германцы за 150 лет, отделяющие рассказ Цезаря от Тацита, перешли от совместной обработки земли... к обработке отдельными семьями с ежегодным переделом земли, то это действительно достаточно значительный прогресс: переход от этой ступени к полной частной собственности на землю за такой короткий промежуток времени и без всякого воздействия извне представляется просто невозможным» и т. д.

К этому Энгельс добавил следующее: «Предшествующий абзац я оставляю без всяких перемен, сравнительно с предыдущими изданиями. За это время вопрос поставлен иначе. После того, как Ковалевский доказал широкое распространение, если не повсеместное существование, патриархальной семейной общины, как промежуточной ступени между основанной на материнском праве коммунистической и современной изолированной семьей, вопрос приходится ставить уже не так, как его ставил Маурер и Вайц—общинная собственность или частная собственность на землю; теперь вопрос стоит лишь о форме общинной собственности. Нет никакого сомнения, что во время Цезаря у свевов существовала не только общинная собственность, но и совместная обработка земли за общий счет. Еще долго можно будет спорить на счет того, что являлось хозяйственной единицей — род или отдельное хозяйство, или стоящая между ними обоими коммунистическая группа родственников, или же существовали, в зависимости от условий местности, все три группы сразу. Но Ковалевский, между тем, утверждает, что описанное Тацитом положение предполагает существование не марки или сельской общины, а семейной общины: только из последней много позднее, в результате роста населения, развилась сельская община». Согласно этому взгляду, поселения германцев на занятых ими ко времени римлян, как и на отнятых у них после римлянами, землях состояли не из сел, а из больших семейных общин, включавших в свой состав несколько поколений, обрабатывающих соответствующий земельный участок и поль-

зовавшихся окружающими пустошами вместе с соседями, как общей маркой»... «Для России—пишет дальше Энгельс—такой ход развития представляется вполне доказанным. Что же касается Германии и, во-вторую очередь, остальных германских стран, то нельзя отрицать, что это предположение во многих отношениях лучше об'ясняет источники и легче разрешает трудности, чем господствовавшая ранее точка зрения, которая существование сельской общины относила еще ко времени Тацита».

Следовательно, Энгельс был вполне в курсе последних этнологических исследований, поставивших, благодаря Ковалевскому, вопрос о древнем германском землепользовании в совершенно иную плоскость, чем это делал, напр., Маурер. В приведенной цитате Энгельс говорит об аграрном коммунизме больших семей—как составных частях родового, общинного строя, а вовсе не о каком-то вне-историческом «первобытном» коммунизме.

Вернемся к Петрушевскому. Проф. Петрушевский, конечно, знаком с этнологией, но он нигде не ссылается на этнологические исследования. А ведь именно в области исследования семейного, «задружного» быта этнология сделала наибольшие успехи. Она выяснила уже в конце прошлого столетия, что так называемая «большая семья» присуща родовому устройству, что существование «больших семей», не позволяет отрицать общинных порядков у земледельцев, у которых группы «больших семей» связываются коллективным пользованием общественных угодий (выгонов, лугов, лесов, водопоев, отчасти пустошей) и образуют то, что известно теперь под именем «родовой общины». Эта община существенно отличается от так называемой «сельской» общины, в которой земля делится по конам и долям, по жребию, и в которой переделы земли и чересполосица неизбежны. В родовой общине общинная собственность ограничена «альмендой» (угодьями), но не существует частной собственности на землю, потому что земля принадлежит не отдельным лицам, а большим семейным группам. В этих группах нет наследования, нет выделов: человек, уходящий на сторону, ничего не получает из общего имущества. Подобное общинное устройство (родовая община) существует до сих пор еще у некоторых народов. Я не буду останавливаться на всех тех примерах, которые отмечала исследовательница Ефименко («Исследования народной жизни»), только укажу, что формы, почти тождественные южно-славянской «задруге», можно найти в современном Афганистане, у туркменов Закаспия, , у курдов и даже, как пережиток, у осетин; а родовая община древности сохранилась в виде черногорского «братства», дагестанского «тохума» и пр.

Использовав эти сведения этнологии, проф. Петрушевский совершенно иначе должен был бы подойти к хозяйственной жизни древних германцев. Конечно, не целый род владеет нераздельно всей землей, — земля распределена между большими семейными коммунами. Но, кроме пахотной земли, находящейся в распоряжении семейных хозяйств, существовала у германцев эпохи Тацита (вероятно, и в эпоху Цезаря было почти тоже) «альменда», которой семьи пользовались сообща. Следовательно, говоря о коммунизме древних германцев, мы имеем в виду строй больших семей, ведущих коллективное производство и коллективно-потребляющих полученные продукты в пределах своей семьи. Так понимал это и Энгельс, когда говорил о больших или меньших группах родственников, ведущих коммунистическое хозяйство.

Таким образом, мы нисколько не отрицаем коммунизма в этих аграрных союзах, только его не нужно называть первобытным.

Как же истолковал проф. Петрушевский подобный строй? У Тацита он находит неоспоримые доказательства того, что у древних германцев существовала частная собственность на землю... Он игнорирует все данные этнологии—для того, чтобы доказать, что у германцев частная собствен-

ность была с незапамятных времен. Но есть еще известное место у Цезаря, которое недвусмысленно показывает, что у германцев существовала коллективная обработка полей. Цитируя (на стр. 140 своей книги) это место Цезаря, проф. Петрушевский толкует его так: Цезарь описывает племя, которое «выбито из колеи нормального, давно налаженного существования». Германцы-де знают и частную собственность на землю, и интенсивную обработку земли. Но в условиях непрерывной военной борьбы, «военного положения, ставшего хроническим», вожди принесли в жертву «все обычные и привычные порядки культурного существования, как несовместимые с той главной задачей, которую поставила перед ними жизнь». Они заменили частную собственность «военным коммунизмом»... Таким образом, коллективизм древних германцев был следствием определенной политики. Наряду с этим, проф. Петрушевский делает еще одно странное допущение: он считает, что догадки Цезаря о причинах коллективизма у германцев («Этому они приводят много причин: чтобы, привыкнув к оседлости, они не переменили военного дела на земледелие; чтобы не стали стремиться к расширению границ своих владений и чтобы сильные не сгоняли более слабых с их владений» и т. д.) вполне соответствовали действительности. Таким образом, явно морализирующие рассуждения римского полководца, желавшего убедить своих изнеженных культурой, богатством и пр. соотечественников в необходимости вести иной образ жизни, превращаются проф. Петрушевским в точное описание подлинного быта германцев... Какая странная «наивность» в устах маститого историка.

Я уже не говорю о странности тех аналогий, которые приходят на ум автору цитируемой книги («военный коммунизм»—по отношению к быту древних германцев...), но и по существу это совершенно неправильная концепция, неправильное толкование текста, некритическое отношение к документу.

Теперь относительно второго момента. О денежном хозяйстве и о хозяйственном строе поместья.

Тов. Косминский говорит, что в книге проф. Петрушевского совершенно иначе поставлен вопрос о денежном хозяйстве средневековой эпохи, чем он ставился до него в европейской науке. Конечно, это верно—вопрос поставлен совершенно иначе. Но правильно ли он поставлен?

Феодализм—не чистый натурально-хозяйственный строй, в нем происходит борьба между натуральным и товарным хозяйством, при чем рост товарного хозяйства, естественно, приводит к развитию денежных отношений. В феодальном строе Зап. Европы много остатков римских хозяйственных отношений, много сохранилось еще торговых навыков, поэтому вполне понятно, что продолжает существовать и денежное хозяйство—но не во всех районах в одинаковой степени. В общем, денежное хозяйство переживает упадок с III века вплоть до эпохи Каролингов. Эпоха Каролингов—это еще эпоха упадка (в отношении денежного хозяйства), но после, в начале XI века, обнаруживается некоторый под'ем. Таким образом, денежное хозяйство Каролингской эпохи вовсе нельзя толкать как форму, присущую вообще феодализму, да и, в конце концов, оно имеет совсем незначительный размах. Из разбора «капитулярия о поместьях» видно, что хозяйство денежное занимает очень скромное место. Взять, хотя бы, ту статью где сказано, что приказчик обязан доставлять отчет один раз в году и один раз в году сдавать собственнику поместья остатки денежных сумм. В «Капитулярии» говорится:

«Мы хотим, чтобы ежегодно в четыредесятницу, в вербное воскресенье, называемое осанною, управляющие, согласно нашему распоряжению, представляли нам деньги с нашего хозяйства после того, как мы познакомимся, каков наш доход в настоящем году».

Трудно предполагать в ту эпоху такую точную бухгалтерию, которая могла бы учитывать все расходы и весь приход так, как они учитываются в современном крупном хозяйстве. При том состоянии бухгалтерских записей, которое было присуще изучаемой эпохе, один раз в году можно было отчитываться лишь в том случае, если хозяйственный оборот поместья был примитивен. А что, действительно, он был примитивен, можно установить по некоторым дошедшим до нас отчетам (даже XII века), где все статьи прихода и расхода уложены в 4—5 рубрик. Можно ли при таком условии говорить о развитом денежном хозяйстве?

Откуда поступали деньги в кассу поместья? Главным образом, от крестьянских повинностей, потому что собственные денежные (торговые) операции поместья были незначительны (взять, хотя бы, тот же «капитулярий»—продажа кур, уток и другой домашней птицы, если ее некуда было девать, и прочие случайные продажи). Денежные же повинности крестьян были ничтожны. Нельзя отрицать существования денежных отношений в ту эпоху, и поэтому нельзя толковать западно-европейское хозяйство эпохи средневековья, как типично-натуральное. Но, ведь, так вопрос никем и не ставился в настоящее время. Мы говорим о преобладании натурального хозяйства, потому что каждая общественная формация определяется по преобладающим признакам, но вовсе не намерены отрицать денежных отношений. Таким образом, в хозяйстве поместья, конечно, обращались в IX—X веке и деньги, но денежный оборот занимал совсем незначительное место.

Теперь, относительно капитализма.

Тов. Косминский утверждает, что при правильном понимании книги проф. Петрушевского, все формулы автора нетрудно будет перевести на язык марксизма. Если к такому вопросу подойти формально, то я готов признать, что со стороны формы многие положения Петрушевского легко переложить на марксистский лад. Но по существу это сделать трудно. Возьмите, напр., вопрос о капитализме. Конечно, автор книги превосходно знает, что такое капитализм—в марксистском понимании. Полемизируя с Зомбартом (в действительности он бьет не по Зомбарту, а пытается через голову Зомбарта ударить по марксизму), он обнаруживает достаточное знакомство с марксистской терминологией: «Если с понятием капитализм и капиталистический (см. стр. 210) соединять лишь признаки, характерные для современного капитализма, и его индивидуальности,—пишет он,—то... никогда и нигде, кроме последних двух веков в жизни Европы и Америки, капитализма не существовало». Однако определение капитализма, которое дано им самим на этой же странице, его не удовлетворяет—ему нужен не исторический, а «идеальный» тип капитализма. В таком случае капитализм можно найти—по Петрушевскому—«во всякую эпоху».

«Если с понятием капитализма не соединять определенных социальных признаков, связанных с определенной исторической эпохой социального развития новой Европы, и не думать, что капитализм немыслим без лишенных средств производства рабочих, продающих по свободному договору свои рабочие руки монопольным обладателям этих средств, выступающим в роли организаторов производства, то становится ясным, что капитализм возможен в самой различной социальной обстановке»... «Несомненно, капиталистическим является и вотчинное хозяйство»—прибавляет он далее (стр. 211). «Вотчинный капитализм средних веков», «аграрный капитализм последних веков римской республики и первых веков империи»—все это свидетельствует, что проф. Петрушевский склонен толковать капитализм, как какую-то вне-историческую категорию.

Можно ли истолковать подобные положения автора «в терминах марксизма», как это советует сделать тов. Косминский? Разве то толкование понятия капитализма, которое проф. Петрушевский заимствует у Допша (правда, несколько модернизируя его), имеет какое-либо касательство к марксизму? Капитализм—хозяйствование с целью выгоды, с целью получения прибыли. Такова формула капитализма, которую отстаивает Петрушевский. Капитализм у него не историческая, а какая-то извечная форма, присущая всякому обществу. Что ж, и мы ведем хозяйство с целью получения тех или иных выгод от него—значит, и у нас, в СССР, хозяйство капиталистическое?..

Нельзя сказать, чтобы в книге не было ценных глав или отдельных мест—они есть. Так, например, очень интересны некоторые страницы о капиталистическом развитии Рима. Их можно было бы, действительно, перевести на язык марксизма. В Риме,—пишет Петрушевский,—был своеобразный капитал, но не похожий на современный нам капитал, так как он составлялся из двух частей: ростовщической и купеческой. Этому капиталу было подчинено мелкое производство. Мы называем такой капитал капиталом торговым—действительно, в древней Греции, в V веке до нашей эры, и в древнем Риме, в эпоху его наибольшего хозяйственного развития, такой капитал имел большое развитие и обладал большой силой. Но если подобные места могут быть нами приняты и «переведены», то другие (а их большинство в этой книге) никакому толкованию не подлежат. Извратить, конечно, их можно, но вряд ли тогда проф. Петрушевский с этим согласится. Он будет прав: толкование—это одно; извращение, приспособление неподходящего материала к распространенным теориям—это другое. Марксизм никогда не занимался последними операциями, потому что он наиболее научная, наиболее считающаяся с фактами теория.

Несколько слов относительно общей оценки взглядов проф. Петрушевского, поскольку они отразились в разбираемой нами книге. Я думаю, что та теория, которую защищает проф. Петрушевский, реакционна со всех точек зрения и, в особенности, со стороны научной.

В основе большинства построений лежит Допш — ярый реакционер, если взять его понимание общественного развития. Вот как, например, Допш об'ясняет переход от Рима к новому германо-европейскому обществу:

«Римский мир был постепенно приобретен германцами изнутри, так как они давно, в течение столетий, постепенно, мирным путем проникали в него, переняли его культуру, даже его управление не раз уже к ним переходило, так что устранение политического господства римлян явилось больше лишь последним следствием этого медленного процесса преобразования, в известной мере исправления формы, старое имя которой фактически давно уже больше не обозначало действительного вершителя дел».

Видите, постепенный процесс, лишенный переломов, катастроф, сплошная эволюция! Словом, мирное врастание германцев в римское общество, а потом распространение римской культуры, которую, как зажженный факел, рассудительные германцы бережно несут в среднюю Европу. Таково историческое развитие по Допшу...

Проф. Петрушевский пытается кое-где отмежеваться от взглядов Допша, он признает, что у Допша очень силен националистический, «истинно-немецкий» дух. Но это не столько воззрения немца, сколько воззрения открытого реакционера, сознательного интерпретатора исторической науки. Каков ход истории,—по Допшу? Никаких революций, никаких потрясений. Как только зародилось человеческое историческое общество, так оно стало постепенно накоплять культуру, длинной и непрерывной цепью нанизывая одно усовершенствование за другим. По-настоящему, в этой теории и эволюции-то никакой нет, потому что все элементы «культуры» даются

с самого начала. Человечество имеет — согласно теории — все время дело с извечными формами: частная собственность, капитализм уходят в седую древность своими корнями. Это статика, хотя она и наряжена в эволюционный покрой.

Проф. Петрушевский не расходится в этом отношении с Допшем. И у него—частная собственность извечна. Он ищет ее, и находит у германцев лишь потому, что иначе между Римом, с его частно-собственническими навыками, и новым европейским обществом, с такими же навыками, получился бы прорыв—в виде каких-то «коллективных» навыков древних германцев... Понятие капитализма тоже статично, он вечен. Таким образом, нет общественных явлений исчезающих, отмирающих, — нет и новых общественных явлений, рождающихся в более поздние эпохи. Все изначально, все в виде тех или иных зародышей уже заранее дано. Это какой-то устоявшийся, вечный прогресс или, вернее, непрерывное топтание на одном месте.

Но еще реакционнее та часть теории проф. Петрушевского, которая заставила его оторвать политический строй от экономики. Если в экономической жизни не существует никаких радикальных изменений, никакого настоящего развития, то вполне естественно, что все политические формы— лишь игра сил... Это случайные сочетания отдельных влияний, которые при мудрой политике могут быть предупреждены или уничтожены. В соответствии с этим пониманием политической жизни, проф. Петрушевский совершенно оригинально подходит к классам и классовой борьбе. Он стоит как-будто над классами, он по-человечески, «справедливо» относится к историческим проявлениям ожесточенной классовой борьбы. Он находит умиротворяющие слова и даже уверяет, что наши представления об этой борьбе «слишком мрачны и однобоки». Для него борьба классов не неизбежна—при мудрой политике от нее можно избавиться. Вот, например, борьба классов и партий в Риме в эпоху упадка. Для Петрушевского причина лежит не в том, что внутренние силы противоречивого развития разлагают общественные связи, а в том, что государство ведет неудачную внутреннюю политику. Причина распада—гипертрофия государственного аппарата, и достаточно германцам устранить этот разбухший аппарат, как общество становится свободным от всех тягот. Само собой ясно, что в этом освещении руководящая, исключительная роль (положительная или отрицательная) государства выдвигается на первый план.

Тов. Неусыхин утверждает, что проф. Петрушевский не является «государственником», что он во многих местах своей книги протестует против роли государства. Это не совсем так. Он протестует против государства во имя самого государства. Для него государство—если оно ведет правильную политику—венец общественного строя. Грозные филиппики против римского государства не зря сменяются доброжелательными фразами, которые «государственную необходимость» ставят гораздо выше блага отдельных (в особенности, низших) групп населения. «Государственная необходимость (стр. 121)... заставила искать опору там, где ее можно было найти— у богатых и сильных, взвалив на них всю тяжесть фискальной ответственности за слабых и маломощных». Что до того, что тяжесть-то была взвалена не на «сильных и богатых» кондукторов, а на бедных колонов! «Историк» не должен смущаться такими мелочами, потому что он смотрит не с «классовой», а с «государственной» точки зрения...

Эта «государственная» точка зрения проглядывает и в других местах. Например, оригинальное истолкование вотчинных и, вообще, феодальных порядков. До сих пор мы думали, что совмещение, в лице вотчинника, землевладельца и носителя государственной власти по отношению к окружному населению об'яснялось слабостью государственной власти. Государство было не в состоянии создать централизованную власть, и поэтому вотчин-

ники растаскивали ее по своим поместьям. По Петрушевскому выходит совсем наоборот: государство само передает свои права земельным собственникам, чтобы сильнее привязать их к государству. Но роль и значение вотчинника были скромны: «Владелец вотчины являлся не более, как служилым человеком (стр. 70—71), наделенным политическими полномочиями лишь в качестве члена военного и правящего государственного сословия, одного из политически соподчиненных государственных сословий обширного государственного целого, между которыми государственная власть распределила государственное тягло». Государство, судя по этой цитате, взаимно «соподчинило» государственные сословия, и тем, что дало возможность вотчиннику судить крестьян, наказывать их и взыскивать с них штрафы *и налоги, наложило на вотчинников «государственное тягло»*...

Проф. Петрушевский беспристрастен, он «чистый» историк и может по достоинству оценить внеклассовую позицию государства. На стр. 218—219 он пишет: «Тщательное изучение английской вотчины окончательно рассеивает до сих пор не исчезнувшие совершенно фантастические представления о средних веках, как о мрачной эпохе бесправия и социального гнета, господства силы и произвола в отношении к массам и полного их порабощения феодальными господами».

«Закон и право иначе были организованы в средневековой Европе, чем в современном цивилизованном мире, но они с такой же несомненностью существовали и регулировали жизнь тогда, как и теперь, разграничивая и охраняя интересы всех общественных групп и не делая при этом исключения и для тех, кто занимал самые низшие ступени общественной лестницы»...

Но если уж разобрать по существу, то внеклассовая позиция государства, как она понимается проф. Петрушевским, об'ясняется «внеклассовой» позицией самого почтенного историка, и это чревато последствиями—в отношении ценности исторического исследования. Профессор упорно не замечает тех классов, которые подвергаются эксплоатации, более того—он отрицает даже и самую эксплоатацию. На стр. 216 он так определяет сущность этой эксплоатации: «можно сказать, что средневековое вотчинное хозяйство построено не столько на эксплоатации зависимых людей, сколько на эксплоатации зависимой земли»... Вот и переведите это на «язык марксизма»! Не правда ли, это очень близко напоминает такое определение человеческой эксплоатации, как «выжимание из человека прибавочного продукта»?

Следствием такого понимания эксплоатации является идеализация темных сторон средневековой жизни. В нескольких местах книги автор подчеркивает, что нельзя представлять себе европейское средневековье, как непрерывную цепь насилий. «Не следует преувеличивать такого рода возможности (насильственного закрепощения людей. *П. К.*), и изображать чрезвычайно сложный социальный процесс... как тоскливо однотонную, бесцветно схематическую картину насилия сильных и страдания слабых» (стр. 159), но тут же спохватывается и приводит неоспоримые факты сплошных насилий, опровергающих положение автора.

Откуда же «все качества», откуда эта «вне-классовость»? Вероятно, от того, что проф. Петрушевский—человек справедливый и опытный историк. Он учитывает не только все «за», но и все «против», он желает оценить по достоинству все стороны жизни. Крупное поместье расценивалось (в отношений той эпохи), как хищническая форма хозяйства, которая давала возможность экономическим путем и путем внеэкономическим, вследствие слияния в одном лице и помещика и «служилого человека», отнимать у крестьян значительную часть продуктов их труда. Проф. Петрушевский с этим не согласен. «И мы уже видели, — пишет он (стр. 160), — какое огромное

социальное значение имело крупное землевладение, предоставляя широким слоям нуждающегося в земле населения свои земельные богатства, распределяя их, с выгодой и для себя, между многими и тем обеспечивая здоровое культурное развитие страны и рост национального богатства. В том же направлении шло его влияние на культурный процесс и тогда, когда оно притягивало в сферу своей власти и силы до тех пор самостоятельные социальные элементы»... превращая их в зависимых людей. Вот, примирите, тов. Косминский, эти положения с марксизмом, считающим в лице своих наиболее знающих исторический процесс ученых, что массы людей, отказывавшиеся от прав на землю и свободу, делали это отнюдь не из соображений о культурном развитии страны, а под непосредственным, часто вооруженным, давлением крупных земельных собственников. Переводите-ка фразы проф. Петрушевского «на язык марксизма»!..

Такая идеализация средневековья, по-моему, вещь реакционная. Перед нами выступает феодальная эпоха в совершенно новых чертах: спокойное житье, культурная роль крупного землевладения (не хозяйства даже, а землевладения, потому что хозяйство велось трудом крестьян, при помощи крестьянского инвентаря, или раздавалось в аренду по мелким клочкам...), и, наконец, вне-классовая роль государства, защищавшего всех граждан, без различия их социального положения... Нет, картина, которую рисует проф. Петрушевский, не может правильно, правдиво осветить феодальные отношения. Здесь эпоха искажена, в угоду безусловно реакционным теориям.

В. Д. Аптекарь

Я хотел бы остановиться на вопросе о самой установке нашей дискуссии по поводу книги проф. Петрушевского. Мне кажется, что здесь не совсем правильно расценивается появление нового издания этой книги со всеми «прелестями», в ней заключающимися, как особено крупный исторический факт, который нужно изолировать от других ему подобных. Правда, т. Кушнер в своем вступительном слове к дискуссии упомянул еще последнюю работу Тана-Богораза, однако, и книгой Тана-Богораза не исчерпывается этот «букет», в связи с которым только и можно понять настоящее значение труда проф. Петрушевского. Все эти работы могут быть об'единены общей линией, и эта линия есть явная или скрытая под внешними покровами эзоповского языка борьба против марксизма как господствующей идеологии. У Тана-Богораза, по самому существу его предмета это вышло наружу особенно рельефно, у Петрушевского эта линия затушевана гораздо лучше, затушевана так, что даже нашлись товарищи, выступавшие здесь, называющие себя марксистами, которые ничего не заметили такого, что бы отдаляло эту книгу от ортодоксального марксизма. Помимо издания антимарксистских работ, борьба против марксизма проявляется еще в ряде других действий. Идет борьба не только против марксизма, но даже против тех лиц, которые приближаются к марксизму. Я приведу тут только один пример—отношение ученого мира к яфетической теории И. Я. Марра, которая подвергается самой безобразной, в особенности, принимая во внимание условия Советской России, травле. Все эти факты—явления одного порядка. Другие корни этих фактов уходят в то, что марксисты сознательно или бессознательно на практике отказываются от исследовательской работы в целом ряде отраслей науки. Возьмем, хотя бы предмет работы Петрушевского—средневековье. Оно у нас не затронуто исследовательской работой марксистов, которые считают, что можно вполне довериться трудам буржуазных ученых, наведя только на них, для вящшего спокойствия, марксистский лоск. Мне кажется, что довольно странно в стенах Коммунистической Академии на заседании Общества историков-марксистов тратить время на опровержение мнения

тов. Неусыхина о том, что может существовать в исходе третьего десятилетия XX века историк, который совершенно оторван от об'ективной действительности и нисколько не связан с политической жизнью, который носится исключительно в эмпиреях чистого знания, в поисках абсолютной истины.

Второй момент:—все выступавшие до т. Кушнера товарищи, в качестве общей презумпции, приняли колоссальную эрудицию проф. Петрушевского в исследовании средних веков.

Кушнер. Этого и я не отрицаю.

Аптекарь. Между прочим т. Неусыхин из этой презумпции и сделал главного конька своей кавалерии во время того блестящего кавалерийского рейда, которым он носился по всей этой битве. Он так и начал с заявления, что нужно заниматься не только словами, не только фразеологией, но и самими фактами, что, мол, и делает проф. Петрушевский. Однако, если взять книгу проф. Петрушевского, то ни в коем случае нельзя согласиться с той оценкой, которая дана проф. Косминским, видящим в этой работе последнее слово науки. Эта книга не является последним словом ни западной, ни нашей советской науки. Нельзя подходить к европейскому средневековью изолированно, не рассматривая его в связи с другими видами феодализма, в частности восточного феодализма. Где можно найти признаки того, что проф. Петрушевский в данной работе знаком с трудами исследователей форм ближне- и дальне-восточного феодализма, чрезвычайно важными для понимания феодализма вообще, как, напр., работа Н. Я. Марра,—не лигвистические работы его, а целая серия трудов, посвященная армянскому средневековью, армянскому феодализму—работы, которые произвели колоссальный переворот в этой области. Незамеченной для Петрушевского прошла такая работа, как книга Фридриха Брауна, его «Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanien», где на основании новых фактов, на основании новых методов разрушается старая басня о первобытном быте германцев. Странно говорить сейчас на точке зрения Иловайского о каких-то переселениях народов, которые неизвестно откуда явились в Европу со своей первобытностью. Эти же самые германцы, которые ко времени Цезаря уже давно переселились в Европу, обладают каким-то райским житием, отсюда и возникают споры о первобытном коммунизме германцев. Новые факты и новые методы все эти ненаучные представления отбрасывают и разрушают. Ученые один за другим переходят на эту почву, так что, по крайней мере, о первобытности германцев в эпоху Цезаря и Тацита ни в коем случае говорить уже не приходится. Здесь уже т. Кушнер совершенно правильно показал, как должно подходить к свидетельству Цезаря. Еще в большей степени это относится к Тациту, у которого проявляются определенные элементы социальной утопии. У него идеальные германцы противопоставляются развращенному римскому обществу. Нужно здесь подчеркнуть, что вообще момент об учете доиндоевропейского населения Европы чрезвычайно важен и имеет близкое отношение к проблеме феодализма. Я напомню вам старую работу, классический труд проф. Павла Виноградова о средневековом поместьи в Англии. Он там очень прямо и честно начинает с указания, говорит, что он нисколько не принимает во внимание до-кельтического населения Англии. Он ссылается на то, что никаких данных об общественных отношениях до кельтов нет. Это можно было говорить в 1905 г., но, если книжка выпускается в 1927 г., то надо же считаться и с имеющимися у нас данными, и с до-кельтическим и до-германским населением. Тут уж придется занять некоторую позицию, которую формально можно сблизить с позицией т. Неусыхина. До сего времени, анализируя общественное явление в плане социологическом, почему-то, главным образом, не принимаются во внимание те конкретные достижения, которые сделаны исторической наукой за последние 10—20 лет, которая широко раздвинула пределы классического горизонта древней истории. До настоящего времени,

к сожалению, живы еще представления о древнем мире, и Греция действительно считается началом подлинной истории.

Почти совершенно не принимаются во внимание все те конкретные исторические эпохи, которые уже открыты археологией. Данные археологии и так называемой этнологии обязательно должны быть учтены сейчас, включены в историко-социологическую схему. И тогда целый ряд моментов, будь то вопрос о первобытности германцев, о переселении ли народов, о завоевании ли Римской Империи «варварами», — все эти вопросы примут совершенно другой вид, их придется рассматривать в совершенно другом аспекте. Та схема, на которую опирался и которой руководствовался Фр. Энгельс в своей работе—«Происхождение семьи, частной собственности и государства» — схема Моргана безусловно сейчас устарела. Те исторические данные, которыми мы обладаем, эту схему безусловно разрушают. Научное исследование вскрыло, что и города существовали гораздо раньше, чем это предполагалось, и проблема классов уходит в тысячелетия гораздо глубже и проблема деревни и города уже была актуальной в так наз. протоистории. Но отсюда отнюдь не следует, что это является ударом также и по марксизму. Марксистский метод от этого не теряет ничего, но марксисты, конечно, должны перевооружиться, заменить устаревшие новыми конкретными историческими фактами. Знать этот новый исторический материал нужно. Поэтому принимать за последнее слово науки книгу Петрушевского, который игнорирует все эти факты, не следует.

Последний вопрос по порядку, но первый по значению—это вопрос о методе. Метод для т. Неусыхина никакого значения не имеет. Этим и об'ясняется недоумение т. Неусыхина: почему, когда при анализе книги Петрушевского доходят до риккертианства, марксисты дальше этих раскопок не ведут. Мне кажется, что нелепо возвращаться к старым уже решенным вопросам. Риккертиантство достаточно известное общественное явление, и все, что связано с риккертиантством, имеет достаточно ясное и определенное общественное же значение. Непонимание марксистского метода в особенности наглядно проявилось у т. Косминского в его формулировке, что труд проф. Петрушевского—это книга и марксистская и немарксистская, но которая по существу работы может быть признана марксистской. Эта его формулировка, переведенная на более простой и понятный язык, сводится к тому, что книга Петрушевского—это ни рыба, ни мясо, и нечто с'едобное. Естественно, возникает вопрос—для кого с'едобное?

Е. А. Косминский

Я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу оценки книги Петрушевского как книги реакционной, и как книги, не только не марксистской, но и антимарксистской. По-моему, все-таки Петрушевский, хотя он сам, может быть, этого и не признал бы, говорит гораздо более марксистским языком, чем это здесь представлялось. В частности, мне кажется, что некоторые мысли и некоторые положения Петрушевского были недостаточно поняты оппонентами именно вследствие того, что они употребляли терминологию Петрушевского не в том смысле, в котором она употребляется. В частности, здесь существенным является вопрос о феодализме, который опять был понят так, что феодализм есть форма, не связанная будто бы ни с какой экономической действительностью, что экономика как-будто сама по себе, а феодализм, как государственная форма, сам по себе. Но у Петрушевского все время говорится об экономических предпосылках феодализма. Его книга, можно сказать, наполнена этим. Всюду, где он говорит о феодализме, он говорит о всех тех предпосылках, которые создали этот феодализм, о социальных предпосылках. Кто читал эту книжку, тот знает, на что он тут указывает.

Но это еще не феодализм,—это необходимые предпосылки феодализма, из которых государство в целом и творит феодализм, а не создает его из ничего. Этот феодализм определенным образом подготовлен историческим развитием, и Петрушевский понимает под феодализмом лишь определенную государственно-правовую форму,—только это. Тут никакого отрыва экономики от политики нет. Здесь имеется лишь своеобразное употребление термина.

Теперь другой вопрос, также связанный с этим вопросом, который тут был поднят. Это вопрос, в котором опять-таки видели какие-то реакционные моменты. Это вопрос об эксплоатации земли и эксплоатации личности в средневековом обществе. Я не помню сейчас этого места, но т. Кушнер совершенно верно его привел. Но только он, кажется, не совсем точно понял, о чем тут идет речь. Ведь здесь дело идет о том, что в средневековом европейском поместье повинности распределялись не поголовно, а распределялись пропорционально наделам. В этом смысле речь шла об эксплоатации земли, а не об эксплоатации человека, это особый способ распределения повинностей.

Затем еще тут один вопрос, который получил неправильное освещение и раньше, уже в словах т. Фридлянда, а в конце прошлого заседания в словах т. Кушнера. Это вопрос о внеклассовой справедливости, вопрос, который выдвигается здесь в связи с вопросом о рабочем законодательстве Эдуарда III, это стр. 257. Здесь Петрушевский рисует как-будто бы рядом две точки зрения. Он говорит: «Нужно ли говорить, что поистине террористический режим, созданный для вилланов, как и для всех других элементов рабочего класса, рабочим законодательством XIV века, и превративший и виллана в непрерывно травимого и поставленного вне закона зверя, должен был быть воспринят им, как неслыханное угнетение, как никогда невиданное рабство». Он указывает на соответствующее негодование и соответствующую реакцию со стороны вилланов, но в то же время он говорит, что «творцы этих законов вовсе не были такими жестокими людьми, которые именно руководились только грубыми, совершенно обнаженными, чисто материальными интересами определенной общественной группы. Он говорит, что, по их совершенно искреннему убеждению, при этом страдали интересы и других классов. «По их столь же искреннему убеждению» они смотрели на это, как на «корыстное нарушение всяких божеских и человеческих законов». Значит, по своему искреннему убеждению, с точки зрения идеологии, на которой они стояли, они отстаивали интересы всего общества. В чем же заключается справедливость, о которой идет речь?

«В полном согласии с исповедуемыми католической церковью той эпохи этико-экономическими воззрениями творцы ордонанса и статута считали морально недопустимым» и т. д.

Значит ли это, что они стояли на точке зрения справедливости? Конечно, не с точки зрения вневременной и внепространственной справедливости, не с точки зрения автора, а с точки зрения тех идей, справедливость которых отстаивала католическая церковь той эпохи с ее этико-экономическими воззрениями. У католической церкви той эпохи были свои понятия справедливости, на которой стояли в то время и творцы этих статутов, которые не прямо преследовали в откровенной своей форме материальное стремление, а стояли на точке зрения господствовавшей в то время в церкви теории, которая являлась теорией до-капиталистической. Они стояли здесь на точке зрения—об'ективно, конечно,—преследования своих материальных целей, но суб'ективно они могли быть совершенно не такими злодеями.

И капиталисты бывают иногда очень порядочными суб'ективно. Ничего больше этого Петрушевский и не хотел сказать. И приводить это место в доказательство того, что Петрушевский не считается с классовой борьбой и даже, наоборот, как-будто бы ставится вопрос о какой-то высшей государ-

ственной справедливости, это мне представляется значительной натяжкой, тем более, что тут же рядом он говорит о борьбе и даже этот самый термин «борьба» и «внеклассовая борьба» не совсем отсутствует у него, но только в других выражениях. Он говорит: «Одновременно с ожесточенной борьбой, которую вело правительство», и т. д.

Фридлянд. Но термина «классовая борьба» нет.

Косминский. Во всяком случае, если это не есть классовая борьба, то это нечто, что очень мало отличается от классовой борьбы.

Теперь, что касается общей оценки книжки, которая была здесь сделана, я позволю себе с ней не согласиться совершенно. Эта книжка, в смысле привлечения именно материала западно-европейской науки, несомненно является крупнейшим достижением. Я уже в прошлый раз указывал, как широка область тех вопросов, которые здесь затрагиваются, как широки те проблемы, которые выдвигаются этой книжкой, и которые затрагивают, собственно говоря, все проблемы истории средневековья. Здесь очень мало ссылок на литературу, их почти нет, но в то же время эта книга никак не является простым изложением Допша с небольшими собственными добавками второстепенной ценности. Эта книга перерабатывает огромный литературный материал, и те из учеников Петрушевского, которые участвовали в его работе, в его занятиях, знают, как эта работа складывалась, на каком большом фундаменте она выросла, как интенсивно и чутко следил автор этой книги за всеми новыми течениями в исторической науке. Эта книга, которая, можно сказать, полна проблем, работа над которой для историка, и, в частности, для историка-марксиста, для которого не являются совершенно чуждыми эти точки зрения, представит собою несомненно огромнейшую ценность. Перед нами книга, написанная историком-реалистом, историком не так далеким от марксизма, как это здесь представлялось, у которого есть, правда, известная немарксистская скорлупка, но ее в сущности не так трудно снять, не так трудно отделить форму от содержания.

Покровский. Для чего он залез в эту скорлупку, может быть, вы скажете?

Косминский. Без автора я не решаюсь сказать. Я боюсь сказать не то, что он сказал бы.

Фридлянд. Примените критику источников, и тогда можно будет восстановить эти причины.

Косминский. Когда имеется в природе автор этой книги, я боюсь на себя брать подобного рода критику.

А. И. Неусыхин

Я хотел фиксировать ваше внимание на некоторых основных проблемах средне-вековой истории, которые являются содержанием разбираемой сегодня книги. В центре ее внимания стоит так наз. вотчинная теория экономического развития раннего средневековья, самый яркий представитель которой Инама-Штернегг считал основным явлением хозяйственной жизни средних веков—крупную вотчину.

Но уже в конце XIX столетия возникли ответвления от этой теории; минуя эти ответвления (в частности трех представителей страссбургской школы Кнаппа, Виттиха, Гутмана), остановимся на критиках Инама-Штернегга.

Прежде всего подкоп под вотчинную теорию начали исследователи городского строя: Г. Белов, его ученик Кейтген (Keutgen), а затем З. Ритшель, видоизменивший и конкретизировавший старую «рыночную теорию» Р. Зома.

Белов доказал, что средневековый город возник вовсе не из вотчины,— вопреки знаменитому тезису Лампрехта («вотчина—эмбрион современного

государства»). После критики, произведенной Беловым, вотчинная теория происхождения средневекового города была оставлена всеми, хотя далеко не все разделяют его положительные построения. Почти одновременно с этим начался подкоп под вотчинную теорию и с другой стороны,—со стороны исследователей аграрных отношений. Начал его Каро и лишь следом за ним Допш. Каро изучал локальные особенности аграрного строя, исследовал картулярии отдельных областей и там находил точные и недвусмысленные данные для уязвления этой теории, а Допш суммировал и систематизировал целый ряд исследований, как чисто исторических, так археологических, лингвистических и др.

Но, кроме Каро и Допша, еще один исследователь сыграл очень большую роль в этом процессе. Это—Зеелигер (G. Seeliger). Ведь Каро,—так же, как и историки городов,—критикуя вотчинную теорию, стремился доказать, что не вотчина была главным хозяйственным организатором средневекового общества. Эти исследователи направляли свое внимание на то, что делается вне вотчины, и доказывали, что там были расположены свободные деревни (как это находил, например, Каро и следом за ним А. Д. Удальцов в своей интересной работе «Свободная деревня в Западной Нейстрии в эпоху Меровингов и Каролингов»), что существовали ремесленники не-вотчинного происхождения, которые работали не только на вотчину, но и на свободный городской рынок; словом, они старались доказать, что помимо вотчины, наряду с нею и независимо от нее происходило какое-то экономическое развитие, которое создавало предпосылки нового будущего городского строя, денежного хозяйства и т. д., и т. д.

Зеелигер интересен для нас тем, что он подошел к решению той же задачи несколько с другой стороны. В предисловии к своей работе «Die soziale und politische Bedeutung der Grundlherrschaft», он прямо заявил, что намерен осветить внутреннюю структуру вотчины и взять под сомнение самый базис вотчинной концепции, перенеся скептицизм Каро и Белова на отношения внутри вотчины. И прежде всего Зеелигер иначе истолковал «вотчинное право»—знаменитое «Hofrecht», которое представляли себе как совокупность правовых норм, распространявшихся на все население вотчины. По Зеелигеру «вотчинное право» есть право несвободных или «право» обитателей барского двора (Fronhof), но нельзя думать, что по его нормам жило все население вотчины. В пределах вотчины имелись и другие элементы, которых нормы и обычаи «вотчинного права» не касались вовсе или касались лишь какой-нибудь одной своей стороною. При таком допущении, по мнению Зеелигера, можно утверждать, что основной ячейкой хозяйственной жизни средневековья была вотчина; только надо учитывать все разнообразие соц. отношений, складывавшихся на ее территории, и не рисовать их себе в духе полного господства несвободы. С этим новым толкованием «вотчинного права» у Зеелигера тесно связана и своеобразная теория иммунитета. Он признает, что иммунитет вырастал совершенно естественно из поземельных отношений: лишенные экономической самостоятельности люди, сидевшие на территории вотчины и находившиеся в экономической зависимости от вотчинника, попадали и в соответственную правовую от него зависимость, а это закреплялось дарованием вотчиннику известных политических прав и привилегий над территорией, занятой его держателями. Но дальнейшая эволюция иммунитета в течение IX—XI в.в. приводит к некоторым новым последствиям. Вотчинный суд становится неизбежной первой инстанцией даже в судебных делах, возникающих по жалобам лиц, живущих вне данной вотчины («extranei»); тем самым юрисдикция вотчинных чиновников (фогтов) приобретает государственный характер, вотчинный суд становится составной частью общегосударственного организма, вовлекается в круг публично-правовых

учреждений. Происходит огосударствление иммунитета («Verstaatlichung des immunitäts»). С этим тесно связано и другое явление.

В эпоху Оттонов иммунитет приобретает столь широкое распространение, что короли начинают давать вотчиннику права иммунитетной юрисдикции не только над теми людьми, которые сидят на его территории, но и над людьми, живущими вне его вотчины. Выросши на вотчинном основании, иммунитет в X—XI в.в. перешагнул за рамки вотчины. Вот зародыш той теории феодализма, которую мы находим у Д. М. Петрушевского.

Д. М. Петрушевский указывает на то, что феодализм сложился, как результат определенных социально-экономических процессов. Он это подчеркивает в своей книге так много раз, что я не буду утруждать внимания собрания и цитировать все эти места. Он называет феодализмом не самую социальную базу, а ту политическую надстройку, которая на этой базе создалась.

Можно возражать против такого сужения самого понятия «феодализма». Но это будет спор до известной степени терминологический, ибо Д. М. Петрушевский вовсе не утверждает, что государство творит феодализм. Его формулировка гласит: «государство из наличного социального материала организует систему политически соподчиненных сословий». А этот «наличный социальный материал», ведь, создается ходом экономического и социального развития. Идея Зеелигера о том, что иммунитет перешагнул за рамки вотчины, перенесена здесь на все остальные феодальные институты. По мысли Д. М. Петрушевского все феодальные институты приобретают классический характер только после того, как в ходе известного социально-экономического процесса на определенной его стадии наступает момент, когда государство санкционирует результаты этого процесса и начинает соответственным образом организовывать политическую структуру общества. Вот какова здесь роль государства. Конечно, его деятельности отводится довольно значительное место; но государство не творит феодальную систему, а лишь использует то, что было создано предшествующим социально-экономическим развитием.

Я останавливаюсь на связи теории феодализма Д. М. Петрушевского с Зеелигером, потому что здесь сваливали вину за эту теорию на ни в чем неповинного Допша. А между тем у Допша вообще нет самостоятельной теории феодализма. У него есть анализ классовых отношений, но политической структуры феодального общества, он, если и касается, то довольно неясно и расплывчато.

Чтобы покончить с вопросом о вотчинной концепции, еще одно замечание. Допустим даже, что Д. М. Петрушевский неправ, критикуя ее; но почему антимарксистской является именно его теория, а не теория вотчинная— этого я никак не могу взять в толк.

Несколько слов о проблеме падения Римской Империи. Здесь кто-то из предшествующих ораторов указывал, что у Допша античная культура незаметно переходит в средневековую, что у него нет никакой эволюции, что его построение статично. Это совершенно верно по отношению к Допшу, который даже выставил тезис: «historia non facit saltus» («история не делает скачков»).

Фридлянд: А у Петрушевского этого нет?.

Но в том-то и беда, что нельзя отождествлять Д. М. Петрушевского то с Вебером, то Допшем, то с кем-либо еще. Оппоненты, поступающие так, просто не понимают, какое место в науке занимает Д. М. Петрушевский и какова степень его компетенции (особенно ярко обнаружил это непонимание т. Аптекарь).

Д. М. Петрушевский берет у Допша только то, что ему нужно. В частности, проблема падения римской империи освещена у него очень инте-

ресно, и, по моему глубокому и искреннему убеждению, его освещение представляет собою чрезвычайно ценную попытку примирить две точки зрения—точку зрения всемирно-историческую и циклическую.

По мнению Д. М. Петрушевского, римская культура не погибла бесследно. Явились германцы; на то были свои исторические резоны; но, осевши на территории этой империи, разложивши ее политически, они тем не менее восприняли элементы ее хозяйственной и всякой иной культуры,—только, конечно, уже пониженной и измененной культуры. Здесь этот перерыв, скачок в развитии подчеркнут достаточно ясно, но показано, что он носил характер зигзага, а не полного отрыва одного звена цепи исторического развития от другого. Эта концепция представляет и социологический, и исторический интерес: она дает, с одной стороны, правильную трактовку «скачка», а с другой стороны, намечает выход из противоречий многочисленных теорий падения римской империи, так что не принять ее просто нет оснований. Странно звучали и возражения критиков по вопросу о хозяйстве древних германцев.

Так, т. Кушнер заявил, что Д. М. Петрушевский «документально неверно» толкует текст 22 главы VI книги Цезаря. Но ведь этот текст толковали до Д. М. Петрушевского и даже до тов. Кушнера целые поколения историков,—и притом очень крупных. И все их толкования были весьма разнообразны и обычно противоречили одно другому. А между тем тов. Кушнер заявляет, что Д. М. Петрушевский просто не понял текста; он якобы поверил тому об'яснению аграрного строя германцев, которое дает Цезарь, а ему нельзя было верить, ибо Цезарь, как римлянин, склонен был об'яснять этот строй страхом германцев перед имущественным неравенством, которого они, может быть, вовсе и не знали.

Кушнер. Сознательно не понял.

Неусыхин. Но беда в том, что не понять этого Д. М. Петрушевский не мог ни сознательно, ни бессознательно, потому что ему прекрасно известно, что взгляд, выдвигаемый т. Кушнером, существует в науке. И если он тем не менее его не принял, то на то у него были весьма серьезные основания. Дело в том, что когда на сцену выступили новые научные дисциплины: этнология, археология, лингвистика, палеогеография,—то чисто филологическая интерпретация текстов античных писателей, порождавшая ряд неразрешимых контроверз, перестала служить единственным источником познания древнегерманского общества. И тогда оказалось, что строй свевов (а Цезарь судит о германцах, главным образом, по свевам) вообще не типичен для хозяйственного уклада германцев. Ибо Цезарь встретил свевов во время одного из своих походов, когда они находились в процессе военно-переселенческого движения.

Свевы—народ земледельческий, и свевский союз Ариовиста, с которым столкнулся Цезарь, ставил себе целью завоевание с оружием в руках земли, пригодной для сельскохозяйственной обработки. Ясно, что в процессе переселения им приходилось не только воевать, но в то же время и как-то жить. Так как это—народ земледельческий, то они могли жить лишь на счет земледелия; так сложился странный «модус вивенди», описанный Цезарем. Часть племени уходит на войну, а оставшаяся часть обрабатывает захваченные земли. Возможно, что переселялось не все племя, а от него отрывались лишь известные массы; но это дела не меняет.

Для нас важно установить, что переселявшиеся земледельческие германские племена (не только свевы, но и маркоманны, и херуски и др.) в процессе переселения обрабатывали землю каким-то необычным для них способом. Об этом необычном способе и говорит Цезарь. Д. М. Петрушевский называет этот способ «военным коммунизмом». Но дело не в названии: как ни называть этот способ обработки земли, он во всяком случае представляет собой известную деформацию земледелия свевов под влиянием воен-

ного положения, которое вызвано было их стремлением завоевать пригодную для земледелия территорию (деформации подвергся и их социальный и политический строй). Вот этот деформированный строй и противопоставляется у Д. М. Петрушевского нормальному, а вовсе не коммунизм—частной собственности на землю. Он даже говорит, что если Цезарь изображает военные порядки, то Тацит рисует нам мирную жизнь древне-германского племени. Что касается до первобытного коммунизма, то, конечно, у германцев его не было и быть не могло, да и самые наши представления о нем усложнились, и я очень рад, что т.т. Кушнер и Аптекарь сами признали это. Все данные о родовом строе германцев чрезвычайно скудны, настолько скудны, что иной раз теряешься, что он из себя представлял. С другой стороны, данные об общине у германцев можно заимствовать только из 26 главы «Германии» Тацита,—главы, чрезвычайно противоречивой: возможно, что речь идет в этой главе об общине, а возможно, что и не о ней. Зато на существование частной собственности на землю у германцев в текстах имеются определенные указания,—и не только в «Германии» Тацита, но и в его «Анналах» и «Историях», где попутно изображаются некоторые мелкие, но очень любопытные штрихи германской жизни.

Ну, хорошо, допустим, что у германцев была частная собственность на землю; я опять-таки недоумеваю, какое это имеет отношение к марксистской концепции исторического развития?

Когда говорят, что у германцев была частная собственность на землю, или что у них не было общины, или что в эпоху Каролингов был вотчинный капитализм, то этим никто не хочет утверждать извечности этих категорий—извечности частной собственности, капитализма и т. д. И вот почему. Ведь наличие у них частной собственности могло бы дать повод говорить о ее «вечности» лишь в том случае, если бы германцы стояли на начальной стадии культурного развития. Но этого никто не утверждает; мало того: утверждают как раз обратное: что германцы стояли на довольно высокой его стадии.

Фридлянд. На стр. 69 и 211.

Неусыхин. Я очень признателен за указания, но ни на одной из этих страниц не сказано, что германцы стояли на начальной ступени эволюции человеческих обществ.

Фридлянд. Там говорится об извечности понятия капитализма.

Неусыхин.—И об этом там ничего не сказано, как вы сейчас увидите.

В самом деле: говорит ли Д. М. Петрушевский о вечности капитализма? Нет. Он говорит лишь о том, что категорию «капитализм» можно прилагать не только к двум последним векам развития Европы и Америки, но и к другим эпохам; он говорит об эпохе республики в Риме, о Римской империи, об эпохе Каролингов, т.-е., он избирает как раз весьма развитые в хозяйственном отношении общественные образования, которым присущи были ростки капиталистических отношений. Если Д. М. Петрушевский преувеличил эти ростки и назвал их «капитализмом», то этим еще не утверждается извечность капитализма: она утверждалась бы лишь в том случае, если бы он в отсталую эпоху, в отсталом обществе находил капитализм. В заключение, я хотел бы в нескольких словах остановиться на введении к книге Д. М. Петрушевского.

Конечно, в введении Д. М. Петрушевского усвоена риккертовская терминология (С места: и риккертовская методология). Но дело, ведь, не в этом. К чему же он приходит? Что он хочет сказать? Собственно говоря, это введение не содержит ничего принципиально нового по сравнению с напечатанным в последнем издании «Очерков из истории средневекового общества и государства». Разница лишь в том, что здесь еще резче подчерки-

вается своеобразие исторических явлений. А. Д. Удальцов в своем выступлении на докладе Д. М. Петрушевского в Институте истории совершенно справедливо подчеркнул, что основная цель автора,—это преодоление телеологизма, и что поэтому цель у него общая с марксизмом, только пути разные. Я с этим глубоко согласен.

Фридлянд. А Алекс. Дмитр. несогласен.

Неусыхин. Возможно; но я был на этом заседании секретарем, вел протокол и как-будто помню хорошо все, что там говорилось.

И Риккерт и М. Вебер привлечены Д. М. Петрушевским для того, чтобы показать, что, создавая законы, нужно учитывать своеобразие исторических явлений.

Что же такое идеальный тип М. Вебера? В прошлый раз здесь дано было прямо анекдотическое толкование идеального типа. Поэтому необходимо сказать о нем хоть несколько слов. По Риккерту действительность представляет собою бесконечное многообразие, в котором конечный человеческий разум может разобраться лишь путем стилизации и упрощения; суб'ект формирует об'ект познания из хаоса экстенсивного и интенсивного многообразия действительности.

Всякую действительность (и природу, и общество) можно, по мнению Риккерта, рассматривать и индивидуализирующим, и генерализирующим способом. Исторические науки отличаются от естественных не об'ектом познания, а целью познающего суб'екта, формирующего явления в «исторические индивидуумы» при помощи отнесения этих явлений к «культурным ценностям», которые, в свою очередь, связаны с абсолютными трансцендентными ценностями.

Совсем не то у Вебера, который сам недостаточно ясно сознавал, насколько далеко он отошел от Риккерта. Для М. Вебера важна не цель познающего суб'екта, а своеобразие об'екта изучения общественных наук.

По его мнению, социальные явления надо познавать так, чтобы, выделяя в них общее, не упустить и своеобразия. Этой цели и служит идеальный тип, который, по Максу Веберу, есть ни что иное, как вид изолирующей абстракции. Та или иная черта какого-нибудь явления,—скажем, христианства или феодализма,—изолируется и продумывается до крайних логически мыслимых пределов. Подбирается несколько таких разрозненных черт, потом они суммируются. Получается, как выражается М. Вебер, некоторое «мыслительное усиление» (gedankliche Steigerung) известного реального отношения действительности. Это и есть идеальный тип. М. Вебер называет его утопией лишь в том смысле, что он не равен действительности, не тождественен ей, ибо он есть орудие познания действительности.

При выборе той черты явления, которую он возводит в идеальный тип, М. Вебер руководится «нормами нашего мышления» и категориями «об'ективной возможности» и «адэкватного причинения».

Я не стану анализировать здесь эти категории, но в двух словах скажу, что их применение сводится ни к чему иному, как к причинному анализу действительности.

Фридлянд. — Не говорит этого Макс Вебер, товарищ Неусыхин.

Неусыхин. — Я полагаю, что не стоит утомлять собрание длинными и сложными цитатами из М. Вебера. То, о чем я говорю, изложено в статье М. Вебера «Objektivität der sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischer Erkenntniss».

Кроме того, я предлагаю вашему вниманию, тов. Фридлянд, другую его статью «Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik»; вторая часть этой статьи как раз посвящена категориям об'ективной возможности и адэкватной причинности. И то, что говорит М. Вебер в этих статьях о сущности идеально-типических понятий, собственно го-

воря, не так уж далеко от мыслей Маркса о «конкретной целостности» и об «абстрактном», высказанных им в его раннем введении «К критике политической экономии».

Для чего же понадобился М. Веберу идеальный тип? Почему он не довольствуется обыкновенным естественно-научным понятием? Потому что этого требует самый об'ект познания. Познать общественные явления при помощи чисто родовых понятий, под которые эти явления подводятся по признаку «genus proximum, differentia specifica»,—это довольно трудно, и часто при таком подведении утрачивались бы известные чисто конкретные черты, которые для историка особенно ценны.

При этом «идеальный тип» приложим не только к повторяющимся явлениям, но и к тому, что Риккерт назвал бы историческим индивидуумом, т.-е. и к тем явлениям, в которых больше своеобразного, чем общего. В этом смысле я позволю себе не согласиться с автором предисловия, которое дано в книге Д. М. Петрушевского: он утверждает, что идеально-типическое рассмотрение стирает своеобразие исторических явлений. Нет, не стирает, а, наоборот, делает его выпуклым и рельефным. Для того-то понадобились идеальные типы Д. М. Петрушевскому. В сущности говоря, вывод из его введения таков: «История есть наука об общем и наука об индивидуальном». Это тот самый лейтмотив, который звучит и в введении к «Очеркам по истории средневекового общества и государства». Он даже признает, что допустима такая наука, которая устанавливала бы общие законы развития.

Но при этом он взывает к самоограничению. В чем же оно заключается? В том, чтобы оперировать понятиями, которые учитывают своеобразие исторической действительности, и в том, чтобы исходить из этой последней. Это то, что Е. А. Косминский удачно назвал реализмом. Это большое чутье исторической реальности—характерная черта Д. М. Петрушевского.

Теперь несколько слов о недоразумении, которое сложилось после выступления т. Аптекаря по вопросу об абсолютной об'ективности науки. Я понимаю, что всякая наука, как часть идеологии, вырастает на определенной базе. Это мне известно точно так же, как и моим оппонентам. Известно мне также, что в обществе, разделенном на классы, всякая идеология является идеологией классовой. Но отношения между базисом и надстройкой сложнее, чем это принято думать. И когда мы изучаем какое-либо явление действительности, то мы можем и должны изучать его об'ективно в том смысле, что мы суб'ективно должны отвлечься от тех элементов нашего общего мировоззрения, которые могут быть привнесены в самый процесс изучения.

Если мы, например, изучая Тацита, найдем у него указание на наличие частной собственности у германцев, мы не должны задаваться вопросом: а не противоречит ли это марксизму, и если противоречит, то не отвергнуть ли неудобные указания источника? Ибо тем самым мы впадаем в худшую ошибку весьма многих буржуазных ученых, в которых немало ядовитых стрел пустил в свое время Маркс—и пустил совершенно справедливо. Но Д. М. Петрушевский как раз не принадлежит к этому типу ученых. Он всегда добросовестно и об'ективно разрабатывает свой материал.

Из того, что я говорил в прошлый раз о власти слов, отнюдь не следует, что для меня все марксистские категории суть слова. Из этого следует как раз обратное: я хотел бы, чтобы их не обращали в слова и не играли ими, как словами. Когда мы говорим—«классовая борьба»,—мы должны мыслить себе реальное столкновение классов. И если в книге идет речь о столкновении классов, но не сказано—«классовая борьба», то мы должны пожалеть о том, что автор не употребил точного выражения, но не

должны делать из этого тот вывод, что он не говорит о классовой борьбе. Но отсюда не следует, будто для меня «классовая борьба»—слово; эта категория становится таковым в устах тех, кто ее применяет, не отдавая себе отчета в реальном ее содержании.

Ц. Фридлянд

Я должен сказать откровенно, что если в прошлый раз мы имели в выступлении Неусыхина образец непонимания марксизма, то сегодня мы имеем образец дурного академизма, несмотря на весь аппарат, который был сегодня развернут. Я должен заметить, что самое печальное в нашей дискуссии это то, что все солидарны с марксизмом; это подозрительно, и наша задача разоблачить подобного рода присоединения к марксизму. Мы считаем недоразумением утверждение тов. Неусыхина, что он в какой бы то ни было мере повинен в марксизме.

Теперь я должен перейти к вопросу по существу. Меня очень поразила постановка вопроса тов. Косминским—почему необходимо было ему изобразить Д. М. Петрушевского марксистом?

Косминский. Я не изображал.

Фридлянд. Разрешите напомнить вам вашу же формулировку: «Книга проф. Петрушевского не марксистская книга, но, ее очень легко перевести на марксистский язык». Что это значит? Наша ли это книга? Все это попытки «обелить» проф. Петрушевского нам представляются ненужными. Вот Неусыхин считает себя марксистом и думает, что читать Тацита можно, отнюдь не «применяя» текст к марксизму. Можно, но ведь это ничего общего не будет иметь с наукой. Ибо марксизм не есть, вообще говоря, политическая теория, а это есть ни что иное, как единственное и последнее слово подлинной науки, а что расходится с марксизмом, расходится с наукой в ее высших достижениях. Так мы ставим вопрос.

Тов. Косминский заявил, что в своей книге Петрушевский выступает против романтической школы, немецкой историографии, и, в частности, Допш и есть тот человек, который положил начало этой полезной работе. Но это не соответствует тому, что Петрушевский пишет о Допше. Петрушевский констатирует, что внутренним стимулом анализа у Допша является пыл патриотического чувства, который протестует против «самого неслыханного факта всемирной истории», «каким представляется ему такая катастрофа, в которой германцы являются органами культуры и ее погромщиками». Я могу сослаться на Петрушевского, который показывает, что вся новая школа историографии в Германии возрождает и поддерживает после войны новые патриотические легенды. Но пойдем дальше. Вы хотите противопоставить Петрушевского Допшу. Да, их можно противопоставить, но не в том, в чем вы их противопоставляете, а в диаметрально противоположном. И я хочу вам это доказать.

На странице 211 своей книги Д. Петрушевский дискуссирует с Допшем и обвиняет его в том, что он назвал капитализм «натурально-хозяйственной системой». Это понятие «натурально-хозяйственный» по мнению Д. Петрушевского скрывает подлинно-капиталистическое содержание этого хозяйства. Допш, видите ли, недостаточно ясно говорит о капитализме, как внеисторической категории. Вот с какой точки зрения критикует Петрушевский Допша, а не с точки зрения приближения к марксизму, как желал это изобразить тов. Косминский. Но вы не будете отрицать, что по вопросу о капитализме вы можете прочесть у Петрушевского: «Если с понятием капитализма не соединять социальных признаков... то становится ясным, что капитализм возможен в самой различной социальной обстановке».

Что общего это имеет с марксизмом?

Было бы странным утверждать, что книга Петрушевского не свидетельствует об эрудиции автора или отрицать, что в борьбе с схематизмом Бюхера и Зомбарта она не выполняет большую и полезную работу. Но этим ли исчерпывается значение этой книги, в этом ли только направлении следует искать генеалогические корни ее идей?

В борьбе с натурально-хозяйственной концепцией средневековья была выдвинута другая концепция; начали анализировать не только то, что происходило в вотчине, но содержание хозяйственного развития вне вотчины и влияние этого процесса на вотчину. Но Петрушевский анализирует эти процессы под углом зрения своих двух «идеальных типов»: капитализма и государства. И вот позвольте с этой точки зрения посмотреть на те цитаты, которые привел здесь тов. Косминский и которые связаны с вопросом о государстве и его ролью в истории средневековой Европы: «Феодализм — своеобразная форма государственного устройства и управления, которую следует строго отличать от того социального строя, на который она опирается»... Этот строй делает феодализм возможным и необходимым только при известных условиях; эта организация была уничтожена, по мнению Петрушевского, «сверху».

Оригинальным в книге Петрушевского является не только критика бюхеровской системы, а попытка навязать историческому процессу не-исторические «идеальные типы», принесенные извне. И стоит ли в самом деле здесь еще повторять, что книга Петрушевского ничего общего не имеет с марксизмом! Она стоит в стороне, говорит Неусыхин, от всех этих споров. Любопытно, что проф. Петрушевский прошел в своей книге мимо марксистской литературы, посвященной этим проблемам, и в первую очередь мимо взглядов самого Маркса. Я привел в прошлый раз очень интересную цитату из «немецкой идеологии» о «натуральном и сословном капитализме». И вот «марксист» Неусыхин говорит, что это написано Марксом в 40-х годах, а, следовательно, с научной точки зрения не имеет ценности.

Прав Неусыхин, утверждая, что «введение» — основная часть книги (кстати, Косминский говорит, что это второстепенная часть и легко может быть отброшена). Для нас «введение» органически связано со всей книгой и это — ее принципиальная основа. Но самое несуразное, это заявление Неусыхина, что в сущности говоря, это введение «марксистское». Это, конечно, анекдотично! Неусыхин добавляет, что собственно и Макс Вебер близок к марксизму. Это положительно звучит, как издевательство над нами, марксистами. Неужели Неусыхин предполагает, что только он читал М. Вебера? Питательной почвой для взглядов Вебера являются идеи Риккерта. Система взглядов Вебера свидетельствует о кризисе риккертианства. Он оригинален тем, что пытается «об'ектировать» систему культурных ценностей. От этого задача критики взглядов Вебера стала для нас сложнее, но все же не превращает их в марксизм. Утверждать, что вся концепция Вебера есть ни что иное, как совершеннейший отказ от «системы культурных ценностей» Риккерта, это значит, несмотря на академически внушительный тон, обнаружить отсутствие элементарного представления о том, что писал Макс Вебер.

Что показала дискуссия? Зачем она нам нужна была? Она нам нужна была ни для того, как пытались это здесь изобразить, чтобы во что бы то ни стало разорвать на части Петрушевского. Нас хотят изобразить варварами, которые хотят напасть на науку во имя марксизма. Нет! Но мы будем вести упорную борьбу против варварского наступления на марксизм со стороны модных западно-европейских философских школ и их русских учеников. Мы постараемся, чтобы у нас в СССР была изжита старая привычка переносить на русскую почву самое «новое», самое модное, самое «последнее» слово снятой с последней полки университетской библиотеки книги, как новое откровение, новое «толкование» марксизма. Эта борьба нам настоятельно

необходима, потому что взгляды Петрушевского не только его личные взгляды, а взгляды какой-то «школы», печальным представителем которой был здесь Неусыхин.

С точки зрения марксистской научно-исторической мысли единственной подлинно-научной теории книга Д. Петрушевского—показатель научной реакции, и против этой научной реакции мы будем вести упорную борьбу.

В конце прений выступил М. Н. Покровский. Основные идеи его выступления содержатся в статье М. Н. «Новые течения в русской исторической литературе», напечатанной в № 7 «Истор.-маркс.».

К столетию со дня рождения Н. Г. Чернышевского

(Отчет о юбилейных докладах в О-ве историков-марксистов)

Доклад Ю. М. Стеклова—«Чернышевский и его политические воззрения» 4 мая 1928 г.

После вступительного слова М. Н. Покровского слово предоставляется Ю. М. Стеклову.

Ю. М. Стеклов начинает свой доклад с характеристики Н. Г. Чернышевского для современной общественной жизни. Чернышевский очень тесно связан с нашей современностью, которой он, человек 40-х—60-х годов, протягивает руку над головами ряда поколений так же, как Маркс и Энгельс через эпоху II Интернационала протягивают руку современным коммунистам. Чернышевский был основоположником и пионером коммунизма в России, но, выступив в такое время, когда еще не было об'ективных оснований для соответствующих практических выводов, он был забыт и искажен, в особенности народниками, незаконно провозгласившими его своим учителем.

Явившись на русской почве зачинателем в целом ряде основных областей мысли, Чернышевский вместе с тем был первым, обосновавшим в России взгляды, впоследствии получившие законченную формулировку в учении Маркса и Энгельса—революционном коммунизме. Можно сказать, что из наследия Чернышевского большая часть остается верной до сих пор. Он был одним из самых последовательных и до конца выдержанных материалистов, и если его и упрекают в недостаточном понимании диалектики, то нужно сказать, что и в этой области он стоит значительно выше, чем его учитель—Фейербах. Особенно же близки нам политические взгляды Чернышевского. Ошибочно приписывают такое влияние на миросозерцание Чернышевского идеям Фурье и Бланки. Если последний и обратил внимание Ч. на роль государственной власти в деле социалистического строительства, то положительная концепция Ч. приближает его к революционным коммунистам 40-х г.г.—бланкистам.

Положение пролетариата в ту эпоху, отчуждение его от элементарных, не только политических, но и человеческих прав, полная его общественная изолированность делали революционный коммунизм особенно непримиримым, создавали из него систему, радикально противоположную всем буржуазным воззрениям, и ставили перед ним в первую очередь задачу захвата политической власти. На эту точку зрения встал и Ч. И позднее, когда появился обманчивый призрак либеральных реформ, Ч. оказался решительным врагом всякого либерального соглашательства. В полемике с последним в значительной степени и проявилась система его политических воззрений.

Ясно представляя себе социальное зло капиталистической системы, Ч. вместе с тем считал, что он создает благую почву для широких трудовых масс. Покончить с капитализмом он считал необходимым, путем социалисти-

ческой революции—вооруженного восстания, захвата власти социалистами, которые постепенно приведут общество к социалистическому строю. Так ставил Ч. вопрос по отношению к Западу, где в развитии капитализма он видел подготовку условий для революции.

Иначе обстояло дело в России. Радостно приветствуя первые шаги русского капитализма, Ч., как революционер-практик, искал разрешения очередных задач, которые могли бы ускорить революцию, и именно социалистическую. Если в юности, еще в 48 году, Ч. мечтал о демократической монархии, которая затем должна была уступить место классу земледельцев, помещиков и рабочих,—то от этих наивных утопических мечтаний Ч. быстро отказывается. Он сознает природу монархии и об'являет себя ее решительным противником, стремясь уже к вольной федерации социалистических общин, разрешая при этом в нашем духе и национальный вопрос. Между народом и существующим правительством не может быть никаких соглашений, и Ч. высказывается не только против абсолютизма, но и против монархии вообще, да и против всякого буржуазного режима, будь то наиболее демократический. Правда, Чернышевский вовсе не был врагом каких бы то ни было реформ, прекрасно понимая их прогрессивную роль; но, признавая их, он был очень далек от того, чтобы ими удовольствоваться. Тех социалистов, которые относились безразлично к вопросу о политической свободе и в особенности к политической борьбе, он клеймил самым жестоким образом, но вместе с тем не доверял реформам, тем паче проводимым царским правительством и поддержанным русской либеральной буржуазией. Поскольку царский бюрократический аппарат оставался на месте, сохраняя в своих руках военную и прочую власть, никаких серьезных реформ Ч. не ждал и от такого ожидания предостерегал.

Правда, Ч. колебался в вере в возможность близкой революции, но не нужно забывать, что это происходило после поражения февральской революции. После 59-го года он уже не сомневался в под'еме революционной волны, как и в том, что она захватит и Россию. И если на Западе, в результате революции, власть, по мнению Ч., должна была сначала перейти к демократам, которые потом должны будут передать ее социалистам, то для России вопрос разрешался несколько иначе, и здесь выступает на сцену момент общинного землевладения.

После реформы 61-го года всем казалось, что в 1863 г., когда закончится временное состояние крестьян, введенное положением 19 февраля, народные массы, неудовлетворенные реформами, если и не поднимут восстания, то будут совершенно готовы к выступлению по сигналу из центра. И именно в чаянии близкой революции Ч., хотя и знал, что Россия пойдет по капиталистическому пути, искал каких-нибудь шансов, позволяющих перепрыгнуть через капитализм. Их он находил в той самой крестьянской общине, которая помешала русскому крестьянству стать собственническим в такой мере, как крестьянство европейское; в этой специфической особенности русского крестьянства Ч. видел залог возможности для России ускорить переход к более высоким формам развития, в особенности при помощи победившего западно-европейского пролетариата. Вот чего ждал Ч. от общинного землевладения, и в этом вопросе он находит поддержку в лице Маркса и Энгельса, которые тоже допускали в случае хронологического совпадения русской революции с западно-европейской, возможность особой роли для русской общины. Центр политической концепции Ч., однако, вовсе не в общинном землевладении, а в том, что никакой прогресс в России немыслим без радикального, революционного уничтожения самодержавия и всех тех классов, на которые оно опирается, при чем эта революция должна была помешать буржуазии захватить власть и привести к полному народовластию земледельцев, рабочих и поденщиков, как выражался Ч.

Таким образом, политические взгляды Ч., как революционного коммуниста, являются вместе с тем и революционно-демократическими—самая крайняя формулировка, какую только знали в то время.

Переходя к вопросам революционной тактики в учении Ч., Ю. М. Стеклов указывает, что основным путем для Ч. было революционное восстание. В своих статьях Ч. подчеркивает, что ни одно историческое действие не может считаться прочным, ни одна реформа не окажется основательной, если они не явятся результатом деятельности самих масс. В своем анализе классовой борьбы во Франции в 48-м году он совершенно совпадает с Марксом, говоря, что основной причиной поражения французского пролетариата было то, что он не сумел захватить в руки государственную власть и через нее воздействовать на такие неустойчивые, но революционные элементы, как крестьянство. Анализируя революционное движение других стран—Австрии, Италии, Ч. указывал, что ни одна политическая партия не могла удовлетворить интересам масс, кроме революционных коммунистов, а они обнаруживают непонимание своих задач. Масса вовсе не безразлична к вопросам борьбы за улучшение своего существования, она пойдет за революционной партией, если та сумеет вовлечь ее в борьбу, и даже в России. Полемизируя с Гакстгаузеном, видевшим в русской общине залог консервативности русского крестьянства, Ч. считал эту консервативность временной и напоминал о временах Разина и Пугачева. Вместе с тем, от представителей революционной партии, которая поведет за собой массу, Ч. требовал неуклонного сознания революционного долга, беспощадной логики, готовности все разрушить,—он знал, что такое революция и как она делается, и считал такое знание необходимым для всякого революционера.

Ч. вовсе не был узким доктринером и понимал, что бывают моменты, когда приходится итти на соглашение с враждебными партиями. В целях борьбы с абсолютизмом он допускал коалицию революционной демократии с буржуазией, но считал, что пролетариат или его вожди, воспользовавшись моментом замешательства своих мнимых союзников после успеха революции, должны захватить власть и приступить к самым решительным действиям против реакции и против буржуазии. Ч. совершенно открыто рекомендует систему красного террора.

Ч. всегда говорил, что, подобно тому, как всякие недоразумения между отдельными государствами в конечном счете кончаются войной, точно так же и всякая классовая борьба неизбежно кончается вооруженным столкновением. Таким образом,—говорит Ю. М. Стеклов в конце своего доклада,—в области и политических воззрений и политической тактики Ч. по всем главным вопросам стоит на одной почве с нами по той простой причине, что он был революционным коммунистом. Само собой разумеется, что, действуя в совершенно иной исторической общественной среде, он те или иные мысли формулирует иначе, выдвигает на первый план иные вопросы, перемещает центр тяжести, но в общем, если брать его политические воззрения, как нечто целое, то мы должны сказать, что по всем настроениям, проникающим его политические взгляды, по всему подходу к анализу политических вопросов, по широчайшим перспективам, которые он набрасывает, по всей последовательности Ч. в области политики, как и в области философии и многих других,—несомненно является нашим предшественником, человеком, на полвека предупредившим многое из того, о чем учил Ленин.

В прениях по докладу Ю. М. Стеклова выступили т.т. Покровский, Рязанов и Нечкина.

М. Н. Покровский. Мне очень трудно высказываться по докладу Ю. М., потому что мы по целому ряду некоторых пунктов не согласны. В отношении же того, что сейчас сказано, у нас разногласий немного. Я тоже

признаю, что Ч. был одним из величайших русских мыслителей XIX века и что он был настоящим глубоким революционером. В некоторых моих произведениях есть выражение о «меньшевизме» Ч., но, конечно, я Ч. меньшевиком никогда не считал и не считаю. Но можно ли Ч. считать революционным коммунистом, как говорил докладчик? Прежде всего непонятно, каким образом русский революционный коммунист мог до такой степени полно не знать литературы революционного коммунизма на Западе. Ведь он не знал Маркса, а Маркс был известен в России уже в 50-х годах, и выступивший на литературную сцену меньше чем через 10 лет после Ч. Ткачев превосходно знал Маркса. Очевидно, Ч. не знал Маркса потому, что не интересовался им. Мог ли он не интересоваться им, если он был революционным коммунистом? Вот вам первое возражение.

Для этого основного положения т. Стеклов приводил цитаты. Это по поводу того, что Ч. якобы был сторонником красного террора. Это осталось недоказанным. В цитированном месте Ч. проводит мысль, которую он мог заимствовать из «Философии истории» Гегеля, о том, что ничто великое не совершается без страстей и что мировой дух в своей работе прибегает даже к преступлениям. Но разве из этого следует, что Гегель и Ч. были сторонниками красного террора, а не только гениальными людьми? У Ч. речь идет не о терроре, а об убийстве жандармского полковника, т.-е. наказании человека, виноватого перед народом десятки, сотни раз. При чем Ч., как видно из цитаты, определенно смотрит на это, как на эксцесс, как на нечто нормальное, но неприятное, как на своего рода издержки революции. Могут возразить, что нельзя было высказывать свое сочувствие красному террору в цензурной печати. Совершенно верно, но тогда и цитировать нельзя. Наоборот, мы можем извлечь из Ч. большое количество цитат, свидетельствующих о том, что Ч. не только не был сторонником красного террора, но вообще—и в этом его отличие от Ленина и других—рассматривал открытую массовую, классовую борьбу не как неизбежный путь развития, без которого нельзя пройти, а как крайнее средство. Это крайнее средство Ч. принимал в 1860—62 г.г., считая, что без этого средства в России не обойтись. Притом совершенно очевидно, что он на это идет, скрепя сердце. Разве большевики когда-нибудь смотрели на революционное насилье, как на крайнее средство? А Ч. даже в его «Письмах без адреса», написанных в тот период, когда он уже не верил в соглашение с Александром II, все еще как-то смутно надеется, что все может произойти мирным путем. Точка зрения совершенно не большевистская, не революционно-комунистическая. Ч. в крестьянском вопросе начал с того, что принимал даже либеральную точку зрения. В своих первых статьях по крестьянскому вопросу Ч. предполагал освобождение крестьян со всем наделом, но за умеренный выкуп. Только в порядке разочарования в реформаторской деятельности правительства он приходит к убеждению, что решить дело может только террор. Но разве мы этим путем шли? Совершенно ясно, что ничего подобного.

Человек своей эпохи, не имевший возможности опереться на революционный класс, Ч. был вынужден итти, по крайней мере мысленно, на целый ряд компромиссов, вынужден был опираться на ту самую либеральную буржуазию, которую он достойным образом презирал. Я не буду касаться его связи с народничеством, хотя опровергнуть ее довольно трудно. Но «Письма без адреса» свидетельствуют, что Ч. готов был кооперировать с либеральной буржуазией. Перед ним была такая картина: с одной стороны, крестьянство, политически настолько мало сознательное, что от него ждать можно было только пугачевщины. А пугачевщину Ч. представлял себе по помещичьему трафарету, как бунт бессмысленный и беспощадный. Того, что это по сути дела были зачатки настоящей революции, он просто не знал. С другой стороны, было либеральное общество—«образованные классы», «партия просве-

щенных людей». И Ч. приходилось рассчитывать на эту реальную силу, и он действовал и готовил революцию, которая была возможна в начале 60-х г.г. Но революцию, несмотря на идеи общинного землевладения, Ч. готовил не социалистическую, не большевистскую, а демократическую.

Лишний раз на Ч. мы видим, что чудес не бывает и что самый гениальный человек выпрыгнуть из своей исторической обстановки не может. Ч. был революционером той эпохи, в какую жил. Разумеется, он не был Лениным, ибо Ленин есть произведение своей эпохи и в начале 60-х г.г. Ленина быть не могло.

Д. Б. Рязанов. Меня давно уже интересует вопрос о Чернышевском и Марксе. В свое время мне приходилось возражать на эту тему Плеханову, указывать ему в личной беседе, что он недостаточно обращает внимания на своеобразие Ч. и на те исторические условия, которыми оно об'ясняется. А между тем Ч. представляет собой одного из самых оригинальных мыслителей не только России, но и Европы 50-х годов. В России были люди крупнее его и по силе ума, и как политические деятели, но оригинального мыслителя крупнее не было. Не даром Маркс, познакомившись с его сочинениями, отнесся к нему с таким уважением; здесь дело было вовсе не в мученической жизни Чернышевского, о которой Маркс имел представление.

В какой мере мог Чернышевский знать Маркса? Он его знать не мог. В 1848—49 г.г. Чернышевский был мальчиком, но уже тогда из него вырабатывается революционер. По 1-му тому его дневника можно проследить и влияние на него петрашевцев, и самобытность его развития. Из петрашевцев кое-кто знал Маркса, может быть, даже читал его, но «Коммунистический Манифест» никому не был известен в то время в России, да и в Германии в революции 48-го года, как таковой, никакой роли не сыграл. Из русских единственный, кто знал Маркса и к тому же только ранние его сочинения, был Бакунин, но от его никто ничего не мог узнать о Марксе, авторе Коммунистического Манифеста. Имя Маркса надолго исчезает со страниц европейской печати, и Чернышевский не мог с ним познакомиться, даже если бы он так же внимательно следил за западным движением, как за русской жизнью.

Другое дело Ткачев. Ткачев познакомился с Марксом после 1862 года, а в 1864 году, спустя два года после ареста Чернышевского, имя Маркса уже появляется на страницах «Современника», да и то бегло. Оно становится известным Европе только после 67-го года, в связи с Брюссельским конгрессом I Интернационала. Если бы даже Чернышевский получил эти речи, вряд ли он мог бы их использовать. Мы знаем, что попытка послать «Капитал» к нему в Сибирь встретила у Ч. то непонимание, какое бывает у человека на определенной стадии развития. Многое ему казалось известным, а многое—непонятной и ненужной ученостью.

Таким образом, Чернышевский, таков, как он есть, развивался без Маркса. Но в то же время, чем больше мы читаем Ч., тем больше поражает совпадение некоторых его взглядов с Марксовыми. Об'яснение этому, конечно, в той общей почве, на которой выросли они оба, в особенности, сильное влияние Фейербаха. Правда, Чернышевский остается почти до самого конца жизни убежденным фейербахианцем, и здесь имеются отличия от Маркса. Однако и Чернышевский сумел сделать из Фейербаховских положений ряд оригинальных выводов. Это особенно видно на примере Добролюбова, который никакого понятия не имел о Марксе, был фейербахианцем, но классовый механизм понимал, и это понимание получил от Чернышевского.

В скором времени будут опубликованы первые работы Маркса по политической экономии, в которых он является последовательным фейербахианцем. И только тогда можно будет провести настоящую параллель между ранними работами Маркса и работами по политэкономии Чернышевского.

Тогда станет ясно, почему Маркс так обрадовался, прочитав «Критические очерки» Чернышевского; в них Чернышевский, пользуясь методами Фейербаха, сделал те выводы, которые начал делать Маркс в 45—46 г.г. В этом особенно отчетливо проявляется колоссальная сила мысли Чернышевского, прямо необычная для тех тяжелых условий, в которых ему приходилось работать. Что Чернышевский не был Марксом, это ясно, но что у Ч. встречается масса мест, при всей самобытности их происхождения чисто марксистских,—не подлежит никакому сомнению.

Теперь относительно Чернышевского-революционера. Я лично считаю Ч. одним из величайших русских революционеров. Это будет лучшим образом доказано, когда будет проведено сравнение между критикой английской внешней и внутренней политики 50-х годов у Маркса и Чернышевского. Эта интереснейшая задача в докладе не поставлена. Напрасно также докладчик ссылался на «Письма без адреса», предназначенные для легального органа; лучше было бы обратиться к «Прологу пролога», где дана самая жестокая, беспощадная критика всей либеральной демократической политики по отношению к крестьянской реформе. В этом случае беллетристика дает гораздо больше; она показывает, что именно Ч. подготовлял революционное движение 70-х годов в его самых крайних проявлениях.

Если и говорить, что в области политической критики Ч. не является марксистом, то только Бланки в 1851 г., с его жестокой критикой всей либеральной политики, демократической радикальной политики деятелей 48-го года, стоит на том же уровне, какой был у Чернышевского, в отношении либералов, демократов и радикалов. Здесь можно провести некоторую аналогию с более поздними статьями Бланки 60-х годов, и мы увидим, что и Чернышевский и Бланки, в их последовательной критике буржуазной демократии, толкали своих читателей на то, что Плеханов в своей первой статье для «Вестника Народной Воли» назвал социально-демократическим, т.-е. коммунистическим путем.

Таким образом, самой интересной задачей по отношению к Ч. является следующее: признать его гениальность и постараться изучить те условия, которые его создали, и выяснить то своеобразное идейное развитие, которое дало Чернышевскому возможность в современной ему русской обстановке сделать выводы из Гегеля и Фейербаха, пусть не всегда совпадающие с выводами Маркса, жившего в ином историческом окружении, в более отчетливых формах капиталистического развития,—но по типу своему остающиеся все-таки марксистскими, хотя, быть может, и не в достаточной степени.

М. В. Нечкина делает докладчику ряд замечаний методологического характера. Нельзя изучать Чернышевского по подцензурным текстам его статей, без параллельного сопоставления их с текстами, не подвергшимися цензуре, и все искусство исследователя сводить к тому, чтобы прочитать между строк истинные мысли Чернышевского. Тексты Чернышевского дошли до нас в двойном искажении как цензуры, так и самого Ч., писавшего в расчете на цензуру. Поэтому первой задачей является восстановление текста рукописей Ч., что могло бы значительно изменить и те цитаты, которыми оперировал Ю. М. Стеклов. Точно так же нельзя делать произвольные толкования отдельных выражений Ч. Если же изучать Ч., все время сопоставляя подцензурные тексты его с его внецензурным дневником, то окажется невозможным приписать Ч. те марксистские формулировки, которые имелись в докладе. В дневнике пролетариату нигде не приписывается значение гегемона революции.

Ошибкой доклада является и пренебрежение практической революционной деятельностью Чернышевского, его прокламацией «К барским крестьянам», его связью с «Землей и Волей» и пр.

Ю. М. Стеклов в заключительном слове начинает с возражения М. В. Нечкиной. Вполне соглашаясь с ее методологическими указаниями, докладчик не сомневается в том, что анализ доцензурных текстов Чернышевского в значительной степени усилил бы высказанные им положения. В большой своей работе о Чернышевском он, конечно, пользуется всем необходимым научным аппаратом. Однако и в подцензурных текстах Ч. имеется достаточно материала для обоснования высказанных им положений. Так, Ч. видел основу исторического развития в производительных силах, он указывал, что развитие рабочего движения несет смерть буржуазному миру (приводятся цитаты). Ч. прекрасно понимал роль пролетариата, как гегемона революции, но подчеркивал, что, только опираясь на крестьянство, пролетариат добьется социальной революции.

Можно ли назвать Ч. революционным коммунистом в нашем понимании этого слова, если он не знал Маркса? Можно, потому, что Маркс сам явился после революционных коммунистов 40-х годов и воспитался на литературе, известной и Ч. То обстоятельство, что Ткачев Маркса знал, положения не меняет.

По вопросу о красном терроре докладчик настаивает на правильности своей точки зрения. Это понимали и современники, и Ч. заявлял ведь, что он всецело разделяет тактику Робеспьера во время революции. Совершенно неправильно также утверждать, что Ч. смотрел на вооруженное восстание, как на крайнее средство. На основании его «Дневника» можно утверждать, что в 50-м году Ч. пришел к выводу о необходимости вооруженного восстания и истребления династии. Неправильно и положение, что Ч. смотрел на пугачевщину, как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Его прокламация «К барским крестьянам» не что иное, как провокация новой пугачевщины. Не был Ч. и либералом в отношении крестьянского вопроса, как указал М. Н. Покровский, ссылаясь на предложение Ч. отдать крестьянам землю за небольшой выкуп. Но Ч. уже в 1858 г. выступил с программой передачи всей земли крестьянам без всякого выкупа и на такой позиции оставался все время.

Приводя оценку Лениным Ч. из «Что такое друзья народа», Ю. М. Стеклов заканчивает утверждением, что при всех упреках, какие можно пред'явить Ч., основным его качеством все-таки была антибуржуазность. Он не знал произведений Маркса, но тем не менее собственными силами своего ума, благодаря большой эрудиции и тщательному наблюдению хода событий на Западе и в России, пришел к таким взглядам, которые сильно приближают его к марксизму, а в области тактики к тому, что мы называем большевизмом. Невозможно сказать, что Ч. был большевиком, но что он был революционным коммунистом, что в области тактики он в очень многом стоял на нашей позиции, что он предсказал ход революции 1905 года и предвидел Октябрь,—это не подлежит сомнению.

Доклад М. Н. Покровского — «Чернышевский, как историк» (11 мая 1928 г.)

Доклад М. Н. Покровского—см. передовую статью настоящего номера [1].

В прениях участвовали т.т. Рязанов, Стеклов и Алексеев.

Д. Б. Рязанов. Анализ взглядов Чернышевского на исторические события, на историю вообще—задача чрезвычайно соблазнительная и мало разработанная. Важно дать анализ не только дневников Чернышевского,

[1] Для статьи доклад очень основательно переработан. Вот почему может показаться, что некоторые возражения как будто не имеют опоры в докладе.

дающих Чернышевского-юношу, но и ответить на вопрос, каковы были исторические взгляды Чернышевского, когда он уже сложился. Я остановлюсь только на одной статье Ч.—«Кавеньяк», которая стоит того, чтобы о ней упомянули. Докладчик говорил о Луи Блане и отношении к нему Ч. В дневнике Луи Блан играет большую роль. В «Кавеньяке» же дается уничтожающий отзыв о нем. Даже беглый просмотр этой статьи приводит к выводу, что во всей литературе о революции 48-го года, за исключением «Классовой борьбы во Франции» и «18-го брюмера Луи Бонапарта», нет ничего подобного. А между тем статья эта написана русским журналистом в 1858 г., сейчас же после смерти Кавеньяка и, вероятно, не на основании тех указаний, которые Ч. получал в чайных в 1848 г. Статья эта показывает такое тонкое знакомство со всей литературой, такое проникновение во все процессы, что, несмотря даже на уступки цензуре, вы себя спрашиваете—а не плагиат ли это? (Д. Б. Рязанов приводит ряд цитат из статьи, иллюстрирующих близость оценки Ч. к оценке Маркса). Молодые историки-марксисты дадут себе, вероятно, труд взять соответствующие статьи и книги по французской истории и, анализируя их, отметить, на каких источниках основывался Ч. Вероятно, они придут к тому же заключению, к какому пришел я, читая Ч. Чернышевский никогда не был марксистом, но потому ли, что он кое-чему научился у Гегеля и Фейербаха, потому ли, что научился кое-чему у тех экономистов, у которых учился Маркс, но он приходил при оценке западно-европейских событий к взглядам, которые иногда совершенно совпадают с марксистскими. Когда мы ищем учителя Ч., то мы можем найти только одну фигуру, одного французского народника, который по резкости оценки революции необычайно смахивает на Ч.,—этого народника звали Огюстом Бланки. Здесь тоже небесполезно будет провести параллель. Если можно найти кого-нибудь, кроме Маркса, кто бы так расценивал классовую борьбу в Западной Европе, то это был только Бланки.

При анализе высказываний Ленина о Ч. нельзя забывать, что Ленин писал не как историк, а как публицист, и пользовался правом публициста показывать историю под нужным ему углом зрения, «натягивать» историю. Конечно, когда Ленин пишет: Герцен и Чернышевский,—он видит перед собой известную хронологически последовательную связь, но Герцен и Чернышевский это все-таки два полюса. Иначе мы совершенно не поймем одного из наиболее интересных моментов в истории 60-х годов, именно, спора между Герценом, с одной стороны, и Чернышевским и Добролюбовым, с другой. Спор этот сыграл видную роль в самой биографии Чернышевского, ибо, не будь этого спора, не будь такой ожесточенной борьбы между группой Чернышевского и Добролюбова и будущей «Землей и Волей» и группой Герцена, не было бы и лондонской поездки Чернышевского. Эта поездка стоит в некотором противоречии с обычной характеристикой Чернышевского. Это уже напоминает позднейшую практику, практику 70-х—80-х годов, практику более революционных групп. Но, если мы не будем иметь в виду, что Чернышевский и Герцен на протяжении всего времени от 57-го до 62-го г.г. являются подлинными антиподами, что Чернышевский в этом споре занимает позицию Бланки до 1851 г., а Герцен стоит ниже Ледрю-Роллена, мы не поймем всей этой истории. Повторяю, Чернышевский не марксист и, конечно, не Маркс. Чернышевский весьма и весьма своеобразное явление, и задача состоит именно в том, чтобы об'яснить это своеобразие. Для этого нужно дать анализ его взглядов. Расцвет деятельности Чернышевского падает приблизительно на 1857—1862 г.г., до ареста. Если мы проанализируем Чернышевского в этот отрезок времени, то найдем у него противоречия. Чернышевский приближается к материалистическому пониманию истории, но часто сбивается с этой дороги и иногда готов удовлетвориться тем, что об'ясняет движение истории интересами. Но как только он переходит к ана-

лизу текущих событий, он достигает такой остроты, такой проницательности, что, если об'яснить это плагиатом, приходится констатировать, что Чернышевский принадлежит к числу гениальнейших наших мыслителей.

Могут сказать, что Чернышевский был сильнее и проницательнее по отношению к Западной Европе; но здесь не нужно упускать из виду цензурные условия. Нужно учесть целый ряд заявлений Ч. подпольного характера в нелегальной литературе, и тогда мы поймем, что, если Ч. стоит в начале народнического периода, то это народнический период особого порядка. Это то народническое течение, которое в чистой форме выявилось в своем кульминационном пункте—«Народной Воле», нашем наиболее якобинском течении. Но Плеханов в своей первой статье, где он противопоставляет Чернышевского Щапову, делает из Щапова родоначальника народничества черно-передельческого, а в Чернышевском видит родоначальника нового, социал-демократического, коммунистического периода русской революционной мысли.

Нельзя забывать и о Ч., как философе. Так же, как в материалистическом понимании истории Маркса и Энгельса невозможно отделить философию от истории, так и Ч.-историка нельзя отделять от его философских корней и предпосылок.

Ю. М. Стеклов. Я должен отметить, что существует какое-то стремление обязательно навязать Чернышевскому полу-либеральную маску, хотя это совершенно расходится с действительностью, и выставить его каким-то идеалистом, хотя это совершенно неверно. Вместе с тем его стараются изобразить в виде народника, при чем этот растяжимый термин прикрывает все, от чего фигура Ч. вовсе не выигрывает в ясности. Тов. Покровский привел одну замечательную цитату из Ч., из его «Антропологического принципа в философии», где он доказывает, что за самыми, казалось бы, на вид совершенными теориями, даже обще-философского характера, скрывается классовая борьба, что они коренятся в политических и стоящих под ними экономических отношениях. Тов. Рязанов привел несколько цитат из «Кавеньяка», показывающих, как совпадают ответы Ч. и Маркса на некоторые исторические вопросы. Но мне кажется, что для характеристики близости Ч. к историческому материализму первая цитата характернее. В самом деле: классовые отношения во время революции 48-го года бросались в глаза, и такой анализ мог быть дан даже людьми, которые не были до конца материалистами в истории. Но признать, как говорит об этом Ч., что политические и философские теории надлежит об'яснять экономическими отношениями данной эпохи, показать, что все эти системы, боровшиеся между собой в XVIII—XIX веках,—идеализм, материализм, эклектизм,—в конечном счете базируются на экономических общественных отношениях, это вещь, до которой даже Энгельс не дошел в такой решительной формулировке. Всем известно, что настоящие народники в этом пункте прямо отрекаются от Ч. Существует специальная работа, написанная с.-р. М. Антоновым о Чернышевском. Убедившись, что Чернышевский, в сущности, дает сильнейшее оружие нам, марксистам, Антонов подвергает придирчивой критике исторические, эстетические, философские и прочие воззрения Ч. и отвергает их, как марксистские. Он приводит ту самую цитату, на которую сослался тов. Покровский, как пример того, до каких грубых марксистских положений мог договариваться Ч. Так с.-р. отказывается от основного наследия Чернышевского. И если тов. Покровский считает, что Ч. был народником, то подлинные народники, как Антонов, от Ч. отрекаются. Точно так же и Н. Анненский и Н. Русанов высказались по этому вопросу и пришли к выводу, что народничество и мировоззрение Ч.—две совершенно различные вещи. Если рассматривать народничество в самом широком историко-философском смысле, т.-е. понимая под ним такое общественное течение, которое стремится к социаль-

ной революции в отсталой стране, где оно не может базироваться на пролетариате, а должно обращаться к другим, промежуточным группам, вроде крестьянской бедноты, сельской мелкой буржуазии и т. д., то при таком примерно, определении народничества можно сказать, что Ч. был народником, как не могли ими не быть все русские революционеры, жившие в эпоху, когда не было еще массы индустриального пролетариата. Если же взять обычное, узкое определение народничества, то с таким течением Ч. не имел ничего общего, и только в силу особых исторических условий создалась иллюзия, будто Ч. стоял на такой позиции. Не только народники 70-х годов фактически отошли от него, но даже его современники-шестидесятники, очутившись вместе с ним на каторге, убедились, что совершенно расходятся с ним в понимании политических задач социализма. Никто не считает, что Ч. является марксистом в полном смысле этого слова или даже большевиком. В его сочинениях можно найти целый ряд мест, свидетельствующих о том, что в его мировоззрении имелись и остатки старых взглядов,—идеализма, рационализма и т. п. Я считаю, что Ч. шел к выработке общей материалистической системы и в целом ряде пунктов близко к ней подошел, и в этом смысле он является отдаленным нашим предтечей, который через последующие периоды протягивает нам руку. Не нужно забывать, что Ч., по условиям своей журналистской деятельности, никогда не имел возможности собрать свои взгляды воедино и изложить их в более или менее связной форме. Если бы он не был вынужден писать в месяц по несколько статей на самые разнообразные темы, а писал бы книги, то противоречий по остальным пунктам было бы гораздо меньше.

Что же нового дал Ч., в чем он ушел вперед по сравнению с предшественниками? Он был материалистом и, вопреки мнению тов. Покровского, он был диалектиком. Он был материалистом в истории, он был революционным коммунистом и крайне революционным политиком. Это видно из всех его сочинений. Правда, Ленин считал Ч. социалистом-утопистом. В известном смысле это все должны признать, ибо кое-какие элементы утопизма у него были, но как раз в том пункте, где Ленин считал его утопистом (будто бы Ч. действительно считал возможным непосредственный переход от патриархальной крепостнической общины, помимо капитализма к социализму), именно здесь Ч. утопистом не был. Ч. так упрощенно вопроса не ставил. Он доказывал, что при определенных условиях, а именно при социальной революции на Западе и при одновременном радикальном перевороте в России, сопровождающемся захватом власти революционной партией, общинное землевладение может облегчить переход к социализму (так же отвечали на этот вопрос Маркс и Энгельс). Неправильно утверждал и Плеханов, что Ч. был утопистом, ибо был политическим индифферентистом, и тут совершенно справедливы слова Ленина, что это был революционный демократ, который прекрасно понимал необходимость борьбы с самодержавием, всегда подчеркивал это, правильно разбирался в характере и взаимоотношениях русских общественных сил, проповедывал свержение всех старых властей и разоблачал своекорыстие и бесхарактерность российского либерализма. Но совершенно неверно обвинять Ч. в этом смысле в идеализме, как это делает тов. Покровский, исходя из того, чтоб Ч. якобы видел в самодержавии причину социальных зол и экономической нищеты России. Если бы он говорил это в специальном историческом трактате, тогда к нему, конечно, можно было бы придраться. Но перед нами публицистическая статья, имеющая чисто агитационное значение. И разве социал-демократы, позднее большевики, никогда не говорили, что главный враг, главное зло — это самодержавие и с ним надо в первую очередь бороться?

Точно так же не выдерживает критики параллель, которую проводил тов. Покровский между моей точкой зрения на Ч. и точкой зрения «Рабочей

мысли»—органа правых экономистов. Тов. Покровский говорит, что существует давняя тенденция делать Ч. марксистом, и что я следую в этом случае за «Рабочей мыслью». Но автор статейки в «Рабочей мысли» хотел доказать, что Ч. был против революции, против политической борьбы; он приводил известное место из «Пролога», где сказано, что не совсем честно грозить тем, во что сам первый не веришь, т.-е. революцией. Но что общего имеет это с положениями самого Ч. или с моей попыткой доказать, что нельзя определять Ч., как утописта или как человека, склонного к кооперации с либералами? Тов. Покровский указывает, что классовую борьбу во Франции различал даже Яков Толстой. Конечно, исторический материализм заключается не в этом. Это мы можем найти всюду. Но одно дело—цитата из «Антропологического принципа», гласящая, что самые отвлеченные философские системы имеют своими корнями политическую борьбу и экономические отношения, а другое дело—донесения Якова Толстого.

В чем же выразился идеализм Ч. по отношению к России? Тов. Покровский говорит: посмотрите на рассуждения его с Лободовским и Ханыковым, там как будто пахнет идеализмом. Но там говорится о том, что русская монархия, при всей своей видимой крепости, по существу говоря, колосс на глиняных ногах, потому что мелкое чиновничество недовольно, раскольники угнетены, происходят восстания крестьян,—словом, есть почва для какого-то движения. Ханыков прибавил еще, что у нас в отдельных местах имеется общинное землевладение, на которое в случае революции можно будет опереться. Но где же тут неклассовость? Разве, когда они говорили о революции, они думали, что она произойдет каким-то внеклассовым путем? Если Ч. в начале 1848 года этого еще не понимал, мечтал в ту пору о социальной монархии, то в 1850 году он уже определенно писал, что монархия есть верхушка аристократии и поэтому с ней нужно бороться, что ее существование маскирует действительную классовую борьбу, мешает свободной классовой борьбе, ибо угнетенные массы считают своим главным врагом отдельных помещиков, не понимая того, что верхушка помещичьего класса и есть самодержавие, с которого и нужно начать, и только тогда начнется открытая классовая борьба, которая закончится социальной революцией. Ведь это почти буквально то же, что писал около того времени о монархии Маркс.

Ч. упрекают в том, что он пришел к мысли о возможности чисто политического переворота в России. Если бы это было и так, здесь еще нет противоречия ни материализму, ни классовости,—аналогичную идею выдвигал и Ленин в 1905 году. Ничего утопического тут нет. Но на самом деле обстоит иначе, ибо Ч. имел в виду не совсем чисто политический переворот; уже в том самом рассуждении о социальной монархии и аристократии, относящемся к 1850 году, где он выдвинул лозунг «Долой самодержавную монархию», имеется и завершение — непосредственное правление поденщиков, рабочих и крестьян. Тов. Покровский и в этом видит отсталость Ч. Для Ч., по его мнению, все это одно и то же,—поденщик, рабочий, крестьянин—все это едино суть. Откуда видно, что «едино суть»? Когда мы говорим «блок рабочих и крестьян» или «рабоче-крестьянское правительство», мы ведь не думаем, что это «едино суть». Ясно, что речь идет о коалиции различных отдельных классов, но имеющих общие, сходные задачи. У Ч. даже стоит в рукописи знак +: народное правление, т.-е. правление многочисленнейшего класса: земледельцев + рабочих + поденщиков. Он охватил три категории трудящихся, но отнюдь не слил их.

Наконец, по вопросу о либерализме Ч. можно сказать, что Ч. был идеалистом; это будет отчасти верно. Можно доказывать его исторический идеализм—бесспорно, у него в этом отношении имеются провалы, уклоны и т. д. Но выдавать Ч. за либерала нельзя. Тов. Покровский ссылается на

письмо к Герцену за подписью «Русский человек». Очень важно, что докладчик признал принадлежность этого письма Ч., потому что этот факт оспаривался, а между тем письмо это является одним из наиболее блестящих доказательств всей революционной энергии Чернышевского. Чернышевский говорит в этом письме, что во времена Николая I крышка была настолько туго завинчена, что настроения прогрессивно-демократических групп были крайне революционны. Он даже высказывается в смысле тезиса, «чем хуже, тем лучше», и разряжение атмосферы, которые создала смерть Николая, рассматривает, как минус, как удар для революционных элементов. При Николае оппозиция была солидарна, и раскол был невозможен. Но только началась буржуазная переделка России, как все мнимые демократы, вместе с Герценом, И. Тургеневым, Кавелиным—пошли в одну сторону, а Ч. со своей группой революционных разночинцев—в другую. Тов. Покровский говорит, что в сущности Ленин ставил рядом Герцена, Белинского, Чернышевского и Добролюбова и говорил, что их социализм ничего не стоит, но здесь речь шла о всем социализме того времени, т.-е. о социализме 40-х годов, а не о 60-х годах, не о социализме Чернышевского. Отношение Ленина к Ч. ясно и к Герцену ясно. И ставить их на одну доску, уже начиная с конца 50-х годов, решительно невозможно.

Конечно, нельзя говорить, что Ч. был законченным марксистом и большевиком. Но он был нашим предтечей и в политике, и в философии, и во всех других областях. Нас не должна сбивать ссылка на его дневник 48-го года, в котором Луи Блан является героем. Не только в 1858 году, как отметил тов. Рязанов, но уже в 49 году фигура Бланки заслоняет для него Луи Блана. А если принять во внимание, что представления свои о революции 48 года Ч. должен был формировать на основании реакционной русской и французской прессы, то не было бы ничего удивительного, если бы ему даже Ледрю-Роллен показался левым социалистом. Таким образом, из всех предшественников марксизма, Ч. стоит ближе всех к нам. Причиной тому и одинаковые у него с Марксом и Энгельсом идейные источники и влияние той же революции 48 года. Но до марксизма он не дошел. В этом виновата русская жизнь, ее отсталость, а может быть, и преждевременная гибель Ч.

Вот истинная фигура Чернышевского (думаю, что ее надо правильно осветить, а не превращать Ч. в какого-то идеалиста-народника или в какое-то второе издание буржуазно-дворянского либерализма, чем он не был никогда).

Н. А. Алексеев останавливается на некоторых исторических высказываниях Ч. Приводя цитату из статьи о Грановском, в которой Ч. формулирует свои взгляды на задачи истории, и обозревая развитие исторической науки, замечает, что она обращала внимание, главным образом, на политическую, и отчасти на умственную жизнь, между тем как основная пружина истории—ее материальная сторона, ибо «в природе источники человеческой жизни и вся жизнь коренным образом определяется отношением к природе»,—оппонент замечает, что цитата эта ясно показывает материалистический взгляд Ч. на исторический процесс. Точно так же и в примечаниях к «Введению в историю XIX века» Гервинуса Чернышевский указывал, что «умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни и полемизировал с историками, утверждавшими великое историческое значение папства и католицизма вообще: «Духовное сословие всегда служило существующему порядку, предержащим властям».

Докладчик указывал, что русское самодержавие в глазах Ч. является какой-то самостоятельно возникшей силой. Тут, конечно, нужно иметь в виду то, на что уже указывали т. Рязанов и т. Стеклов: когда мы читаем произведения Ч. мы должны принимать во внимание условия, в которых он писал—необходимость маскировать свои мысли. Как раз такой маскированный характер имеют отрывки, цитированные т. Покровским. Между тем в

анализе самодержавия австрийского в «Предисловии к нынешним австрийским делам» он совершенно ясно определяет классовый характер австрийской политической системы, а следовательно, вряд ли мог считать русское самодержавие за какую-то совершенно независимую от всего общественного уклада силу.

Вообще, стремление докладчика изобразить Ч. в виде двуликого Януса лишено достаточных оснований. Между прочим т. Покровский говорил, что Ч. может быть и материалист, но не признает диалектики. Между тем, если вы возьмете, например, его «Критику философских предубеждений против общинного землевладения», то увидите, как последовательно Ч. излагает диалектические взгляды и говорит, что он придерживается законов диалектики, что он основывается на них. И в политических событиях Ч. умел увидеть внутреннюю динамику, о чем свидетельствует его политический обзор в апреле 1862 г.

Ч. владел и классовым подходом. В «Антропологических принципах» есть характеристика положения дел в Западной Европе. С одной стороны, Ч. берет Милля, как представителя той части буржуазии, которая чувствует, что ее господству подходит конец, с другой,—Прудона, как представителя пролетариата или, как он выражается, простолюдинов, и указывает, что у Прудона имеется масса непоследовательностей: от критики существующего порядка он переходит к преклонению перед ним. И Ч. говорит, что настоящими представителями философской науки не могут служить ни Милль, ни Прудон: этих представителей надо искать в Германии. И тут он как бы предвидит появление такого колосса, как Маркс. Он имел в виду Фейербаха, но Фейербах не занимался как раз той стороной науки, которая Ч. наиболее интересовала—социальными вопросами.

Таким образом, навязывание Чернышевскому идеализма, политического или философского, является крайне натянутым.

Продолжение прений по докладу М. Н. Покровского «Чернышевский как историк» (18 мая)

Выступали т.т. Шохин, Касаткин, Фридлянд, Горев, Нечкина, Рязанов и Алексеев.

А. Шохин. Точка зрения т. Стеклова на Чернышевского страдает односторонностью. Он считает, что Ч. не утопист, что он ближе к научному социализму. Но если взять конкретный пример—высказывания Ч. по поводу истории России,—то такая постановка вопроса не оправдается. «Автобиография» ясно показывает, что Ч. часто становился в тупик перед об'яснением тех или других сторон русской действительности, и вообще анализ «Автобиографии» приводит к выводу, что Ч. был очень далек от научного социализма. Ч. осознал необходимость коллективизма, но путей к нему он указать не мог, ни реальной исторической обстановки, ни диалектики классовой борьбы он не понимал, роли пролетариата не дооценивал, и потому остался утопистом. Совершенно верна формулировка Ленина о своеобразном крестьянском социализме у Ч., ибо вся сущность Ч. в своеобразии того этапа, через который проходила тогда Россия, создавая капиталистические отношения под крепостнической оболочкой. Но односторонность позиции Ю. М. Стеклова заставляет его проходить мимо этих моментов, не обращая внимания, например, и на элементы надклассовости в понимании самодержавия у Ч.

Касаткин. Тов. Рязанов в прошлый раз здесь совершенно правильно отметил, что при характеристике Ч., в частности, его исторических взглядов, необходимо увязывать эти взгляды с его философскими воззре-

ниями. Точно так же необходимо увязывать их с его политическими взглядами. Но для того, чтобы дать оценку последних, нужно вскрыть ту классовую принадлежность, к которой мы относим данного идеолога. И М. Н. Покровский совершенно правильно поставил этот вопрос в своем докладе.

Материалистические элементы в произведениях Чернышевского нашли уже здесь достаточное освещение. Но если мы возьмем его «Взгляд на китайскую революцию» 1856 г. или статью о «Письмах из Испании» Боткина или рецензию на сочинения Ранке, мы не найдем в них материалистических воззрений и сколько угодно идеалистических. В одной из своих статей этого типа он говорит о государстве, при чем оно у него совершенно не связано с моментами исторического развития, оно является надклассовым, организующим началом. Он прямо говорит, что все общественные явления зависят от законов, управляющих в данном обществе. Собственно, момент от материализма появляется в работах Ч. только с 1858 года, но нельзя этого распространять на всю его деятельность. Я думаю, что Ч. вообще был эклектиком в вопросах методологии. Это доказывается самым фактом спора о сущности его взглядов. Но если он был эклектиком, то вряд ли можно согласиться с тем, что в творчестве его преобладали материалистические моменты. Мы имеем в нем, конечно, не двуликого Януса, как выразился т. Алексеев, но человека, жившего в эпоху, когда нельзя было создать иное мировоззрение. И совершенно прав М. Н. Покровский, вместе с Лениным характеризуя Ч., как революционного буржуазного демократа, как крестьянского социалиста.

Ц. Фридлянд. По поручению Института Маркса и Энгельса мне пришлось работать над специальной темой «Чернышевский и Луи Блан», и хотя работа еще не кончена, некоторые результаты ее мне кажутся заслуживающими внимания.

Когда читаешь дневники и сравниваешь их со статьями Ч., прежде всего бросается в глаза его интерес к западно-европейским проблемам, интерес не теоретический, не абстрактный, а чрезвычайно конкретный, интерес к повседневным политическим проблемам. И эта сторона его характеристики заслуживает рассмотрения.

Нужно сказать, что строить на дневниках исследование взглядов Ч. очень трудно. Здесь мы находим одновременно и материалистические взгляды, и веру в бога, и, что для меня сейчас особенно интересно, одновременное превознесение Луи Блана и Гизо. Но если дневник не может служить для характеристики взглядов Ч., то вместе с тем, он является той средой, тем исходным пунктом, от которого можно вести эту характеристику. И здесь интересно обратить внимание на оценку Луи Блана и Фурье. Чернышевский не впадает в вульгарность по отношению к Фурье, очень часто подмечает у него гениальные мысли, но сильного интереса Фурье в нем не вызывает. Если мы возьмем теперь отношение к Луи Блану, то любопытно, что Ч. совершенно не интересуют социально-экономические взгляды Луи-Блана. Центр внимания Ч. все время направлен на политические взгляды Л. Блана. Таким образом, Ч. с самого начала влекла к Луи Блану идея революционного демократизма, как таковая, и в дальнейшем линию развития Ч. от Луи Блана нужно искать именно в этом направлении. И когда Ч. говорит о Луи Блане, он делает это с точки зрения якобинизма в той трактовке, в какой он имеет место у Луи Блана. Точно так же, если взять дневник Ч. в том месте, где он трактует свое отношение к социалистам и коммунистам, когда говорит о социальной монархии, то вы увидите, что в коммунистах его привлекает не их социально-экономическая система, но он опять-таки подчеркивает ту часть коммунистических идей, которая связывает Луи Блана с этими эпигонами якобинизма 48-го года.

Останавливаясь на других моментах, на попытке периодизации истории революции, на статьях, касающихся вопросов оценки 48 года, переворота Луи Бонапарта и империи, особенно на статьях 1859 года, мы в целом ряде случаев можем наблюдать умение Ч. остро остановиться на проблеме классов, классовой борьбе и поразительное совпадение с трактовкой этих вопросов у Маркса. Но, если говорить о развитии Ч. в сторону марксизма, нужно одновременно сказать, что линия Ч. в сторону этих гениальных идей направлялась к совершенно определенным моментам этого учения. Ведь марксизм, как совершенно правильно заметил т. Стеклов, совершенно не исчерпывается только постановкой проблемы классов и классовой борьбы. Важно то, что интерес Ч. к революционному движению Западной Европы и к коммунистическому учению начался не со стороны их социально-экономической системы, а он начал, как человек, примыкающий к якобинизму, в той трактовке, какую ему давали революционные демократы середины XIX века.

Характерно, сравнить периодизацию истории у Чернышевского и у Маркса. Сами по себе циклы совершенно не совпадают с Марксовыми. Но как об'ясняет Чернышевский происхождение каждого цикла? Проблема была поставлена так, что даже в тогдашних царских условиях можно было ее развить. Он ставит вопрос отнюдь не в той плоскости, как Маркс; у него нет ни звука об экономических факторах, которые определяют эти циклы. Цикл определяется физическими и психическими способностями каждого поколения. Согласитесь, что от марксизма это очень далеко.

Стоит остановиться и на различии критики, данной Марксом и Чернышевским Фогту.

Таким образом, в Ч. мы имеем мыслителя с большим интересом к западно-европейской истории, который пытался на этом пути поставить проблемы класса, классовой борьбы. Он счастливо избег вульгарного экономизма и обратил главное внимание на вопросы борьбы. Но это развитие Чернышевского, начавшееся с его увлечения революционно-политическими идеями якобинцев середины XIX века до конца его жизни, не делает все-таки из него марксиста, в той категорической форме, в какой пытались его дать некоторые из выступавших.

Б. И. Горев. Я должен установить, что различие между оценками Ч. в обоих докладах не качественное, а количественное. Тов. Стеклов в своем докладе обращал внимание, главным образом, на ту сторону Ч., которую он считает наиболее близкой к марксизму. Но и в своих печатных работах он нигде не оспаривает факта утопических, идеалистических элементов у Ч.; он только не останавливается на них, полагая, очевидно, что в этом отношении достаточно сделал Плеханов. Но от этого искажается историческая перспектива, и в результате—две очень далеко разошедшиеся формулировки.

Прав, конечно, тов. Покровский, говоря, что Ч.—фигура сложная, в нем можно найти много противоречий не только в развитии, но даже в одно и то же время.

Тов. Стеклов подчеркивает выражение «революционный коммунист». Неправильно, однако, переводить это, как «революционный марксист». Революционные коммунисты были и до Маркса, и это были достаточно большие утописты. С точки зрения Маркса утопистами были не только Оуэн, Фурье или Сен-Симон, не только соглашатели вроде Луи-Блана, но и такие люди, как Бланки, потому что всех их об'единяет то, что они капитализм, как таковой, плохо противопоставляют социализму. Они не выводят социализма непосредственно из капитализма, из его противоречий. В этом самая характерная черта утопического социализма.

По мнению тов. Фридлянда, у Ч. преобладали элементы политики. Можно, однако же, найти столько же элементов социальных. Впрочем, и Бланки особенно ценил политическую сторону, но это не значит, что Бланки не был коммунистом, хотя и не в совершенно чистом виде. У Бланки и Ч. очень много общего, хотя Ч. о Бланки не знал всего того, что мы о нем знаем. Здесь, поразительное совпадение великих умов. И Бланки считал, что история движется просвещением, и для Бланки основной вопрос социалистической революции был в невежестве. Это отношение к просвещению необычайно характерно для них обоих. Можно ли удовлетвориться формулировкой, что Бланки был буржуазный демократ якобинского толка. Но если вы скажете, что Бланки был революционный коммунист, утопический, домарксистский,—это будет правильно. Таким же был и Ч., и, хотя он стоял несравненно выше Бланки, их очень сближают элементы идеализма в истории и утопизма в социализме.

Последние строки классической работы Ч. о Милле кончаются знаменитой фразой. Он жалеет, что еще не удалось обосновать самую научную часть политической экономии, а именно «обоснование принципов, изложение принципов самого выгодного для большинства устройства общества». Это и есть утопизм, основные корни которого были, несомненно, в Чернышевском. И в самом деле, хотя критика буржуазной политической экономии у него блестяща, ее оценил по достоинству Маркс, но по сути дела выводы, к которым приходит Ч., идут не дальше рикардианцев-социалистов: все ценности созданы трудом, следовательно, они принадлежат труду, и дальше никаких рассуждений не нужно.

Перейду к вопросу о народничестве Ч. Элементы народничества, конечно, были, но если сравнить Ч. с Добролюбовым, истинным родоначальником нашего народничества, то между ними, конечно, целая пропасть. Приведу два аргумента. Характерной чертой революционного народничества 70-х годов была вера в особые пути развития России, опирающиеся на общину. Ч. принимал общину,—об этом говорил тов. Стеклов, правильно указывая, что в этом вопросе Ч. недалеко ушел от Маркса 1882 г. Но посмотрим, как он относится к общине, когда достиг максимальной зрелости и перешел к самым ответственным актам своей деятельности. Я имею в виду прежде всего его знаменитый собственный план развития социализма, о котором осведомители III Отделения отзывались, что он имеет в виду, вероятно, Россию. Он берет страну, в которой община давно разрушена, и где будут образовываться с.-х. коммуны, вместе с ремесленниками, нечто вроде фаланстеров Фурье. В качестве организационных баз для этих товариществ будут служить старинные, запущенные здания, рассеянные в полях. Опытный осведомитель поясняет, что этого теперь нет, но что это имело место во Франции 1793—95 гг.; речь идет о домах выгнанных помещиков. Но обратите внимание на деталь: старинные, запущенные здания,—значит, прошло несколько лет, как помещики были выгнаны, и дома продаются за бесценок. Так было в Великую французскую революцию, но так не может быть у нас. Значит, либо помещики изгнаны, но сохранили право частной собственности, либо демократическое революционное правительство овладело собственностью помещиков и сдает их с.-х. фурьеристским фаланстерам. Это только подтверждает мысль Ю. М. Стеклова, что Ч. не ждал в России буржуазно-демократической революции.

И вторая, очень ценная вещь, если говорить о нем, как о народнике— его воззрение «К барским крестьянам». Не касаясь по существу этого агитационного шедевра, обращаю внимание на то, что во всей прокламации нет ни звука об общине. Представьте себе, с одной стороны, прокламации, выпущенные народниками, начиная от Каракозова, где говорится: земля общая, земля божья, и с другой стороны, прокламацию Чернышевского. Мне кажется.

что это аргумент достаточно серьезный, чтобы не зачислять Ч. безоговорочно в народники.

М. В. Нечкина считает, что диспут уже дал ряд ощутительных результатов. Тов. Стеклов, хотя, может быть, он в этом и не совсем признается, отступил от своих позиций и приблизился к правильной точке зрения тов. Покровского. Разница между позициями т.т. Стеклова и Рязанова и т. Покровским уже не в существе дела, а в формулировках. Правильный взгляд на Ч. в основном установлен.

Далее оппонент повторяет свои замечания о необходимости применения точных методов критики текста при изучении произведений Чернышевского, сделанные и по докладу Ю. М. Стеклова 4/V.

Д. Б. Рязанов. Всех занимает вопрос о Ч., как коммунисте, о Ч., как социалисте, о Ч., как революционере, как политике, наконец, и только я один прошлый раз решил ограничиться Ч., как историком. И сейчас меня интересует вопрос о влиянии Ч. на русскую историографию, как в области русской истории, так и в области истории всеобщей. А для этого приходится иногда читать у Ч. статьи по гигиене брака, и из них извлекать какие-нибудь исторические замечания. Тут можно наткнуться на любопытнейшие вещи. Например, в третьем томе имеется рецензия на книгу «Собрание писем царя Алексея Михайловича». Об этой книжке там сказано ровно 20 строк, но статья представляет большой интерес. Она сразу напоминает нечто очень знакомое и в результате оказывается конспектом большой книги, которая называется «Сказания иностранцев о московском государстве». При этом интересно отметить: в основу своей статьи Ч. берет книжку Мейнерса, которую весьма основательно использует и Ключевский. Если сравнить книгу Ключевского и эту статью, не остается никакого сомнения, что юношеская работа Ключевского написана под влиянием этой статьи, давшей ему толчок.

Меня уже давно заинтересовал один вопрос (по этому поводу я высказывался и в печати): нужно постараться проследить, каким образом, идейные споры, борьба и полемика в наших революционных кружках определяла и устанавливала главные вехи в развитии русской исторической литературы. Мне кажется, что многие, так называемые «основательные», исторические работы обволакивали те первоначально резкие формулировки, которые на сегодняшнем диспуте смущают кое-кого из присутствующих товарищей. Если взять развитие русской историографии, то постановка буквально всех вопросов идет от наших споров. Мы тогда очень усердно занимались обсуждениями всех этих вопросов, а рядом сидели люди, более основательные, менее «симпатичные», но более «научные», которые приходили к заключению, что в этом много легкомыслия и излишней остроты. А затем они отходили в сторону, отставали от движения и выделялись в области науки, причем занимались тем, что ученым образом, в более уравновешенной форме проводили в жизнь те же самые мысли.

Это чрезвычайно любопытная задача—взять и проследить основные идеи русской историографии и сравнить с основными идеями русской подпольной и надпольной журналистики. И в данном случае еще совсем не разобран вопрос о влиянии «Современника» на русских историков и экономистов,—я не говорю о русских публицистах. Если дать себе труд просмотреть 1856—1862 г.г., можно найти прямо неисчерпаемую сокровищницу.

Возвращаюсь к Ключевскому. Здесь, кстати, вспомню, что при первом моем знакомстве с Плехановым и Засулич я обратил внимание на одно обстоятельство: они совершенно не знали работ Ключевского. Это было в 1890 году. Я очень хорошо помню, что Вера Ивановна собиралась тогда писать очерки по русской истории, и ей приходилось собирать книги. Она прочла только Соловьева, о Ключевском речи не было. Возьмите «Наши

разногласия», возьмите все работы Плеханова до 90-х годов—в них нет ни одной ссылки на Ключевского. А между тем «Боярская дума» была уже напечатана, и экономическая концепция Ключевского была в ней развернута, а в 1886—87 г. мы уже имеем литографированый курс Ключевского.

Так вот, говоря о Ключевском, нужно признать, что тут влияние Ч. гораздо больше и сильнее, чем это кажется на первый взгляд. Есть такая книжка, заглавие я забыл, вышедшая в 1866 г. («Сказания иностранцев» вышли в 1865 г.), в которой дается очерк экономической истории России. Написана она под влиянием Худякова, тоже чрезвычайно интересной личности; влияние его мало прослежено, а идет оно из той же школы «Современника»,—от Ч. и Добролюбова. Этот Худяков, молодой и весьма талантливый парень, имел весьма большое влияние на своих товарищей по университету и, вероятно, повлиял на многие писания людей, умудренных опытом и более осторожных. Для характеристики последних чрезвычайно интересны воспоминания Янжула. Он доказывает, что никогда не подвергался влиянию Маркса и до всего, даже до идеи классовой борьбы, дошел своим умом. Но когда вы читаете его автобиографию, принадлежащую к продуктам партии правого порядка, вы увидите, что этот профессор изучил внимательнейшим образом несколько лет «Современника», изучил все рецензии, все статьи автора «Примечаний к политической экономии Милля», вы видите, что этот профессор тут, в Москве, вертелся два года около кружка нечаевцев и, как он пишет, успел во время уйти. И после всего этого это наивное дитя прибавляет, что до всего дошел собственным умом.

Я мог бы привести еще ряд подобных примеров, но вернусь опять-таки к Ключевскому. Я полагаю, что книжка, о которой я говорил, продукт творчества Ключевского. Я думаю, что Ключевский имел свои нелегальные связи, нелегальные знакомства. У Ключевского заметно сильное влияние чтения «Современника», заметны его связи со всякого рода социалистами, он очень хорошо знал западно-европейскую литературу по этим вопросам. Кроме того, на нем сказывается влияние тоже очень интересной личности—Шахова. Они были большие приятели, жили душа в душу, видались ежедневно, были между собой тесно связаны. Кто читал Шахова, тот знает, что здесь дело не обошлось без скрытого влияния этой самой группы из «Современника». Правда, на него наслоилась ученая эрудиция, но Шахов тем не менее иногда заслуживал порицания со стороны более уравновешенных людей—у него бывали иногда очень острые формулировки.

Все это сказано в порядке постановки задачи—проследить влияние «Современника», точнее говоря, Чернышевского и Добролюбова на русскую историографию.

Тов. Горев говорил о пропасти между Ч. и Добролюбовым. Это, вероятно, он обмолвился в пылу увлечения. Именно Добролюбов и Ч. вместе определяли идейные симпатии большой группы московских и питерских студентов 60—70 годов.

У Ч. имеется и ряд высказываний по большому числу исторических и историографических вопросов. Повторяю, что эта работа представляет большой интерес для исследователя. Точно также обстоит дело с вопросом о подпольных и надпольных течениях в области русской историографии. Их очень легко проследить, начиная от 40-х годов и до нашего времени. Все эти кружковые споры находили всегда свое ученое отражение в надпольной литературе, конечно, иногда только несколькими словами. И Ч. нужно поставить в центре изучения этого вопроса.

Теперь о марксизме Ч. Ч., конечно, не марксист, и этого в такой форме не скажет и Ю. М. Стеклов. Но несомненно, что в работах Ч., даже по специально-экономическим вопросам, имеются блестящие, гениальные мысли. И одной из интереснейших задач и является проследить все свое-

образие Ч. и, сделав это, постараться об'яснить генезис его взглядов, откладывая известную часть на его личную гениальность, все-таки установить, что он имел в своих руках, чем пользовался, ибо из пальца и он не высасывал. Мне кажется несомненным, что Ч. читал больше, чем мы полагаем. Читая его блестящую заметку о Рикардо, я думал: не попались ли ему случайно «Социальные письма» Родбертуса? Это весьма сомнительно: имя Родбертуса у Ч. нигде, ни в какой связи не встречается. И когда мы проследим и об'ясним своеобразие Ч., мы признаем, что Плеханов первой манеры был более прав в своей характеристике Ч.

Одним словом, как ни подходить к этому вопросу, совершенно ясно, насколько, даже в той специальной области, которой мы должны заняться по докладу М. Н. Покровского, необходимо внимательное изучение идей, нашедших выражение на страницах «Современника» 1855—1862 гг.

Н. А. Алексеев. Тут говорили, что тов. Стеклов во втором своем выступлении отказался от ряда своих положений. Конечно, если хотят сказать, что Стеклов признал, что Ч. не Маркс, что взгляды Маркса были глубже и определеннее взглядов Ч., с этим согласится, конечно, и т. Стеклов. Но если заявят, что Ч. был эклектиком, то этого не признает ни тов. Стеклов, ни тов. Покровский. Точно так же нельзя и согласиться с характеристикой исторических взглядов Ч., данной тов. Шохиным, очень поверхностной и необоснованной. Нельзя оперировать и анекдотом о надписи, сделанной Ч. на «Капитале», он недостоверен, и такой надписи Ч. не мог сделать.

Ч. считают, с одной стороны, идеалистом, а с другой—материалистом. Это неверно. Ч. был последовательным материалистом. В этом можно убедиться, когда читаешь в «Летописях марксизма» его очень длинное письмо из Сибири, где он критикует всякий идеализм, Канта и непоследовательных естествоиспытателей вроде Гельмгольца и др. Впрочем, в его сочинениях достаточно материала для подтверждения моей мысли.

Ч., конечно, не был Марксом и не был марксистом, но, если хотите, Маркс в известной степени был под влиянием взглядов Ч. Сравните взгляды Маркса на русскую общину, изложенные в письмах Маркса и Засулич, напечатанных в I томе архива Маркса, со статьями Ч., которые написаны за 20 лет перед тем, и вы увидите, что Маркс допускал в 1882 г., что, если политическая революция даст толчок революции на Западе, то община может явиться отправным пунктом для развития социализма в России, ибо технику Россия сможет заимствовать у Запада. Вместе с тем, Ч. в статье «О причинах падения Рима», направленной против Герцена, прямо говорит, что нельзя считать, что у нас имеются, как высказался Герцен, какие-то особые пути развития.

Нельзя ссылаться на «Письма без адреса», как на свидетельство какого-то либерального духа. Что говорит Ч. в этих письмах, обращенных к Александру II? Он говорит, что у крестьян земли убавили, а податей прибавили, и, исходя из этого, и нужно расценивать настроения крестьян. Чернышевский ожидал тогда взрыва и, конечно, крестьянского, а не пролетарского движения. Но в отношении Западной Европы он возлагал свои надежды как раз на пролетариат. Ч. говорит в «Антропологическом принципе», что скоро у рабочего класса явятся представители не такие, как Прудон, и это будет признаком скорого падения существующего порядка. Пусть в своих расчетах на взрыв крестьянского бунта Ч. ошибся, но в этих вопросах нельзя требовать астрономических предсказаний. Как активный революционер, Ч. пробовал вмешаться в исторический ход событий и за это жестоко пострадал, и между прочим в том смысле, что чрезвычайно немногие в настоящее время имеют представление об истинном облике этого великого мыслителя и деятеля.

Заключительное слово М. Н. Покровского

Ряд выступавших товарищей, и в значительной степени тов. Рязанов в своем сегодняшнем выступлении, перевели весь спор на совершенно другую, более правильную почву. Тов. Рязанов как раз предвосхитил многое из того, что я хотел сказать. Действительно, раньше, чем рассуждать о Ч., как историке, нужно изучить тексты Ч., ибо эти тексты вещь необычайно сложная. Вот почему я ограничился в своем докладе попыткой охарактеризовать общую историческую концепцию Ч., отнюдь не касаясь трактовки им отдельных вопросов, особенно по западной истории, ибо на этом пути чрезвычайно легко попасться впросак. С этой стороны я должен решительно отвергнуть обвинение, будто я говорил не на тему. Я пытался дать историческую концепцию Ч., то, как он понимал исторический процесс. Отдельных же конкретных случаев я не мог касаться, потому, что для этого нужно было бы окружить себя всей той исторической литературой, которую читал Ч.

Должен заявить маленький протест. Мои противники в прошлый вечер ставили меня в положение человека, пытающегося очернить Ч. Ничего подобного я не собирался делать. Выходило, будто бы я разрушаю какую-то легенду о Ч. Наоборот, я, присяжный разрушитель всяких легенд, в этом вопросе занимаю позицию архи-консервативную. Я защищаю тот взгляд на Ч., которого всегда держалась наша партия, в лице, главным образом, Ленина. А т. Стекловым на эту самую партийную традицию была сделана жестокая атака, имеющая свою историю и историю довольно давнюю.

Мои оппоненты, как это правильно здесь указывалось, уже на прошлом заседании несколько сдали свои прежние позиции. К сожалению, т. Стеклов сегодня болен и не мог говорить. Я не знаю, что бы он сказал, но возможно мне пришлось бы во многом с ним согласиться.

Сейчас мы более или менее столковываемся на том, что в Ч. были, конечно, известные черты, роднящие его с историческим материализмом, но были и другие черты, роднящие его с народничеством, при чем народничество по отношению к Ч. приходится понимать гораздо шире, гораздо менее шаблонно, чем его понимают обыкновенно. Но тем не менее известное сближение есть. Надо устранить последние бревна, которые мешают этому сближению.

Прежде всего, заявление тов. Рязанова, что в мировой литературе имеются только две классовые характеристики 48 года, и одна из них принадлежит Марксу, другая — Чернышевскому.

У Маркса—анализ, у цитируемого писателя—картина. В этом разница. Но основная идея и этого анализа и этой картины совершенно одна и та же—классовая характеристика народного представительства, как представительства буржуазии, проприетеров и проч. Кто же этот писатель? Конечно, литературно образованные люди знают—это «буржуазный либерал» Герцен, это он писал такие вещи. Так что, как видите, утверждать, что во всей всемирной литературе имеются только две классовые характеристики 48-го года, неверно,—есть третья, принадлежащая Герцену. Она в значительной степени острее характеристики Ч.,—острее и в смысле внешней фразеологии. Последнее было легко: Ч. писал под гнетом царской цензуры, а Герцен был за границей. Но сравните оценку Бланки, и вы увидите, что для Ч. эта фигура осталась не так понятна, когда он писал «Кавеньяка», по сравнению с Герценом.

Теперь насчет совпадений с Марксом. Я не стану отрицать того, что в «Кавеньяке» есть много прекрасных, действительно материалистических характеристик, но самое основное понимание июньского восстания рабочих, разве оно одинаково у Ч. и у Маркса? Для Маркса это взрыв классовой

революции, это есть начало конца буржуазного строя, как он выражается. А что такое июньское восстание для Ч.? Это восстание безработных. Ч. нарочито подчеркивает, что рабочие, сохранившие работу, участие в восстании не приняли. В это восстание вошли люди, которых голод довел до отчаяния, только эти люди могли взяться за оружие и дрались действительно отчаянно. Конец буржуазного мира и восстание безработных, доведенных глупой и предательской политикой буржуазии до отчаяния, это все-таки вещи разные, и в этом центральном пункте Ч. и Маркс расходятся. Я, может быть, произнесу большую ересь, если скажу, что по отношению к конкретной исторической действительности Ч., вероятно, был более прав, чем Маркс. Маркс рассматривал это восстание, как первую волну нарастающей социальной революции, но мы знаем, что следующей волны не последовало. Так что в смысле исторической конкретности, может быть, более прав был Ч.

Таким образом, мы устранили два бревна на дороге к нашему согласию: первое—утверждение, что будто бы есть только две классовых характеристики 48-го года, именно у Маркса и Чернышевского; второе,—что Ч. был «плагиатором» Маркса. Не был он «плагиатором», у него был свой собственный взгляд и другое отношение к революции 48 года, частью совпадающее со схемой исторического материализма, но большей частью несовпадающее.

Теперь переходим к Ю. М. Стеклову. Совершенно неверно, будто я старался поставить знак равенства между Ч. и народниками. Я говорил, что Ч. был пестрый, двуликий,—у меня было такое выражение,—но вовсе не в смысле эклектизма, а в том смысле, что у него были народнические черты, и были черты, близкие к марксизму. Но никакого знака равенства я не проводил, как не отвергал того, что Ч. был диалектиком. В том ограниченном смысле, в каком может быть диалектиком не-марксист, Ч. был диалектиком так же, как и Гегель и Фейербах. В этом смысле он был в достаточной степени диалектиком.

Тов. Стеклов очень близко подошел к правильному возражению против моей концепции в том месте, где он цитировал отрывок из дневника Ч., говорящий о монархии. У Ч. есть два места, где он говорит о монархии. В первом он еще верит в социальную роль монархии и даже говорит, что Петр был образцовым монархом, заботившемся о благе народа. Через год он уже значительно вырос и отрицательно относится к этой монархии. Совершенно верно. Но что говорит Ч. о монархии? Он говорит, что монархия мешает классовой борьбе, что, когда она будет низвергнута, начнется борьба классов, т.-е. он впадает в такое заблуждение, в которое монархия действительно вводит. Монархия, по Марксу, затушевывает классовую борьбу, это значит, что таковая существует, но не развита. А для Ч. классовая борьба не существует при монархии.

Наконец, относительно «Рабочей мысли», статья которой якобы содержала в себе только небольшие глупости насчет Ч., против которых возражал Ленин. Но «Рабочая мысль» в 1899 г. дала весьма полную схему Ч.-марксиста, правда, не употребляя этого термина. Ч. там противополагается Плеханову, и автор приводит длинную цитату из Ч., которая свидетельствует о том, что рабочий вопрос понимался Ч. не утопично, не реакционно. Но беда в том, что этим местом «Рабочая мысль» незаметно для себя одним камнем убила двух зайцев, ибо место это Ч. буквально перевел из Луи Блана. Из этого следует, что не только Ч. был марксистом, но был им и Луи Блан. Согласитесь — последнее открытие совершенно затмевает первое.

Дальше доказывается, что совершенно по Марксу Ч. понимал и самодеятельность рабочего класса, и исторический процесс, и обусловленность его развитием производительных сил и т. д., и т. д. Таким образом, схема—

Ч.-марксист была дана в 1899 г. публицистом из «Рабочей мысли», и именно с этой концепцией сражался Ленин в своей известной статье «Попятное движение с.-д.». И боролся он не с какими-то ничтожными глупостями, а с определенной и очень живой концепцией, которая существует почти 30 лет и начинает разрушаться, к великой чести для Об-ва историков-марксистов, только на его заседаниях.

Тов. Алексеев привел на первый взгляд очень верную поправку на счет понимания Ч. роли экономических условий. Но то же самое говорил Лавров, а он был ведь несомненным народником. Следовательно, были народники, которые роль экономических условий признавали.

Я не буду касаться выступления тов. Шохина, я только должен отгородить от его нападок «Автобиографию» Ч. Это замечательный документ, превосходный памятник местной истории, где великолепно изображен Саратов в дни юности Ч., и соверешнно непонятно, как можно приводить его в качестве аргументов против Ч.

Что касается тов. Касаткина, то он исходит из совершенно правильной идеи, что взгляды Ч. нельзя рассматривать статически, что Ч. развивался, менялся. Но, к сожалению, он тут не сумел показать, в чем заключалось это развитие, и, мне кажется, он помещает это развитие в слишком тесные рамки, не учитывая того, что некоторые основные идеи Ч. имели у него очень глубокое прошлое.

В ценном выступлении тов. Фридлянда я возражений себе не вижу.

Тов. Горев говорил, что Ч. был революционным коммунистом. Но революционные коммунисты бывают разные. Если бы вы сказали, что он был революционным коммунистом в духе левых с.-р. после 6 июля 1918 года, то такое определение нужно было бы отвергнуть, ибо перекрасившийся народник все равно остается народником.

Теперь я скажу несколько слов по поводу «барских крестьян», и, кстати, по поводу якобы учиненного мною обвинения Ч. в меньшевизме. Я никогда не обвинял Ч. в меньшевизме, а говорил, что он в своей тактике, мнение о которой я строил на основании «барских крестьян», является в известном смысле предтечей меньшевистской тактики, той тактики, которая стремилась избегать вооруженных столкновений до самых последних возможностей и тем самым на практике боролась против вооруженного восстания. Это мое утверждение было совершенно неверно, не только конкретно, по существу, но и методологически, ибо нельзя для характеристики взглядов Ч. цитировать прокламации «К барским крестьянам». Они, несомненно, представляет собой продукт творчества не одного только Ч., и что принадлежит здесь самому Ч., а что—его союзникам, неизвестно. Союзники эти были в то же время и его учениками и весьма нередко брали мысли из легальных статей Ч. В одной легальной статье Ч. указывал, что перенесение крестьянских усадеб в интересах помещиков на другие места может раздражить крестьян, потому что это раз'единит их с кладбищами, где похоронены их родители. Чернышевский говорил это в третьем лице, и, как один из аргументов, это приемлемо. А в прокламации это говорится во втором лице: «А гробы-то родительские? Каково с ними расстаться»? Тут говорят, что Ч. был демагогом. Извините, пожалуйста, если вы докажете, что он был демагогом, то тем самым вы признаете, что он не был серьезным революционером. А раз так, то зачем нам справлять его юбилей? Но Ч. был серьезным революционером и на такую демагогию не пошел бы.

Другой момент. Совершенно невероятная характеристика дается Англии и, в особенности, Франции, Франции, которую Ч. великолепно знал, Франции II-й империи, Наполеона III. В прокламации говорится, что там всем управляет выборный староста, перед которым каждый военный генерал должен во фронт становиться, а он может этого генерала взять и посадить

в тюрьму. Неужели эта грубая мазня вышла из-под пера Ч.? Скорее всего, это неудачные ученики Ч. пытались его усовершенствовать, считая, вероятно, что основной текст прокламации недостаточно ярок, и прибавили перцу. Сомнительных фраз можно найти сколько угодно. Основной текст, вероятно, писал Ч., а затем его украсили, и что написано Ч., а что его украшателями—мы не знаем. И никакого материала для характеристики Ч. отсюда извлекать нельзя. И вот почему мое утверждение, что Ч. был якобы родоначальником меньшевистской тактики, методологически никуда не годится. Об'ясняется это просто тем, что, когда я составлял свои лекции, мне приходилось проследить в литературе 60-х годов основные две струи русского революционного движения от декабристов до наших дней—большевистскую и меньшевистскую. И я подобрал неудачный пример.

Но следует ли из этого, что Ч. был таким размалеванным революционером, который только революционные фразы говорил, только революционные жесты делал? Я был прав, когда говорил, что Ч. относился к революции, как к самому последнему средству. Возьмите его статьи по крестьянскому делу или его «Письма без адреса», где он подробно об'ясняет своему адресату, что революция для него, Чернышевского, неприятна, потому, что она может погубить все просвещение. Но раз других средств нет, то ничего не поделаешь. Об'ективная возможность для решения крестьянской проблемы имеется, но помещики и Александр II не хотят, а Чернышевский и его друзья мирным путем этого добиться не могут, и поэтому взрыв неизбежен. В этом вся концепция «Писем без адреса». Кстати, обращаю внимание, что «Письма без адреса», в сущности, каламбур. В «Прологе Пролога» к Ч. обращаются с просьбой написать адрес, а он отказывается,—адрес отказался написать, а «Письма без адреса» написал. Каламбур несомненный. Вовсе не без адреса. Они заменяют адрес.

В этой связи стоит мое до сих пор непоколебимое убеждение, что Ч. мог принимать участие в составлении «Великорусса». И в «Письмах без адреса» Ч. говорит о нем с одобрением. Наконец, подпись «русский человек» в письме к Герцену разве ничего не говорит? «Русский человек» здесь, «Великорусс»—там. Это нотка известного великорусского шовинизма не была чужда этому документу. Конечно, я не считаю абсолютно доказанной принадлежность «Великорусса» Чернышевскому, но концепция одна и та же в «Письмах без адреса» и в «Великоруссе», та же распланировка классов: тут «просвещенные люди всех сословий», там—«образованные классы» и т. д. Участие Ч., таким образом, весьма вероятно.

Я не буду ничего говорить о последнем выступлении тов. Рязанова, с которым я совершенно согласен. Остановлюсь только на связи Ключевского с подпольной литературой. В косвенной форме мне уже пришлось отметить влияние на Ключевского Лаврова с его теорией личности и особенно Щапова, а Щапов, как правильно отметил Д. Б., ученик Чернышевского. Таким образом, через Щапова влияние Ч. во всяком случае передалось Ключевскому. Любопытно было бы проследить, передавалось ли оно непосредственно. Связь, конечно, налицо, но не надо думать, что наши академические историки обладали таким гражданским мужеством, чтобы перерабатывать в своих лекциях то, что они прочли в нелегальной литературе или услышали подпольным путем. Дело было гораздо сложнее: у них часто было два мировоззрения—одно для кафедры, а другое для домашнего употребления. И вот, если бы мы могли выяснить эти личные, частные взгляды историков, мы бы нашли тут массу соприкосновений с подпольной литературой, а для лекций все это подчищалось. Ключевский даже слово «социология» употреблял не без оговорок—все-таки похоже на «социализм». Во всяком случае, связь здесь была бесспорная. И, изучив тексты Ч., надо перейти к влиянию его на окружающую среду, в том числе и по линии историографии.

Заключаю. Чернышевский не был ни народником, ни марксистом. Он был, как правильно определил его Ленин, крестьянским революционером, точнее говоря, идеологом крестьянской революции, идеологом той амфибии, какой является крестьянин, у которого, по мере того, как он беднеет, обостряется чисто социалистическое отношение к буржуазному обществу. В идеологии Ч. характерно переплетается переход от крестьянства зажиточного, от крепкого мужичка к деревенской бедноте. Последние годы своей легальной деятельности Ч. идет в ногу именно с этим ограбленным, доведенным до бедности крестьянством, и в этот период он, конечно, был революционером.

Если мы это учтем, то поймем, что ни о каком эклектизме не может быть и речи. Он представлял собой класс-амфибию, существо добуржуазное, но готовое развиться в обоих направлениях. И в этом об'яснение загадки Чернышевского, которая по существу есть просто характеристика его классовой физиономии.

Теперь еще по поводу того, что Ч. буржуазный демократ. Ленин говорил, что об'ективный смысл народничества был именно в том, что они делали демократическую революцию. Но народники этого не понимали, они говорили на социалистическом языке, хотя делали буржуазную революцию и на практике были демократическими революционерами. В этом их великим предшественником был Ч.

Я надеюсь, товарищи, что в результате этой нашей дискуссии интерес к Чернышевскому у нас повысится, и его будут не только почитать,—почитают его у нас, достаточно,—но и читать.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ: П. Горин, А. А. Сергеев. ОБЗОРЫ: М. Нечкина, Б. Горев, И. Троцкий. ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ: А. Васютинский, А. Шестаков. РЕЦЕНЗИИ: Г. Лозовик, И. Звавич, Р. Авербух, Н. Фрейберг, А. Молок, А. М—к, Е. Ривлин, А. Бернштейн, Н. Рубинштейн, Арк. Сидоров, С. Зак, Зельцер, С. Валк, Н. Р., М. Югов, П. Галузо, Г. Рейхберг, В. Далин.

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Под редакцией М. Н. Покровского, изд. Истпарт ЦК ВКП(б), ГИЗ, 1927 г., 518 стр. Ц. 4 руб.

Несмотря на огромный интерес, проявленный партийной и советской общественностью, к изучению революции 1917 года, появление научных монографий, исследующих отдельные проблемы революции было сравнительно весьма редким событием. Литературные итоги юбилея преимущественно могут быть подведены в виде журнальных статей ряда сборников документов и научно-популярных брошюр. Таковые итоги не случайны: изучение Октября, кажущееся на первый взгляд «легким делом», при первой же серьезной попытке научного исследования, показывает, какие серьезные трудности ожидают историка Октября, и не случайно, что по мере роста лет, отделяющих современников от Октября, все более и более вырисовывается его историческая значимость и «загадочность».

Рецензируемый том, являющийся коллективной работой слушателей Института Красной Профессуры, работавших под руководством М. Н. Покровского, предметом своего исследования берет предпосылки революции. Кроме предисловия М. Н. Покровского, в настоящем томе помещены статьи А. Сидорова «Влияние империалистической войны на экономику России», К. Сидорова «Рабочее движение в России и империалистическая война» и Д. Баевского «Партия в годы империалистической войны». Хотя, как видим, в целом том и не претендует на полное изучение всей картины классовой борьбы накануне войны и в нем отсутствуют статьи по таким основным вопросам, как сельское хозяйство в годы войны, движение крестьянства и буржуазии, история внешней политики царизма, все же серьезное изучение «командных высот»—промышленности, рабочего класса и партии—дает читателю ясное представление о причинах, подготовивших Октябрьскую революцию.

Тов. А. Сидоров в своей статье «Влияние империалистической войны на экономику России», прежде чем непосредственно перейти к своей теме, не случайно большое внимание уделил спорным вопросам современной истории экономического развития России в XX веке—в о п р о с а м о х а р а к т е р е к а п и т а л и з м а в Р о с с и и и р о л и и н о с т р а н н о г о к а п и т а л а в Р о с с и и. Богатство приводимых им новых данных безусловно является существенным вкладом в дело изучения социальных отношений накануне революции. Прежде всего данные, приведенные А. Сидоровым, убедительно опровергают меньшевистские легенды о капиталистической отсталости России накануне войны и революции и показывают, что говорить об экономической отсталости можно не в смысле руководящей роли в России докапиталистических отношений, а в смысле наличия отмеченных Лениным «пяти укладов». Однако в этом вопросе нет полного единодушия, даже среди историков-марксистов. Еще в вышедшей в 1926 году «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» т. XII, Н. Рожков, касаясь экономики России накануне войны писал, что она характеризуется как «капиталистическая отсталость, малокультурность, недоразвитость, незавершенность капитализма сельско-хозяйственного промышленного и финансового» (стр. 169). Тов. Покровский неоднократно опровергал эти ошибки. На страницах журнала «Историк-марксист» мы также показывали неверность подобного утверждения. Цифры же А. Сидоров верно отметил, что «темп» промышленного развития и «отсталость»—Енотаевского и Н. Рожкова о «медленном» темпе развития капитализма в России. А. Сидоров верно отметил, что «темп» промышленного развития и «отсталость»—два совершенно различных понятия, которые Рожков и Фин употребляют, не отделяя друг от друга, очевидно, чтобы ссылками на «медленный» темп доказать нашу

экономическую «отсталость». Действительно, смешение понятий темпа развития капитализма в России с наличием отсталых форм не случайно и привело Фина и Рожкова, к непониманию превращения в результате промышленного под'ема накануне войны домонополистического капитализма в России в монополистический. Следует, однако, отметить, что теория, опровергающая наличие финансового капитализма в России накануне войны, за последнее время быстро теряет своих сторонников, и в наши дни упорный бой сосредоточивается вокруг вопросов о роли иностранного капитала в России.

Несмотря на появление отдельных работ т.т. Ронина, Ванага, Гиндина, Фина-Енотаевского и ряда журнальных статей т.т. Струмилина, Леонтьева, Литвинова, Эвентова и др., мы все же не можем признать, что вопрос о «национализации» и «денационализации» является уже исследованным. Наоборот, изданные работы главным образом не столько разрешали, сколько поставили проблемы и заострили внимание на ряде чрезвычайно существенных вопросов экономического развития России в XX веке. В этом смысле вышедшие работы приобретают характер «глубокой разведки», оставляя широкое поле деятельности для еще многих исследователей. Работа же А. Сидорова является весьма существенным вкладом в экономическую историю и весьма ценной по богатству приведенных новых данных. Однако нужно отметить, что тов. А. Сидоров, поставивший своей целью критическую проверку схемы Ванага, Ронина, Крицмана об «экономическом пленении русских банков» и доказавший спорность схем «денационализаторов», из приведенных данных все же не сделал решительных выводов о господствующей роли русского капитала. Мы, конечно, не отрицаем огромной роли иностранных капиталов в России и не забываем определение Ленина, что в «России преобладает военный и феодальный империализм» (при этом Ленин оговаривался, что самодержавие и его военная мощь «отчасти восполняет, отчасти заменяет монополию современного, новейшего финансового капитала»), все же не можем не признать, что решающим моментом в самостоятельности русского капитализма играла конкуренция иностранных капиталов в России, что и давало возможность русскому капиталу не потерять самостоятельности. Такое положение, не случайно находит отражение в истории русских дипломатических отношений—действительно, если мы обратимся из сферы экономической в область истории внешней политики России в XX в., то мы увидим, что дипломатия царской России иногда весьма не плохо использовала антагонизм германо-франко-английского капитала и тем добивалась своей самостоятельности. Тов. А. Сидоров в результате своей работы подошел к этому вопросу и хотя сделал вывод, что конкуренция Франции и Германии «давала возможность России вести самостоятельную внешнюю политику», но тут же делает оговорку об «одновременной экономической зависимости» России от Германии и Франции (см. стр. 37). Такое сочетание «зависимости» и «самостоятельности» России от Германии и Франции, утверждаемое автором в одной и той же фразе, повидимому, не может быть признано удовлетворительным разрешением одного из существенных вопросов из истории экономического развития России. Весьма жаль, что тов. А. Сидоров, уделивший большое внимание вопросу «денационализации» и «национализации» русского капитализма, не занялся детальным изучением вопроса о конкуренции иностранных капиталов в России. Эта работа представляла бы огромный интерес и, по нашему мнению, явилась бы решающим моментом к полному опровержению схемы т. Крицмана, Ванага и Ронина о «денационализации» русского капитализма и тем более схем (логически вытекающих из положений тов. Ванага и Ронина) о превращении России в колонии западно-европейского империализма. Уже общие данные, приводимые т.т. Гиндиным, Литвиновым и др., говорят о значительном преувеличении влияния и роли иностранного капитала, допущенном т. Ванагом и Рониным. Так, например, в такой отрасли, как металлургическая промышленность, в которой иностранный капитал был особенно влиятелен, и то мы находим существенные поправки к положениям т. Ванага. Данные, приводимые, напр., тов. Гиндиным по уральской промышленности, т.-е. отрасли, которая, казалось бы, находилась под безраздельным влиянием иностранного капитала—обнаруживают интересную картину. «В отраслях, обрабатывающих железо—пишет тов. Гиндин—из 125 предприятий с капиталом в 330 млн. рублей—39 крупнейших предприятий с капиталом в 233 млн. руб. (более 60%) находились в той или иной форме под сильным влиянием русских банков: 37 иностранных предприятий имели только 89 млн. рублей капитала (менее 25%), наконец, на 47 русских обществ падало всего 29,1 млн. рублей, или менее 10% капиталов, вложенных в акционерные общества данной отрасли». Тов. Сидоров в своей работе также приводит многочисленные интересные данные о роли русского капитала. Но эти же данные приобрели бы безусловно еще большее значение, если бы они давались на фоне конкуренции различных иностранных капиталов в России. Такое сопоставление со всей решительностью тогда позволило бы т. А. Сидорову вскрыть грубую методологическую ошибку т. Ванага и Ронина, противопоставляющих все время русский и иностранный капитал и не

видящих конкуренции внутри иностранного сектора. Тогда не пришлось бы говорить, как утверждает т. Ронин, что 40% акций, находившихся в руках иностранной буржуазии, были бы достаточны, чтобы контролировать русские банки.

Часто «денационализаторы» в своем утверждении о росте влияния иностранного капитала в России накануне войны ссылаются на абсолютный рост иностранных капиталов в период промышленного под'ема 1910—1913 г.г. Голая арифметика, рисующая абсолютный рост иностранных капиталов, конечно, не может еще служить показателем. Подлинное соотношение сил мы сможем узнать, только если возьмем рост иностранного капитала в сопоставлении с ростом туземного капитала. Тов. Струмилин своими данными за 1914 год отчасти разоблачил ошибки «денационализаторов». Данные же, приводимые тов. А. Сидоровым о росте акционерных капиталов, с еще большей наглядностью говорят об относительном росте туземного капитала (тем самым, конечно, и влияния). «Рост чужих капиталов (накануне войны)—пишет т. А. Сидоров—происходил более медленным темпом, чем рост своих, или чем общий рост акционерных капиталов. Свои капиталы акционерных предприятий увеличились на 52,5%, а заемные только на 39,6%.

Таким образом, общее состояние и характер русского капитализма накануне войны схематически представляется в следующем виде: Россия накануне войны, обладая высоко-концентрированной промышленностью, вступала в фазу империализма, который, будучи специфически отличным от западно-европейского империализма, играл руководящую роль в системе «пяти укладов», иностранные же капиталы, имевшие весьма существенное значение в экономическом развитии России, благодаря конкуренции между собой не играли господствующей роли даже в тех отраслях промышленности, где общие суммарные данные превышали долю русского капитала. Благодаря этому накануне войны русский империализм являлся самостоятельным и имел свои собственные цели.

Однако в дальнейшем картина несколько меняется. Империалистическая война внесла существенные поправки в историю взаимоотношений русского и иностранного капитала.

Участие России в империалистической войне, помимо борьбы за новые рынки, вынуждалось также и ухудшением экономической кон'юнктуры к 1914 году. Уже начало 1914 года характеризовалось некоторыми признаками промышленного кризиса, сменяющего сравнительно непродолжительный под'ем 1910—1913 г.г. Тов. А. Сидоров, к сожалению, недостаточно подчеркнул, что начало нового промышленного кризиса, наступившего в 1914 году, кроме общих причин капиталистического развития в России, приобретало специфический характер, совпадало с крахом столыпинщины. Непродолжительность промышленного под'ема 1910—13 гг. в значительной мере определялось печальными результатами попытки царского правительства путем столыпинских реформ расширить внутренний рынок. Результаты были бы еще более печальны, если бы не 4 хороших урожайных года накануне под'ема, давших лишних 1.800 млн. пудов хлеба, ценность которого достигла до 1,5 миллиардов рублей.

Экономические итоги столыпинщины, на первых порах казавшиеся эффектными, в действительности под собой имели весьма неустойчивую экономическую базу, так как на ряду с пролетаризацией крестьянства в период столыпинщины еще сильнее шел процесс пауперизации, выявившийся в массовом оскудении деревни. Это наглядно видно хотя бы из падения количества на душу населения лошадей, коров и др. Обнищание деревни не могло не сказаться и в падении хлебного экспорта. Так, в 1910 году всего вывезено 818 мил. пуд., 1911—778,1912—503, 1913—606; как видим, хлебный экспорт даже в 1913 году не достиг размеров экспорта 1903—5 годов, достигавшем в среднем ежегодно 630 млн. пудов. Тов. А. Сидоров этой стороне столыпинской реформы, к сожалению, недостаточно уделил внимания и тем самым не смог вскрыть одну из существенных причин непродолжительности промышленного под'ема 1910—13 г. и специфичности начала пром. кризиса 1914 г. Крах столыпинщины и беспомощность царского правительства расширить внутренний рынок к 1914 году приобретали характер острого социального кризиса, выход из которого царское правительство невольно находило в участии в империалистической войне 1914—18 гг. Не случайно, благодаря этому, обще-политическое положение и политическая активность масс к началу войны могут быть охарактеризованы как предреволюционная обстановка, прерванная войной 1914 года. Однако война 1914 года явилась временной оттяжкой социального кризиса, в то же время еще более обнаружившей банкротство и неспособность помещичье-капиталистического блока создать условия для роста производительных сил в России. Хотя наступивший промышленный кризис 1914 года вновь сменяется промышленной кон'юнктурой, сулившей буржуазии невиданные барыши (этим в значительной мере об'ясняется и патриотизм русской буржуазии и выступление Милюкова о солидарности с царизмом), однако высокие

спекулятивные прибыли, получаемые русской буржуазией в годы войны, оказались для нее гибельными. Помимо того, что они вносили общую дезорганизацию экономической жизни страны и вели к хищническому использованию основного капитала, другим своим концом высокие военные прибыли промышленности упирались в закабаление России англо-французскому империализму. Бешеный рост русских военных займов за границей, в значительной своей части перепадавших через посредничество царского правительства в карманы русских промышленников, имел и оборотную сторону, а к концу войны проблема закабаления России Западной Европе была поставлена весьма остро и не случайно нашла свое разрешение в Октябрьской Революции.

Как известно, роль внутренних займов в России в годы войны была сравнительно невелика. Царское правительство в своей политике займов и отчисления сверхприбылей относилось к русской буржуазии куда снисходительнее, чем буржуазные правительства в отношении к своему классу в Германии, Англии или Франции. Самодержавие шло по «линии наименьшего сопротивления», покрывая больше половины военных расходов за счет иностранных займов, представляемых союзниками по высоким ростовщическим процентам. Так ценой защиты своих узко-классовых интересов русская буржуазия и царское правительство перед лицом западно-европейского капитализма все более теряли свою самостоятельность. Давая чрезвычайно интересный материал о характере и размерах наших займов за границей, тов. А. Сидоров вполне правильно отмечает, что «царское правительство за займы принуждено было отказаться от самостоятельности военно-оперативных действий. Самодержавие и Россия эксплоатировались международным империализмом». Нам кажется, что, говоря о роли иностранных займов, тов. А. Сидорову следовало бы резче подчеркнуть их двоякое значение: и, кроме закабаления России перед западно-европейским империализмом, подчеркнуть, что царское правительство, выступая посредником в распределении полученных займов, довольно успешно политически обезличивало русскую буржуазию. Впоследствии это нашло свое отражение в беспомощности русской буржуазии в революции 1917 года. Благодаря этому не случайным оказывалось также, что буржуазная реакция впоследствии была окрашена в довольно махровые помещичье-феодальные цвета.

К числу интересных данных, приводимых т. А. Сидоровым, следует отнести также и его попытку осветить вопрос о роли государственного капитализма в России. Однако тов. А. Сидоров полагает, что проведению государственного капитализма в России в основном мешали боязнь царского правительства вступать в конфликты с буржуазией и боязнь ее влияния. У тов. А. Сидорова выходит, что якобы в годы войны буржуазия была за государственный капитализм, а самодержавие против. В качестве доказательств своего положения он приводит, будто бы «во время «керенщины» (т.-е. в период фактического господства буржуазии — *П. Г.*) элементы госкапитализма в русском хозяйстве получили большее развитие». Это фактически неверно, так как за декларативными заявлениями ряда представителей буржуазии, теоретически обосновавших необходимость государственного регулирования промышленности, практически сделано очень мало. В действительности во время «керенщины» госкапитализм отцветал, не успевши расцвести. Главной же причиной, мешавшей буржуазии провести систему государственного капитализма, русская буржуазия видела в рабочем классе. Вот почему мы в России ни в годы войны, ни в революции 1917 года не находим такого развития гос. капитализма и на тех же классовых основах, как это наблюдаем за границей и наоборот. Октябрьская революция в полной мере осуществила подлинный контроль промышленности со стороны рабочих масс. В этом отношении тов. А. Сидорову могла бы помочь статья т. К. Сидорова «Рабочее движение в России и империалистическая война», в которой собран чрезвычайно богатый фактический материал о роли рабочего класса, освещающий качественное изменение и количественный рост его в годы войны, а также в формулировке его политических взглядов.

На основании богатых фактических данных т. К. Сидоров прослеживает проникновение кулацких элементов в рабочую среду, с целью освобождения от военной службы, значение мобилизации революционных элементов в армию, рост женского и детского труда в промышленности и т. д. Все эти изменения рабочего класса, конечно, не могли оказаться бесследными в рабочем движении и в первых годах войны служили источником падения политической активности рабочих масс. Однако, по мере затягивания войны и все более ухудшающегося положения рабочего класса, происходит процесс оформления классовой идеологии и рост политической активности. Это оживление рабочего класса находило свое отражение в стачках, наблюдавшихся в годы войны и охватывающих с каждым месяцем все новые слои рабочих. Динамика стачечного движения в годы войны тов. А. Сидоровым разработана детально. Однако, большие сомнения вызывает его увлечение делением и противопоставлением стачек экономических и политических. Это нашло свое отражение и в составлении таблицы стачечного движения в 1916 г. и сказалось

в периодизации рабочего движения в годы войны. Нам кажется, что такое деление рабочего движения на экономическое и политическое страдает большой условностью, схематичностью и не вполне отражает действительную картину борьбы рабочего класса в годы войны. Ведь не нужно забывать, что, говоря о рабочем движении в годы войны, мы имеем дело с периодом кануна ломки капиталистического строя, когда каждая стачка, даже экономическая в узком смысле этого слова, являлась ярким политическим событием. Благодаря этому деление стачек на экономические и политические, допускаемое при изучении рабочего движения на заре капитализма, для изучения рабочего движения на последнем этапе капитализма уже не годится. Достаточно просмотреть любые донесения охранного отделения, описывающие «экономическую» забастовку в годы войны, чтобы убедиться, что «без политики не обходилось». И сам тов. К. Сидоров пишет, что «Самой охранке пришлось отмечать в каждой забастовке, что рабочие при прекращении работ устраивали летучие сходки, выносили резолюции с пред'явлением чисто политического характера требований и обязательно при выходе пели революционные песни» (стр. 263). Признавая, что грань между политической и экономической стачкой в период развала капитализма стирается, тов. К. Сидорову нужно было оговорить, что мы деление на «экономические» и «политические» стачки для годов войны допускаем только благодаря тому, что приходится вести обработку данных, собираемых охранкой, которая регистрацию стачек вела по заранее выработанному трафарету. Правда, увлечение тов. К. Сидорова противопоставлением экономических и политических стачек опровергается тем богатым материалом, который приведен им самим же в описании рабочего движения по районам.

Вторым существенным замечанием к его основной главе «Забастовочное движение от начала войны до февральской революции» следует признать ошибочность резкого противопоставления металлистов и текстилей. Первые, как передовые представители рабочих масс, политически развитые, на долю которых падает больший процент участия в «политических» стачках, вторые—как отсталые элемента рабочего класса—главные участники экономической борьбы. «Сравнивая текстильный район с Петроградом (пишет, напр., т. Сидоров К.), мы видим, как медленно нарастал процесс формулирования пролетарской идеологии в смысле политической четкости у текстилей сравнительно с металлистами. Металлисты скорее, чем другие, восстановили провал, разделявший июльскую борьбу 1914 г. с предфевральским движением. Им для этого потребовалось меньше времени, чем другим рабочим... Текстильный район так и не вышел до февральской революции из стадии экономической борьбы» и т. д. Сомнительно, чтобы можно согласиться с таким упрощенным и поспешным выводом автора. Противопоставление металлистов и текстилей страдает довольно значительной дозой схематизма и неточностью. Ведь не станет, напр., тов. К. Сидоров опровергать, что текстили Ленинграда подчас оказывались более революционными, чем рабочие, напр., ряда металлургических заводов не только юга России, но ряда металлургических заводов Ленинграда. И для этого имелись свои причины. Правильнее было бы, если тов. К. Сидоров в основу деления взял бы не по признакам металлистов и текстилей—а по степени концентрации производства. Было бы, конечно, крупной ошибкой, если бы мы отрицали, что ленинградские текстили были в передовых рядах, в авангарде русского рабочего движения. Революционная роль Ленинграда, как застрельщика русской революции, об'ясняется не только тем, что в нем преобладали металлисты, но и рядом других причин, которых не было, напр., в Центральном, Уральском или Южном районе—высокая концентрация промышленности, наиболее выпуклая связь местных заводовладельцев с самодержавием и т. п. Резкое противопоставление металлистов текстилям у К. Сидорова отчасти последовательно вытекает из его противопоставления политических и экономических стачек в годы войны. Что такое противопоставление металлистов текстилям весьма спорно, можно судить хотя бы по общим данным об участии их в забастовочном движении, по которым получаем такую картину:

Годы	Участвовало в забастовках	
	Металлисты	Текстили
1914 г.	649.109	223.392
1915 г.	188.792	234.205
1916 г.	502.079	315.114

Эти данные чрезвычайно интересны, так как они показывают о неуклонном росте революционных настроений среди текстильщиков. Достаточно при этом будет напомнить еще о крупных политических стачках Иваново-Вознесенских событий в 1915 году, протекавших под руководством большевиков, чтобы опровергнуть утверждение т. К. Сидорова об отсталости текстильщиков. Такое противопо-

ставление не подтверждается, если мы сравним, напр., революционное движение Иваново-Вознесенска (текстильщики) и Николаева (металлургия). Ряд сравнений рабочего движения по районам определенно говорит, что для об'яснения силы революционного движения рабочих масс за основу необходимо брать степень концентрации производства.

Мы, конечно, не забываем при этом и таких факторов, как роль политических организаций, история револ. движения в данном районе, качественное изменение рабочего класса и т. п. Попытка порайонного изучения рабочего движения, предпринятая т. К. Сидоровым, еще более убеждает нас в необходимости при выяснении причин роста революционных настроений брать за основу степень концентрации предприятий, этим также об'ясняется, что крупные предприятия обыкновенно находились под руководством большевиков. Остается только пожалеть, что степень изученности отдельных районов у т. К. Сидорова неодинакова, и ряд районов, напр, Уральский (кстати сказать, почему-то попавший в раздел «Движение в Баку»), освещен слабо

В заключение хотелось бы отметить желательность включения в работу К. Сидорова материала по истории массовых рабочих организаций в годы войны и необходимость согласования одних и тех же цифровых данных, приводимых у К. Сидорова и А. Сидорова. Так, напр., мы можем найти расхождение данных о зарплате шахтеров и промысловых рабочих, разные цифры приведены и о числе занятых рабочих в Донбассе, и даже встречаем разнобой в итоговых данных, напр., по Прохоровской мануфактуре, хотя оба автора свои вычисления производили по одним и тем же материалам. Следует при этом оговориться, что наблюдаемые расхождения, правда незначительные, и не нарушают общей тенденции явления. В целом же работа К. Сидорова дает большой, интересный и ценный материал, и отдельные ошибки в такого рода исследовательской статье, конечно, всегда возможны.

Статья тов. Д. Баевского «Партия в годы империалистической войны» главной своей целью ставит дать не историю и количественное изменение партийных организаций, а борьбу партийных течений, на фоне которых проследить выковывание пролетариатом ленинизма, как одного из необходимых мощных орудий пролетарской победы в 1917 году. Особое внимание автор уделил разбору вопросов об отношении большевиков к войне и оценке ими движущих сил и характера назревающей революции. Тов. Д. Баевский, описывая отношение ряда местных большевистских организаций к об'явлению войны, вполне правильно приходит к выводу, что «большевистские организации в разных концах России активно выступили против войны». Однако неслыханная реакция, торжествовавшая в первые месяцы войны и расправлявшаяся с «внутренним врагом» с большей энергией, чем с внешним врагом, бесцеремонно громила местные большевистские организации, что, конечно, не могло не отразиться на революционной активности масс. Далее тов. Д. Баевский описывает ряд моментов, когда партийные организации в невероятно тяжелых условиях не покидали работу и требования большевиков становились подлинным голосом широчайших рабочих масс. Не даром царскому правительству так мозолила глаза думская большевистская «пятерка», разоблачавшая подлинные цели войны. Отрицательное отношение большевиков к войне, появившееся в момент ее об'явления в разрозненном выпуске местными организациями прокламаций-протестов, по мере развития империалистической бойни все более крепнет. Уже к осени 1914 г. появляются тезисы о войне, написанные тов. Лениным, статья «Война и российская социал-демократия» (являющаяся по существу манифестом Ц. К.), ответ Вандервельде и ряд других статей, в которых позиция большевиков к войне была выражена весьма отчетливо. Состоявшаяся в марте 1915 года в Берне «конференция заграничных секций РСДРП» была дальнейшим шагом к оформлению позиций большевиков. Брошюра же «Социализм и война», вышедшая в августе 1915 года, будучи переведенной на ряд иностранных языков, эти позиции большевизма пропагандировала в международном рабочем движении. Как видим, проделывалась, как правильно замечает тов. Д. Баевский, «огромная теоретическая работа, которая подвела теоретическую базу под тактику не только нашей партии, но и всего III Интернационала».

Чрезвычайный интерес представляет также попытка т. Д. Баевского проследить по прокламациям и развитие взглядов большевизма в среде местных организаций. Конечно, слабость теоретических и литературных сил в местных организациях не давала возможности ставить вопросы на местах так же ясно, как в Ленинской статье «Война и российская социал-демократия» или «Социализм и война». Благодаря этому безусловно возможны недоговоренности и отсутствие точностей редакционного порядка. Это необходимо иметь в виду и при анализе партийных документов годов войны. Нам кажется, что тов. Баевский иногда чрезвычайно подозрительно подходил к отдельным выражениям, стремясь в них найти сознательную подмену большевизма.

В качестве образца ошибочности позиций он берет доклад Смидовича, в котором нет еще лозунга о превращении войны империалистической в войну гражданскую, в котором находим некоторые симпатии лозунгу «об'единенная Европа» и т. д. Из этих положений т. Баевский приходит к поспешному выводу, что этот доклад «не выходит из круга идей Гильфердинга-Каутского». Конечно, доклад т. Смидовича, при сопоставлении с работами т. Ленина, страдает рядом неточностей. В нем действительно т. Смидович в своих заявлениях об «об'единенной Европе», впадает в ошибку, защищавшуюся Божийской группой. Однако никак нельзя согласиться, что доклад т. Смидовича написан в Гильфердинговско-Каутскианском духе. Ведь в основных вопросах т. Смидович стоит на ленинской оценке эпохи. Он определенно признает, что капитализм вступил в свою высшую фазу развития и для уничтожения войны не видит других средств «помимо коренного изменения капиталистического строя». Обвинение же т. Смидовича в отсутствии у него лозунга «превращение империалистической войны в гражданскую», пожалуй, смягчается его лозунгом необходимости «агитации, пропаганды, и организации наших сил», в чем т. Баевский и усмотрел Ахиллесову пяту т. Смидовича. Как видим, данных, чтобы обнаружить каутскианство в основных вопросах, еще недостаточно. Мы сознательно обратили внимание на доклад т. Смидовича, так как он действительно один из слабых документов, в котором ряд большевистских мыслей недостаточно ясно выражен, благодаря чему и подвергся тщательному разбору т. Баевского. Кроме всего этого, необходимо иметь в виду, что это доклад, захваченный охранкой, не увидевший света, во-вторых, имел в виду практиков (отсюда лозунг «агитации, пропаганды и организации сил») и, в-третьих, повидимому, является продуктом самостоятельного творчества, так как в нем мы не находим возражений Ленинским тезисам. Все это заставляет подходить к докладу с иной меркой, чем это сделал т. Баевский, и, наоборот, отметить, что и на местах шла теоретическая работа большевиков, в общем правильно нащупывались большевистские лозунги, но не было еще только той ясной формулировки, которая давалась «Ц. К.»» т. Лениным из-за границы. В общем же у тов. Баевского тщательный анализ выковывания большевистских позиций в годы войны, их оценок эпохи и движущих сил грядущей революции представляет одну из интереснейших частей его работы. В этом разделе в основном правильно вскрыты те затруднения и социал-демократические иллюзии, которые ленинизму пришлось преодолеть в годы войны.

Интересно разработан и вопрос о гвоздевщине, одной из неисследованных страниц в русском рабочем движении. Говоря о борьбе большевиков с гвоздевщиной, т. Баевский, отмечая наличие у нас незначительного слоя рабочей аристократии, укрепившейся еще тем, что «сильный приток мелко-буржуазных элементов в русский рабочий класс тоже расширил базу для шовинизма в рабочем классе», т. Баевский вскрывает характер русского социал-шовинизма. Им обстоятельно вскрыты причины того, почему «открытый либерализм, безоговорочный патриотизм делали идеи Плеханова малопригодными к распространению среди рабочих (?) в то время, как нашедельство было наиболее влиятельным из всех разновидностей оборончества».

Обстоятельно разработан и характер борьбы большевизма за свою принципиальную чистоту в предреволюционный период 1915—1916 гг. Тов. Баевский вполне правильно подметил, что «борьба большевизма с меньшевизмом в годы войны не была простым воспроизведением борьбы 1904—1908 года. Ее социальное содержание и историческое значение стало несравненно глубже и шире. Эта борьба осталась по своему об'ективному значению борьбой двух линий в русской буржуазно-демократической революции: пролетарской и либерально-буржуазной».

Содержание борьбы—правильно отмечает т. Баевский—в годы войны не ограничивалось вопросом о двух путях буржуазной революции в России, не ограничивалось вопросом, быть ли коренной ломке всех пережитков крепостничества, во главе с царизмом, или не быть ломке «не быть «французской передряге», а быть гнилому компромиссу прусского образца. Разрешение проблемы «война и революция» ставило вопрос о борьбе за гегемонию пролетариата по-новому... Русская революция для полного своего завершения должна была быть революцией не только демократической, но и антиимпериалистической». Давая историю борьбы большевизма в годы войны, т. Баевский большое внимание уделил и позиции троцкизма, вскрыл его оппортунизм, прикрытый левой фразой. В целом же глава «проблема революции в РСДРП в 1915—1916 г.г.» является удачной попыткой дать историю борьбы большевизма за его принципиальную чистоту.

Мы уже отмечали выше, что статья т. Баевского не претендует на историю партии, понимая ее формально как историю партийных организаций,—а главной своей задачей ставит дать очерк истории борьбы большевизма с различными с.-д. течениями. Автор стремится показать, как революционная струя большевизма, будучи, казалось бы, в начале войны слабым ручейком среди общего социал-демократического течения, быстро расширяясь и преодолевая многочисленные преграды,

становится господствующей идеологией пролетарских масс. Автор с этой задачей справился удачно, и его работа имеет огромную ценность. Приходится только пожалеть, что слабее освещена фактическая история местных партийных комитетов и работа фронтовых большевистских организаций. Использованный для этой цели преимущественно мемуарный, материал, конечно, недостаточен.

В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемый нами первый том «очерков по истории Октябрьской революции» под ред. М. Н. Покровского является существенным вкладом в нашу историческую литературу. Авторами помещенных статей проделана огромная, нужная и ценная работа по разработке одного из самого неисследованного периода нашей новейшей истории. Конечно, благодаря этому отдельные моменты могут быть еще не достаточно исследованными, ряд мест работы является «полуфабрикатом», встречаются некоторые спорные положения и спорные методы исследования, однако, все это в общем не умаляет общих достоинств коллективной работы. Книга весьма нужная и ценная. Ценное же предисловие М. Н. Покровского вводит читателя в круг вопросов, стоящих перед современной исторической наукой, изучающей канун революции. Нужно пожелать, чтобы плоды работы, предпринятой под руководством М. Н. Покровского по изучению Октябрьской революции, были скорее напечатаны в последующих томах.

П. Горин

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОДДЕЛКЕ

(Дневник А. А. Вырубовой)

Так наз. «Дневник А. А. Вырубовой» занимает центральное место в вышедших четырех книжках «исторического альманаха» «Минувшие Дни»[1]. Напечатанию его предшествовала искусная реклама, и именно «Дневник» и создал «Мин. Дням» и очевидный материальный успех, и сомнительную популярность. Каждый экземпляр альманаха снабжен, поверх обложки, особой наклейкой с надписью «Дневник А. А. Вырубовой», а на обложке напечатано: «Дневник Вырубовой представляет исключительный интерес и не имеет ничего общего с вышедшими за границей воспоминаниями этой ближайшей сподвижницы последних Романовых». Значительное число читателей «Дневника», к сожалению, вряд ли способно как следует оценить это подозрительно-двусмысленное «не имеет ничего общего с вышедшими за границей воспоминаиями».

Но нашлось немало людей, которым этот «первоклассный источник, ключ к уразумению многих сторон отошедшей эпохи», показался весьма подозрительным, и естественно поэтому, что вокруг «Дневника» завязались и в массово-читательских и в литературных кругах споры об его достоверности, или подлинности. Чем горячее разгорались споры, тем выше поднимались тиражи очередных выпусков «Мин. Дней»: январский альманах был отпечатан, вместо декабрьских 50.000, в количестве 60.000 экз., а февральский и четвертый дошли до 80.000 экз. Но в то время, как часть доверчивой провинциальной и столичной прессы стала перепечатывать отдельные страницы «Дневника», характеризуя его, как яркий «исторический документ» о разложении романовской монархии, здесь, в Москве, мнения скептиков вылились сначала в форму небольшой библиографической заметки тов. П. Горина (в № 61/3893 «Правды» от 11 марта с. г. под заглавием «Об одной вылазке бульварщины»), а затем нашли выражение в интервью—т.т. Д. Бедного, М. Н. Покровского, В. В. Максакова, Б. М. Волина, М. А. Цявловского, напечатанном в № 61 «Вечерней Москвы» от 13 марта с. г., и, наконец, в рецензии на «Мин. Дни» т. Л. Мамета в № 3 «Пролетарской Революции».

Дав краткий анализ содержания и стиля «Дневника», тов. Горин высказал твердое свое убеждение, что «Дневник Вырубовой», «несмотря на всяческие уверения редакции в его достоверности и необычайной исторической ценности, все же не является подлинным историческим документом». Интервью-

[1] См.: «Минувшие Дни». Иллюстр. исторический альманах под ред. М. А. Сергеева и П. И. Чагина. Изд-ство «Красная Газета». Лнгр. Декабрь 1927 г., стр. 5—76.— Январь 1928 г., стр. 73—108.—Февраль 1928 г., стр. 89—120.— № 4, 1928 г., стр. 87—124. Критическую оценку этой совершенно неудовлетворительной попытки издания популярного исторического журнала читатель найдет в статьях П. О. Горина («Об одной вылазке бульварщины»—«Правда», № 61, 11 марта 1928 г.), Л. Мамета («Пролетарская Революция», № 3), А. В. Шестакова («Историк-Марксист», № 7) и др. Настоящая заметка посвящена исключительно обзору так наз. «Дневника А. А. Вырубовой», являющегося «гвоздем» первых четырех книжек «Минувших Дней», ярко определившим историко-литературный облик этого «исторического» журнала.

ированные товарищи, фамилии которых перечислены выше, также единогласно высказали глубокое убеждение в поддельности «Дневника», при чем тов. Д. Бедный, которому трудно отказать в литературном чутье, прямо назвал «Дневник» фальшивкой. Тов. В. В. Максаков совершенно верно указал, что, «без тщательного исследования всех обстоятельств, при которых этот «документ» от предполагаемых владельцев его,—Вырубовой, Гагаринской и Головиной,—дошел до редакции журнала, и без всесторонней компетентной экспертизы тетрадей, по которым печатается «Дневник» (бумаги, чернил, почерка и т. д.), подлинным документом, принадлежавшим Вырубовой и К[6], так называемый «Дневник А. А. Вырубовой» не может быть признан».

Мы не будем останавливаться на разборе и изложении мнений других интервьюированных товарищей, которые в краткой газетной беседе, конечно, не имели возможности приводить сколько-нибудь подробных доказательств своего мнения о «Дневнике»,—отметим только, что скептическое отношение к подлинности «Дневника» такого знатока исторических документов—особенно романовской эпохи,—как М. Н. Покровский,—факт, сам по себе заслуживающий особого внимания.

Заметка тов. Горина в «Правде» и интервью, напечатанное в «Веч. Москве», естественно, заставили редакцию «Минувших Дней» выступить в печати с заявлением (веч. вып. «Красной Газеты» № 73/1743 от 15 марта с. г.), в котором она, вместо ожидавшихся от нее раз'яснений, разразилась выпадом по адресу товарищей, «поторопившихся назвать «Дневник» самой настоящей «фальшивкой»... и потому рискующих оказаться в неприятном положении». От об'яснений же по поводу обстоятельств получения «Дневника» для печати и приведения доказательств его подлинности редакция уклонилась, ограничившись указанием на то, что «Дневник» передан ею на экспертизу «специальной комиссии Центрархива».

Сколько нам известно, это заявление редакции «Мин. Дней» не подтвердилось: в распоряжение Центрархива «Дневник» А. А. Вырубовой до сих пор от «Мин. Дней» не поступил. Поэтому нам, в дальнейшем, при изучении «Дневника» придется иметь дело только с его печатным воспроизведением.

Публикации «Дневника» предпослано предисловие О. Брошниовской и Зин. Давыдова, редактировавших текст «Дневника» и снабдивших его историко-биографическими и археографическими примечаниями. Надо сказать, что сомнения у читателя возникают с первых же страниц этого предисловия, так как оно содержит повествование о происхождении публикации в совершенно детективном вкусе. Это предисловие заслуживает самого тщательного изучения, потому что без расследования генезиса исторического источника невозможно установление его подлинности.

Наперсница последней царицы, Александры Романовой, поклонница «старца» Распутина, б. фрейлина А. А. Вырубова (урожд. Танеева) вела, по словам редакции, дневник, одна тетрадка которого была пред'явлена ей, в бытность ее под арестом, при допросе ее Чрезвычайной Следственной Комиссией Временного Правительства 6 мая 1917 г., о чем имеется запись в опубликованных П. Е. Щеголевым протоколах Комиссии [1].

Кроме того, в распоряжении редакции «Мин. Дней» имеется, будто-бы, переписка Вырубовой с ее интимными друзьями—Л. В. Головиной и М. В. Гагаринской, тоже ревностными почитательницами Григ. Распутина, из которой видно, что Вырубова, крайне дорожившая своими дневниками, «освященными памятью» Распутина, сидя под арестом, очень тревожилась за их судьбу (они хранились будто бы у М. И. Вишняковой) и придумывала разные способы сохранения их для потомства. В предисловии цитируется письмо ее от 18 мая 1917 г. на имя Л. В. Головиной, в котором она излагает план—перед бегством за границу «перевести дневник на французский язык... На тот случай, если оригинал не удастся провезти, то дома останется след. А лучше, чтобы дома остался на французском: если будет обыск и найдут солдаты тетради, то на французском не заинтересуются, а русская возбудит интерес. Подумай, как это сделать».

Оставляя без критики это удивительное соображение о том, что французские рукописи должны были у обыскивавших Вырубову в 1917 году солдат вызвать меньше подозрения, чем русские, проследим за дальнейшим развитием событий. План Вырубовой будто бы был принят и начал приводиться в исполнение.

За перевод дневников на французский язык взялась М. В. Гагаринская. Переводчица, по словам редакции, «французской литературной речью не владела вовсе», французскую грамматику знала прескверно, так что некоторые места ее перевода «можно было разгадать лишь установив условные способы [?] выражаться и изучив ляпсусы, которыми переводчица обильно усеяла текст»; в затруднительных случаях она вводила в свой перевод отдельные слова и даже целые предложения на русском языке.

[1] «Падение царского режима», т. III. Гиз. 1925.

Но перевод двигался медленно, а Вырубова, боявшаяся за свою жизнь и ждавшая случая перебраться через границу, торопила, поэтому друзьями ее было решено, по словам редакции, «не мудрствуя лукаво, просто снять копии с бумаг Вырубовой, только бы поскорее, со всего, что попадется под руку [?!! **А. С.**]—там после, можно будет разобраться». Скопировать на русском языке удалось 17 тетрадей; Гагаринская же успела перевести на французский язык 8,—всего таким образом составилось 25 тетрадей, при чем, по словам редакции, это не все—не переведенная и непереписанная часть дневника утрачена. Переписку тетрадей на русском языке производили Л. В. и В. Н. Головины, частью карандашом, частью плохими чернилами 1918—1919 гг. Русский текст дубликата дневника также пестрит разнородными ошибками, недописанными и пропущенными словами. Редакция при печатании дневника стремилась дать текст его в «полной неприкосновенности», с исправлением, конечно, совершенно явных описок и ошибок, которые оговорены в подробных выносках.

Что же представляет собой этот дубликат «Дневника»? Меньшая часть его состоит из дурного французского перевода, бо̀льшая представляет собой семнадцать тетрадей с совершенно перетасованными записями Вырубовой, так что некоторые тетради начинаются записями 1915 года, а кончаются 1910 годом, т.-е. расположены в обратном порядке. Редакция дает следующее об'яснение этой странной манере копирования: переписчицы не понимали будто-бы значения правильной датировки записей. Но, вместе с тем, они, повидимому, понимали, что исторически ценно, а что нет, потому что спешили,—по словам редакции, «снять в первую очередь копии с наиболее, по их мнению, интересного и важного». Датировка записей у них все-таки есть, но они были до того беспечны по части хронологии, что там, где, например, должен стоят «1910 год», они ставили «1901», вместо «3» (третий месяц года, март) они ставили совершенно непонятное «13» и т. п. Бедный автор «Дневника», бедная редакция и... бедный читатель!

«Ничего не оставалось,—говорят т.т. Брошниовская и Давыдов,—как совершенно пренебречь сумбурной и явно ошибочной датировкой переписчиц; это предлагается и читателю [разрядка моя. *А. С.*], так как, для достижения максимальной неприкосновенности текста, признано целесообразным над водворенными, поскольку это было возможно, на свое место записями все же оставить даты в том виде, в каком они представлены в дубликате «Дневника». Разбивку дневника по годам редакция могла произвести лишь с 1914 г.

Видела ли Вырубова хоть одну тетрадку дубликата, неизвестно, но, как и полагается ученице Распутина, она обладала даром предчувствия: оригинал ее записей погиб. К сожалению, редакция не сообщает, когда—именно, но указывает, при каких обстоятельствах. 6 ноября 1919 г. Л. В. Головина писала М. В. Гагаринской: «Случилось большое несчастие: когда Настя[1] несла записки, ей показались милиционеры, думали, несет молоко. Она испугалась и бросила в прорубь».

Так погиб подлинник «Дневника». Но у старого лакея Вырубовой—Берчика остался дубликат, об изготовлении которого так заботились и сама Вырубова и ее верные друзья—Гагаринская и Головины. Каким образом дубликат попал в руки Берчика, а от него в «Минувшие Дни», редакция не об'ясняет. Она указывает только, что Вырубова при бегстве своем за границу в 1920 году не смогла взять его с собой. Таким образом, ее проект переправы дневника за границу не удался.

Но, все-таки, как мы видим, записи ее не погибли—чуть, было, не затерявшийся «ключ к уразумению многих сторон отошедшей эпохи» попал в руки редакции «Мин. Дней».

Такова история злоключений «Дневника А. А. Вырубовой».

К сожалению, редакция не указывает, включила ли она в опубликованный ею текст «Дневника» содержание тетрадки, которая была пред'явлена Вырубовой при допросе ее 6 мая 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии, или этой тетради в распоряжении редакции нет? В фонде Чрезвычайной Следственной Комиссии, хранящемся в Центрархиве, нам этой тетрадки обнаружить не удалось. Между тем вопрос именно об этой тетрадке записей Вырубовой имеет, по нашему мнению, кардинальное значение, потому что с этой тетрадкой не только связана интересующая нас задача раскрытия тайны подлинности или фальсификации напечатанного «Дневника Вырубовой», но ею же разрешается вопрос: вела ли, вообще, какой-либо дневник Вырубова?

Обратимся к игнорировавшейся до сих пор всеми рецензентами стенографической записи допроса Вырубовой Чрезвычайной Следственной Комиссией 6 мая

---

[1] Как видно из редакционной сноски, Настя—сестра горничной Вырубовой, переносившая ее записки в кувшине из-под молока. Велик должен был быть кувшин, если в нем мог уместиться оригинал более, чем двадцати пяти тетрадей копий «Дневника»!

1917 г.[1]. На этом допросе Вырубовой, действительно, была пред'явлена какая-то «Тетрадка № 1», содержание которой однако не вызывает сомнений, на основании отчасти оглашенных председателем Комиссии извлечений из нее, отчасти застенографированных заявлений самой Вырубовой.

Тетрадь начиналась записью молитвы Распутина: «Господь сам выбрал и нас выбрал из глубины греховной в чертог твой вечный живота». После замечаний об этой распутинской абракадабре, благоговейно записанной Вырубовой, председатель заметил: «Тетрадка полна разных записок на какие-то мистические темы».—Вырубова: «Да, я всегда массу записывала».—Председатель: «Так я вас спрашиваю, играло ли в вашей жизни роль это религиозное мистическое начало?».—Вырубова: «Да, я всегда искала; массу записывала из книг; из того, что он говорил, очень много записывала».—Председатель: «Разве это не свидетельствует о том, что вы интересовались им исключительно?».—Вырубова: «Им—нет; всеми, кто говорил что-нибудь».—Председатель: «В вашей тетрадке есть записи только о нем, а ведь вы встречали, наверно, не одного Григория Распутина? Почему нет других?».—Вырубова: «Да, конечно, я многих встречала, но у [о? *А. С.*] других есть сочинения, книги разных авторов; он же не писал, а говорил, его записывали потому, что он был неграмотный».

Затем председатель огласил еще одну запись телеграммы Распутина и, после заявления Вырубовой, что это—очень старая запись, спросил: «А новее у вас ничего нет?»—Вырубова: «Нет».—Председатель: «Вы все сожгли? Почему вы сожгли целый ряд документов?»—Вырубова ответила, что почти ничего не сожгла, кроме нескольких писем б. императрицы, и что в ее «домике» должны были сохраниться другие письма. В дальнейшем продолжалось оглашение из тетради ряда других телеграмм Распутина, при чем на вопрос председателя, к какому году относится данная тетрадка, Вырубова ответила: «Вероятно, к 1907-му или 1908-му; я потом ничего не писала никогда»[2]. Отметим еще одну подробность из показаний Вырубовой, бросающую свет на содержание «Тетради № 1». На вопрос председателя, в чем заключалась проповедь Распутина, Вырубова ответила: «Это бывало довольно интересно. Я даже записывала. Я не знаю... Об'яснял св. писание». Читатели «Дневника А. А. Вырубовой», вероятно не припомнят из него ни одной записи об экзегетических упражнениях Распутина.

Вся первая часть допроса Вырубовой, как это видно из стенограммы, тесно связана с содержанием этой тетради, т.-е. с выяснением обстоятельств, при которых посылались переписанные в нее телеграммы Распутина. Дальнейший допрос шел по поводу черновика письма Бадмаева на имя Вырубовой и ряда других документов, при чем, когда председатель предложил Вырубовой припомнить обстоятельства встречи ее с Добровольским, предшествовавшей назначению последнего министром юстиции, Вырубова ответила: «Я вам говорю, я столько народу видала и принимала, что не могу помнить. Может быть, было. Если бы мог кто-нибудь дневник за меня вести, я была бы рада»[3].

Представляется в высшей степени странным игнорирование редакторами «Дневника» этих показаний Вырубовой в Чрезвычайной Следственной Комиссии, свидетельствующих о том, что дневника, в принятом значении этого слова, она не вела. Можно, конечно, при желании не верить этим ее показаниям о неимении у нее дневников, но, во-первых, хотя Вырубова много лгала на допросе 6 мая, нет как будто убедительных оснований утверждать, что она лгала и о дневниках, поскольку одна тетрадь «дневника» уже была в руках допрашивавших; во-вторых, следовало же проанализировать характер тетрадки, фигурировавшей на допросе, со стороны ее содержания. Ведь наличием этой тетрадки (аналогичной, повидимому,—заметим здесь, между прочим, тем тетрадям последней царицы[4], в которые Александра Федоровна тоже записывала изречения Распутина, но которые не являются ее дневником) доказывается по аналогии, что те тетради, о спасении которых Вырубова пишет в записке Вишняковой, представляют собой оригинал «Дневника». Откуда это следует? Скорее можно предположить, что тетради, хранившиеся у Вишняковой, тоже представляли собой лишь записи изречений и телеграмм Распутина, но не подлинные записи в том виде, как они представлены на страницах «Минувших Дней». Отметим еще одно очень важное, с нашей точки зрения, обстоятельство: в «Тетради № 1» совершенно отсутствовали датировки записей (иначе председателя не затруднили бы вопросы хронологии), между тем «Дневник А. А. Вырубовой» дан, хоть и в сумбурном, но хронологическом плане, с пометами дней, чисел и годов.

---

[1] «Падение царского режима», т. III, стр. 232—254. Гиз, 1925.
[2] Там же, стр. 241.
[3] Там же, стр. 253.
[4] Архив Октябрьской Революции. Особый отдел.

Редакция заставляет самое Вырубову через 12 дней после допроса назвать «дневником» эту самую «Тетрадь № 1» с копиями телеграмм и записей «молитв» Распутина. Редакция цитирует письмо Вырубовой на имя Л. В. Головиной от 18 мая 1917 г., в котором имеются следующие строки: «Ценности в худшем случае могут отобрать,—так и бог с ними... Я на это смотрю без страха. Гораздо больше меня занимает вопрос о моих дневниках. Это прямо сводит меня с ума». Изложив далее план перевода «дневников» на французский язык, Вырубова продолжает: «Я уже думала это сделать сама, да у себя боюсь держать. После того, как у меня взяли одну тетрадь, я даже думать боюсь держать их у себя».

Если даже допустить подлинность цитируемого письма Вырубовой (усомниться в чем мы имеем право, поскольку неизвестны ни место хранения письма, ни условия проверки принадлежности его Вырубовой), то, при сопоставлении его с названной выше стенограммой, сам собой напрашивается вывод, что «дневники» в толковании Вырубовой и редакции «Мин. Дней»—совершенно разные вещи. Содержание посвященной Распутину «Тетради № 1», именуемой самой Вырубовой, по уверению редакции, «дневником», совершенно отлично от содержания напечатанного «Дневника», в котором повествуется о множестве фактов почти исключительно из области политической жизни России и зарегистрированы дела и речи массы людей, вращавшихся в окружении последних Романовых.

Таким образом самое беглое исследование генезиса изучаемого «исторического источника» ставит под решительное сомнение авторство Вырубовой. Нет, думается, никаких и психологических оснований для возможности приписывать ее перу «Дневник» «Минувших Дней». Интеллектуально-моральный облик этой политической сводни, игравшей роль рупора Распутина, и ее положение временами презираемой, но все же любимой за собачью преданность фаворитки при дворе последнего царя достаточно ярко отражены в опубликованных трех томах «Переписки Николая и Александры Романовых». Однако для суждения о ней имеется и автобиографический материал в виде книги «Страницы из моей жизни», изданной Вырубовой в Париже в 1923 году, т.-е. через три года после бегства ее из РСФСР. В этой книге[1] Вырубова показала себя весьма лукавым мемуаристом, давшим беззастенчиво лживое освещение своего участия и роли Николая и Александры Романовых, а также Распутина и др. в событиях эпохи падения царского режима. Вся эта книга представляет собой попытки преимущественно реабилитации «возлюбленной императрицы» Александры Федоровны и, конечно, самореабилитации; о Распутине в ней упоминается, как о второстепенном персонаже, чуждом политики, и т. п. Книга проникнута верноподданническим сервилизмом и тирадами, свидетельствующими о крайней ограниченности и невежестве автора в области политических вопросов. Да и трудно, казалось бы, ждать от нее иных чувств и иных воззрений!

Редакция «Дневника» совершенно правильно аттестует «Страницы из моей жизни», как произведение «наивное, беспомощное и явно неправдивое»... как «автоапологию, шитую белыми нитками», «попытку с негодными средствами». К такой характеристике зарубежных воспоминаний Вырубовой нельзя не присоединиться.

Но редакция «Дневника», кратко упомянув, что написание Вырубовой «официальных мемуаров» имело целью реабилитироваться в глазах «всех этих генералов и великих князей», оказавшихся в эмиграции за рубежом, обошла полным молчанием такой естественно возникающий вопрос: как могла Вырубова сочетать в себе такую противоположность качеств, идей, взглядов, отношения к событиям и людям, какие обнаруживаются при сравнении «Страниц из моей жизни» с «Дневником»? Ведь это два совершенно разных лица по своему мироощущению, по отношению к тем событиям и лицам, которые они описывают. Редакция вместо постановки этой проблемы разражается пышной тирадой о громадном значении «Дневника», как «первоклассного источника, ключа к уразумению многих сторон отошедшей эпохи», дающего массу нового, разрешающего ряд сомнительных и спорных гипотез и т. п. В заключение же редакция предлагает читателю согласиться с нею и Вырубовой, что «окончательная гибель ее записок была бы весьма горестна».

Нам думается, однако, что радоваться совершенно нечему. Автор настоящей заметки не в состоянии преодолеть в себе недоверия к подлинности «Дневника», недоверия, возникшего у него тотчас по прочтении предисловия Брошниовской и Давыдова и еще усилившегося при изучении самого текста «Дневника». В самом деле, публикация документа столь сенсационного характера, как «Дневник А. А. Вырубовой», обязывала редакцию снабдить текст его таким контрольным аппаратом, который дал бы возможность проверки его подлинности. Редакция в конце своего предисловия высказывает мнение, что «читатель, повидимому, уже составил себе представление о том, что такое погибший оригинал записок Вырубовой и как выглядит их уцелевший дубликат». Это звучит почти издевательством: по предисловию совершенно невозможно составить

---

[1] См. мою рецензию в журн. «Печать и Революция», 1924 г., кн. V.

настоящего представления ни о виде вырубовского оригинала, ни даже о виде его дубликата. Редакция дала факсимиле таинственной записочки Вырубовой о принятии мер к спасению ее «дневников», но не потрудилась снабдить свою публикацию более необходимым снимком двух-трех страниц из тетрадей, содержащих текст дубликата. В контрольный аппарат к тексту должны были войти самые подробные сведения—о внешнем виде дневников, обстоятельствах и месте хранения их до поступления в распоряжение редакции «Мин. Дней», о нынешнем их местонахождении и т. д., и т. п. Почему не произведен анализ бумаги и чернил спорных тетрадей, а также графологическая экспертиза их текста? Установлена ли действительная принадлежность почерков дубликата Головиным и Гагаринской? Если установлена, то чем доказано, что Головины и Гагаринская копировали именно вырубовские записки, а не их подделку?

Все это—далеко не праздные вопросы: нельзя же игнорировать элементарные требования современной науки издания исторических документов, которые отнюдь не могут быть заменены, как это сделано в «Мин. Днях», пространными расшифровками имен и ссылками на литературу, употреблением прямых скобочек, курсивных шрифтов для русских слов оригинала в тексте перевода, сносок по поводу «неразобранных мест» и т. п. приемов, которые, по существу, могут оказаться ни чем иным, как очковтирательством. Раз возникшее подозрение в подделке невольно распространяется и на другие стороны публикации: сумбурный порядок записей, который кажется умышленным,—перевирание дат, сделанное, может быть, с целью затруднить возможность хронологической проверки записей, и т. п.

К высказанным здесь сомнениям археографического порядка присоединяется ряд иных.

При чтении «Дневника» невозможно отделаться от впечатления, что это—литературное произведение: так искусственен его стиль, так ясна в его раз'ятом, будто-бы, переписчицами целом обдуманность композиции. Не всякому дано «чувство документа», присущее обычно специалисту-архивисту и историку, и аргументировать им позволительно не всегда, но от чувства фальсификации документа трудно отделаться в данном случае: «Дневник» производит такое же впечатление, как,—скажем,—например, «Камнем одетые» Ольги Форш, вещь, тоже написанная в форме исторического мемуара, но это, явно, «мемуар»—на тезис, отталкивающе на историка действующий своей ненатуральностью, неудачной подделкой под старомодный стиль и психологию современника «Таинственного узника» Алексеевского равелина Бейдемана—Русанина. Ни в каком подлинном дневнике (если он не подгонялся для печати) не встретишь такой, я бы сказал, тональности изложения, в какой подан «Дневник». На тоне и форме его записей как-то не отразились чувства, переживания, спешка текущего дня; в нем, напротив, как-будто все отделано для печати: однообразные отрывистые фразы, с часто опускаемым подлежащим, постоянное пользование диалогической формой, неразличимость русского текста и перевода с французского. «Дневник» нестерпимо дидактичен; беллетристичность—притом невысокого вкуса—его основной прием. Вот пример: Вырубова сидит с «мамой» (царицей), вдруг входит бывшая няня последней.

«Она была очень бледна, говорила шопотом и шаталась:

— Я только что,—сказала она,—только что видела что-то ужасное про тебя и про цариньку (так она зовет папу [т.-е. царя. *А. С.*]).

— А что же? спросила мама.

Она была очень испугана.

— Гроза,—говорит она,—гроза... Слышите—ломает деревья... вырывает с корнем... Птенцы из гнезд падают...

Действительно, в парке гремела гроза, но мы этого раньше не заметили [?!]. Мы испугались. Она говорит:

— Нева из берегов выйдет... Зальет красной волной... Страшно будет! Шатается, шатается трон...

Мама вся дрожит.

— Как,—говорит,—опять война?

— Нет... Нет... у тебя в доме крозь!..

Мама в отчаянии вцепилась в меня.

— Что делать?.. Что? Что?..

— Бойся,—говорит она,—седого ближнего и чужого гордого... Сломи их—или они тебя сломят!..

Мама полагает, что «седой ближний» это Николай Николаевич, а «гордый»—Витте».

Убейте меня, читатель, но никогда я не поверю, что эта бутафорская сцена списана с натуры, а—не «художественная» выдумка. В этой сцене, вместе с тем, налицо неизбежный дидактический момент—определенная политическая тенденция (борьба царицы за власть с Николаем Николаевичем), ибо и весь «Дневник»—литературно-политическое произведение.

Далее, несмотря на уверения редакции, что «Дневник» воспроизводится в том самом сумбурно-хронологическом расположении записей, в каком он вышел из рук «переписчиц», в нем явно чувствуется архитектонический замысел, и характерно, что и начинается-то он,—под опровергаемой, правда, редакцией датой,—витиеватым из'яснением автора о причине, заставившей его взяться за ведение «Дневника».

«Мне кажется,—так начинается «Дневник»,—я несу на плечах кувшин с очень крепким вином. Кто его попробует, опьянеет. Я боюсь его опрокинуть. Дорога каждая капля. Это все то, что я в себя впитала: слова, раз'яснения папы и мамы [1] и всех тех, кто плюет на них из-за меня.

Я должна пролить это вино. Записать все то, что меня волнует. Когда понадобится узнать жизнь наших правителей, ключ к этому можно будет найти в моей тетради. (Разрядка моя. *А. С.*).

Папа [2] упрекает меня в тщеславии, в том, что я бросаю семью, что не рассказываю ему того, что вижу. Но как рассказать?» и т. д. [3].

Так начинается поставленная редакцией первой тетрадь «Дневника».

Отметим для себя здесь следующее: «Тетрадь № 1», оглашенная при допросе Вырубовой 6 мая 1917 г., тоже была, повидимому, первой тетрадью записей Вырубовой, но текста приведенной выше цитаты, надо полагать, в ней не было, так как, вероятно, председатель огласил бы ее.

Отметим также попутно еще одну особенность в словообороте «Дневника»: Вырубова употребила несколько раз одно словечко, которое, думается, приобрело «право гражданства» лишь в наше время, притом преимущественно в партийных организациях, это—«снять», в смысле «отставить», «уволить в отставку», (пожалуй, даже с нюансом в старорежимном стиле: «по третьему пункту»). Так, она пишет о б. главном военно-санитарном инспекторе Евдокимове: «Евдокимов был снят вопреки желанию мамы» («М. Д.», янв., 97); о Сухомлинове: «Когда сняли Сухомлинова, подняли вопрос о предании его суду» («М. Д.», февр., 113); «Папа считает Сухомлинова предателем. Он снят» («М. Д.», янв., 101); «Самарин снят» («М. Д.», IV, стр. 89); «Весь политический интерес обеда (у гр. В.) заключался в том, что побудило папу снять в. к. Николая Николаевича» («М. Д.», янв., 106). И еще одно словечко звучит как будто по-современному, это—«проработка»: в. к. Александр Михайлович жаловался маме на то, что, по его мнению, «[план] полевого [пополнения] войск, принятый в эту кампанию, требует большой проработки» («М. Д.», янв., 81)—не «разработки», как тогда, помнится, обыкновенно говорили.

Итак, перед нами, по уверению редакции, «ключ» к «жизни правителей», одиннадцать лет назад сметенных революцией в мусорный ящик прошлого. Но, по нашему мнению, «ключ» этот изготовлен человеком, лишенным дара художественного мастерства и исторического чутья, ибо Вырубова—как автор «Дневника», и «историческая» Вырубова—совершенно разные лица. Перед нами литературно искаженный образ, лишенный черт исторического правдоподобия.

«Вчера мне сообщили,—записала Вырубова в 1910 [?] году,—что меня не только не любят, но даже ненавидят за то, что я ничего не понимаю в политике... Врете вы—я занимаюсь политикой.—Я этого не хотела, но меня в нее втянули. И, пожалуй, вы теперь попляшете!..» [4]. «Вы подумайте!» воскликнет, вероятно, в изумлении,—подобно известному чеховскому герою,—не один читатель «Дневника», дойдя до этого темпераментного признания. Политическая осведомленность Вырубовой, по мнению составителя «Дневника», питалась из сокровеннейших источников, как это видно из следующей цитаты: «Извольский» [5] ведет определенную линию—он хочет проложить через мои уши путь к маминому письменному столу. О, лисица! Не понимаешь того, что проложить-то я его проложу, но прибавлю кое-что и от себя» [6]. Стиль один чего стоит! Приведем еще цитату: «Спрашивает меня Сана: «О чем ты все пишешь—о государственном или о своем? На этот вопрос я не могла ответить по совести. Сказала, что обо всем... Ведь уже более девяти лет, как все мое, мое личное, стало государственным... Я даже не знаю, нужно это кому или не нужно... Всякий будет в них искать не мое, а государственное. Не про меня, а про царей. Может, и не нужно. Потому, что у них не научишься царствовать. Они не годятся в учителя» [7]. Вырубова в «Днев-

---

[1] Т.-е. Николая и Александры Романовых.
[2] Отец Вырубовой А. С. Танеев.
[3] «Мин. Дни», 1927 г., декабрь, стр. 13.
[4] Там же, стр. 42.
[5] Министр иностр. дел.
[6] «Мин. Дни, 1927 г., декабрь, стр. 24.
[7] «Мин. Дни», 1928, февраль, стр. 115.

нике» изображается в некотором роде жертвой среды, в которой ей приходится жить и действовать: «Измена—взятки, взятки—измена! И для чего-то судьбе нужно было поставить меня над этой ямой сторожем. Я точно стою и вдыхаю этот смрад, эту погань!» [1]. В 1917 г. она записывает: «Вся эта компания насильно мне навязала честолюбие и денежные интересы» [2].

Приведем, в заключение, самое яркое из ее автобиографических признаний: «Утром мама (царица А. Ф.) сказала: «Фактически в России царствует трое лиц: старец Распутин, ты и я».—«А папа (царь)?»—спросила я.—«Папа страдает за нас троих. И несет бремя, которое мы на него возлагаем» [3]. По поводу этой записи отметим, прежде всего, что царица никогда не называла старца «Распутиным» (см. ее скорбно-негодующее сообщение о том, что Н. П. Саблин в одном разговоре с ней называл старца Распутиным, а не Григорием, в IV томе (стр. 31) «Переписки Николая и Александры Романовых»). Во-вторых, думается, что расписаться в том, что она—один из членов троицы, управлявшей Россией при Николае, которому была предоставлена лишь мизерная и загадочная роль «страдать за нас троих», у подлинной Вырубовой,—этой, повидимому, далеко не умной женщины,—недостало бы все же глупости и—смелости.

Как эта цитата, так и все предыдущие вскрывают, во-первых, основные черты образа Вырубовой, как он дан в «Дневнике», во-вторых,—лейтмотив всего этого произведения. Со страниц «Дневника» на нас глядит не только своего рода придворный историограф, променявший шифр фрейлины на дидактическое перо обличителя придворных нравов, но, главным образом, один из членов земной троицы, правивший совместно с Распутиным и почти полоумной царицей российской империей. Диапазон ее политических интересов невероятно огромен, и так же огромно ее политическое влияние. Она не просто информирована, по должности наперсницы царицы, о закулисных тайнах высшей политики, ее руки сплетаются с руками Александры Романовой и Распутина на кормиле государственного управления. Она заражена истерическим страхом царицы перед грядущей революцией, несущей гибель династии и монархического принципа, и ненавидит войну, которая, по ее мнению, кончится гибелью режима. Она обладает даром предвидения событий и высоким моральным чувством, заставляющим ее крайне низко расценивать представителей бюрократических верхов и аристократии, возглавлявших русское общество накануне революции. У нее есть политическая программа, свой рецепт спасения России, своя мессианская задача: чтобы предупредить революцию, надо скорее кончить войну, не останавливаясь перед заключением сепаратного мира. «Мы убрали Поливанова, потому что при нем все предпринятое нами для ближайшего конца войны совершенно не проводится»,—пишет она в 1916 г. «Мы поставили на место Горемыкина,—признается она,—эту проклятую рухлядь Штюрмера. На него я и старец возлагали столько надежд. Он был нужен нам не как правитель, который что-то выдумает, сотворит. Он был нужен нам, как проводник наших планов. Он должен перед мамой раскрывать всю картину надвигающихся бедствий, и в то же время вести ее по пути мира с немцами» («М. Д.», № 4, стр. 98).

Политика у автора «Дневника» на первом плане всегда и везде, отсюда пренебрежение к быту, ко всему личному, домашнему, которые, как это ни странно, очень мало отражены в «Дневнике».

Чувство неправдоподобия образа «огосударствленного» автора «Дневника», как он рисуется из приведенных цитат, не покидает читателя при изучении и всех других его высказываний.

Политический (исключительно) характер «Дневника» раскрывается с исчерпывающей полнотой при обозрении того «государственного», что записано на его страницах. Но, к нашему удивлению, анализ тематики «Дневника» в об'еме всех четырех напечатанных частей его далеко не подтверждает заявления редакции, что читатель из этой публикации «впервые узнает о многих примечательных фактах». Круг сюжетов ежедневных записей «Дневника» определяется, по нашему мнению, запасом 1) имеющихся в печати данных (Витте, «Переписка Романовых», Родзянко, Палеолог, Труфанов, работы Семенникова и др.) и 2) сохранившихся до наших дней в некоторых кругах общества устных слухов и сплетен о жизни двора Романовых.

Центральными фигурами «Дневника» являются Александра Федоровна, Николай Романов, Распутин (троица, правившая Россией накануне падения царского режима); затем идут в. к. Николай Николаевич, Мария и Елизавета Федоровны, ряд последних министров, некоторые великие князья, группа прославленных авантюристов—Андронников, Рубинштейн, Илиодор, Бадмаев и мн. др. Дела, речи и планы всех этих вершителей судеб России весьма подробно живописуются в «Дневнике».

[1] «Мин. Дни», 1928, январь, стр. 97.
[2] «Мин. Дни», № 4, стр. 101.
[3] Там же, стр. 94.

Однако, странное впечатление производит то обстоятельство, что автор, так хорошо будто бы знающий описываемую им среду, заставляет царицу называть свою сестру Елизавету Федоровну «Лизой», а не «Эллой»; вел. князя Павла Александровича «Павликом», а не «Павлом» и вел. князя Дмитрия Павловича «Митей», а не «Дмитрием», т.-е. так, как они, сколько можно судить по опубликованным и неопубликованным письмам и дневникам Романовых, никогда не именовались в романовском «семействе», где «Дмитрия» (Дмитрия Павловича) никогда не путали с «Митей» (Дмитрием Константиновичем) и т. п.

Подробный разбор тематики «Дневника» занял бы слишком много места. Для наших целей достаточно рассмотреть, что дает «Дневник» о главнейших из выше перечисленных персонажей.

Начинается «Дневник» сном Александры Федоровны, виденным ею накануне от'езда из Дармштадта в Россию для венчания с Николаем Романовым, при чем Вырубова вкладывает в уста б. царицы такое признание: «Я не любила Ники. Я его боялась. Бывали минуты, когда я его ненавидела. Но за несколько дней до свидания я почувствовала к нему такую жалость, такую теплоту... Он—моя судьба. Это от бога... его надо любить...». «Папу я вначале только переносила. А потом пришла нежность»[1]. Сотни хранящихся в Центрархиве, но еще не опубликованных писем Александры Федоровны и Николая Романова решительно опровергают выписанную нами тираду, свидетельствуя о рано зародившейся и все росшей взаимной любви последних царя и царицы, давших еще в 1885 г. клятву принадлежать друг другу.

Здесь мы имеем дело с легендой того же порядка, что и легенда об антипатии Александра III к своей будущей невестке. Сон о карете (с царем в кучерском костюме), которую понесли лошади, и о спасении царицы дамой с палкой понадобился автору «Дневника», очевидно, для того, чтобы дать не реальное, а мистическое (в стиле описываемой среды) об'яснение приближения Вырубовой ко двору: она стала фавориткой с того момента, как царица увидела ее на прогулке с палкой и в черном шарфе, делавшем ее похожей на виденную во сне даму. С этого дня на долю Вырубовой выпала совершенно своеобразная миссия быть наперсницей женщины, которая будто бы «при первом причастии дала клятву спасти Россию» (от чего?!). Царица помешана на мысли «спасти трон»; она—«человек довольно злой, вернее—жестокий», «не верит никому, даже папе».

Оказывается, Витте и «Гневная» (т.-е. Мария Федоровна) сделали ее злой и мстительной. Перед нами опять—отзвук «бродячего мотива» об антагонизме старой и молодой царицы, при чем это—не бытовая свара свекрови и невестки, а политическая борьба, так как старая царица, находясь под влиянием своего любовника, Шервашидзе, «толкает папу на конституцию». Достаточно однако хотя бы бегло перелистать недавно опубликованную в «Красном Архиве» переписку Николая Романова с матерью за 1905—1906 г.г.[2], чтобы усомниться в конституционалистских настроениях вдовы Александра III, верившей, что не конституция, а репрессии да бог могут вывести из «хаоса революции» Россию, находившуюся в «когтях злого духа».

Названная переписка, безусловно, опровергает и остроту взаимоотношений Николая Романова с матерью. Между тем в «Дневнике» мы читаем: «Гневная делает все, чтобы убрать папу с дороги. Прежде всего, ее влияние на папу сказалось в том, что он приблизил к себе великих князей. А она знала, что они могут явиться серьезной опасностью[3]. Но ведь именно отрыв Николая II от других Романовых—общеизвестный факт, особенно ярко выявившийся в последние годы его царствования. Что же касается замыслов старухи-царицы о свержении Николая с престола, то это такой «примечательный факт», верить которому мы предоставляем редакции «Мин. Дней».

Ненависть же Александры Федоровны к Витте об'ясняется в «Дневнике», во-первых, его отзывом о Дармштадте, «как о гнезде нищих и шарлатанов», и, во-вторых, тем, что он будто бы внушил принцу Уэльскому сказанную последним ей за интимным завтраком не особенно приятную фразу: «Как профиль твоего мужа похож на императора Павла I»[4]. Редкция делает в данном месте сноску с указанием, что об этом же эпизоде рассказывает и Витте[5]. Но, справившись, узнаем, что Витте сам об этом завтраке и найденном принцем Уэльским сходстве Николая с Павлом узнал впоследствии от приближенного принца, при чем ничего о своих разговорах с принцем не сообщает. Здесь налицо явная передержка и автора и редакции «Дневника». Что же касается отзыва Витте о Дармштадте, до-

[1] «Мин. Дни», 1927 г., стр. 14, 18.
[2] См. «Красный Архив», т. XXII, стр. 152—209.
[3] «Мин. Дни», 1927 г., за декабрь, стр. 20.
[4] «Мин. Дни», 1927 г., декабрь, стр. 18.
[5] Витте. Воспоминания. 1924 г., т. I, стр. 4.

шедшего, будто-бы, до Николая, который «вследствие этого был к царице так холоден первое время», то здесь необходимо указать, что дневник Николая за период первых месяцев женитьбы его говорит как раз об обратном.

На записях о видениях «Агинушки» (няни царицы), «голубиной воде» и т. п. вещах, недоступных нашей проверке, да и не представляющих исторической ценности, мы, конечно, останавливаться не будем. Обратимся к записям более исторического свойства. Вырубова записывает: «Папа искренне думает, что это он усмирил революцию. Нет, это сделала мама. Ее оскорбленное чувство. Ее боязнь потерять трон» [1]. Далее идут записи о нелюбви народной к царице и о романе царицы с Орловым, в которого была влюблена будто бы также и Вырубова. В свое время в обществе ходило много слухов о нежных отношениях Александры Федоровны с прибалтийским усмирителем, при чем появление на свет наследника престола некоторыми лицами связывалось с этим романом. Но в рассказах «Дневника» об этом романе мало правдоподобия. Царица говорит Вырубовой: «Я любила беседовать с ним и петь ему... Он не любил говорить со мной о политике, п. ч. моя судьба казалась ему страшной». И здесь политика! Царица боялась взять Орлова в любовники потому, что, если бы у нее «был ребенок от другого, то он был бы сильнее, чем дети царя, и от этого всем было бы плохо» [2]. Оказывается, далее, что, узнав о подписании Николаем манифеста 17 октября 1905 г., Александра Федоровна «решила отомстить стране за то, что она силой вырвала у него конституцию.

— Я заставлю ее проклясть этот день... и смыть это пятно кровью.

Мама сама повела контр-атаку против либералов» [3].

Вместе с тем ей же приписывается фраза: «Если б я не была царицей, то была бы с теми, кто против царей» [4].

Но не довольно ли цитат? Интерпретация образа Александры Федоровны в «Дневнике» совершенно ясна из вышеизложенного. На дальнейших страницах проходят юродивые, m-r Филипп (увы, об этом загадочном человеке даже Вырубова не смогла ничего нам поведать нового!), Паша Дивеевская, известный эпизод с ложной беременностью царицы, посещение Сарота, смерть Орлова, появление «старца» Распутина, которого царица будто-бы видела во сне за несколько лет до появления его в Петербурге, случаи исцелений им наследника и т. д., и т. д.

Но обо всех этих лицах и событиях мы не узнаем ничего нового, кроме беллетристических подробностей, не поддающихся, конечно, проверке. Примитивно-художественный пересказ мемуарного материала—с уклоном в мистику и трагедийность под знаком политики—так, в сущности, можно было бы определить и все содержание «Дневника А. А. Вырубовой». К концу «Дневника» царица, боявшаяся ареста и заточения, проходит почти безумной фигурой, какою она, повидимому, и была в действительности, только, вероятно, менее словоохотливой, чем это описывает мнимая Вырубова, которая с восторгом восклицает: «Теперь она выросла, она—правитель, она—царь. Она горит огнем. И, кто знает, б. м., она нас всех спасет» [5] Но сама царица «ни одного шагу не делает без указания старца, так как ему свыше указан путь, по которому Россия придет к миру, к славе» и т. д. [6].

В сущности, Распутин и является главным героем «Дневника». Но характерно, что в «Дневнике» нет подробностей первого появления его при дворе, а Вырубова, казалось бы, должна была их знать (в литературе, как известно, об этом ничего достоверного нет). И еще характерно, что в «Дневнике» всего двенадцать телеграмм Распутина и одно письмо его,—повидимому, в пересказе,—о необходимости разгона Госуд. Думы [7]. Таким образом, ясно, что дневник «Мин. Дней» не имеет ничего общего с тетрадкой, фигурировавшей на допросе Вырубовой. Это—произведение совсем особого рода.

Один перечень «деяний» Распутина, описываемых в «Дневнике», занял бы много места, но мы будем кратки. Здесь описаны: появление Распутина в петербургском обществе и роль в этом деле в. к. Николая Николаевича, вел. княжен-черногорок и еп. Феофана, связь Распутина с няней наследника М. И. Вишняковой, попытки еп. Феофана разоблачить Р., роль Р. в попытках реализации прожектерских махинаций проф. Мигулина, Г. Сазонова и др., борьба Гермогена и Илиодора с Р., радения, поездка Г. Сазонова и Мигулина с Р. к Витте, поездки Р. в Саров и Иерусалим, отзыв Николая о Р. в беседе с Илиодором, роль Р. в назначении Саблера обер-прокурором синода и в назначениях разных министров, запросы

---

[1] «Мин. Дни», 1927 г., декабрь, стр. 24.
[2] «Мин. Дни», 1927, декабрь, стр. 26.
[3] Там же, стр. 27.
[4] Там же, стр. 54.
[5] «Мин. Дни», № 4, стр. 114.
[6] Там же, стр. 120.
[7] Мин. Дни», 1927 г., декабрь, стр. 95.

о старце в Думе, отношение Р. к войне, знакомство Р. с французским послом Палеологом, роль Р. в отставке Николая Николаевича и принятии Николаем II на себя верх. командования, гипнотическая сила Р., кампания вел. кн. Елизаветы Федоровны против Р., знаменитый кутеж Р. в Москве во время войны, неприязненное отношение Р. к Госуд. Думе, кампания Илиодора против Р., отношение общества к распутиниаде, бахвальство Р. в поезде о своем могуществе и т. д. и т. п. Все это, как видит читатель, тематически совпадает с тем, что многократно уже освещалось в мемуарах и документальных публикациях дореволюционного периода. Редакция, с своей стороны, снабдила соответствующие страницы «Дневника» многочисленными ссылками на литературные источники, подтверждающие правильность записей Вырубовой («Святой чорт» Илиодора Труфанова, «Падение царского режима», «Переписка Николая и Александры Романовых», «Воспоминания» Витте, «Крушение империи» Родзянко, «Царская Россия» Палеолога, «Красный Архив», публикации В. П. Семенникова, «За кулисами царизма» (Архив Бадмаева), «Николай II и великие князья» и др.).

Необходимо отметить, однако, что этот историко-биографический комментарий «Дневника», как в отношении записей о Распутине, так и в отношении, главным образом, других сюжетов, производит двусмысленное впечатление. Читателю трудно отделаться от мысли, что сюжет и об'ем комментируемого текста находятся в прямой зависимости от наличия вспомогательного мемуарно-документального материала.

В самом деле, в поле зрения автора «Дневника» попали даже такие, казалось бы, «специальные» вещи, как Комиссаровское бюро для наблюдения за иностранными посольствами и военными агентами (См. «Падение царского режима», т. III); подробное изложение письма вел. кн. Милицы Николаевны Николаю II о территориальных вожделениях Черногории (напечатано у Семенникова); попытка Путилова получить 36-миллионную субсидию для Путиловского завода («Крушение империи» Родзянко); история изобретателя горючей жидкости Братолюбова (Родзянко); борьба Татищева с мин. фин. Барком и критика системы последнего по реализации займов («Падение царского режима», IV), история провокаторши Шорниковой и др. В изложении этих тем соблюдена фактическая достоверность, но самое изложение и детали «художественны».

Зависимость сюжетов от имеющихся в печати публикаций особенно заметна в последней части «Дневника»—«1916 год», которая по содержанию своему крайне совпадает с V томом «Переписки Николая и Александры Романовых». Недаром комментаторы в таком изобилии снабдили эту часть «Дневника» подстрочными ссылками на «Переписку»: сюжетика у них на-редкость общая, за немногими исключениями, которые, в свою очередь, имеют свои печатные источники. Так, напр., рассказ о запрещении вел. кн. Сергеем Михайловичем выделки ручных гранат и орудий для разрушения проволочных заграждений можно найти в «Крушении империи» Родзянко, разговор наследника с свящ. Васильевым о Распутине—в показаниях Белецкого («Падение царского режима») и т. д. и т. д. Разница только в том, что эти известные факты изображаются от имени Вырубовой, в иной повествовательной форме.

Возвращаясь вновь к Распутину, приходится сказать, что образ этого проходимца, нося все черты иконописного лика («для меня, для мамы и для нас всех он не только пророк, а наш спаситель. Наш бог. Мы идем за ним смело»), предстает перед нами, кроме того, в неправдоподобном одеянии мужицкого идеолога, врага аристократии: «Старец ненавидит аристократию—дворянство: «Продажные шкуры!»—так он их величает». Он признается: «Кабы не такой я был охочий до баб, то быть бы мне Пугачевым. Ох, и делов бы наделал!.. Ты мне о Пугачеве почитай»[1]. Этой же мужицкой ненавистью к аристократии, как это ни странно, пропитаны и некоторые высказывания самого автора дневника, «б. фрейлины ее величества», А. А. Вырубовой-Танеевой: она называет аристократию «вымирающей, дохлой, протухлой» («М. Д.», дек., 45). Неясный до сих пор вопрос об отношении Распутина к заключению Россией сепаратного мира в «Дневнике» разрешается черным по белому: «До тех пор,—говорит Распутин Вырубовой,—пока Сазонов у власти, наша работа кидается собаке под хвост. Он в один час разрушает то, что мы делали неделями[2]. «Нет моего благословения на эту войну,—восклицает он,—она нужна только генералам!» Вообще это deus ex machina, разрешающий эпизодические коллизии, сибирский оракул, предвещающий наступление конца режима и возглавляющей его династии. «Ежели папа во-время не раскидает костер, все вспыхнет,—восклицает он.—Ох, и гореть будет». Он даже пьет потому, что хочет заглушить в себе ужас перед наступающей революцией: «Чувствую—горим! Ох, горим!». Для этого он и понадобился, повидимому, автору

[1] «Мин. Дни», 1928 г., январь, стр. 88
[2] «Мин. Дни», 1928 г., № 4, стр. 98.

при составлении «Дневника», в котором он проходит в виде никогда не закрывающей рта фигуры с неизменными словечками вроде: «Молись!», «Вот!» и «Аминь!».

С новой стороны, до сих пор не освещавшейся исследователями и не документированной, именно—со стороны сексуальной, дан в «Дневнике» Николай II. Так, мы находим здесь порнографическую сцену «зловонных ласк» его, которые доводили Вырубову до тошноты [1], нанесение им царице чуть ли не травматических повреждений в припадке ревности, видим Николая, о котором Витте говорил, что он редко видел так хорошо воспитанного человека, как Николай II, ругающимся «по-русски», увлечение Николая некоей гадалкой «Гриппой», даже убийство им на почве ревности какого-то «Петруши» [2], смех до слез от скабрезного рассказа Вырубовой о подсмотренной ею сцене случки свиней. Опровергать или утверждать что-либо из этих «новых» для нат фактов интимной биографии Николая II—дело, от которого естественная брезгливость подсказывает уклониться, но нельзя не отметить, что сцена случки напоминает аналогичную собачью сцену, зарисованную Николаем для жены в одном из апрельских 1916 г. писем его к жене из ставки,—очевидно, именно этой сценой и навеян данный рассказ «Дневника»,—только сделана перестановка места действия и заменены персонажи.

Размер настоящей—и без того затянувшейся, заметки не позволяет остановиться на перечислении и разборе других сюжетов той сложной литературной мозаики, какою является «Дневник». Поэтому мы ограничимся постановкой вопроса: правдоподобно ли, что действительно жил и действовал в описываемой им среде подлинный, а не вымышленный автор, который так именно расценивал людей, как это изображено в его «Дневнике»? В самом деле, Николай, которому в «Переписке Н. и А. Романовых» «Аня» Вырубова постоянно целует руки, на страницах «Дневника»,—жалкая, балансирующая между матерью и женой, фигура, сластолюбивый развратник, иногда даже кусающийся,—временами сумасшедший, жестокий. Мария Федоровна—старая интриганка, мечтающая о низложении Николая, который для нее «не сын, а царь, да еще рядом с ненавистной царицей» [3]. Александра Федоровна проходит в «Дневнике» какой-то сомнамбулой, с первых дней приезда в Россию убежденной в своем провиденциальном назначении всеми возможными средствами спасать трон, династию и страну от гибели.

Автор «Дневника» даже двенадцатилетнего наследника престола Алексея, болезненного и умственно слабого ребенка, заставляет размышлять о политике. Алексей спрашивает Н. П. Саблина: «как он думает: Григорий Ефимович — друг наш или враг?—Николай Павлович стал уверять Маленького [т.-е. Алексея], что, конечно, друг. Он ответил:

— Я тоже так думаю. Только почему все говорят, что он ведет к гибели Россию?».

Даже Алексей будто бы негодовал на общепризнанное слабоволие царя Николая II: «Он очень любит папу, но, как будто, временами, видит его слабость. И это его раздражает» [!!] [4].

Во всем этом есть какое-то театрально-карикатурное правдоподобие, рассчитанное на наивное восприятие, но нет исторической правды.

Для автора «Дневника» Щегловитов—«барбос», Марков II—«клоп поганый», Замысловский—«мерзкое, некрасивое лицо», Пуришкевич—«нахал», кн. Андронников—«побирушка проклятый, портящий воздух своим дыханием», «надоедливый клоп», вел. кн. Сергей Михайлович—«сиятельный мошенник», вел. кн. Николай Михайлович—«исторический сплетник», Штюрмер—«рухлядь проклятая», Сухомлинов—«старый барбос», в. к. Михаил Александрович—«безмозглый», его жена—«подлая торговка», жена Сухомлинова—«проститутка», гр. Шереметева—«мерзкая шлюха» и т. д. и т. д.

Так может расценивать всю эту верноподданническую клику составитель «Дневника», но не подлинная, невыдуманная Вырубова, ибо это было деловое окружение последней, ее соратники в политической борьбе, плоть от плоти которых она была сама. Не верится также и в то чувство тяжести своеобразного подвижничества, которое будто бы давило ее плечи со времени обслуживания ею «царей» в роли не наперсницы, а кого-то, как «Дневник» пытается изобразить, более возвышенного.

Автор настоящей заметки умышленно не сказал до сих пор ни слова о том, что А. А. Вырубова жива по сей день. Вот выдержки из письма, опубликованного ею в бело-эмигрантской газете «Возрождение» (№ 996, от 23 февраля 1928 г.): «По слухам, дошедшим до меня, в Советской России появилась в печати книга «Дневник А. А. Вырубовой», якобы найденный у одного нашего старого слуги

[1] «Мин. Дни», 1927 г., декабрь, стр. 31, 33 и др.
[2] Там же, стр. 44.
[3] «Мин. Дни», 1927 г., декабрь, стр. 44.
[4] «Мин. Дни», 1928 г., № 4, стр. 108.

в Петербурге и переписанный некоею В. Головиной... Я считаю необходимым заявить во всеобщее сведение, что никаких дневников я никогда в жизни не вела и, кроме «Моих воспоминаний», напечатанных уже и известных публике, я ничего более не писала... Считаю своим долгом добавить, что единственный наш старый слуга Берчик умер еще у нас в Петербурге в 1918 г., был нами же похоронен и ничего после себя не оставил». Подпись: «А. Вырубова-Танеева» и дата: «Выборг. 10 февраля 1928 года»[1].

Редакция «Минувших Дней», издав в мае сего года IV выпуск своего «альманаха», игнорировала это письмо Вырубовой, как это было сделано ею и с показаниями Вырубовой в Чрезв. Следственной Комиссии. Что ж! Это свидетельствует о последовательности редакции до... ожидаемого, повидимому, ею «победного конца». Нам же остается констатировать неудовлетворительность этой прославившейся подделки, которая, конечно, не может итти в сравнение, например, скажем, с «Гуслями» Меримэ, настолько пленившими Пушкина, что тот долго не хотел верить, что это сфабрикованные, а не подлинные славянские песни, так велика была стилистическая и психологическая близость их к подлинному народному творчеству. Такой убедительности не удалось достигнуть автору «Дневника». Для нас это—литературно-дидактическое произведение, написанное неизвестным пока автором на тезис о разложении и обреченности николаевской монархии, которую будто бы сознавали сами ее могильщики—в лице б. фрейлины Вырубовой. Но образ последней, как автора этой политической исповеди, наделен совершенно недостоверными чертами, и потому «Дневник» производит двусмысленное впечатление: из-за образа мнимого автора «Дневника» все время выглядывает лик его подлинного составителя, заставляющий признать его, по верному замечанию Д. Бедного, «более Вырубовой, чем сама Вырубова». Это—литературное изнасилование Вырубовой, но не раскрытие ее подлинно-исторического облика. Не дав ожидавшегося от него кое-кем историко-литературного эффекта, «Дневник» не достиг, конечно, своей цели: у нас достаточно подлинных исторических документов об этой эпохе. Вместе с тем, надо сказать, что опубликование этой литературной подделки под видом подлинного документа заслуживает самого строгого осуждения не потому только, что «Дневник» может посеять заблуждения научного характера, а потому, что пользование этой фальшивкой компрометирует нас в борьбе с уцелевшими сподвижниками Вырубовой и защищаемым ими строем. Следовательно, значение разобранной нами здесь публикации выходит за рамки литературного явления, становясь уже фактом политического порядка.

А. А. Сергеев

---

[1] Биншток, автор заметки о «Минувших Днях» в № 715 журнала «Mercure de France» от 1 апреля 1928 г., сообщает, со слов некоего д-ра М., что последний получил от Вырубовой в России дневники ее и... Распутина, причем, по словам М., опубликованный «Мин. Днями» «Дневник» Вырубовой не имеет ничего общего с тем, который был у него в руках. Это сообщение, казалось бы, льет некоторое количество воды на мельницу «Мин. Дней», опровергая уверения Вырубовой, что дневников она не вела. Но беда в том, что подкрепить свое устное заявление д-р М. ничем не может, так как он, подобно горничной Насте, тоже уничтожил столь интригующий документ: перед от'ездом своим из России он, по его словам, сжег и Вырубовский и Распутинский «дневник».

ОБЗОРЫ

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В июле текущего года исполнится сто лет со дня рождения Н. Г. Чернышевского.

Крупнейший революционер и материалист эпохи 60-х годов недостаточно изучен. До 1905 года даже упоминание имени Чернышевского было большим преступлением против царской цензуры. Архивные документы «дела» Чернышевского, его рукописи, его мемуарное наследие было за семью печатями. И после первой революции цензура сильно исказила полное собрание сочинений. По-настоящему изучение Чернышевского может быть начато только сейчас. Даже крупная работа Плеханова о Чернышевском утратила сейчас огромную долю своего научного значения уже потому, что в руках автора не было архивных документов, которыми мы располагаем в настоящее время.

Привычка связывать изучение крупных революционных явлений с их юбилейными датами стала, к сожалению, нашим обычаем. Конечно, Чернышевский заслуживает и не «юбилейного» изучения. Но буржуазная историография оставила нам такую массу искаженных проблем, подлежащих пересмотру, такое количество еще совершенно неразработанных областей, что сразу за все вопросы приняться невозможно—надо установить хоть какой-нибудь порядок. Если этот «порядок» устанавливается у нас... юбилеями, это, конечно, черезчур «стихийно», но в конце концов не так уж плохо, если юбилеи приносят действительно ценную литературу.

Важность того, чтобы выход литературы был точно приурочен к сроку юбилея, вполне очевидна: юбилейная дата вызывает массовый интерес к вопросу, и лишь та литература удовлетворяет ему, которая вышла за некоторое время д о юбилея. Ею сможет воспользоваться докладчик на собрании, журнальный работник, она отразится на преподавании в школе, она должна сказаться на текущей периодической литературе—ведь каждая газета, каждый журнал в дни юбилея уделят внимание Чернышевскому. Поэтому нам кажется чрезвычайно важным собрать и рассмотреть ту литературу о Чернышевском, которая в настоящее время выпущена на рынок или выпускается в ближайшее время. Такой предварительный обзор должен более всего сослужить службу массовому рядовому работнику, который так или иначе будет заинтересован в юбилейной литературе. Конечно, он не уничтожает необходимости послеюбилейных обзоров, когда появятся в свет и запоздалые юбилейные работы, и общее литературное ядро достаточно определится и сможет подлежать научному учету.

Начнем с источников, с документов. Вся проблема изучения Чернышевского в настоящее время такова, что вопрос о документах является первоочередным. По настоящему изучить Чернышевского можно только подняв всю архивную целину, не оставив необследованной ни одной фразы, написанной им, ни одного тайного правительственного документа, говорящего о нем. Слишком долго скрывала от нас истинного Чернышевского царская цензура и жандармы. Восстановить все тексты—первейшая задача, только разрешив ее, можно начать изучение.

Почти нет сомнений, что самый крупный документ о Чернышевском, публикацию которого принес нам юбилей, уже в настоящее время находится в наших руках. Я говорю о дневнике Чернышевского, который он вел в 1848—1853 годах. Он опубликован в первом томе недавно вышедшего «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского (под редакцией и с примечаниями Н. А. Алексеева, М. Н. Чернышевского и проф. С. Н. Чернова.—М.-Л. ГИЗ, 1928, IV, 748 стр.).

Это документ огромной ценности и, добавим, очень своеобразной ценности в ряду других источников изучения Чернышевского. Дело в том, что над всеми другими его сочинениями тяготеет цензура, следы которой мы не можем никак уничтожить: ведь вся масса научных работ величайшего просветителя своей эпохи писалась в *предвидении* царской цензуры. Чернышевский, работая над статьями для «Современника», ни на одну минуту не забывал о цензуре, масса

усилий потрачена им на маскировку от цензуры истинных своих намерений, величайшая ироническая хитрость и изворотливость проявлены для того, чтобы под носом у цензуры сказать читателю запретные вещи. Часто этой необходимостью изворачиваться продиктована самая структура работ: писалась рецензия на нестоящую книжку, чтобы «обронить» несколько нужных мыслей, говорилось о французской журналистике так, чтобы читатель понял, что речь идет о русской, вставлялись специальные «картоны», т.-е. нарочито «благонадежные» места, которые должны были втереть очки цензуре (к этому приему, между прочим, прибегали и французские просветители XVIII в., например, Вольтер, Монтескье). Современному читателю и даже современному ученому очень трудно в этом разобраться, а зачастую и почти невозможно. Так что даже полное восстановление фактических цензурных купюр все-таки не уничтожит того искажения, которое наложила царская цензура на работы Чернышевского—останется его личное предвидение этой цензуры, отчасти искажавшее и затемнявшее его мысль. Другая крупнейшая группа писаний Чернышевского—его письма—тоже далеко не всегда писались вполне свободно. Особенно это относится к письмам сибирского периода над ними тяготеет двойная цензура: с одной стороны, учет Чернышевским царской цензуры, с другой—нежелание огорчать горячо-любимую семью, заставлявшее Чернышевского скрывать от нее истинное положение вещей. Совершенно иное дело—дневник 1848—1853 годов. Юноша Чернышевский, сначала студент, затем молодой преподаватель, писал его только и единственно для себя. Никто не мог прочесть этих записей—они писались особым шрифтом. Если бы не сын Чернышевского, Михаил Николаевич, совершивший дело большого общественного значения, расшифровав этот. дневник, он и сейчас, вероятно, был бы недоступен исследователю. Часть дневника, обратившая на себя внимание следователей во время процесса Чернышевского, была позже опубликована, с некоторыми пропусками М. Н. Чернышевским в X т. полного собрания сочинений отца. Полностью же дневник впервые публикуется в настоящее время.

Дневник—крупнейшей важности человеческий документ. Мы видим в нем, прежде всего, как зреет в Чернышевском мыслитель и революционер. Бурный 1848 наложил на дневник свою печать. Среди рассказов о женитьбе товарища, университетской работе, родственниках, переписке с родителями—то и дело мелькают впечатления о революционной Франции, о социализме, о Луи Блане. «Все более утверждаюсь в правилах социалистов», пишет двадцатилетний Чернышевский 28 июля... «в сущности, я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: chacun produit selon ses facultés et recoit selon les bésoins» [1]—это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всегда будет все, что ему захочется, и потому предварительно захватывать и хранить будет не для чего» (стр. 219—220). «Прудонову речь... начал читать, какой необыкновенный жар! не решительно ли я революционист, что не осуждаю с первого раза его и сужу о нем, что он высоко стоит и будет стоять в истории» (стр. 263). Поражает его зрелость мысли, отчетливость политических суждений, ясное представление о классовой структуре общества: «...этот Кавеньяк являлся мне, судя по своим речам, глупым, хотя, может быть, и честным человеком, который выучил несколько фраз и переминает их, и который думает, что глупостями можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол! Эх, господа, вы думаете дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас,—не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться—мужчины трусами или отчаянными, а женщины—продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода—и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором $^{9}/_{10}$ рода рабы и пролетарии. Не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтоб один класс не сосал кровь другого» (стр. 266).

19 февраля 1853 года Чернышевский записывает разговор со своей невестой. Его пугает, что его революционность может послужить препятствием к их браку—«та, которая теперь составляет мое счастье», может подвергнуться опасности. «Я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый схимник каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того, у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем»—говорит он ей. «Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков, все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем, растет и число людей из образованного кружка, враждебных против насто-

---

[1] Каждый производит по своим способностям и получает по своим потребностям.

ящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно—когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться, я приму участие... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня»... (стр. 557).

Внутренний рост Чернышевского чувствуется на каждой странице. 18 сентября 1848 г. он пишет: «...единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимала бы свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых...», а 20 января 1850 года он стоит на совершенно иной точке зрения: «правление должно перейти в руки самого низшего и многочисленнейшего класса «земледельцы + поденщики + рабочие — так, чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае, нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей... монарх, а тем более абсолютный монарх, только завершение аристократической иерархии»... (стр. 496). И на ряду с этим — много штрихов исторического идеализма. Между прочим, всюду сквозит вера в бога, поколебленная критицизмом, но все же живая.

В этом же томе изданы две редакции отрывков из автобиографии Чернышевского,—интересные, но гораздо менее значительные по содержанию, более всего характерные для быта, окружавшего Чернышевского в годы детства.

Теперь несколько слов о подаче материала, о работе редакторов и комментаторов. Тут неизбежно у каждого читателя возникает ряд серьезных упреков. Оговариваюсь,—эти упреки не могут относиться к покойному Михаилу Николаевичу Чернышевскому, исключительно много поработавшему над изданием сочинений своего отца и заслужившему самую горячую нашу благодарность. Дело идет об остальных, здравствующих редакторах. Первейший недостаток—отсутствие у книги редакторского предисловия. Его «заменяет» предисловие от... Государственного издательства. По этому случаю мы ничего не знаем о происхождении и плане издания «Литературного наследия», о точном распределении ролей между тремя редакторами, о связи данного издания с уже опубликованными сочинениями Чернышевского. О будущем плане работ сообщает от себя Госиздат, но ведь он в смысле обработки текста «безответственное лицо». Затем, изданию не предпослано никаких пояснений об условных сокращениях: некоторые из них пояснены лишь в сносках, другие не пояснены: десятки раз повторено, что «заключенное в курсивные скобки в оригинале зачеркнуто», но не пояснено совсем, что заключено в прямые скобки и кто за это ответственен, и что заключено в простые круглые скобки (пример, стр. 27). Чрезвычайно трудно, а подчас и невозможно разобраться в примечаниях. Примечания Н. Г. Чернышевского, М. Н. Чернышевского и остальных редакторов совершенно перепутались. Кому, например, принадлежит 1-е примечание на стр. 3 и кому 1-е на стр. 9? Оба не подписаны, но по смыслу ясно, что второе принадлежит Н. Г. Чернышевскому, а первое нет. Некоторые примечания М. Чернышевского не согласованы с планом настоящего издания: так, например, на стр. 680 (примечание 3-е) вдруг говорится, что словарь к Ипатьевской летописи, составленный Н. Г. Чернышевским, «помещен в настоящем томе». Между тем, в «настоящем томе», конечно, этого словаря нет. В чем дело? Да просто в том, что это примечание механически выхвачено из «Полного собрания сочинений» 1906 г. (ср. т. X, ч. 2, стр. 97), где, действительно, в X томе находится словарь к Ипатьевской летописи. Затем, совершенно непростительно отсутствие указателя мест и имен. Как некий суррогат, помещен список имен, упоминаемых в дневнике (т.-е. лишь в части данного тома), без указания страниц, где, какие именно упомянуты. Между прочим, в этот список лиц почему-то попала... машина вечного движения. Одним словом, редактора совершили большую и ценную работу, но не закончили ее, бросили ее перед читателем в очень беспорядочном виде и тем очень затруднили чтение. Судя по вводным замечаниям Госиздата, дальнейший план издания «Литературного наследия» таков: следующие два тома, уже подготовленные к печати, содержат письма Чернышевского, числом свыше 800, в других томах будут помещены беллетристические произведения и статьи исторического содержания, написанные в Петропавловской крепости и в ссылке.

Все остальные документы, уже изданные к юбилею, и малочисленны и гораздо менее значительны. Из вновь опубликованного материала надо указать на публикацию записки А. Н. Пыпина по делу Н. Г. Чернышевского («Красный Архив», т. XXII, 1927). Двоюродный брат Н. Г. Чернышевского, А. Н. Пыпин, как известно, много раз пытался облегчить его участь. К числу подобных попыток и относится «записка», поданная Лорис-Меликову в феврале 1881 года. В этой записке А. Н. Пыпин подробно рассказывает об обстоятельствах, доказывающих невинность Чернышевского и неправильность судопроизводства. До сих пор эта записка не была опубликована, хотя, конечно, была известна некоторым иссле-

дователям Н. Г. Чернышевского. Публикующий записку Ю. Стеклов снабдил ее введением и примечаниями, в которых исправил фактические погрешности автора «записки». Как источник для изучения дела Н. Г. Чернышевского, записка эта дает очень мало. Она интересна лишь для характеристики Пыпина—более всего в этом направлении и использует ее Стеклов. Но ни с той, ни с другой точки зрения она не является вполне доброкачественным источником: хлопоты перед властями об освобождении близкого родственника и любимого товарища, конечно, заставляли Пыпина маскировать и замалчивать как то, что он знал о Чернышевском, так и личные свои мнения.

В Саратовском сборнике, посвященном Н. Г. Чернышевскому, вышедшем в 1926 г. (Н. Г. Чернышевский. Сборник. Неизданные тексты, материалы, воспоминания. Саратов 1926) имеется ряд мелких рассказов Чернышевского, публикуемых впервые. Прямой связи с предстоящим юбилеем этот сборник не имеет - он издан в память тридцатипятилетия со дня смерти Чернышевского. Но мы упоминаем о нем, так как он все же занимает на книжным рынке известное место в текущей юбилейной литературе о Чернышевском.

Чтобы закончить вопрос с документальными публикациями, вызванными юбилеем, необходимо остановиться и на некоторых работах, еще не вышедших из печати. Комиссия по юбилею Чернышевского, созданная при президиуме ЦИК СССР, под председательством М. Н. Покровского, предприняла издание пятитомного собрания избранных сочинений Чернышевского. Первый том, в настоящее время находящийся в печати, посвящен Чернышевскому-историку. В него входят две группы его работ—первая содержит работы, связанные с крестьянской реформой, вторая—работы по западной истории, точнее, по истории Франции: последние работы выбраны, как особо характерные для Чернышевского-историка. В первую группу вошли работы: «Труден ли выкуп земли»?, «Письма без ареса», прокламация «К барским крестьянам», работа о «Исследованиях внутренних отношений народной жизни» Гакстгаузена, «Народная бестолковость». Вторую группу составляют: «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия», «Кавеньяк». Работа подготовки этого тома ведется сотрудниками секции методологии истории Коммунистической Академии. Все работы, как правило, публикуются по дошедшим до нас первоисточникам—рукописям Чернышевского или, в случае их утраты, корректурам «Современника», и то, и другое[1] хранится в доме-музее им. Н. Г. Чернышевского в Саратове: этот музей имеет свыше 2.000 рукописей Н. Г. Чернышевского. Работа по сличению печатаемого текста с рукописями и с корректурами ведется для этого издания внучкой Н. Г. Чернышевского, Ниной Михайловной Чернышевской-Быстровой, в настоящее время заведующей саратовским домом-музеем. Второй том избранных произведений посвящен Чернышевскому-экономисту, сюда войдут, главным образом, его примечания к Миллю; третий заключает критико-литературные работы Чернышевского. Четвертый том посвящен философским работам, пятый—художественному творчеству Чернышевского: этот том, вероятно, включит в себя «Что делать?» и «Пролог».

Издательство всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев предполагает выпустить в ближайшее время 31-ю книгу историко-революционной библиотеки «Каторга и Ссылка», посвященную Н. Г. Чернышевскому («Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Сборник статей, документов и воспоминаний».—М. 1928[2]). Документальная часть этого интересного сборника содержит ряд любопытных материалов. В нем дан новый вариант автобиографических набросков Н. Г. Чернышевского, неизданные отрывки романа «Что делать», примечания Чернышевского к переводу «Введения в историю XIX в. Гервинуса» и письмо Чернышевского к Веселаго. О первом документе приходится повторить то же, что и об автобиографических материалах, помещенных в I т. «Литературного наследия» перед «Дневником»: они интересны исключительно со стороны быта, окружавшего раннее детство Чернышевского, и немного дают исследователю. Самое интересное в сборнике—неопубликованные отрывки из «Что делать», почерпнутые из переменного фонда Архива Октябрьской Революции в Москве Н. А. Алексеевым, где хранится черновой набросок романа, написанный отчасти шифром, о котором упоминалось выше. По мнению Н. А. Алексеева, этот отрывок можно скорее всего счесть цензорской купюрой. Он относится к XVII части 4-й главы романа, где, как известно, повествуется об открытии Верой Павловной магазина на Невском. Очень ценна публикация Н. А. Алексеевым примечаний к Гервинусу. Исследователь своеобразной социологии Чернышевского, в которой переплелись элементы исторического идеализма и материализма, найдет тут богатый материал. Чего стоит, например, такое ясное утверждение Чернышевского «...история дви-

---

[1] Кроме прокламации «К барским крестьянам».

[2] Благодарю редакцию журнала «Каторга и ссылка», давшую мне возможность ознакомиться с этим сборником в гранках.

жется развитием знания. Если дополнить это верное понятие политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое, так и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни, то получим полную истину: развитие двигалось успехами знания, которые преимущественно обуславливались развитием трудовой жизни и средств материального существования».

В этом же сборнике о-ва политкаторжан опубликованы ценные воспоминания о Чернышевском лиц, имевших с ним общение во время сибирской ссылки— ссыльных Стахевича, Баллода и воспоминания Вилюйского исправника.

Исследований о Чернышевском до сих пор появилось очень немного. Но, несмотря на это, можно предвидеть, что юбилей будет отмечен в литературе крупным спором об общей оценке деятельности Чернышевского. Неизбежно столкновение двух точек зрения: сторонники одной утверждают, что Чернышевский далеко не вполне приблизился к научному марксизму, сторонники же второй почти безоговорочно считают Чернышевского материалистом и коммунистом, приближающимся к Марксу по типу и значению. Можно не сомневаться, что этот спор будет чрезвычайно плодотворен для изучения Чернышевского и оживит его юбилей[1]. Вторая из упомянутых точек зрения выдвинута Ю. М. Стекловым, готовящим к юбилею переиздание своей монографии о Чернышевском в расширенном виде. Монография еще не появилась в свет, но много работ Ю. Стеклова, очевидно подготовительных к ней или вытекших из нее, уже опубликовано в печати. Укажем на две статьи в «Красной Нови», «Вокруг процесса Н. Г. Чернышевского» (1927, кн. IV), «Историко-философские взгляды Н. Г. Чернышевского» (1927, кн. VII[2]), на статью в журнале «Каторга и ссылка», «Вокруг ссылки Н. Г. Чернышевского» (кн. 33—34, 1927). Надо особо отметить статью Стеклова, помещенную в журнале «Научное Слово» (1928, № 2): «Н. Г. Чернышевский (К вопросу об его политических взглядах) и брошюру «Николай Гаврилович Чернышевский» (1828—1889), изданную в «Дешевой библиотеке» журнала «Каторга и ссылка» (М. 1928). Эта статья Ю. М. Стеклова, как он пишет в примечании, представляет собою извлечение из первого тома второго издания его книги «Н. Г. Чернышевский». Политические взгляды Чернышевского рассмотрены по рубрикам: 1. Политические партии. 2. Историческая легенда. 3. Политический индифферентизм массы. 4. Вопросы революционной тактики. 5. Последнее политическое обозрение Чернышевского. Из всех работ Стеклова, опубликованных к юбилею, эта наиболее полно и отчетливо передает его понимание, в основном остающееся тем же, что и в популярной брошюре. Выводы здесь чрезвычайно заострены: «Чернышевский... стремился не просто к демократии, а к коммунизму, и признавал рабочий класс главным деятелем социальной революции, (стр. 58), Чернышевский ратовал за необходимость образования рабочей коммунистической партии (стр. 39) и пр.

При критике концепций Стеклова, прежде всего, встает вопрос методологический. Толкование мыслей Чернышевского основывается Стекловым на анализе текста Чернышевского, а текст этот—подцензурный, написан эзоповским языком. Этот язык Стеклов толкует самым произвольным образом. Толкование текста превращается подчас в чтение в сердцах. Нигде и никогда нельзя вычитать у Чернышевского мнения о пролетариате, как гегемоне русской революции и о необходимости рабочей коммунистической партии. Методологическим основанием толкования подцензурного текста, должно, прежде всего, служить сопоставление с ними текстов Чернышевского, не подвергшихся цензуре и писанных без ее предвидения: такими являются тексты «Дневника», прокламации «К барским крестьянам» и др. В этом сопоставлении и надо найти ключ. Между тем в упомянутой работе Стеклова совершенно нет речи, даже о прокламации «К барским крестьянам», хотя невозможно говорить о политических взглядах Чернышевского без изучения последней. Но не менее ясно, что в ней нет ни звука ни о рабочих, ни о социализме и коммунизме, а буржуазные порядки Англии и Франции выставлены, как верх благополучия. Мимо этих фактов пройти нельзя. В брошюре, очевидно, даны заостренные выводы исследования Ю. Стеклова, поэтому необходимо остановиться на ней подробнее. Этого особо требует и тот факт, что это—популярная брошюра, имеющая известного автора и десятитысячный тираж. Первое, что дойдет до массового читателя из юбилейной литературы, будет именно эта книжечка. Сличение некоторых выводов статей и брошюры позволяет говорить о том, что в последней Стеклов пошел еще дальше по пути «обольшевичения» Чернышевског. Ю. М. Стеклов начинает с указания на то, что основоположник русского революционного коммунизма (стр. 2, 4 и др.). Советскую

---

[1] Я не останавливаюсь подробно на этой статье, т к. она является предметом разбора в работе т. Кирпотина «Чернышевский и марксизм», которая входит в настоящий номер «Историка-марксиста».

[2] Это сказалось на диспуте о Чернышевском в обществе Историков-марксистов 11—18 мая.

власть, по мнению Стеклова, Чернышевский предсказывал, едва сойдя с университетской скамьи» (стр. 51), а Октябрьская революция есть именно та революция, «о которой некогда мечтал Чернышевский» (стр. 50). Концепция Стеклова нам кажется неправильной и подлежащей критике. Она, прежде всего, лишена исторической перспективы. Мерки, приложенные Стекловым к Чернышевскому, и приписанное ему значение даны не эпохой 60-х годов, а нашей современностью. В уста Чернышевского влагаются явно ленинские формулировки. Такими кажутся, например, рассуждения о «социалистическом перевороте в отсталой стране, с преобладанием мелкого крестьянского хозяйства» (стр. 15). Самое выражение «основоположник русского коммунизма» в высокой степени спорно: во-первых, можно ли говорить в данном случае о каком-либо национальном коммунизме? Тут внутреннее противоречие. Дело идет, очевидно, об «основоположнике коммунизма в России»; но и тут вызывает возражения термин «основоположник». Чернышевский основ коммунизма в России не заложил,—его коммунизм лишь ступенька, пройденная русской революционной теорией. Косвенным образом работа Стеклова может исказить представление о Ленине у недостаточно подготовленных молодых товарищей. Поэтому оставить концепцию Стеклова без критики никак нельзя. Во всю ширь эту критику можно развернуть лишь тогда, когда выйдет работа Стеклова, где основные его положения будут так или иначе аргументированы.

Другие исследования о Чернышевском, уже пущенные в оборот издательствами, более специальны, не затрагивают таких общих тем и, к тому же, очень немногочисленны. Укажем на статью Ю. Стеклова «Вокруг освобождения Чернышевского», помещенную в уже упомянутом юбилейном сборнике О-ва Политкаторжан. Ему же принадлежит живая и горячо написанная статья «Вокруг ссылки Н. Г. Чернышевского» («Каторга и ссылка», кн. 33—34, 1927), в которой сведены в одну общую картину все беззаконные действия царского правительства, преступившего собственные законы для того, чтобы до конца «обезвредить» своего опасного врага. К тому же циклу работ Ю. Стеклова относится статья «Вокруг смерти Н. Г. Чернышевского» (Кр. Архив, том 26, 1928), где собрано много данных, рисующих об откликах революционно настроеннынх кругов на смерть Чернышевского. Необходимо еще указать на статью «Решенный вопрос (Экспертиза по делу Н. Г. Чернышевского)» (Кр. Архив, т. 25, 1927). Этой работе предпослано введение Ю. Стеклова, выясняющее значение экспертизы. Как известно, обвинение Чернышевского основывалось царскими жандармами на приписывании ему ряда документов. Как ни настаивал Чернышевский на действительно научной экспертизе почерка, таковая произведена не была. Невежественные чиновники следственной комиссии и сената признавали грубые подделки провокатора В. Костомарова принадлежащими руке Чернышевского. Настоящая научная экспертиза почерков произведена лишь сейчас: она представляет собой данные работ комиссии, организованной редакцией «Красного Архива», в составе специалистов-графологов, под председательством В. И. Геркан и при участии представителей редакции журнала. Выводы работ с большой убедительностью доказывают подделку пред'явленных Чернышевскому документов и еще раз убеждают нас в полной юридической несостоятельности процесса даже с точки зрения царского «правосудия». Ряд работ готовится к печати. Предполагается издание большого юбилейного сборника в Саратове, в который войдут многие исследовательские статьи. Из авторов этого сборника укажем Каценбогена, Скафтымова, Каплинского, Буша, Ильинского, Иванова, Быстрова. Каценбоген предполагает опубликовать статьи «Чернышевский и Фейербах» и «Чернышевский и Спиноза», С. Г. Ильинский—статьи «Чернышевский как мыслитель и революционер» и «Проблема классов и классовой борьбы в разрешении Чернышевского», Ю. А. Иванов, «Чернышевский и историческая эволюция XIX в.». В. В. Буш работает над «Очерками гоголевского периода» Чернышевского.

Большую работу готовит к юбилею Н. М. Чернышевская-Быстрова. Она подготовляет к печати полную библиографию Чернышевского и о Чернышевском и труд «Летопись жизни Чернышевского». Без этих работ совершенно невозможно действительно научное исследование Чернышевского: обязательные условия настоящей научной работы—наличие полного библиографического указателя и синхронистических таблиц. Чрезвычайно желательно скорейшее издание этих ценных работ. К этому же типу изданий относится «Каталог рукописей Чернышевского», над которыми работает С. И. Быстров.

Следует отметить, что исключительно мало сделано для предварительного ознакомления широких читательских масс с юбилеем и его значением.

На всех вышедших или выходящих работах лежит печать специального изучения: они или публикуют скупо комментированный документ или останавливаются на частном вопросе, имеющем значение лишь для искушенного в изучении Чернышевского читателя. Широкий массовый читатель «обслужен» исключительно брошюрой Стеклова. Затем совершенно отсутствуют работы по эпохе Чернышев-

ского: ведь он совершенно непонятен вне эпохи. Вся несостоятельность спора о «большевизме» и «меньшевизме» Чернышевского вскрывается именно изучением его на фоне эпохи.

Последний крупный пробел—отсутствие популярной массовой книжки или статьи о влиянии Чернышевского на дальнейшее революционное движение, о восприятии его работ позднейшими революционерами. Ведь в этой-то стороне жизни идей Чернышевского—основная их сила. В эту тему входит другая, с которой надо бы начать: как относился Ленин к Чернышевскому и что он о нем писал? Ведь у Ленина масса высказываний о Чернышевском! Сделано тут что-нибудь? Пока—ничего.

И даже то немногое, что сделано к юбилею, едва ли к нему подоспеет. В результате и этого юбилея мы окажемся лицом к лицу со старой, но вечно новой «юбилейной» арифметической задачей: сколько юбилеев нам еще надо проворонить, чтобы научиться их своевременно отмечать?

НОВЕЙШАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Если наши историки-марксисты чрезвычайно мало уделяют внимания собственно военной истории и истории военного искуства (счастливое исключение, как известно, представляет в этом отношении М. Н. Покровский, но и его интересует, главным образом, лишь дипломатическая и вообще политическая сторона новейших войн), то некоторые из старых военных специалистов, под влиянием уроков революции и марксистской критики, все больше начинают проникаться мыслью, что военную историю нельзя изучать изолированно, как самостоятельный процесс, не связанный самым тесным образом с социальными отношениями, с экономикой и политикой каждой данной эпохи. Вместе с тем подрастает новое поколение военных историко-коммунистов, прошедших не только Военную Академию, но и марксистско-ленинскую школу, как теоретическую, так и практическую, в огне гражданской войны. В результате этих идущих друг другу навстречу процессов военная история в широком смысле слова, т.-е. история военного искусства в целом и история отдельных войн, начинает терять свой узко цеховой, профессиональный характер, ставится в рамки истории социально-политической и тем самым облекается плотью и кровью, становится жизненной и интересной не только для военных специалистов, но и для всех, занимающихся историческими проблемами, в числе которых проблема войны играет далеко не последнюю роль.

С этой точки зрения некоторые военно-исторические работы, вышедшие в течение последних 1½—2 лет, представляют собою несомненно крупное событие и заслуживают быть отмеченными на страницах «Историка-марксиста».

Впрочем, одни из этих работ, посвященные отдельным кампаниям или периодам мировой войны, при всей своей большой военно-научной ценности, преследуют специально военные задачи и интересуют почти исключительно чисто военных историков и теоретиков в области тактики, оперативного искусства и стратегии. В числе этих книг на первом месте, конечно, стоит капитальная 2-томная работа проф. Военной Академии, В. Ф. Новицкого, посвященная кампании 1914 г. в Бельгии и Франции (Гиз, т. I, 1927 г. и II, 1928 г.), а затем вышедшая в 2-х частях (в течение того же приблизительно времени) книга преподавателя Военной Академии А. Базаревского, исследующая последний этап мировой войны на зап. фронте («Кампания 1918 г. во Франции и Бельгии», Гиз, 1927 г.). Здесь стоит лишь отметить, что если проф. Новицкий, признавая все огромное значение социально-экономических факторов в современных войнах, думает все же, что их деятельность не сказывается в отдельных кампаниях и что вообще их изучение «относится к области социально-экономических наук, а не военной истории» [1], то в книге Базаревского социально-политическому элементу, поскольку он играл роль в последнем акте мировой драмы, уделяется уже сравнительно довольно большое место. Все же и она вряд ли может выйти за пределы чисто военной аудитории.

Поэтому наш обзор будет посвящен, главным образом, двум наиболее ярким и имеющим наиболее широкий и общий интерес работам последнего времени: двухтомной «Эволюции военного искусства» проф. Военной Академии, А. Свечина и диссертации на звание преподавателя высших военно-учебных заведений, написанной молодым военным историком-коммунистом В. Меликовым,—«Марна, Висла, Смирна» (Гиз. 1927 и 1928 г.г.).

---

[1] В. Ф. Новицкий «Мировая война 1914—18 г.г.», т. I, стр. 9, а также т. II, стр. 367, где автор считает, что в первый период войны и «политика и экономика... должны были, уступив место стратегии, временно отойти в сторону в качестве наблюдателей... военных событий».

Работа А. Свечина представляет из себя историю военного искусства, иллюстрированную в отдельных ее этапах анализом важнейших войн и даже битв. При этом автор преследует одновременно две цели: с одной стороны, рассмотреть эволюцию военного искусства, как часть «общей истории культуры», а с другой— искать в этой эволюции внутреннюю логику самого военного дела и использовать историю войн для определенных тактических, оперативных и стратегических выводов. Оба тома этой работы построены по разному типу. Если первый дает в широких мазках исторический обзор военного искусства от древней Греции и Рима через средневековье и новое время до наполеоновских войн включительно (в том числе и судьбы военного искусства в России, от Киевской Руси до конца XVIII в.), то второй том занимается подробным анализом ряда конкретных войн XIX и XX в.в. (Крымской, войн 1859, 66, 70 и 71 г.г., гражданской войны в Соедин. Штатах, русско-турецкой, англо-бурской и русско-японской войны) и характеристикой армий разных стран и заканчивается главой, где подводятся итоги развития военного искусства к началу мировой войны.

В первом томе автор в значительной мере следует за известной работой Дельбрюка, хотя и здесь привлекает много нового и свежего материала. Второй том—гораздо самостоятельнее и в некоторых своих частях обнаруживает знакомство с Марксом и особенно с военными работами Энгельса. В обоих томах проработан огромный общеисторический и военно-исторический материал, разбросано множество интересных мыслей, и читаются они в общем с большим интересом.

В настоящем обзоре, само собою разумеется, мы не можем останавливаться на чисто военных взглядах автора, в частности, на его противоставлении устаревшей, по его мнению, наполеоновской идее «сокрушения» — современной теории «измора».

Что же касается исторических взглядов автора, поскольку они отразились в данной работе и его методологии, то, хотя их далеко нельзя назвать марксистскими, но для него является аксиомой, что война есть функция политики и экономики, и поэтому зависимость основных моментов эволюции военного дела и организации армии—от общественной обстановки и экономики каждой данной эпохи, а также от классовой структуры и исторических особенностей данного государства—в общих чертах проводится автором довольно систематически и в большинстве случаев правильно и удачно. Впрочем, это имеет место, главным образом, по мере приближения к новому и новейшему времени. По отношению к античному миру и отчасти к средневековью, равно как к войнам ислама социально-политический фон намечен автором в весьма слабой степени.

Вместе с тем, целый ряд моментов книги вызывает серьезные возражения. Не касаясь мелочей, отдельных неясностей, ошибок или противоречий, неизбежных в таком труде, обнимающем около тысячи страниц и охватывающем колоссальное количество фактического материала,—остановимся лишь на более существенных моментах. Прежде всего, в своем методологическом введении автор придерживается совершенно устарелой исторической концепции, видящей «в общей мировой эволюции единый процесс» (т. I, стр. 15). В соответствии с этим он употребляет в дальнейшем выражения о «возрождении» денежного хозяйства и капитализма в новое время (вместо их «зарождения»), видит во всем военном искусстве нового времени лишь реставрацию античности и т. п. Все эти выражения и высказывания, конечно, устарели и неверны. Одновременно мы наблюдаем некоторое злоупотребление переносом новейших терминов, как «империализм», «буржуазная республика» и др. в античный мир.

Затем, на протяжении всего труда чувствуется сознательное игнорирование автором военного искусства стихийных народных движений, партизанских войн и т. д. Военное искусство революционных эпох автор, повидимому, считает достойным изучения лишь с того момента, как оно становится организованным, включенным в строгие военные рамки и подчиненным определенному военному вождю. Правда, влияние нашей гражданской войны сказалось в том, что автор вставил в свою работу весьма интересную главу о гражданской войне в Соед. Штатах. Но он в то же время совершенно не упоминает о национальных и гражданских войнах эпохи 1848—49 г.г., о Гарибальди, о военной организации Парижской Коммуны, не говоря уже о войне американских колоний с Англией, о войнах Нидерландов с Испанией (из всей этой эпохи он берет лишь Морица Оранского с его немецкими наемниками) и еще более ранних.

Наконец, давая интересные характеристики французской, германской, английской и русской армий в XIX в., характеристики, в которых нередко чувствуется благотворное влияние Энгельса и Меринга, автор несколько идеализирует Наполеона III (как он несомненно идеализирует и «демократизацию» русской армии в конце XVIII в.) и недостаточно глубоко проникает в политическую подоплеку новейших войн, особенно русско-турецкой и русско-японской. Между тем, не говоря уже о Марксе и Энгельсе (автором не использована их полемика с Лассалем по поводу войны 1859 г., а также письма и статьи Маркса о гражданской

войне в Америке), мы уже у Чернышевского в его поистине замечательных военных обзорах находим ряд драгоценных мыслей, касающихся влияния политики на причины, ход и исход войны 1859 г. и первых лет американской войны.

Впрочем, несмотря на указанные нами недостатки и целый ряд других, на которых здесь не место останавливаться, капитальная работа А. Свечина вносит свежую струю в военно-историческую литертуру, дает много интересного матѐриала, будит мысль и прочтется с пользой не только в той среде, для которой она непосредственно предназначена.

Книга В. А. Меликова — «Марна, Висла, Смирна» — это, насколько нам известно, первая большая, научно-исследовательская работа военно-исторического и стратегического характера, написанная марксистом-коммунистом. Это обстоятельство придает ей особый интерес, но это же заставляет и пред'явить к ней особые требования.

По своему замыслу работа т. Меликова представляет собою интересную и оригинальную попытку дать параллельный, связанный единством основной идеи и опирающийся на широкий социально-политический и исторический базис—анализ трех крупнейших кампаний 1914—1923 г.г., взятых из мировой войны, советско-польской и греко-турецкой. Автор разбирает подробно причины того, почему две первых кампании, смело задуманные и блестяще начатые, окончились неудачей, и почему третья из них привела к огромной и прочной победе. При внешнем сходстве всех трех кампаний они характеризуются глубокими различиями политической и стратегической обстановки. И это дает возможность автору—как при разборе каждой отдельной кампании, так и при заключительном итоге всей «трилогии»—сделать ряд поучительных выводов политического и оперативного характера.

Книга основана на проработке большого литературного и отчасти архивного материала, написана живо и с под'емом и способна «гражданского» историка заинтересовать военным делом.

Но при этом основная мысль автора—тесно связать исторически стратегию с политикой, и не только по отношению к целым войнам, но и к отдельным кампаниям, мысль, вполне правильная и марксистки выдержанная (эту задачу, как известно, блестяще выполнил Энгельс в своих статьях о франко-прусской войне),—эта мысль проведена автором весьма неполно и нередко противоречиво, почему читатель, заинтересованный поставленной автором проблемой, остается в значительной мере неудовлетворенным.

Прежде всего, в вопросе о Марне обширное предисловие автора, касающееся общих причин мировой войны, несмотря на весьма большое количество использованного материала, является, в общем, все же повторением достаточно известных вещей и потому могло бы быть сокращено в несколько раз. Гораздо более благодарной, хотя и более трудной, задачей было бы дать подробный социально-политический анализ именно первого этапа войны. Между тем автор, делая попытку, правда, довольно поверхностную, об'яснить германский план войны и самоуверенность германского командования перед Марной из особенностей экономического и политического развития Германии последних десятилетий перед войной, хранит полное молчание о причинах крупнейших стратегических ошибок и значительной растерянности во французских рядах в первый момент войны. А эти причины нетрудно было бы вскрыть при внимательном исследовании социально-политических и исторических и классовых особенностей Франции по сравнению с Германией.

Далее, если неудача похода на Варшаву, по мнению автора, в конечном счете об'ясняется несоответствием между смелым оперативным планом нашего командования и отсталостью нашего тыла в техническом и экономическом отношении,—то непонятно, как об'яснить блестящую победу турок в 1922 г., малоазиатский тыл которых—в культурном, техническом и экономическом отношениях—был еще более отсталым. Эта странность об'ясняется только тем, что автор очень мало остановился на национальном моменте, который в обоих последних кампаниях играл огромную, но противоположную по своим последствиям роль. По мере приближения к Висле нам все больше приходилось действовать по враждебной национальной среде, тогда как турки изгоняли из своей среды ненавистных завоевателей, питавшихся английскими субсидиями. Кроме того, автор не учел ряда особенностей нашей тогдашней экономической политики в оккупированных областях, которая могла оттолкнуть значительную часть мелко-буржуазного и крестьянского населения (что и учтено было Лениным в известном письме к грузинским большевикам в момент советизации Грузии).

Кроме этих общих замечаний, отметим несколько частных промахов, бросающихся в глаза. Автор некритически применяет термин «империализм» к Англии XVIII и даже XVII в., вместо термина «завоевательная политика». Он утверждает

(стр. 44, примеч.), что, как «установила современная экономика», «промышленные кризисы более или менее правильно повторяются через каждые 10—12 лет», забывая или не зная, что эта строгая периодичность уже более полувека, как отошла в область истории.

Наконец, при общей живости, яркости и образности языка книги, в нем попадаются иногда выражения, вызывающие улыбку и свидетельствующие о недостаточно тщательной редакции. Так, на стр. 350 мы читаем о «полном бесправии турецких султанов в занятых областях» (вм. бесправия населения под властью султанов).

При всем том книгу т. Меликова нельзя не признать оригинальным по замыслу, свежим, интересным и, в общем, крупным вкладом в нашу военно-историческую литературу.

В заключение отметим еще выход первого тома «Гражданской войны 1918—1921 г.г.». Это издание, выходящее под общей редакцией А. С. Бубнова, С. С. Каменева и Р. П. Эйдемана, рассчитано на три тома. Первый том под заглавием «Боевая жизнь Красной армии», редактировавшийся В. А. Меликовым, Н. А. Русановым и А. Н. Де-Лазари, посвящен, главным образом, мемуарному освещению большого ряда моментов гражданской войны на всех фронтах, до Кронштадта включительно, при чем мемуары писались непосредственными участниками событий, в том числе такими крупными деятелями Красной армии, как С. Буденный, Н. Кузьмин, Фабрициус и другие. Тому предпослана большая и значительная по содержанию вводная статья А. С. Бубнова, дающая общий военный и политический анализ эпохи гражданской войны. Книга снабжена множеством весьма любопытных фотографий, издана хорошо и читается с большим интересом.

Следующий том будет посвящен тактическим, оперативным и стратегическим выводам, имеющим военно-научное значение, а третий—общему стратегическому очерку гражданской войны.

Б. Горев

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ [1]

Приступая к настоящему обзору, я прежде всего натолкнулся на ряд затруднений чисто формального характера. Первым явилась необходимость установить хронологические рамки привлекаемого материала. Литература по древней истории настолько бедна, что казалось соблазнительным охватить весь послереволюционный период, давши таким образом обзор «за десять лет». В такой обзор, однако, пришлось бы включить и произведения, только случайно вышедшие после революции и подготовленные к печати значительно ранее. Поэтому я условно начинаю свой обзор с 1920 г. — года оживления издательской деятельности и появления первого «академического» послереволюционного журнала, посвященного вопросами истории—«Дела и Дни». Начиная с этого момента, я стремился зарегистрировать по возможности все вышедшие за это время существенные работы (заранее отведя только первые томы труда покойного Н. А. Рожкова—«Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики)», из которых первый вышел в свет ранее указанного срока—в 1919 г. и которые, с одной стороны, мало чем отличались по общей концепции от вышедшей еще задолго до революции «Русской истории с социологической точки зрения» того же автора и, с другой, казались более интересными для рассмотрения в связи с остальными томами «Истории» Рожкова); здесь, однако, встретилось новое затруднение. Разработка тем древнего периода русской истории с значительной интенсивностью (относительно количества исследователей) шла в провинции; последнее обстоятельство легко об'яснимо—историки, живущие в центральных городах, особенно в Москве и Ленинграде, получили от революции богатейший подарок—недоступные до той поры архивы и в первую очередь принялись за их разработку. Но провинциальные издания, обычно с небольшим тиражем, быстро становились библиографической редкостью, и их с трудом можно разыскать даже в центральных наших книгохранилищах, и то в разрозненных комплектах. Становилась сомнительной полнота обзора. Кроме того, оказывалось затруднительным включить в обзор с надлежащей полнотой и работы украинских историков, напечатанных в украинских изданиях, тоже не всегда имеющихся в нашем распоряжении.

[1] Редакция, помещая обзор т. И. Троцкого, в котором дано изложение литературы вопросов древней русской истории, считает необходимым указать, что она еще вернется к этому вопросу в одном из ближайших №№ для марксистской оценки самой проблематики затронутого периода по существу.

При всех этих оговорках мне все же казалось возможным дать, хотя и не исчерпывающий, обзор литературы по основным темам, которыми оказались: 1) История славянского расселения и возникновение русского государства; 2) Колонизация русской территории; 3) Социальный строй древней Руси и возникновение феодализма. Характерно почти полное отсутствие работ по вопросам развития производительных сил и хозяйства древней Руси. Причины этого кроются, с одной стороны, в скудости источников по экономической истории этого периода, с другой,—в том, что разработка этих вопросов до последнего времени почти целиком шла методами историко-юридической школы. Кое-что, впрочем, сделано и в этом направлении; но это последнее почти совсем не отразилось в трудах, посвященных первым названным здесь темам, и к рассмотрению работ по истории хозяйства я перейду в свою очередь, независимо от остальных отделов.

Нормальные размеры журнального обзора не позволяют остановиться с достаточной полнотой на разборе всех встающих тем и вопросов. Поэтому, подчас мне приходится ограничиться только изложением содержания той или иной работы с указанием наиболее важных ее моментов.

Уже давно стала аксиомой невозможность изучения древнейших, праисторических моментов русской истории без помощи археологии. Тем больший интерес вызывает статья компетентного русского археолога А. А. Спицына «Археология в темах начальной русской истории» (Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову, П. 1922, стр. 1—12). Однако автор сразу же предупреждает читателя о том, что «мы можем дать здесь пока немногое», и действительно, статья гораздо больше говорит о тех возможностях, которые наступят, когда археологи должным образом изучат пространство русской равнины. Пока что выводы археологии сводятся к тому, что «широкая полоса восточного побережья Балтийского моря» стала в VI—VIII веках очагом довольно развитой и самобытной культуры; что знакомство этого края с норманнами началось не ранее половины IX века и что последние шли на русский север с Готланда. Далее автор намечает картину распределения финских племен и болгар по Волге, ставит ряд вопросов о характере существования летописных Веси и Мери и далее переходит к «трудному, многостороннему вопросу» — «откуда и когда появились в Новгороде славяне?» и делает по этому поводу ряд интересных замечаний, требующих, однако, как признает и сам А. А. Спицын, дополнительных подтверждений в виде новых раскопок и новых аналогичных материалов. Приходится пожалеть, что краткость (вряд ли случайная) статьи делает автора скупым по части сообщения фактического материала, который он кладет в основу делаемых наблюдений и гипотез. Так остается непонятным замечание на стр. 11 — «Путь из варяг в греки» — не реальность, а лишь возможность, подмеченная летописцем». При этом автор об'ясняет свою мысль, говоря, что норманны могли не доходить по этому пути до Константинополя, имея возможность получать все византийские товары в Киеве. Остается неясным, что могло задерживать норманнов в тот период, когда сношения Киева с Константинополем шли невозбранно, да и трудно себе представить древнего летописца сидящим над ландкартой Восточной Европы и устанавливающим «возможные» пути для норманнов. Вместе с тем очень ценно наблюдение, совпадающее с мыслью, которая сейчас как будто не вызывает уже возражений, хотя и высказывалась гипотетически,—о том, что основной артерией норманнских интересов был Волжский, а не Днепровский путь; это положение значительно изменяет сложившиеся в предыдущую эпоху взгляды на начальный период русской истории.

Вывод А. А. Спицына о медленности успехов археологии заслуживает тем большего сожаления, что плодотворность изучения археологических данных для историка чрезвычайно велика. Это лишний раз подтверждается статьей П. Г. Любомирова «Торговые связи Руси с Востоком в VIII—XI вв.» (Ученые Записки Государственного Саратовского имени Н. Г. Чернышевского Университета, 1913 г., т. I, в. 3, стр. 5—38). Автор, исходя из имевшихся в литературе данных по топографии кладов восточных монет на русской территории (главным образом по изданному в 1910 г. каталогу А. К. Маркова) составил карту этих кладов, на основании которой получил возможность приблизительно судить о времени и длительности знакомства отдельных русских местностей с Востоком. Выводы оказались довольно любопытными. Прежде всего, кажется прочным соображение П. Г. Любомирова на счет «преобладания восточных связей Руси почти до конца X века»; вероятными кажутся его соображения о главных путях торговли с Востоком—донском из Приднепровья и волжском из Новгородской области; любопытно и правдоподобно представление о более раннем возникновении торговом значении Пскова и Ладоги и сравнительно позднем появлении Новгорода (несколько наивны только ссылки на летописные предания, которым автор доверяет полностью). Несколько менее убедительными кажутся социологические обобщения П. Г. Любомирова относительно процесса развития городов и предполагаемого им разрыва между экономикой

древне-русского города и деревни (последнее, впрочем, имеет вероятие, но здесь нельзя так обще говорить о всей древней Руси). Интересно отмечены и моменты хронологии восточной торговли, падающей с конца X века.

Вопросы истории славянского расселения и происхождения «Руси» не переставали интересовать русских историков. После появления в 1919 г. работы А. А. Шахматова «Древнейшие судьбы русского племени» (обстоятельно рассмотренной А. Е. Пресняковым в заметке «Взгляд А. А. Шахматова на древнейшие судьбы русского племени»—«Р. Ист. Журнал» кн. VII, П., 1925, стр. 114—120) особенное внимание этим вопросам уделил В. А. Пархоменко (его работы «О происхождении Руси»—«Русское прошлое» кн. 4, 1923 г., стр. 36—41, «Древляне и поляне»—«Известия отделения Р. яз. и слов. Акад. Наук» т. XXXI, стр. 267—270 и главная работа «У истоков русской государственности», Л. 1926, стр. 113). Концепция В. А. Пархоменки, исходя из намеченных Шахматовым трех групп славянских племен на русской территории, предполагает наличие и трех племенных союзов, борьба между которыми и составляет содержание первых столетий русской жизни. Если самая схема кажется довольно остроумной, то методы наполнения ее фактическим материалом вызывают больше чем простое сомнение. Автор чрезвычайно свободно пользуется летописными статьями, по произволу отбрасывая одни и слепо доверяя другим, хотя бы имеющим и явно апокрифический характер, пользуется ссылками на исследователей, как на источники, если это ему почему-либо выгодно и если даже общая концепция данного исследователя не совпадает с его построениями и пр. Для характеристики методологической установки автора можно указать, что экономической обстановке изучаемого им времени он посвящает около 10 строк (отдельные, попутные, замечания имеются, впрочем, и в других местах книги) в занимающей одну страничку главе с несколько странным названием: «Экономические влияния (?) и антропологический тип населения»; сама по себе идея создания антропологического типа под влиянием хозяйственной структуры могла показаться автору «отвечающей духу времени», но для VIII—IX вв. сие несколько сомнительно, да и ничем, помимо текста названия главы, в дальнейшем не подтверждено. Впрочем, автору не до экономики, потому что он стремится «рассмотреть вопрос о начале государственности у Восточных славян с сосредоточением внимания на факторах, действовавших на образование нашей государственности раньше норманнизма и помимо него». С норманнской теорией происхождения Руси автор расправляется очень жестоко, попросту ее игнорируя, а неприятные ему факты устраняя уже поименованными выше приемами. Так для утверждения южного происхождения «Руси» (идея эта вовсе не нова, но приобретает у автора несколько новое выражение), как имени, присвоенного союзу полян, занявших Киев и положивших тем начало «русской государственности», понимаемой автором, кстати, в виде какого-то единого организующего все и вся начала, приходится погрузить русский север в полную тьму невежества. «Самое имя Новгорода, как нового города, и история его постепенного возвышения в XI—XII вв., отсутствие о нем данных до 970 года (?), самая комбинация призывающих князей славяно-финских племен и т. п. заставляет усумниться в возможности начала русской государственности на столь далеком от культурных центров севере» (стр. 7). Так Новгород, являвшийся центром восточной торговли, по мнению А. А. Пархоменко, «довольно долгое время был лишь торговым форпостом южного Киева» (стр. 87). Подобных замечаний и даже гипотез, не лишенных интереса курьеза (сравни напр., стр. 79—80), можно было бы привести немало; это не мешает наличию в книге и целого ряда интересных, тонких и верных замечаний, но лишь по отдельным детальным вопросам. Общая концепция остается недоказанной, автор подчас сам путается в сетях своих построений, что и приводит на последних страницах книги к следующему непонятному итогу: «Киево-Полянская Русь своим появлением на Днепре и походами сделала (?) новый этап в истории государственности на Руси, произведший (??) в XI—начале XII века попытку создать большой государственный союз, об'единенный общностью военной организации и торгово-экономических интересов, связанных с Балтийско-Днепровским путем» (стр. 111—112). Впрочем, понятия «государственности»» автор до конца не раскрывает, п. ч. на стр. 110 мы находим сожаление об отсутствии в древней Руси «типа князя-государственника», очевидно таящего некоторые особые качества...

Хотя в представлении только что разобранного автора норманнская теория происхождения Руси может считаться ликвидированной, тем не менее она продолжает находить довольно авторитетных сторонников. Так, акад. С. Ф. Платонов в статье «Руса» («Дела и Дни» кн. 1, П. 1920, стр. 1—5), исходя из гипотезы того же Шахматова о наличии на северо-западе варяжского политического центра, приводит ряд соображений в пользу помещения этого центра около Старой Руссы. В. Брим («Происхождение термина «Русь» — «Россия и Запад», кн. 1, П. 1923) производит этот термин от шведского drotsmenn (дружинник) через финское Ruotsi в Русь, полагая, что на ряду с этим существовало и на юге имя «Рось», позднее об'единившееся с первым.

Некоторые замечания по истории заселения южной части территории древней Руси мы находим в работе проф. Е. А. Загоровского «Очерк истории северного Причерноморья».Одесса, 1922, стр. XII + 100, но работа эта, особенно в данной части, носит характер добросовестной компиляции и опирается на взгляды предшествовавших исследователей.

Вопросам внешних сношений Киевской Руси с западом посвящены две интересных статьи: «Западные пути торговли Украины-Руси Н. Л. Рубинштейна («Вестник Одесской Комиссии Краеведения»[1], 1925 г. № 2—3, стр. 120—134) и «Германия и Киев в XI веке» М. Э. Шайтана (Летопись занятий Постоянной Историко-Археограф. Ком. Ак. Наук. СССР за 1926 г. в I. (XXXIV) Л. 1927 г., 3—20). Н. Л. Рубинштейн отмечает, что традиционная схема, считающая киевскую торговлю с западом исконной, не может найти себе достаточно убедительного подтверждения в источниках. Автор обращает внимание на то обстоятельство, что для X в. городские поселения располагаются главным образом в районе Приднепровья, между тем, как в древлянской земле оказываются всего два города—Искоростень и Овруч, а юго-запад оказывается вне летописного кругозора. Только с конца X века, в связи с замеченным Шахматовым в это время отливом населения на запад, начинаются и западные походы киевских князей, при чем первоначальным путем оказывается водный путь на Припять, только к концу XI века, в связи с колонизацией Волыни и Галиции и ростом западной торговли, уступающий сухопутному тракту на Владимир. Последний автор отожествляет с знаменитым «соляным» путем летописей. Что касается дунайской ориентации Святослава, то путь его шел через Днепр и Черное море, и в об'яснение интересов Святослава автор приводит правдоподобную гипотезу, что мыслью князя было перенять западную торговлю Византии, что становится особенно вероятным, если принять во внимание упущенный Н. Л. Рубинштейном момент—ослабление к этому времени восточной торговли и рост Византии, как мирового центра торговли с Левантом.

Эта любопытная схема имеет один коренной недостаток: в большинстве случаев автору приходится аргументировать a silentio. Но ведь о западных городах молчат летописцы не X, а XI века (в частности, Начальный Свод), а говорит о них по преимуществу Повесть временных лет, как известно, включившая какую-то галицкую летопись конца XI века, и лакуны летописного кругозора, на которые сылается автор, могут иметь иное происхождение. Не освещен также археологический материал, в частности не приведено никаких соображений о пути из Киева на Западную Двину, указанном еще Середониным и приобретающим новое значение после указанной в обзоре статьи Любомирова. Что же касается некоторых общих выводов автора об экономической и социальной структуре киевской Руси,—активность русской торговли в X в., отсутствие (?) внешней торговли в XI в. и пассивность ее в XII, XI в.—период феодализации и сеньериализации и пр.—то они никак не базируются на приведенном Н. Л. Рубинштейном материале и в данном построении оказываются висящими в воздухе. Догматичность их признает и сам автор, обещающий посвятить этим вопросам «особое обстоятельное исследование».

Выводы Н. Л. Рубинштейна, очевидно, не могли бы быть приняты и покойным автором второй из поименованных статей. М. Э. Шайтан исходит из представления о развитых торговых сношениях Киева с западом уже в X веке и на богатом фактическом материале западных источников рисует сложные политические взаимоотношения Руси с Западом, начиная с попыток католизации Руси и введения ее тем самым в орбиту Германской империи уже при Ольге и Владимире. Молчание русских летописцев об этом об'ясняется автором «особенностями русского летописания, которое, повидимому, сознательно замалчивало сношения с латинским миром». Переходя к непосредственно интересующей его проблеме—сношениям Киева с Германией при Ярославичах, автор рисует интереснейшую картину участия киевского князя в германских делах и в борьбе империи с папским престолом. В этом сложном клубке особую роль приобретает торговый город Регенсбург, являвшийся средоточием русской торговой и дипломатической деятельности. Остается пожалеть, что преждевременная смерть автора не дает нам возможность ждать продолжения его работ по приведению в известность западных источников о древней Руси.

Ряд работ посвящен вопросам позднейшей колонизации севера и колонизации северо-востока. С. Ф. Платонов в небольшой, догматической по изложению, статье «Был ли первоначально русский север крестьянским?» (Архив Истории Труда в России, кн. 2. П. 1921, стр. 15—18) протестует против точки зрения, считающей свободное крестьянское население русского севера XVI—XVII вв. исконным. Автор справедливо отмечает, что заселение северного края шло из Новгорода, а последний был заинтересован не в развитии сельского хозяйства колонизуемых областей, а в постановке промыслов, при чем последние, насколько мы можем

[1] Обложка журнала на украинском, текст статьи на русском.

судить из летописей, эксплоатировались крупными капиталистами-боярами (едва ли не напрасно к ним присоединены автором и «житьи люди»—термин не очень ясный и для первых столетий колонизации Поморья сомнительный), при чем эта эксплоатация была поставлена на широкую ногу, на манер позднейших торговых компаний. Благодаря этому боярскому освоению новгородских волостей и могли создаться колонии, принадлежавшие отдельным частным фирмам, как, напр., семейству Борецких. Только московская экспроприация боярского землевладения привела к замене капиталистической эксплоатации края новой формой мелкого крестьянского землепользования.

Ту же мысль о новгородской торгово-промышленной колонизации севера С. Ф. Платонов развил в вводной части очерка «Новгородская колонизация Севера» [1] («Очерки по истории колонизации севера», вып. 1, П., 1922, ст. С. Ф. Платонова и А. И. Андреева «Новгородская колонизация севера», стр. 26—37), и из этого же построения (вплоть до буквальных заимствований) исходил Г. Ф. Чиркин в соответствующих местах своей статьи в том же сборнике «Историко-экономические предпосылки колонизации Севера» (стр. 7—26). В статье «Низовская колонизация на Севере» (Ibid., стр. 47—69) С. Ф. Платонов отмечает другой поток колонизации Поморья из Владимиро-Суздальской земли, относящейся уже к несколько более позднему времени.

Интересную статью, посвященную вопросам древнейших судеб русского северо-востока, дал А. Насонов—«Князь и город в Ростово-Суздальской земле (в XII и первой половине XIII вв.)» (Сборник «Века», П., 1924, стр. 3—27). Автор выступает против сложившейся в исторической литературе традиции, согласно которой Ростово-Суздальский край колонизуется только в XII в. и в нем «благодаря устроительской деятельности князей создается «особый мир», где князь попадает в положение хозяина и собственника». Колонизационной схеме Ключевского и взгляду Соловьева, считавшего города Ростово-Суздальской земли новообразованиями, «незнакомыми» с самостоятельной вечевой жизнью, где князь был «властелином неограниченным, хозяином полновластным»,—автор противопоставляет археологические данные, свидетельствующие о значительно более ранней колонизации края, шедшей уже в IX—X веках из Новгородской земли. Этот тезис А. Насонова мог бы быть при желании подтвержден еще рядом аргументов, но автор ограничивается общим указанием и переходит к выводу, что города Ростовского края, в частности сам Ростов, возникали, как военно-торговые, вероятно, скандинавские фактории. Анализ летописных данных приводит автора к выводу, что уже в XI в. «в городах и погостах Ростовской земли можно обнаружить на ряду с низшим городским классом населения присутствие местной торговой знати». Отрицая, и, кажется, не без оснований, признававшуюся всеми предшествующими исследователями связь Ростова с Киевом, автор представляет себе развитие северо-восточных городов, как городов торговых, с вечевым строем, наподобие других известных нам городов древней Руси. Несколько более спорны взгляды автора на сущность борьбы старого Ростова с новым сравнительно Владимиром, причину которого он ищет в стремлении последнего, как растущего нового центра, освободиться от опеки старейшего города. Здесь оказывается недостаточно учтенной классовая дифференциация северо-востока, к концу XII, началу XIII вв. уже довольно ощутительная, не освещена финансовая деятельность Андрея Боголюбского, на которую автор мог бы найти указания в «Истории» М. Н. Покровского; может быть, при разборе идеологических моментов—а летопись, как материал идеологического порядка, автор умеет использовать—следовало бы обратить внимание на существование у летописца, и именно Ростовского, взгляда на Новгород, как на старейший город земли Русской (Лавр. 1206).

Все названные выше работы свидетельствуют о том, что пересмотр основных вопросов древнейшей русской истории идет. Несмотря на разноценность и разнохарактерность как методологических взглядов отдельных авторов, так и их материалов, несмотря на разницу в оценке ими значения отдельных вопросов и в ширине их постановки, совершенно ясно, что новые работы никак не могут уместиться в рамки старых традиционых схем. Неслучайно стремление отдельных авторов перейти от частного материала к обобщениям более широкого порядка. Потребность в таком обобщении чувствуется очень остро, но прийти к нему можно, только изучив весь материал, свидетельствующий об общественных отношениях древней Руси. Работы ведутся и в этом направлении, и к ним я и перехожу.

Одним из основных источников социальной истории древней Руси является «Русская Правда». Однако, несмотря на то, что с момента ее издания прошло около двухсот лет и над выявлением социального смысла содержащихся в ней

[1] Названные статьи С. Ф. Платонова вместе с другими его статьями по вопросам колонизации Севера в более поздний период собраны в его книжке «Прошлое русского севера». П. 1923, стр. 80.

правовых норм поработало уже не одно поколение русских историков,—источник этот продолжает оставаться далеко еще не изученным и спорным. Одной из основных тому причин является отсутствие полного критического издания всех списков Русской Правды,—издана только малая часть их,—и таким образом представляется невозможным установить точную историю памятника и путем сравнительного изучения отдельных списков притти к несомненным чтениям спорных мест. Поэтому от Р. П. можно ожидать еще новых данных для понимания древнейшего периода русской истории, и изучение ее за последние годы дало ряд любопытных работ. Так, только в 1920 г. была напечатана (написана она ранее, но по малой ее известности я счел возможным включить ее в обзор) статья И. А. Стратонова «К вопросу о составе и происхождении краткой редакции «Русской Правды» (отдельный оттиск, Казань, 1920, стр. 44). Рассматривая текст краткой редакции Р. П. в том виде, в каком он помещен в Новгородской летописи под 1016 г., автор солидаризируется с исследователями, устанавливавшими сложный состав этого памятника и делит его на четыре части: 1) П. Ярослава, 2) П. Ярославичей, 3) «Покон Вирный», или «Урок Ярославль», и 4) Устав о «Мостах». Рассматривая каждую из частей в отдельности, И. А. Стратонов приходит к выводу, что первая часть Р. П. в ее древнейшей редакции, т.-е. первые 17 статей, представляет уставную грамоту, данную Ярославом Новгороду действительно в 1016 г., как и указано в летописи, и являющуюся «первой попыткой писаного законодательства». Вывод этот подтверждается сравнением изучаемого памятника с Двинской уставной грамотой, в результате которого автор устанавливает, что все моменты, характерные для уставной судной грамоты, имеются в интересующем его тексте. Касаясь второй части краткой редакции Р. П., автор, путем довольно сложных и подчас сомнительных построений, приходит к заключению, что памятник этот был создан в 30-х годах XI в. в развитие первого старшими представителями княжеской дружины в Киеве, во время отсутствия Ярослава и при номинальном участии его малолетних сыновей. В дальнейшем он получил всеобщее применение и в Новгороде был соединен с первой грамотой. Третья часть Р. П. является, по мнению автора, совершенно самостоятельным памятником, непосредственно принадлежавшим законодательной деятельности Ярослава и регулировавшим финансовые взаимоотношения княжеской администрации и местного населения. Отрицая возможность существования какой-нибудь иной грамоты, дававшей финансовые привиллегии новгородцам, как то думают некоторые историки, И. А. Стратонов придает особое значение «Покону вирному», одновременно, очень своеобразно ставя вопрос о «вире», как административной единице. Четвертая часть—устав о мостах—повидимому, дошла в краткой редакции неполной.

Не имея возможности рассмотреть здесь эту работу критически, ибо для этого пришлось бы разбирать статью пункт за пунктом, отмечу, что в общих своих представлениях о новгородской жизни XI в. автор остается целиком в рамках схемы Соловьева и Ключевского, рассматривавшей Новгород второй половины XI в. как какой-то «пригород» Киева. Между тем ни источники, ни соображения методологического порядка этой точки зрения не подтверждают, и аргументация автора относительно невозможности появления грамот, дававших Новгороду политические и финансовые привилегии, не кажется устойчивой. Существенную поправку к работе И. А. Стратонова сделал А. Е. Пресняков, указавший в своей рецензии на его статью («Книга и Революция» 1921 г., № 13), что автором игнорируются моменты воздействия на Р. П. дружинного быта и «княжого права», без чего трудно как следует понять содержание Р. П., особенно в краткой ее редакции.

К точке зрения Стратонова отчасти примыкает статья И. И. Яковкина «Договор, как нормативный факт в древнем праве» («Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову», П. 1922 г., стр. 15—23). Оставляя в стороне, сомнительные теоретические соображения автора о юридической природе договора в древности, отмечу, что он рассматривает Правду 1016 г., как договор между Ярославом и новгородцами, содержанием которого «было отмежевание последних от состава княжеского двора и защита членов таковаго». Выигрышным моментом конструкции является ее историчность, так как она опирается на летописный рассказ о столкновении Ярослава со своей дружиной в 1015 г.; некоторые сомнения вызывает только «пассивность» дружины в концепции автора, считающего, что ее нужно было оберегать от городского населения.

П. А. Аргунов в статье «К пересмотру построений закупничества Русской Правды» (отд. оттиск из «Уч. записок Сарат. Гос. Ун-та» за 1927 г., т. VI, вып. 4, стр. 38) полемизирует с исследователями, считающими институт закупничества возникшим на почве операций займа и самозоклада, главным образом, с И. И. Яковкиным и положениями, обоснованными последним в статье «Закупы Русской Правды» в «Журнале Мин-ва Нар. Просвещения» в 1913 г. В этом направлении автор пересматривает значение связанных с закупничеством терминов, как «купа» и «копа», «отарица», «вражда», «свойский конь» и пр. «Просмотрев все места Р. П., где теория самозаклада должника кредитору ищет своего фундамента для построе-

ния закупничества», автор приходит к выводу, «что Р. П. не дает настоящего материала для такого построения». Собственно критической частью автор и ограничивается и новой концепции общественной природы закупничества не дает, каковое обстоятельство оговорено им и в предуведомлении к статье.

На точке зрения теории «самозаклада» закупов стоит и П. Беляев в статье «Заем и заклад по древне-русскому праву» («Русский Исторический журнал» кн. 7, П., 1921 г., стр. 61—91). Автор исследует обозначенные в заглавии явления на протяжении довольно длительного периода в несколько сот лет и рассматривает только относящиеся к нему правовые нормы в духе историко-юридической школы, совершенно обособляя изучаемые институты от конкретной исторической обстановки, в которой они зарождались и изменялись, что придает работе описательный характер.

Значительно шире и глубже ставит рассмотрение вопросов, связанных с социальной историей Древней Руси, С. В. Юшков в своих работах «О прикладниках (к истории феодальных институтов древней Руси)», («Культура», Саратов, 1922 г., № 2—3), «К вопросу о смердах» («Уч. записки Гос. Сарат. Ун-та» 1923 г. т. I, вып. 4, стр. 46—82) и «Феодальные отношения в Киевской Руси» (там же, т. III, вып. 4, стр. 1—108). Основные выводы первых двух статей вошли в конструкцию последней из названных работ, и поэтому позволительно сосредоточить внимание на ней.

Кроме вводных и заключительных замечаний, работа С. В. Юшкова содержит восемь глав: 1) основные моменты в процессе феодализации Киевской Руси; 2) окняжение и обоярение (феодализация) земли; 3) процесс феодализации и рост зависимого сельского населения; 4) новые служебные отношения и связи с вассалитетом и министериалитетом; 5) возникновение и развитие патроната; 6) возникновение иммунитета; 7) вопрос о поместном землевладении в Киевской Руси и 8) местные особенности в развитии процесса феодализации.

В первой главе автор ставит вопрос о моменте, от которого нужно вести генезис феодализма в древней Руси, и согласно с концепциями М. Н. Покровского и Н. А. Рожкова приходит к выводу, что «корни феодализма можно и нужно искать не в удельном периоде...... а в экономическом и социально-политическом строе Киевской Руси». Однако, хотя в хозяйственном строе Киевской Руси автор и замечает ряд моментов, благоприятствовавших развитию феодализма, но в истории X—XI вв. он не находит таких хозяйственных сдвигов, которые могли бы привести к замене одной общественной системы другою. Такой сдвиг обнаруживается в начале XII в., когда происходит экономический кризис, приводящий к падению киевской торговли, перемещению хозяйственных центров и переоценке видов хозяйственной деятельности. Кризис этот, замеченный уже предшествующими исследователями, не получил, по мнению С. В. Юшкова,, научного обоснования, ибо все выдвигавшиеся ими причины «являются в лучшем случае сопутствующими фактами, если не следствиями, основных экономических причин». Такую основную причину автор находит в вытеснении Руси с мирового рынка благодаря падению византийской торговли и овладению западно-европейскими странами восточными рынками. Благодаря этому мировому сдвигу, Русь выпала из системы мирового товарообмена; в результате прекратились торговые связи, а освободившийся капитал с новой силой обратился на землю. Стало расти крупное землевладение одновременно с ростом зависимого крестьянства и его обезземелением. На этой почве и расцветают феодальные институты.

Вслед за этой общей концепцией, стройной и обоснованной, автор переходит к изучению отдельных моментов феодализации. Здесь ему приходится разрешить вопрос, на почве каких форм сельского хозяйства возникает крупное землевладение. Опровергая точку зрения Павлова-Сильванского, выводившего процесс феодализации из разложения поземельной общины, С. В. Юшков не считает возможным примкнуть и к М. Н. Покровскому, полагающему, что процесс этот развился на основе печищного землевладения. Автор приходит к выводу, что «земельный быт древней Руси в то время... правильнее представлять, как совокупность довольно разнообразных форм землевладения». (Впрочем, в данном случае отсутствие материала позволяет строить различные, более или менее вероятные, гипотезы). Расматривая далее процесс образования крупных земельных владений—«вотчин», он указывает, что процесс этот начинается в XI в., но развивается довольно слабо. Общий вывод—«существенной чертой процесса сеньоризации в Киевской Руси является его неяркость, распыленность, его примитивные формы».

Следующая глава, являющаяся в значительной степени изложением названной выше работы того же автора, повествует о смердах, в которых автор хочет видеть особую группу зависимого сельского населения, аналогичную homines pertinentes западного средневековья. Таким образом, уже в XI в. наряду с рабами (холопами) и полусвободными (закупами) образуется слой свободного, но ограниченного в правах крестьянства, благодаря чему облегчается дальнейший рост феодализации.

В последующих главах С. В. Юшков останавливается на процессе разложения дружинного союза, отмеченном А. Е. Пресняковым в его известной работе о «княжом праве» и сопоставляет характер боярской службы XII—XIII вв. с аналогичными явлениями на Западе. Далее, он изучает ранние явления патроната и иммунитета (прикладники, изгои и т. п.), указывает, что в наиболее феодализованной, если так можно выразиться, части древней Руси—Галицкой земле—уже в XII—XIII вв. можно наблюдать факты служилого землевладения на основе пожалования, близкого к западно-европейскому бенефицию, и, наконец, отмечает особенности изучаемого им процесса, как он протекал в обстановке: 1) Галицкой земли; 2) В. Новгорода и 3) Ростово-Суздальской земли.

Вместе с тем, автор все время подчеркивает, что в русских условиях феодализм создавал формы неяркие, примитивные и недостаточно регламентированные, что и служило в значительной степени препятствием к установлению самого факта существования феодальных отношений в древней Руси.

Автор ставит вопросы чрезвычайно важные, существенные, и довольно трудно дать подробный анализ его положений, очень часто опирающихся на чрезвычайно детальные моменты в источниках. Можно отметить только, что аргументация автора слабеет, как только он переходит к данным XI в. Так, одной из наиболее слабых частей его построения является глава о смердах—вопросе, уже давно служащем камнем преткновения для исследователей русского прошлого. Гипотеза С. В. Юшкова также оставляет немало очень спорных мест—думается, что разрешения вопроса о смердах или, по крайней мере, более или менее убедительного нового его освещения можно добиться, только пойдя по пути, указанному акад. Н. Я. Марром и в его работах по этому вопросу. Последний считает смердов этнической категорией, только позднее переходящей в социальную, и в этом свете связь между смердами и западно-европейскими «смардонами» и т. п., на которую указывает С. В. Юшков, может получить новое значение. Эта же точка зрения может облегчить понимание разнохарактерности положения смердов в различных местах страны и по различным источникам.

Тому же С. В. Юшкову принадлежит работа «Исследования по истории русского права», вып. I (издание Саратовского Общества Истории, Археологии и Этнографии, год необозначен, стр. 151), посвященная «Уставу князя Владимира». В первом выпуске исследуется только история текста памятника. Во второй части автор обещает дать реальное исследование «Устава», но о выходе ее в свет мне ничего не известно.

К работам С. В. Юшкова примыкает статья выше уже упомянутого П. А. Аргунова «Крестьянин и землевладелец в эпоху Псковской Судной Грамоты (к истории сеньерьяльных отношений на Руси)» («Уч. записки Сарат. Гос. Ун-та» 1925 г., т. IV, вып. 4, стр. 90—130). Статья посвящена изучению отношений между «государем» и «изорником», на основании толкования соответствующих текстов П. С. Г. Не соглашаясь с обычным пониманием положения изорника, как свободного арендатора, автор прежде всего останавливается на самых терминах «государь» и «изорник», при чем первого он склонен рассматривать как феодального сеньора, а второго толкует, путем сопоставления с значением этого слова в других славянских языках, как «земледельца, пахавшего чужую землю из-за хлеба или выговоренной доли урожая», т.-е. издольщика. Самые размеры этой доли автор склонен считать разнообразными, попутно давая новое толкование термину «половник». Рассматривая обстоятельства «отрока», т.-е. ухода изорника по своей воле или по воле землевладельца, автор приходит к выводу, что связь между ними представляла «нечто более сложное, чем договор аренды», тем более, что, согласно 63 ст. П. С. Г., государь, в случае ухода изорника, получал половину всего имущества последнего. Далее автор анализирует понятие «покруты», обычно понимаемой, как ссуда, которую получал изорник на обзаведение хозяйством. По мнению П. А. Аргунова, однако, «покрыта» гораздо значительнее и настолько многообразна, что в современном юридическом языке нельзя найти единого эквивалентного ей термина. Вместе с тем, это «основа отношений между изорником и государем, их главная скрепа», «быть в покруте — это и значило для изорника войти в строй сеньерьяльных отношений». В связи с толкованием относящихся к покруте статей, автор приходит к наблюдениям о наличии правовых преимуществ у государя в его спорах с изорниками, и они теряют тот вид равноправности, который им обычно придается в науке. Установив далее ряд обязанностей изорника и других моментов, свидетельствующих, по мнению автора, о вассалитете изорника, П. А. Аргунов отмечает, при том с особым ударением, необходимость рассматривать П. С. Г. в аспекте феодального права, в противоположность историкам, находившим именно в Псковской области особый строй отношений, более демократичный по существу и более проникнутой капиталистическими началами.

Концепция эта вызвала существенные возражения со стороны акад. М. М. Богословского, который в статье «К вопросу об отношениях крестьянина к землевладельцу по Псковской Судной Грамоте» («Летопись занятий постоянной исто-

рико-археографической комиссии» за 1926 г., вып. I (XXXIV) Л. 1927, стр. 27—54) убедительно оспаривает построения Аргунова в пользу своей старой концепции (П. А. Аргунов в своей статье полемизирует преимущественно с М. М. Богословским). Автор показывает, что в понимании термина «государь» Аргунов переносит в XIV—XV вв. позднейший привкус, приводит ряд примеров, подтверждающих взгляд на покруту, как на акт ссуды, а не подданства и демонстрирует неубедительность построения, согласно которому землевладелец при «отроке» получал половину имущества изорника. Возражения находятся и по другим пунктам, и в результате М. М. Богословский, не отрицая наличия «сеньериальных отношений в древнерусской деревне, выражающихся в публично-правовом характере власти землевладельца, обладавшего правом суда и полиции относительно населения», считает все же, что эти отношения меньше всего отразились в П. С. Г.—«памятнике, отражавшем быт большого города, где развитая торговля мешала возникновению феодальных отношений».

Иначе смотрит на развитие феодальных отношений С. Б. Веселовский в своей книге «К вопросу о происхождении вотчинного режима» (Ранион, Институт Истории, М. 1926, стр. 128), отрицающий самое понятие феодализма в применении к русской истории. Впрочем, основная тема книги, как она взята автором, выпадает из хронологических рамок настоящего обзора, и поэтому отсылаю читателя к самой книге и обстоятельному разбору ее, сделанному А. Е. Пресняковым в статье «Вотчинный режим и крестьянская крепость» («Летопись занятий постоянной историко-археографической комиссии» за 1926 г., в. I (XXXIV) Л. 1927 г., стр. 174—192).

Из работ по вопросам социальной истории древней Руси назову еще статью А. Е. Преснякова «Удельное владение в княжом праве Великороссии и власть московских государей» («Дела и Дни» кн. 1, П. 1920 г., стр. 6—22). В этой статье, в значительной степени полемической, автор подчеркивает некоторые моменты, подробно обоснованные им в других работах, как-то: «Княжое право в древней Руси», «Образование Великорусского государства» и «Московское Царство».

Значительно меньше продукция в области работ по хозяйственной истории древней Руси. Правда, как мы только что видели, и работники в области истории социальных отношений не минуют экономических проблем. Но слабым оказывается специально экономический интерес в древнейшей эпохе. В связи с работами функционировавшей при Ленингр. Губпрофсовете Комиссии по истории труда в России появилось несколько работ, посвященных этой теме, применительно к древней Руси. Так, Н. А. Рожков дал «Очерк истории труда в России» (интересующая нас эпоха освещена в частях, помещенных в «Архиве Истории Труда в России» кн. 5, П. 1922 г., стр. 57—70 и кн. 6—7, П. 1923 г. стр. 27—40). Покойный ученый изложил здесь свои взгляды на историю древнего периода русского хозяйства в чрезвычайно сжатой, до конспективности, и краткой форме. Вместе с тем, обширность об'единяемых эпох (заголовки глав: «Земледельческий труд X—XII вв.»—1 страница текста, «Другие формы труда в X—XII вв.»—1½ стр. текста) и чрезмерна краткость изложения лишают работу исторической конкретности и убедительности, делают чтение ее продуктивным только при знакомстве с источниками и основными работами по данному вопросу, в частности того же автора. В. Ю. Гессен дал ряд очерков «История ремесленного труда в древней Руси» («Архив Истории Труда в России» кн. 4, П. 1922 г., стр. 47—56, кн. 5, стр. 88—96, кн. 8. П. 1923 г., стр. 175—188, «Труд в России» кн. 1, Л. 1924 г., стр. 98—105). Автор дает последовательную сводку сведений, относящихся к истории ремесл на Руси, деля свою работу по профессиональным группам: 1) древоделы, 2) работы по металлу, 3) золотые и серебряные изделия, 4) каменное, гончарное и ювелирное дело, 5) полотняное, шерстяное, суконное производство и, наконец, в отдельном очерке—иконописцы. Самая классификация вызывает некоторые сомнения, но это, сравнительно, не такой существенный недостаток. Значительно хуже, что в толкованиях текстов автор зачастую допускает погрешности, а в выводах—подчас фантазирует. Так, на стр. 47 кн. 4 автор замечает, что уже в X веке создано было ремесленное производство для удовлетворения эстетических потребностей общественной верхушки. В подтверждение этой мысли он указывает, что «под 986 г. летопись сообщает, что Иеремей, имевший высокий духовный сан, поощрял «всяк путь художества». Раскрыв летопись сведующий читатель увидит, что в указанном месте летописец XII века ссылается на пророка Иеремию. Может быть, отсюда можно делать какие-нибудь косвенные выводы для XII века, но вряд ли допустимо для X. На стр. 53 кн. 4 автор сообщает о забастовке, происшедшей во время постройки Владимиром Мономахом церкви в 1115 г., хотя интерпретируемый текст отнюдь к такому выводу не приводит. Для подтверждения своей мысли о применении металлов при постройке зданий автор ссылается (стр. 92, кн. 5) на легендарный рассказ Гюряты Роговича под 1096 г. и придает реальность деталям сказки, которая, скорее свидетельствует об обратном. Наконец, и общие выводы кажутся недостаточно обоснованными. Однако со всеми этими оговорками и при надлежащей проверке неко-

торых спорных утверждений, работа В. Ю. Гессена является полезной сводкой материала, разбросанного по разным местам древних памятников. Особый интерес по свежести постановки вопроса вызывает последний из очерков, повествующий об иконописцах.

В 10 книге того же «Архива Истории Труда в России» (П. 1923 г., стр. 94-126) помещена статья И. М. Кулишера «Из истории крестьянского труда в древней Руси», вошедшая затем в виде отдельных частей в работу того же автора «История русского народного хозяйства», т. I (М., 1925 г., стр. 215). И. М. Кулишер, известный знаток финансов и истории экономического быта, дал за последние годы ряд работ, посвященных хозяйственной истории России, как-то: «Очерк истории русской промышленности» (П. 1922 г., стр. 156 + 1 нен.), «История русской торговли до XIX в. включительно» (П. 1923 г., стр. 317+IV) и названную «Ист. нар. хоз.». В первой книге очень невелик отдел, посвященный интересующей нас эпохе, во второй он несколько больше, весь же первый том «Истории русского нар. хозяйства» относится именно к древней Руси. Книга разбита на два отдела—I — «Древнейший период (до X в. включительно)» с главами: 1) лесные промыслы и земледелие, первоначальный аграрный строй и 2) торговля с арабами и Византией и II — «Удельный период (XI—XV ст.)» с главами: 1) колонизация, лесные промыслы и рыболовство, земледелие, скотоводство; 2) землевладение; 3) рабочая сила в сельском хозяйстве, феодализм; 4) промыслы; 5) общий характер обмена; 6—7) торговля Руси с Ганзой.

Книга затрагивает, таким образом, все основные вопросы экономической истории древней Руси и, при обширной эрудиции ее автора, представляет значительную ценность, тем более, что, исключая аналогичную по названию, но более узкую по содержанию, книгу М. В. Довнар-Запольского, таких работ еще не было. Вместе с тем, книга страдает одним коренным недостатком. Автор ее, специально русской историей до того не занимавшийся и поставивший себе задачей рассмотрение очень большого ряда вопросов, далеко не всегда мог познакомиться с первоисточниками (познакомиться в смысле критического ознакомления) и не связывает своих тем с смежными вопросами. Поэтому он зачастую не может дать самостоятельного решения того или иного вопроса и ограничивается тем, что примыкает к какой-нибудь из имеющихся в науке точек зрения. Особенно неудачным кажется следование автора в ряде основных исторических вопросов за противоречивыми историческими схемами. Так, историю колонизации северо-востока он передает по Ключевскому и вместе с тем, согласно с Рожковым, отмечает незначительную роль торговли в Киевской Руси. Принимая во внимание, что развитие земледелия, как доминирующего хозяйственного момента, автор относит к XI—XII столетию, нужно признать, что концепция его оказывается довольно неясной, а ряд исторических явлений (см. выше о книге Юшкова) останутся необ'ясненными. То же можно сказать и в отношении некоторых более мелких вопросов. Все это не лишает книгу интереса, как своеобразного введения в историю русского нар. хозяйства и в соответствующую историческую литературу.

Об одноименной книге Лященко см. статью М. В. Нечкиной в № 6 «Ист.-марк.».

Наконец, нужно отметить интересную, несколько неуклюже озаглавленную, статью Г. Меерсона «Перемещение местных центров производства средств сельскохозяйственного производства в экономической истории древней России» («Уч. Записки Сарат. Гос. Ун-та», 1926 г. т. V, в. II, стр. 123—158). В отличие от большинства вышеназванных исследователей, автор является марксистом, что придает его работе особый интерес. К сожалению, он недостаточно полно владеет материалом, благодаря чему интересные и весьма продуктивные свои предположения аргументирует подчас довольно странно. Так, одним из основных положений его работы является утверждение, что внеэкономическое присвоение, столь характерное для древнейшего периода русского прошлого, опиралось на некоторое экономическое принуждение. Для этого, методологически довольно вероятного утверждения он считает нужным обосновать странную мысль о позднем происхождении погостов, относя их возникновение к деятельности княгини Ольги, при чем для этого ссылается на летописное предание, являющееся довольно мутным источником и никак не точной записью исторического факта. Подобное некритическое отношение к материалу вводит автора и в других местах в недоразумения. А между тем ряд мыслей Г. Меерсона о роли кузницы в древне-русской общине, о роли ремесла в феодальном хозяйстве, о рынках и пр., заслуживает большого внимания. Нужно отметить, как существенный недостаток, еще и чрезвычайную сложность и громоздкость самой архитектоники работы, что очень затрудняет подчас следование за мыслями автора.

На этом позволю себе закончить обзор, повторяю, не претендующий ни на исчерпывающую полноту, ни на критическое рассмотрение затронутых тем. Для последнего пришлось бы писать ряд статей, а подчас и новых исследований.

И. Троцкий

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ (ЗА 1926—1927)

(Revue Historique, La Révolution Française, Annales Historiques de la Révolution Française, La Révolution de 1848).

«Историческое Обозрение» (Revue Historique) окончательно стало центральным органом французского исторического института, столпом эклектической академической истории.

С тех пор, как прекратилось издание знаменитого библиографического указателя Dahlmann Waitz, солидные библиографические обозрения «Исторического Обозрения» (иногда за несколько лет) по отдельным историческим дисциплинам (история религии, хозяйства, ассириология и пр.), эпохам, странам (Англия, Франция, Югославия, Швейцария и пр.)—стали ценным подспорьем для всякого серьезного работника по всеобщей истории.

Статьи журнала трактуют самые разнообразные вопросы истории, по преимуществу дипломатической и политической; их общая черта—выявление исторических фактов на основе тщательной, кропотливой критики первоисточников.

Таков детальный анализ литературных источников Римской Империи II и III вв., блестяще подводящий итоги ряду филологических специальных работ. Автор Леон Омо (Léon Homo. «Les documents de l'histoire Auguste et leur valeur historique». R. H. 1926, t. 151, f. 2, t. 152, f. 1) приходит к убеждению, что литературные документы апокрифичны, но могут пригодиться для истории эпохи военной анархии и диоклетиано-константиновской империи.

Русский профессор Д. Кончаловский в своем этюде по истории аграрного движения эпохи Гракхов (D. Kontchalovsky. «Récherches sur l'histoire du mouvement agraire de Gracques». R. H. t. 153, f. 2), установивши на основании первоисточников и специальной литературы, что закон Тиберия Гракха определялся мотивами социальными, а не политическими и военными, указывает на необходимость особой критической работы для определения истинных причин аграрного движения эпохи Гракха.

Марк Блок выясняет длительный и постепенный процесс покорения франками римской Галии (R. H. t. 154, f. 2).

Если Левилен с большой ученостью исследует вопрос о происхождении ярмарки Ланди (R. H. t. 155, f. 2), а Бурильи, знаток городской истории, на основании обширной специальной литературы и архивных материалов, повествует о перипетиях междуусобной войны 1368 и мимоходом об отношениях между средневековыми властями и городской буржуазией Прованса (Bourilly. Duguesclin et le duc d'Anjou en Provence». R. H. t. 152, f. 2), то Пти-Дютайи в интереснейшей статье—предисловии к переводу труда В. Стеббса—рассматривает феодальный характер английского парламента XII—XIV вв. Король все же сохранял абсолютную власть, ибо парламент даже XIV в.—учреждение, скорее обладающее совещательным голосом. Автор—типичный историк-юрист, не приемлющий теории классовой сланников (Ant. Degert. «Louis XI et ses ambassadeurs. R. H. t. 154, f. 1):

А. Дежер описывает хитрую и ловкую дипломатию Людовика XI, сумевшего использовать с успехом для достижения своих целей новый институт посланников (Ant. Degert. «Louis XI et ses ambassadeurs. R. H. t. 154, f. 1):

Но попадаются и этюды с тонко замаскированной тенденцией. Так, аббат Констан, оперируя ученым аппаратом, старается установить преемственность высокой англиканской церкви с англиканским «расколом» Генриха VIII. Ловко скрыта мысль, что английские раскольники могут вернуться в лоно католической церкви (G. Constant. «Politique et dogme dans les confessions de foi d'Henri VIII». R. H. t. 155, f. 1).

Полная эрудиции статья Крозе (R. Crozet. «Le protestantisme et la ligue à Vitry le François et en Perthois. R. H. t. 156, f. 1) о борьбе протестантизма и лиги в с.-восточном углу Франции мало выясняет социальные корни реформации, хотя автор имел полную к тому возможность

Кое в чем пополнена история экономической политики абсолютизма XVII—XVIII вв.

Так, Л. Кан окончательно ликвидирует легенду о «спекуляции на голод» французского абсолютизма (Léon Cahen. «Le Pacte de Famine et la Spéculation sur les blés». R. H. t. 152, f. 1). Король Людовик XV и его правительство не составляли синдиката для спекуляции на повышение хлебных цен, но весь механизм старого режима, механизм монополий, способствовал сильнейшей спекуляции хлебом.

Как всегда, интересен А. Сэ, даже в его мелких заметках, и когда он (с дружелюбным кивком марксизму, но с большими оговорками) критикует теории Вернера Зомбарта и Макса Вебера о роли пуритан и евреев в развитии современного капитализма (R. H. t. 155, f. 1), и тогда, когда он вносит коррективы в хвалебную характеристику политики Кольбера Лависсом (Histoire de France t. VII, f. 1). Кольбер не «философ», а практик меркантилизма, и не всегда удачный (R. H. t. 152, f. 2). Ценен дополняющий до некоторой степени заметку Сэ автореферат голландского историка Ван-Диллена, знакомящий с историческим значением Амстердама в XVII в., бывшего мировым центром денежной торговли (Van Dillen. «Marché numital des metaux précieux aux XVII—XVIII., ibidem).

Нельзя не отметить важность для всех историков Французской Революции документального этюда Виара об эволюции «десятины» во Франции XVII века (Viard. «La dîme en France au XVIII sc., R. H. t. 155, f. 1).

Крупное место в журнале занимают статьи по истории международных отношений, главным образом, XIX века.

Тут приходится прежде всего упомянуть об интересной и для русского читателя и русского историка статье Инны Любименко (I. Lubimenko. «Les rélations diplomatiques de l'Angleterre avec la Russie au XVII s.». R. H. t. 153, f. 1). Она на основании архивных документов английской дипломатии детально освещает историю отношений Англии и России в XVII в. Отметим любопытный (правда, не осуществившийся) проект английского протектората (около 1612 г.) над русским севером и волжским путем, предполагавший даже возможность военной оккупации главных городов.

Реферат проф. Ю. Готье (R. H. t. 154, f. 2) о записках немца-опричника Г. Штадена и его мертворожденном проекте завоевания Московии Германской Империей или Ганзой интересен скорее для французских читателей; сами записки вышли в 1925 г. на русском языке в изд. Сабашникова.

Подобным же лазутчиком торгового капитализма, прокладывавшего себе дорогу и на Дальний Восток (ср. путешествие Шардэна), был француз д-р Бернье при дворе Великого Могола в XVII в. (T. Morison. «Un Français à la cour du Grand Mogol». R. H. t. 156, f. 1).

Ряд статей по истории внешней политики Наполеонов I и III печатает Альб. Пенго. Он находит двойственной итальянскую политику Наполеона I, хотя ясно и для самого автора, что обладание Италией было для Наполеона лишь средством для осуществления французской гегемонии над западной частью Средиземного моря (Alb. Pingaud. «La politique italienne de Napoleon I». R. H. t. 154, f. 1).

Продолжением его маленькой заметки об итальянской политике Наполеона III (R. H. t. 155, f. 2) является этюд о внешней политике 2-й империи, который не может удовлетворить, как типичный образчик дипломатической историографии, видящей причины неудач в непостоянстве или ошибках политического деятеля (в данном случае—Наполеона III). Хотя автор и излагает «чехарду» союзов и об'ясняет некоторые факты, но этого, конечно, недостаточно (A. Pingaud. «La politique exterieure du Second Empire». R. H. t. 156, f. 1).

Коррективом и дополнением, притом существенным, является статья русского профессора Бутенко, вскрывающая проект франко-русского союза на фоне двойственной наполеоновской политики. Статья трактует, главным образом, о дипломатических отношениях, но в ней заключается очень важное указание на борьбу английских и французских банков из-за русских железных дорог и решающую роль английских банков в окончательном направлении политики Наполеона III (V. Boutenko. «Un projet d'alliance franco-russe en 1856». R. H. t. 155, f. 1).

Упомянем еще рецензию Э. Буржуа на французский перевод I тома Grosse Politik, обличающую редакторов в замалчивании ряда фактов бисмаркианской политики (R. H. t. 155, f. 1). Статья вызвала, как известно, большой шум и озлобление среди германских ученых.

Все полно ученой эрудиции, будет ли то статья по исторической монографии или дорого стоящий исторический пустячок, безделушка, как история личных отношений хирурга Амбруаза Парэ и короля—мясника Карла IX.

Из двух журналов, изучающих специально историю Великой Французской Революции, старший—«La Révolution Française», продолжает разрабатывать попреимуществу её политическую историю.

Попрежнему неутомим маститый автор политической истории французской революции Альфонс Олар. Его перу принадлежит ряд заметок и этюдиков.

В связи с рассказом о мерах предосторожности, которые были приняты в июле 1792 года, чтобы помешать внезапному приезду Лафайета в Париж, он приводит довольно бесцветные заметки Александра, из которых наиболее интересно сообщение об афере с поставкой рубах для армии термидорианца Кошона (A. Aulard. «Лафайетт, переодетый в женское платье, и заметки Александра». R. F. 1926. № 30).

Он же усердно разрабатывает отдельные вопросы революционного государственного права: выясняет размер жалованья депутатов до 9 термидора (18 франков в день), повышение его тотчас после переворота (36 фр.), несмотря на суровую оппозицию истых якобинцев, и нормализацию этого жалованья при Директории по товарному франку + 3.000 мириаграмм хлеба в год. (Aulard. «Жалованье депутатов во время революции». R. F. 1926. № 3).

Наконец, он дает сухой этюд мажоритарного начала в конституциях французской революции (Aulard. «Фр. революция и мажоритарный режим». R. F. 1927. № 35):

По той же линии идут и другие сотрудники журнала. Наиболее ценными являются 2 статьи А. Мейнье о перевороте 18 фрюктидора. В первой из них (Альбер Мейнье. «День 18 фрюктидора V года—4 сент. 1797». R. F. 1927. № 33) он дает основательный и подробный рассказ о событии, отмечая крайнюю неорганизованность роялистской партии, союз Барра с революционными левыми группами, указывает черты сходства с переворотами 18 брюмера и 2 декабря.

Многие факты, приводимые в статье,—например, наличность 2.000 человек в роялистских бандах Парижа—вызывают сомнения в существовании роялистского заговора вообще и опровергаются самим же последующим изложением. Эти соображения, очевидно, и заставили автора написать вторую статью (А. Мейнье. «Мнимый роялистский заговор во фрюктидоре V года». 1927. № 35). Продолжая анализ материала, собранного в первой статье, он приходит к убеждению, что доказательств существования заговора нет, и делает жалкий вывод, что Директория тем не менее, раздавив роялистические тенденции, спасла республику от надвигавшейся монархической реставрации. Анализ чисто формальный—экономическое положение Франции и политические интересы определенной социальной группы, возглавляемой Барра и его товарищами, вовсе не приняты во внимание.

Жан Мартэн дает интересный очерк неизвестной до сих пор организации республиканской группы после неудачного побега короля, состоявшей из вольнодумца-радикала Де-Шастелле, Бриссо, англичанина Томаса Пэна, Клавьера и супругов Кондорсе; по переписке некоторых ее членов с бывшим сотрудником и другом Мирабо Дюмоном, который все более и более правел, вскрывает политическую эволюцию лондонских радикалов, бывших в контакте с кружком (Бентама, Ромильи и др.). Кружок выступил с резкой прокламацией против короля и выпустил газету «Республиканец». Политическая физиономия кружка обрисована очень обще.

Более содержательны статьи Гюстава Валлэ (Gustave Vallée. «Le remplacement militaire en Charents sous le régime de la Conscription». R. F. 1927. №№ 35, 36, 1928, № 38), вскрывающего по архивным данным любопытную привилегию буржуазии при Директории и Наполеоне, получившей право замещать своих детей наемниками, а иногда и принудительно из контингента рекрутского набора, и взвалившей всю тяжесть военной службы на низшие классы.

Молодые сотрудники журнала по временам вносят некоторый диссонанс в старое направление. Особенно характерны статьи Жака Годшо (Jacques Godchot. «Революционно-наблюдательный комитет в Нанси с 2 апреля 1793 г. по 1 жерминаля 1795». 1927. №№ 35, 36), который очень подробно рассказывает о большой энергичной работе, проделанной рев. комитетом Нанси в эпоху Конвента до его чистки термидорианцами. Подводя итоги, он приходит к заключению, что комитет осуществлял в течение 6 месяцев диктатуру пролетариата; это явное преувеличение—факты самой статьи говорят только об энергичной «плебейской» (Маркс) диктатуре. Самая оценка, однако, симптоматична.

Много внимания уделяется истории революционного быта.

Сам Олар дает интересную статью о революционном переименовании городов и местечек. (Олар. «Революционные имена коммуны». R. F. 1927. № 32). Монархические и реакционные имена сёл и городов заменяются республиканскими, в которые входят и составные части слов: Свобода, Гармония, Революция, Равенство, Гора, Санкюлот, Марат. С 1801 года начинается новое переименование, устраняющее террористические имена. Реставрация вернула старые названия, но некоторые все же уцелели.

Немало внимания уделяется истории театра. Фукс, оканчивая свою статью о Колло д'Эрбуа—актере (Fuchs. «Collot d'Herbois—comedien». R. F. 1926, № 29), стремится (довольно неубедительно, приходится признаться) опровергнуть ходячее мнение реакционных историков, будто бы Колло, как комиссар Конвента, мстил Лиону за свои старые театральные неудачи.

Гастон Мартэн дает коротенькую картинку волнения в Париже в 1797 году из-за роялистских выступлений артистки Крессе. Якобинская группа Тулузы была

и после 9 термидора очень влиятельна (G. Martin. «Le théatre et la politique à Toulouse en l'an V». R. F. 1927, № 35).

Таким образом, соотношения экономики и социального уклада эпохи остаются вовсе неосвещенными (взять хотя бы судебный процесс при Наполеоне крупного буржуа, бывшего члена Советов при Директории, справданного в явном убийстве,—статья Лобру R. F. 1926, № 31).

Более интересны печатаемые сырые материалы и документы. Опущенные в сборниках Олара отчеты о заседаниях Якобинского Клуба 23—24—25 февраля 1791 года (R. F. 1926. № 29) дают ценные сведения о бурных заседаниях по поводу тактики монархического клуба, от'езда теток короля, и в особенности о заседаниях помещавшегося в нижнем этаже того же дома братского общества.

Маленькое сообщение члена Конвента Вернье о 1-м прериале III года, подозрительное по самохвальству, дает интересные данные о тактике термидорианцев: использованы были личные воздействия на ворвавшиеся в Конвент народные массы «последних» монтаньяров, чтобы подоспела военная сила (R. F. 1926, № 31).

Перепечатана прекрасная характеристика Марата Фабром д'Энглатином, ранее уже напечатанная Оларом в его «Ораторах Революции» (R. F. 1927, № 34).

Об'емистые письма волонтера Этьена Гари, обнимающие период с 1792 по 1796 год («Lettres du volontaire Etienne Gary». R. F. 1926, №№ 31, 32 и 1927, № 33), носят специфически военный характер и довольно бессодержательны. Изредка в них встречаются кое-какие политические факты: контрреволюционная пропаганда в рядах армии (R. F. № 31).

Наиболее ценен опубликованный Эннекеном отчет депутата Учредительного Собрания Паризо, написанный тотчас после знаменитого ночного заседания 4-го августа в 4 часа утра (R. Hennequin. «La nuit de 4 août 1789, contée par le constitutionnel Parisot». R. F. 1927, № 33). Паризо пишет своим избирателям и согражданам, что знаменитым единодушным постановлениям предшествовали некоторые «магические приемы»: все было подготовлено накануне «Комитетом». В то же время Паризо заявляет, что покамест все будет улажено, «ход вещей останется тот же», и просит настоятельно «восстановить спокойствие, приостановить грабежи, принять меры к уплате налогов и прочих обложений, иначе казначейство опустеет. Попутно сообщает о дружественных Франции манифестациях в английской палате общин, в Амстердаме, Брабанте, Германии.

Есть статьи и по русской истории (?). Таков слабенький этюд Гецевича о влиянии Французской Революции на русских декабристов («La Révolution Française et les décembristès russes»), составленный по старой литературе предмета, вовсе не знающий новых работ и мало внимания уделяющий мемуарам декабристов. Для русского читателя статья эта не имеет никакого значения.

Журнал иногда реферирует и литературу по современной истории: такова интересная выдержка из книги Нитти «Большевизм, фашизм, демократизм» (франц. изд. 1926 г.), в которой тот утверждает, что намеченная Антантой в 1919 г. военная оккупация Грузии Италией не состоялась именно благодаря его сопротивлению (давление рабочего движения в Италии, конечно, замалчивается!), хотя уже организовались банки и составлен был план эксплоатации нефтяных богатств Кавказа.

В то время, как старится Оларовский журнал, молодые сравнительно с ним «Исторические Анналы Французской Революции» переживают ныне пору пышного расцвета.

Даровитый и необычайно способный глава робеспьеристского общества, Альбер Матьез, сумел сорганизовать около журнала большую группу способных и ретивых сотрудников. Первое место, конечно, принадлежит самому редактору, без устали работающему над продолжением своей Истории Французской Революции. Большинство крупных его статей в журнале за эти годы вошли в уже рецензированный тов. Лукиным «Террор» (см. т. VII «Историка-марксиста»), отчасти анализированы тов. Захером (см. том VI нашего журнала); поэтому нам остается только указать, что спешность работы иногда мешает автору уточнить и углубить анализ. Если убедительно и интересно анализированы махинации иностранных банкиров, скрытых агентов Питта и других европейских дворов, двуличная тактика Фабра д'Эглантина и весь комок интриг «прогнивших» монтаньяров, связавшихся со спекулянтами-шпионами (Mathiez. «Le Comité du Salus public et le complot de l'Etranger» A. R. № 16), если вполне логично развертываются перипетии кампании «соглашателей» («Les Indulgents». № 17), если интересно и удачно об'яснено появление «уклонов» («Les citra et les ultra». A. R. № 18), и тактика единого революционного фронта комитетов, закулисная подготовка 9 термидора (Дело Легре, № 22),—то в организации революционного правительства (A. R. № 19), в истории заседаний 4—5 термидора (A. R. № 21), при всей талантливости истолкования, остается немало спорного: разве культ верховного существа не должен был казаться многим монтаньярам шагом к реакции? И в то же время не должен ли он был раздражать и скрытых реакционеров или возбуждать в них надежды на

реставрацию? Между тем, Матьез считает, что «Робеспьер, повидимому, удовлетворял всех, но под гирляндами скрывались зависть, ненависть и оскорбленные интересы». Наконец, политика Комитетов была делом не одного только Робеспьера. Вопрос о недовольстве в рабочих секциях также не уточнен (см. самого Матьеза «Le maximum des salaires et le 9 thermidor». № 20). Панегиристу великого «неподкупного», все же не следует модернизировать своего героя, забывая об его доктринерстве.

Зато необычайно остр Матьез в полемике: он вдребезги расшибает жалкого писачку-плагиатора, представителя реакционной историографии, присяжного поставщика статей для Révue des deux Mondes, Ленотра-Госселена (M-z. «De Robespierre de M. Lenôtre». № 20), вежливо разносит Барту, попутно выявляя причины 9 термидора (см. критику его суждения в статье Захера, т. VI нашего журнала) и уличая «академика» в явном невежестве (A. R. № 19. A. M-z. «Le 9 thermidor de M. Bartou»).

Бурно крушителен Матьез в анализе «легенды о Дантоне» (Дантон. История и легенда—речь, произнесенная в заседании Великого Востока масонских лож Франции. A. R. № 23); Дантон вор и плут, интриган и изменник революции, актер и фразер,—одни черные краски; политическая деятельность Дантона разбирается с точки зрения морализирующей истории. Зато правильно определяется социальная база возвеличения Дантона—восхваляющий себя оппортунизм 3-й республики 70—80 г.г. Много интересного дает Матьез в мелких заметках, в исторических миниатюрах.

Так, молодой маркиз Лафайетт оказывается уже в 1786 г. был горячим защитником свободы торговли и сыграл видную роль в заключении торгового договора с С.-А. Соединенными Штатами (M-z. «Lafayette et le commerce franco-americain à la veille de la Révolution». A. R. № 17).

Финансовая аристократия, банкиры и биржевики, сочувствовали взятию Бастилии, так что суждение Кунова о реакционной позиции этой группы перед революцией нужно считать ошибочным (A. M-z. «Les capitalistes et la prise de la Bastille». № 18). Доказательства Матьеза могут быть увеличены опубликованным еще в 1915 г. письмом банкира де-Севеленжа в переписке маркизы де-Лостанж.

Он же печатает три речи Моморо, из которых особенно любопытна последняя ненапечатанная: отчаянный призыв перед арестом к Кордельерам, горячее обвинение соглашателей и плутов (A. R. № 17).

Очень важны три письма члена Комитета общественной безопасности Вуллана[1], доказывающие, что между Комитетом и Робеспьером состоялось примирение, и перед 9 термидора комитеты даже готовы были заключить мир. Третье письмо говорит о гнетущем впечатлении, которое 9 термидора произвело в провинции (движения протеста, самоубийства публичные в Ниме). То же можно усмотреть и из донесения комиссара Конвента Ноэля Пуанта (Невер), который сперва не поверил сообщению и постарался потом оправдать свое поведение, бросая грязью в павшего (A. M.-z. «L'impression faite à Nevers par la nouvelle 9 Thermidor». A. R. № 20).

Следом за редактором идут сотрудники. Один оправдывает Робеспьера от обвинения в трусливом укрывательстве (George Michon. «La niaison de Robespierre». № 15); другой приводит любопытные примеры популярности имени Робеспьера, которое давали и новорожденным вплоть до 1896 г. (G. Laurent. «Robespierre prénom». A. R. № 21); перепечатка заметок Сержина выясняет уклончивую и двусмысленную роль Петиона во время событий 10 августа (A. R. № 15).

Менее места уделяется экономике Французской Революции.

Напечатан редкий образчик ультра-реакционного клерикального наказа («Doléances du prieur de la Chartreuse de Montrieux en 1789». A. R. № 16). Заметка Барбедетти характеризует сеньориальные повинности в поместьи Люксейль и тамошние крестьянские движения вплоть до эпохи «Великого Страха» (L. Barbedetti. «La terre de Luxeil à la veille la Révolution». A. R. № 20).

А. Ришар дает общую сводку литературного материала, характеризующую экономическое положение медвежьего угла Франции—Ланд—в начале XIX в. (Ant. Richard. «Le département des Landes au début du XIX siècle». A. R. № 18). Он же дает очерк аграрных волнений в Ландах в 1791, 92 и весной 1793 гг. Местная буржуазная власть поддержала интересы помещиков против крестьян, требовавших уничтожения десятины, так как сама была в этом заинтересована, и платеж десятины в Марсане продолжался даже до недавнего времени (Ant. Richard. «Les troubles agraires des Landes en 1791—1792 ». A. R. № 24).

Лоран описывает экономический кризис в Реймсе после термидора; посланные с петицией в Конвент делегаты оказались свидетелями восстания 1 прериаля, ужаснулись сходству своих пожеланий с требованиями восставших и вернулись домой. Город Реймс, благодаря внутреннему займу, справился с продовольствен-

[1] Chobaut et Mathiez. «Trois lettres, inédites de Vaulland sur la crise du 9 Thermidor». A. R. № 19.

ным кризисом, но в нем созрела почва для бабувизма (Laurent. «L'insurrection du 1 prairial an III et la situation économique de la ville Reims». A. R. № 2).

Как мы видим, большое внимание вызывает к себе и областная история революции. Так, Шобо рассказывает, каким образом клуб в Монпелье, состоявший из зажиточной буржуазии, составил в пользу республики после бегства короля (29 июня 1791) петицию и тщетно пытался об'единить около нее другие соседние клубы (H. Chobaut. «La petion du club de Monpellier en faveur de la République». A. R. № 24).

Л. Жакоб повествует о попытке создать центральное общество депутатов монтаньярских клубов для борьбы с федерализмом. («Un essay de Fédèration des sosiétés montagnards à Arras en octobre 1793». A. R. № 23).

Вайандэ сообщает, как ликвидировали маленьких самочинных диктаторов на местах комиссары Конвента—конец карьеры Николая Журдана—Матье Жува. (Vaillandet. «La mission de Maignet en Vaucluse». A. R. № 15).

Морис Доманже изучает символику революции—деревья свободы, связка прутьев, братский хлеб, отвес, око, пика, камни Бастилии—символы равенства, революционного единения и борьбы с деспотизмом. (Dommanget. «Les arbes de la liberté». A. R. № 16, M. Dommanget. «Le foisceau, le pain fraternel, le niveau, l'oeil, la pique, les pierres de la Bastille». № 20).

Заслугой журнала является также помещение ряда статей, реабилитирующих Марата.

Луи Готшальк (переводная статья) знакомит со статьями Марата по физике и с перепиской, которую он вел по поводу их (L. Gottschalk. «Du Marat inédit». A. R. № 15). Он же (Gottschalk. «Marat a—t-il été en Angleterre un criminel de droit commun?» A. R. № 20) опровергает недавнее клеветническое измышление Сидни Финсона, отожествляющего «друга народа» с его однофамильцем, сидевшим в английской тюрьме, почти одновременно с пребыванием Марата в Англии.

Р. Фарж, интересуясь судьбой сердца Марата, которое хранилось в Клубе Кордельеров, выясняет, что оно было во-время скрыто неизвестным патриотом, благоговейно чтившим память великого революционера, и попутно устанавливает место и дату последнего заседания Клуба Кордельеров—15 декабря 1794 г. (René Farge. «La local du club des Cordeliers et le coeur de Marat». A. R. № 22).

Особое внимание уделяется революционной армии. Так, Герло рассказывает об энергичной работе Бушотта (военный министр с 4 апреля 1793 г.), об уменье его использовать даже специалистов-аристократов для дела республики. Но Коммуна и Комитеты тщательно следили за чисткой военного бюро, куда попадали и контрреволюционные элементы. (Herlaut. «Les collaborateurs de Bouchotte aux bureaux de guerre». A. R. № 23).

Мишон опровергает старое измышление консервативных буржуазных историков (А. Сорель и др.), будто армия революции была аполитична. Он устанавливает тесную связь Конвента с армией, интерес армии к революционной прессе, описывает армейские клубы, гражданские праздники, политруков, сборы на рев. цели, чистку командного состава,—«санкюлотизацию» армии при участии солдат. Вопрос этот, весьма важный, только еще взят в работу. (Michon. «L'armée et la politique intérieur sous la Convention». A. R. № 24).

Л. Дуарш сообщает два эпизода из жизни Марсо, рисующие сердечность и чувствительность молодого республиканского генерала (A. R. № 19).

В связи с маленьким этюдом де-Карденаля об основании клубов в департаментах в начале революции (A. R. № 17), начинается оживленная дискуссия о количестве клубов и народных обществ между Карденалем, Шобо и Суаненом (A. R. № 17, № 19, № 20, № 24). Первый насчитывает их всего 2.365 (с заграничными), второй полагает, что их было втрое или вчетверо больше. Вопрос еще не вполне освещен архивными изысканиями.

Громадный интерес для всех работающих по истории революционных трибуналов представляет специальная статья Буржена об архивных источниках (G. Bourgin. «Les sources de l'Histoire des Tribunaux révolutionnaires aux Archives Nationales». A. R. № 18).

Следят Анналы и за русской историей. Вейль излагает в статье об убийстве Павла I (Comméndant Veill. «L'Assasinat de Paul I.». A. H. № 16) мемуары графа де-ля Рош-Эймона, со слов О. Жеребцовой передающего рассказ о событии 11 марта 1801 г. Нового для русского читателя почти нет, равно как не найдется ничего интересного в переписке Бернонвилля с Талейраном по поводу откровений многоликой авантюристки и международной шпионки той эпохи Де-Боннейль.

Работы русских историков по Французской Революции реферированы для французских читателей Марией Буковецкой (Лукин, Захер, Вайнштейн—A. H. № 15) и с большим сочувствием самим А. Матьезом. («Les travaux russes sur l'Histoire de la Révolution française». A. H. 24).

Совсем иное положение «Революции 1848 г.». Журнал, видимо, хиреет и чахнет. Не помогают и такие почетные президенты О-ва по изучению революции

1848 г. (журнал является его печатным органом), как Думерг (!), Пуанкаре (!), Мильеран (!). Главное внимание об-ва сосредоточено на областной истории 1848 года.

Понтейль изучает продовольственный кризис на Нижнем Рейне (Ponteil «La crise alimentaire dans le Bas-Rhin» R. du 1848 с января по декабрь). Неосновательна благоприятная оценка мероприятий правительственных и муниципальных властей, но материал собран весьма ценный для характеристики положения мелкого сельского хозяйства и индустрии; голодные бунты, организации рабочих клубов встревожили властей. После революции правящая буржуазия замыслила провести анкету через смешанную комиссию из представителей рабочих и хозяев. Комиссия оказалась обычным бюрократическим начинанием и затянулась до января 1850 года. Заключения ее составлены под явным давлением делегатов от хозяев. Но нужды в них уже не было: близилось 2 декабря 1851 г.

Ш. Шмидт рассказывает печальную историю надругательства буржуазии над бывшими участниками парижских национальных мастерских, высланными после июльских дней в Орлеан на железнодорожные работы. Местный префект замышлял создать для этих квалифицированных рабочих, превращенных в землекопов, духовно-нравственную клинику, при чем роль духовников должны были играть инженеры. Пустозвонная затея кончилась полным крахом, зато рабочих удалось на время отвлечь от Парижа (Schmidt. «Les ouvriers des ateliers Nationaux au Chemin de Fer d'Orléans». R. du 1848, avril).

Он же сообщает интересный проект борьбы с безработицей 1848 г., состряпанный префектом Нижней Сены Дюссаром,—не более, не менее, как синдицирование фабрик и заводов под главенством руанского муниципалитета. Местные фабриканты, почуяв недоброе, сумели похоронить хитроумный план руанского администратора (Ch. Schmidt. «La crise du chômage à Rouen en 1848». R. du 1848, 1927, mars—avril—juin).

Маленькая заметка Вотье о проекте нового конкордата в 1848—49 г. подчеркивает боязливое отношение республиканского большинства Национального Собрания к отделению церкви от государства, его консервативную позицию в церковном вопросе, по сравнению с первой французской революцией (Vauthier. «Projet d'un nouveau concordat en 1848—49». R. du 1848—avril).

Гвоздем журнала является большая и содержательная работа Шнерба о политической борьбе в департаменте Пюи де Дом в 1848 году, написанная по документам местных архивов и местной прессы той эпохи. Автор начинает с характеристики политических групп июльской монархии и заканчивает выборами в Национальное Собрание. Победа на выборах досталась кандидатам временного правительства, но и группа консервативной буржуазии добилась солидного успеха. Левые кандидатуры провалились. Мало и слабо характеризовано экономическое развитие департамента (Schnerb. «Le sèconde République dans le départament du Puy de Dôme». R. du 1848. 1926, 1927).

Интересной обещает быть статья Дютака о парламентских выборах в Лионе и департаменте Роны в 1849 г. Первые ее главы посвящены характеристике программы правого блока «друзей порядка» и левого центрального избирательного комитета демократов и социалистов. Последняя программа явно рассчитана на интересы крестьянства,—факт, подтверждающий мнение К. Маркса о повороте крестьянства в сторону мелкой буржуазии к 1849 году. (Dutacq. «Les élections législatives de 1849 à Lyon et dans le d-t du Rhône». R. du 1848. 1827—sept., oct., novem.).

Лорен описывает два политических процесса, возбужденных правительством Луи Филиппа против редактора маленькой провинциальной газетки «Пробуждение Эны», сильно нападавшей на духовенство и колониальную политику правительства. Двукратное оправдание судом присяжных говорит о росте оппозиционных тенденций в департаменте Эны к 40-м годам (Laurin. «2 Procés de presse sous Louis-Philippe». 1927. Juin, juillet, août).

Хорошо выясняется отношение ко 2-й республике высшего командного состава армии.

Так, Дютак вскрывает ожесточенную реакционную агитацию главнокомандующего альпийской армией, известного печального героя февральских дней, маршала Бюжо, яростно боровшегося с социализмом и готового даже к походу на Париж в 1849 году (Dutacq. «Le dernier commendement du maréchal Bugeaud». R. du 1848. Fèvr., juin).

Жюльен рассказывает, как алжирские генералы враждебно встретили демократические реформы в стране, в которой привыкли управлять неограниченно, и сумели низвести префектов на степень своих подчиненных (Ch. Julien. «Le conflit entre les généraux et les Préfets d'Algérie sous la 2 république». R. du 1848. 1927—avril).

Популярно, но легковесно написана статья Зеваеса на крайне интересную, но мало разработанную тему: коммунистическая агитация в 1840—1848 г. (Zévaès. «L'agitation communiste de 1840 à 1848». R. du 48, 1926, oct., déc. 1927, mars, avril, mai). Автор видит лишь два главных течения: кабетистское и бабувистское, почему-то обходя анархо-коммунистов, парлефетистов, мало уделяет внимания материали-

стическому коммунизму и анализу социальной базы всех этих течений. Но даже такая статья дает достаточно нового материала интересующимся этим вопросом: вскрывается оживленный рост коммунистической прессы (особенно характерно издание революционно-коммунистической газеты «Труд» группой рабочих), издание ряда брошюр и книг (Кабе, Эспинас, аббат Констан, Пилло, Дезами), бурные банкеты коммунистов (в Бельвиле 1 июля 1840 г.), политические процессы коммунистов и анархистов разных оттенков (в Тулузе, Туре, Париже). Выводы поверхностны.

Вотье рассказывает о неудачной попытке богатого англичанина фурьериста Артура Юнга основать фаланстер в бывшем аббатстве Сито. Крайне пестрая смесь случайных участников (469), навербованных Юнгом, и бестолковая организация быстро привели к крушению эту интеллигентскую затею. Автор статьи все же упрямо верит в «союз труда и капитала» в будущем, находит, что «идея была превосходной, но неумело осуществлена». Оспаривать эти выводы не стоит труда (Vauthier. «Arthur Joung et la colonie societaire de Cîteaux». 1841—44).

Неутомимый исследователь кабетизма Прюдоммо в небольшой статье освещает агитпропаганду Кабэ (J. Prudhommeaux. «Un commis-voyageur en communisme icarien. R. du 48. 1927). Одним из активнейших агитаторов-пропагандистов Кабэ, обладавшего большими организаторскими способностями и неиссякаемой энергией, явился молодой коммивояжер Ш. Шамруа, страстный, но мало развитой поклонник идей Кабэ. Он непрестанно переписывается с «учителем», закладывает ячейки кабетистов, распространяет журнал, готов для успеха «дела», как истый торговец, выпустить лозунг «коммунист», заменив его туманным и безвредным «икариец», хлопочет-старается изо всех сил завербовать самого Прудона.

Интересен, наконец, маленький этюд Рафаэля (Raphaël. «Les rapports Polono-Israëlits et l'insurrection de 1830—31». R. du 1848. 1926—avril), вскрывающий антисемитизм польских революционеров 30—31 гг., отказывавших еврейской молодежи в праве бороться в рядах польской армии против Николая I (банкирам разрешалось!). Впоследствии комитет польских эмигрантов признал заслуги еврейских волонтеров и обещал евреям в будущем или полное уравнение, или возвращение в Палестину. Благодарность довольно сомнительная (лишь маскирующая старый шляхетский антисемитизм).

А. Васютинский

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ В СССР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗА ВТОРОЙ ТРИМЕСТР 1928 г.

«Пролетарская революция» № 3 (74)—№ 5 (76), 1928 г.

«Каторга и Ссылка» («Историко-Революционный Вестник» № 4 (41), № 5 (42), 1928 г.

«Літопис Революції» № 2, 1928 г. (часть журн. на украинск. языке).

«Красный Архив» тт. 25–27, 1928 г.

Журнальная периодика в СССР за отчетный период охватывает ряд вопросов, связанных с теми или иными юбилейными датами. Преобладающее количество статей посвящено революционному движению 1917 и последующих годов, что находится в непосредственной связи с 10-летием Октябрьской революции и гражданской войны. Затем идут юбилейные статьи, связанные с 1 с'ездом Р. С.-Д. Р. П., с юбилеями Плеханова, Чернышевского, Горького, и др.

«Пролетарская Революция» № 3 (74)—№ 5 (76), 1928 г. В мартовской книжке «П. Р.» на первом плане должны быть поставлены статьи т.т. Татарова и Ангарского, посвященные I с'езду РСДРП, которые как бы дополняют и подводят итоги работам, помещенным в февральской книжке «П. Р.». Кроме того, в мартовском же номере помещена интересная переписка из архива Бунда, хранящаяся в Институте Ленина, опубликованная т. Татаровым, имеющая весьма важное значение для характеристики эпохи периода первого с'езда. В переписке приведена просьба русских с.-д. к заграничникам писать на темы о переходе «экономической» борьбы пролетариата в борьбу политическую. Письма Кусковой и Прокоповича представителю Бунда за границей Копельзону представляют выдающийся интерес, так как они вскрывают целый план кампании ревизионистов за перевод социал-демократического движения на рельсы «экономизма» и ревизионизма. Это очень убедительно доказывает в своей статье т. Татаров.

В том же № 3 (74) «П. Р.» большую ценность представляет статья Е. А. Киржниц «Сто дней Советской власти в Белоруссии». Она дает очень большой материал по фактической истории этого вопроса, до сих пор очень слабо освещенного в исторической литературе.

С номера 3 (74) «П. Р.» впервые введен раздел «Трибуна», где помещены две статьи, касающиеся революционного движения и национальной политики компартии

в Башкирии в 1918—1920 гг. Полемика началась со статьи Ф. Самойлова «Малая Башкирия 1918—1920 гг.», напечатанной в № 11 (58) и 12 (59) за 1926 г. в «П. Р.». В № 3 (74) «П. Р.» ему отвечает один из деятелей революционного движения в Башкирии т. Юмагулов, которому в свою очередь возражает т. Самойлов. В № 5 (76) «П. Р.» по этому же вопросу помещены статьи П. Мостовенко «О больших ошибках в «Малой» Башкирии» и С. Диманштейна «Башкирия в 1918—20 гг.».

В апрельском № «П. Р.», наиболее ценном из всех трех рецензируемых книжек, В. Фриче дал содержательную статью «В. И. Ленин о классовом лице Л. Н. Толстого», в которой он заявляет следующее: «Сомнений нет, в 1928 г., как некогда в 1911 г.—Ленин повторил бы, что это учение (учение Толстого. *А. Ш.*) и в особенности всякая попытка его идеализации могут принести только «самый непосредственный и самый глубокий вред».

Интерес представляет также, начатая в № 4 (75) и законченная в № 5 (76), ст. Е. Игнатова «Тактика большевиков и Учредительное Собрание».

В той же апрельской книжке В. Смирнов дал окончание своей статьи «К десятилетию пролетарской революции в Финляндии» (начало в № 2 (73) «П. Р.»). Работу В. Смирнова следовало бы издать отдельной брошюрой, так как описанная им пролетарская революция в Финляндии является в известной мере такой же героической эпопеей борьбы рабочего класса, как и Парижская Коммуна.

Исследовательский характер носит также работа Г. Саар о первых попытках с.-д. работы среди саратовских рабочих, в которой автор сообщает ряд любопытных фактов из эпохи революционной борьбы 80—90 гг. прошлого века. В конце статьи приведены прокламация «К жителям саратовских трущоб и захолустий» (от 17 апреля 1884 г.) и «Заявление самостоятельной революционной рабочей группы». В том же № «П. Р.» К. Еремеев, использовав свой личный архив, опубликовал статью-воспоминания «Начало Красной армии», в которой содержится много ценнейших указаний по этому малоосвещенному в исторической литературе вопросу.

Майский номер «П. Р.» дает интересную статью С. Рабиновича, как бы дополняющую работу К. Еремеева, «Октябрьская революция и начало строительства Красной армии». Далее идут очень близкие по содержанию к № 4 (75) «П. Р.» статьи Р. Хабас «К истории борьбы с чехословацким мятежем», Д. Фрид «Чешские военнопленные в борьбе с чехословацким мятежем» и другие работы, связанные с началом гражданской войны в России. Среди них очень любопытна страничка из истории борьбы с контрреволюцией в Северо-восточной Якутии, обработанная М. Кротовым. В этом же № «П. Р.» начаты печатанием материалы по истории Заграничной лиги русской революционной социал-демократической партии, извлеченные из архива Истпарта ЦК. Там же даны устав лиги, ее первое заявление о своем возникновении и программе работ, переписка администрации лиги и пр.

Библиографический отдел в рецензируемых номерах «П. Р.» посвящен, главным образом, литературе, связанной с Октябрьской революцией и гражданской войной.

«Каторга и Ссылка»—«Историко-Революционный Вестник». № 4 (41) и № 5 (42)—1928 г. С № 4 (41) «К и С.» началась печатанием автобиография Г. Ф. Чернявской-Бохановской—одной из революционерок 70-х годов. В № 5 (42) «К. и С.» дано продолжение автобиографии и обещано ее окончание. Такой же незаконченной является работа С. Лифшица «Подпольные типографии 60-х, 70-х и 80-х гг.», начатая в № 4 (41) «К. и С.». Обе эти статьи вносят ряд новых моментов в историю революционного движения в России в его раннем народническом периоде.

В № 4 (41) любопытен набросок В. И. Чарнолусского «Неудавшаяся бойня», в котором он рассказывает [1], как весной 1905 г. в Петербурге предполагалось военное выступление характера восстания и как вопрос об этом обсуждался в одном из ресторанов столицы представителями всех революционных партий и Военного Союза. Инициатива этого совещания исходила от ЦК партии с.-р. и в идею восстания был посвящен Азеф. Чарнолусский говорит, что он не сомневается, что здесь была попытка грандиозной провокации: «после только что произведенной бойни 9 января царская полиция хотела выявить актив всех революционных организаций в столице и учинить над ними бойню пасхальную» (стр. 37).

Большой историко-литературный интерес представляют статьи: 1) С. П. Швецова «Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири», в которой он рисует литературную деятельность сибирских патриотов: Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, М. В. Загоскина и др., и 2) В. И. Николаева «Сибирская периодическая печать и политическая ссылка», в которой литературная деятельность политических ссыльных затрагивается в несколько более раннюю эпоху и доводится до конца 90-х годов.

Роли М. Горького в революционном движении посвящены две заметки А. Биценко «Две встречи с М. Горьким» и Б. А. Бреслава «Чтение Горького в тюрьме»

---

[1] Этот случай был описан и раньше в историко-революционной литературе.

(доклад на Горьковском вечере в Об-ве политкаторжан и ссыльно-поселенцев 26 января 1928 г.).

№ 5 (42) «К. и С.» начинается со статей, посвященных Г. В. Плеханову. Д. Кузьмин сообщил новые данные о Казанской демонстрации 6 декабря 1876 г. и роли в ней Плеханова, Л. Федорченко (Н. Чаров) дал выписку из метрической книги о рождении Плеханова, Н. Бухбиндер воспроизвел пометки О. В. Аптекмана на ст. о Г. В. Плеханове А. Френчера, напечатанной в 1922 гг. в № 8 «Пролетарской Революции». Пометки О. В. Аптекмана местами исправляют неточности о Г. В. Плеханове, допущенные А. Френчером, или существенно его дополняют. В связи с юбилеем Г. В. Плеханова следует отметить библиографическую заметку в № 5 (42) «К. и С.» Б. Н-ского, в которой он дает сводку работ о Г. В. Плеханове в зарубежной печати. Автор прежде всего указывает на отрывок из воспоминаний С. М. Ингермана «Как я познакомился с Плехановым» в журнале «Заря» (Берлин) № 6—7, 1923 г. Далее С. Г. Скиталец в статье «Силуэты революции, Ленин и Плеханов» в газ. «Русский Голос» (Харбин) от 5—9 марта 1922 г. рассказывает о знакомстве с Плехановым зимой 1903—1904 г., Розалинда Траверс Гайдман—жена лидера английской с.-д. федерации—передает впечатления о встрече с Плехановым весной 1917 г., когда он проезжал через Англию в Россию, в журнале «Заря» (Берлин) №№ 5, 6, 7, 1923 г. В том же журнале №№ 5, 6 1926 г. помещен рассказ Р. М. Плехановой о последних днях жизни и смерти Г. В. Плеханова. В «Последних Новостях» (Париж) от 3 июля 1923 г. воспроизведена речь Вандервельде на собрании в Париже по случаю 5-й годовщины со дня смерти Г. В. Плеханова. Из статей о Плеханове обозреватель отмечает работы Ю. Фердмана (Арзаева), напечатанные в виде предисловий к сборнику статей Плеханова за 1917—1918 гг. «Год на родине» и к изданию отдельной брошюрой речи Г. В. Плеханова на Московском совещании (15 августа 1917 г.). Кроме того, о Плеханове имеются статьи в № 4 и 11 газеты «Родина» М. Вишняка и в № 6—7 той же газеты—Фердмана. Этот же Фердман напечатал в газете «Дни» (Берлин) 30 мая 1923 г. ст. «Плеханов и Ленин» и в «Последних Новостях» (Париж) от 22 июня 1923 г.—«К пятой годовщине смерти Плеханова». В тех же «Последних Новостях» от 21 июля 1923 г. он дал ст. «Один Плеханов или несколько». Упомянутый выше Вишняк поместил статью «Родословная большевизма (к истории идей)» в «Днях» (Берлин) от 7 июня 1923 г. и «Вынужденный ответ» в тех же «Днях» от 1 августа 1923 г. Из других статей, посвященных Плеханову, Б. Н-ский отмечает: Л. Айзенштадт—«О идеализме и материализме» в «Последних Новостях» (Париж) от 26 сентября 1921 г., Н. Иорданский—«Основоположник русской революции» в «Пути» (Гельсингфорс) от 21—22 июня 1922 г., его же—«Плеханов и современные русские проблемы «Голос России» (Берлин) № 65 от 27 марта 1920 г.; М. Первухин—«Трагедия Плеханова» в «Общим деле» (Париж) от 25 сентября 1921 г., В. И. Талин—«Памяти Плеханова» в журнале «Заря» (Берлин) № 4 от 19 июня 1922 г. и лекция Л. Дейча о Плеханове—отчет в газете «Сегодня» (Рига) 1 июня 1922 г.

Как всегда, в рецензируемых книжках журнала интересны отделы «Лики отошедших», «Библиография» и «Хроника». Между прочим, в марте текущего года состоялся третий с'езд Всесоюзного О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, причем старостой О-ва избран т. Е. Ярославский.

«Літопис Революції» № 2, 1928 г. (часть статей журнала на украинском языке). «Л. Р.» выходит один раз в два месяца и с приложением, каждый ее номер дает около 380-ти страниц различного исторического текста. Значительная часть его в рецензируемом номере посвящена истории Октябрьской революции и гражданской войне на Украине. Статьи печатаются на русском и украинском языках. Первый отдел рецензируемого номера посвящен Красной армии и начинается с отрывков из воспоминаний старого работника Кр. армии И. Якира «Десять лет тому назад». Дальше идет его же статья из «Истории 45-й краснознаменной дивизии». Я. Шелигин пишет на украинском языке о Красной гвардии и ее борьбе с немецко-гайдамацким войском. Дальше идут мелкие воспоминания отдельных деятелей Красной армии на Украине о недавних революционных боях с белогвардейцами.

Из статей в «Л. Р.» могут быть выделены «II с'езд Всеукраинской Рады» (В. Аверин на украинском языке), «Аграрный рух за часів гетьманщини» (Б. Качиньский, продолжение, на украинском языке), «Борьба за хлеб на Украине в 1919 г.» (А. Шлихтер на русском языке). Последняя статья дает характеристику продовольственного дела на Украине в наиболее критические моменты борьбы пролетариата с белогвардейщиной. Несколько страничек А. Шлихтер посвящает роли комбедов в борьбе за хлеб на Украине.

Из статей, касающихся других периодов революции на Украине, следует отметить статью В. Б. «Стачечное движение на юго-западных ж. д. в 1905 г.» и Б. Линцера «Харьковская организация в период первого с'езда Р. С.-Д. Р. П.». Последняя статья написана по случаю 30-летия этого с'езда. В ней даны фотографии «Манифеста» с'езда и его решений.

В связи с 50-летием Г. И. Петровского помещены воспоминания Д. Лебедя и А. Суханова.

Г. Лапчиньский описывает борьбу за Киев в 1918 г., а И. Вишняков борьбу за диктатуру пролетариата в Донбассе 1916—18 гг. Все перечисленные статьи носят большею частью мемуарный характер, будучи подкреплены некоторым документальным материалом.

В разделе «Материалы и документы» помещены весьма ценные материалы о втором Всеукраинском с'езде Советов.

В настоящем номере начат М. Рединым обзор литературы по истории рабочего движения на Украине и рецензии на книги по вопросам, касающимся главным образом Октябрьской революции и гражданской войны на Украине.

«Красный Архив» т.т. XXV—XXVII, 1928 г. Главный интерес в рецензируемых томах «Красного Архива» представляют материалы, изданные под заголовком «Ставки и министерство иностранных дел». Эти письма, получавшиеся в Министерстве Иностранных дел в течение всего периода империалистической войны 1914—1917 гг. из дипломатической канцелярии при верховном главнокомандующем, являются одним из ценнейших источников для дипломатической истории войны 1914—1917 гг. Публикации писем предпослано ценное предисловие М. Н. Покровского, в котором он отмечает, что в письмах «представителей царского министерства иностранных дел при ставке верховного главнокомандующего мы имеем один из интереснейших результатов произведенных нами до сих пор раскопок». Начатая в XXVI томе публикация документов по данному вопросу продолжена и в XXVII томе и доведена в нем только до 10 сентября 1915 г. (дата последнего документа). Намечено в следующих томах продолжение их публикации.

Из других документов следует отметить, материалы по аграрной политике Врангеля с предисловием Ал. Жуковского, помещенные в томе XXVI; «Финансовое положение России перед Октябрьской революцией» с предисловием Б. Романова (Доклад директора департамента государственного казначейства Д. Дементьева — «Положение государственного казначейства за время войны с Германией и Францией до конца 1917 г.») в томе XXV и там же «Дневник мировой войны на Балтийском морском театре с 2 января 1917 г. по 5—18 февраля 1918 г.» кап. I ранга И. И. Рейнгартена. Пока опубликована лишь часть дневника, охватывающая период 17 октября по 18 декабря 1917 г. (ст. ст.). Она дает картину подготовки и развития Октябрьской революции в Балтийском флоте, участия флота в революции, а также борьбу штаба флота и командного состава с образовавшейся советской властью.

Моменты Октябрьской революции освещены также в материалах Московской городской думы после октября, опубликованных в XXVII теме «К. А.» и снабженных предисловием М. Владимирского. С захватывающим интересом читается стенограмма заседания Московской городской думы от 6 ноября 1917 г., где в ненависти к большевикам трогательно об'единились контрреволюционные лидеры кадетской партии в лице Н. И. Астрова с эсерами типа О. С. Минора и меньшевика Л. Б. Залкинда. Обещано окончание публикации по этому вопросу в следующих томах «К. А.».

Из эпохи интервенции ценны документы о связи правительства Грузии с английским командованием. Они приведены в XXV томе «К. А.» и являются также продолжением стенограмм бесед представителей грузинского правительства с английским командованием, опубликованных в XXI томе «К. А.».

Несколько публикаций посвящено Н. Г. Чернышевскому. В XXV томе приведена экспертиза по делу Чернышевского. Документы снабжены фотографическими снимками. В XXVI томе Ю. Стеклов дал статью с многочисленными документальными справками о том движении среди русского общества, которое было связано со смертью Н. Г. Чернышевского.

В XXVII т. «К. А.» дано окончание дневника Николая Романова, доведенного до 30 июня 1918 г. Там же В. П. Полонский опубликовал из материалов Дрезденского государственного архива большую документацию, переведенную с немецкого языка, об участии Бакунина в Дрезденском восстании. Полные материалы о Дрезденском восстании, извлеченные В. П. Полонским из архивов Праги и Дрездена, вошли во II том «Материалов для биографии М. Бакунина», подготовленный к печати тем же В. Полонским. Как всегда очень ценны отдельные публикации «Из записной книжки архивиста» во всех трех рецензируемых томах «К. А.».

А. Шестаков

Проф. В. Г. БОГОРАЗ-ТАН. Христианство в свете этнографии. ГИЗ. Москва—Ленинград 1928. Стр. 158.

Книга ставит себе задачу сложную, но чрезвычайно интересную: откопать многочисленные наслоения фольклора и этнографии в сказаниях и даже в лирических и ритуальных элементах ветхого и нового заветов. Такому этнографическому и фольклорному анализу св. писания посвящен трехтомный труд известного английского исследователя Фрезера: Folklor in the old Testament, Studies on the comparative Religion, Legend and Law. London. 1919.

И из этой книги автор берет немало примеров для подтверждения остатков анимизма и магии в библейских творениях.

И все то, что из этой книги берется, то действительно поучительно, интересно и убедительно.

Таковы параллели вроде «узла жизни», в который пленница царя Давида завязала его душу для сохранности или вроде угрозы бросить души врагов как-бы пращею. Совершенно справедливо автор подыскивает этому представлению аналогию во врачебных узлах шаманов Целебеса и других племен, которые в критические минуты убирают в мешок души целой семьи, чтобы выпустить их, когда минет опасность. Переход израильтян через Красное море вполне сравним с магическим бегством через воду племени байа в области французского Конго или негритянского племени вагимбо на озере Танганайка. Борьба библейского Якова с речным богом из потока Иавок, видение того же Якова о лестнице, по которой ангелы божии восходят и нисходят на небо, знакомы и греческой мифологии (борьба Геркулеса с речным богом Ахелоем) и египетской (восхождение покойных фараонов на небеса по веревочной лестнице) и русским и черемисам, пекущим для покойников на сороковой день лесенки из теста с семью поперечинами для каждого из семи небес.

Представление о связи богатырской силы Самсона с неостриженными его волосами. имеет себе параллель в малайской Инсулинде, где стрижка волос считается магическим средством, ослабляющим крепость остриженного. Запрет употребления козленка, сваренного в молоке матери, естественен для пастушеских народов, в глазах которых молоко продолжает сохранять симпатическую связь с выменем, так что кипячение молока портит вымя, как верят негры-мусульмане в Сьерра-Леоне или масаи в Восточной Африке.

Вслед за Фрезером Богораз связывает и идею воскресения бога с нарождением нового месяца после трехдневного промежутка от полного его затмения. Отсюда и в новом завете воскресение на третий день. Безусловно интересны также сопоставления с нашими народными сказками о справедливости смерти, о ее могуществе, о попытке ее убить, забросить в дикий лес. Но все эти ценные указания автора производят впечатление холостого выстрела и бесплодного фактособирательства. Факты, обильные, любопытные, иногда взятые даже из близкой нам жизни или из среды народностей, живущих бок-о-бок с нами и входящих в СССР, факты, подобранные столь опытным, умелым и авторитетным знатоком наших далеких окраин и их этнографического состава, все-таки нисколько не помогают уяснению нами христианства или его элементов в свете этнографии: тут нехватает системы, нехватает выдержанной точки зрения.

Впрочем, еще хуже, когда автор пускается в экскурсы и прибегает к экспериментам в чуждой ему области мысли. Получаются шедевры вроде следующего (стр. 67—68):

«Человек, вначале считавший себя естественно бессмертным и потом, против воли. признавший неизбежность жестокого и горького конца, как бы в виде отметки, перенес эту общность и на богов. Составилась такая антитеза:

1. Древнее воззрение. Весь мир бессмертен, в том числе и я. Человек тоже бессмертен. Бессмертие мира включает и бессмертие Я.

2. Более позднее воззрение. Человек смертен. Стало быть, и весь мир—земля, преисподняя и небеса—смертны. Смерть Я заражает и покрывает смертью все мироздание».

Как видите, почтенный этнограф наивно поставил знак равенства между незнанием смерти и сознанием бессмертия у первобытного человека; зато для позднего времени внезапно появившее-

ся сознание смерти «в отместку» было распространено на землю и богов, доказательством чему и служит могила Зевса на Крите и т. д., и т. д.

Именно, отсутствие выдержанной точки зрения ведет к такому дешевому прозелитизму в квази-марксистском духе, как утверждение:

«Апостолами, кроме «двенадцати», считались и другие странствующие проповедники. В иудейской диаспоре апостолами назывались странствующие сборщики приношений на храм. Основа все-таки была экономическая (стр. 140—141).

Основа чего? Института апостолов? Где? В Иудее? Какое же отношение к христианству имеет то, что сборщики назывались апостолами? И какой вывод можно сделать из этой, с позволения сказать, «все-таки экономической» основы? Какое здание построит автор на такой основе? Только для очень наивных прозелитов марксизма от подобного утверждения пахнет марксизмом.

«Епископ был хозяйственным управителем—утверждает далее автор-марксист на стр. 144,—а стало быть, главой общины. Так экономика победила чудотворцев и кликушескую глоссолалию».

К сожалению, такими дешевыми фразами под марксизм преисполнена вся книга. И потому вся вторая половина книги, где автор рискнул, расставшись со своим руководителем Фрезером, отважиться на самостоятельное плавание в пучинах философии и истории, оказалась не только ниже первой половины, где приводятся этнографические параллели, хотя бы и в виде беспорядочной груды фактических данных. Больше того. В последних главах у автора полнейшее незнакомство с вопросом.

«Христиане эпохи Иисуса и первого века вообще, были революционеры, но мирные, они были демократы, но состояли под управлением боговдохновенных апостолов, которым наследствовали епископы. Далее они были коммунисты, но признавали частную собственность, в том числе и собственность на рабов»—читаем мы на стр. 134—135.

«Христианский коммунизм не имеет ничего общего с натуральным коммунизмом первобытных народов»—открывает нам автор на стр. 138—утверждение столь же бесспорное, сколько и бесплодное. Впрочем, еще в первых строках своего труда автор декларирует с апломбом человека, незнакомого со специальной литературой вопроса:

«Христианство родилось из иудейства и в первые 2 века своего существования было просто одной из иудейских сект, которая, быть может, даже называлась еврейским именем «эбионим»—«бедные». Евангельские книги, дошедшие к нам в греческом тексте, представляют несомненные следы перевода с еврейского или арамейского» и т. д.

Так на стр. 122 автор усматривает в договоре городов Ниппура, Сиппара и Вавилона «любопытнейшее сочетание этических правил с чисто классовыми влияниями», явно не отдавая себе отчета о конкретных классах той эпохи и их взаимоотношениях.

Давая недурную параллель между магией шаманской и церковной магией чудотворных икон, приводя любопытные факты из прекрасно ему знакомого быта чувашской и марийской республик, автор, однако, повторяет с чужих слов нелепые об'яснения иконоборческого движения в Византийской империи.

«Вскоре после рождения ислама, наиболее деятельная часть византийского правящего класса сделала весьма энергическую попытку подтянуться, избавиться от изображений и, таким образом, по типу сравняться с исламом» (стр. 103).

Таким образом, движение, длившееся два века и стоившее тысячи жертв, сводится к подтягиванию православия перед лицом победоносного ислама. Конечно, автор просто не знает об отношении церкви и государства в Византии, о земельных конфискациях, о монастырском стяжании, и акт Ирины, официально признавшей иконопочитание, он наивно считает реставрацией status quo ante иконоборства.

Странно также считать глубокомысленные рассуждения автора о причащении, поедании бога, как прототипах казни королей революционными народами, хотя бы эти рассуждения и сопровождались ссылками на Эмиля Лоренца и Тэна. Нельзя серьезно отнестись к таким заявлениям, что вообще-то небесная иерархия строится фантазией человека по образцу его социального быта, только исключением является эпоха первобытная:

«Первобытная общественная организация чересчур несовершенна и текуча, чтобы влиять на идеи и представления людей». (стр. 37).

Как будто бы религиозные идеи вообще и первобытного человечества в частности непременно должны быть совершенны!

Разбираемая работа ни на шаг не приблизила нас к разрешению вопроса о марксистской истории религии. На подступах к этому заданию все еще также мертво и пусто, и девственная нива ждет своего пахаря.

Г. Лозовик

Th. SCLAFERT. Le Haut-Dauphiné au moyen âge, Recueil Sirey. Paris 1926. Pp.XX+765.

Изучение социально-экономической истории Франции в течение последних

сорока лет идет преимущественно по линии локальных исследований. Феодализм представляет собою общественную формацию, выросшую на местном основании, и характеризуется хозяйственным районированием, тяготением к значительному числу мелких хозяйственных—а в силу этого и административных—центров. Отсюда для историков-марксистов, изучающих историю средневекового развития Франции—и не одной лишь Франции—вытекает необходимость внимательного отношения к специфическим хозяйственным и географическим условиям областей, составляющих изучаемую ими страну. Сэ, являющийся признанным авторитетом по социально-экономической истории Франции, в своем общем труде признает коренные локальные различия в социальном и хозяйственном укладе на территории, составляющей нынешнюю Францию. «На севере и особенно на востоке Франции,—говорит Сэ,—феодальный режим был организован наиболее крепко. В этих районах, по крайней мере, до XIII в., серваж был господствующим состоянием населения деревни; напротив того, в Нормандии автономия сеньеров была уже в раннюю эпоху оспариваема герцогами; серваж в Нормандии быстро исчез, и население деревни быстро заняло более высокое положение на общественной лестнице. В Бретани феодалы образуют нечто вроде «демократии», характеризующейся крайней раздробленностью феодальных держаний; серваж в Бретани представляет исключение. На юге, и в особенности в Лангедоке, феодальные отношения еще менее четки, чем в Бретани. В горных районах юга и востока Франции скотоводство и виноделие чрезвычайно благоприятствуют мелкому, изолированному крестьянскому хозяйству, в отличие от крупного господского хозяйства севера и северо-востока» (H. Sée. Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge).

Вышедшая в 1926 г. обширная работа Склафер ставит своей специальной задачей исследование хозяйственных и географических условий в Верхнем Дофинэ в XI—XV вв. Верхнее Дофинэ представляет собою один из наиболее интересных районов средне-вековой Франции, в этом районе географические условия создавали особый тип социального развития, в котором нам интересны не только общие его черты, но и отклонения, характерные для местного уровня производственных сил.

Одним из крупных достоинств работы Склафер следует считать то, что им привлекались самые разнообразные источники, и что, таким образом, получаемая автором картина не страдает однобокостью, обычно являющейся уделом тех исторических исследований, которые основаны на источниках одного типа. Для XI—XIII вв. Склафер привлекает преимущественно архивы монастырей Верхнего Дофинэ, их статуты, уставы и хартии, для XIV и XV вв. источники становятся разнообразнее: это хартии и жалованные грамоты, полученные сельскими общинами, архивы светских сеньеров, сведения фискального характера.

К сожалению, работа Склафер не может быть названа исследованием по социально-экономической истории; это скорее работа по историко-экономической географии. В связи с этим и метод изложения принят весьма несоответствующий для историка: Склафер описывает положение отдельных составляющих Верхнее Дофинэ местностей вместо анализа отдельных общих для всего района черт социального и хозяйственного строя.

Тем не менее, работа Склафер исключительно богата конкретно-историческим материалом, и на основании этого материала можно наметить некоторые характерные для Верхнего Дофинэ исторические особенности.

Основная особенность хозяйства В. Дофинэ—подчиненная роль земледелия по сравнению со скотоводством, виноделием и лесоводством. Отсюда проистекает и отсутствие значительной барской запашки. Тяжелые природные условия создают в В. Дофинэ относительную независимость крестьянского населения от сеньеров, которым приходится привлекать крестьянское население в страну и для которых нет возможности вплоть до XIV в. вести эксплоатацию своих владений в сколько-нибудь широких размерах. Поэтому феодалы, за исключением монастырей, эксплоатируют преимущественно свои феодальные права, взимая оброк и выкупы феодальных повинностей. Серваж в В. Дофинэ почти неизвестен, начиная с XI столетия. С XIII столетия появляются сельские общины, организации полу-административные, полутрудовые, создавшиеся для выступлений против сеньеров и перед сеньерами. Сельские общины получают от сеньеров хартии, обеспечивающие им известные права пользования землей и выпасом и регулирующие их повинности и платежи. Хартии представляют собою юридически значительные преимущества по сравнению с описями повинностей манора, знакомыми нам в Англии, поскольку хартия признает сельскую общину в качестве юридического лица, контрагента сеньера. Практически сеньер не имел возможности в этот период регулировать хозяйственный распорядок деревни в Верхнем Дофинэ, не ведя собственного хозяйства; роль сеньера сводилась к эксплоатации своего «голо-

го права» в относительно неблагоприятных для того условиях.

Важнейшим фактором, способствовавшим своеобразному развитию социальных отношений в Верхнем Дофинэ, был особый порядок выпаса скота в горах весною и летом и возвращение скота на осень и зиму в долины. Переходы значительных стад на зимовку в долины и их возвращение в горы—весною способствовали в XI—XII вв. об'единению Верхнего Дофинэ в единое хозяйственное целое в большей, быть может, степени, чем обмен, поскольку обмен между отдельными районами строился на географическом разделении труда. Впрочем, этот распорядок скотоводства способствовал также и расширению обмена; ярмарки скота были приурочены по времени и по месту к осенним переходам скота в долины. Между сеньерами и сельскими общинами шла серьезная борьба за сборы со скота, отправляющегося в горы и обратно в долины; эти сборы составляли значительный доход сеньеров, но вместе с тем скот своими потравами наносил большой ущерб крестьянскому хозяйству.

Присвоение земли, лежавшей втуне, в течение X—XII вв. производилось преимущественно монастырями, которые обладали достаточными средствами для того, чтобы производить затраты в течение продолжительного времени, без необходимости получить немедленный доход. В монастырском хозяйстве невольно обращает на себя внимание тот факт, что монашеская братия представляла собою высшую категорию монастырского населения, лишь в редких случаях участвовавшую в обычных трудовых процессах. Тяжелые сельско-хозяйственные работы и большинство трудовых процессов, требовавших физического труда, выполнялись «обращенными» (конверсами) или нанятыми для того рабочими «мерсенариями». Дисциплина труда была в монастырских хозяйствах, повидимому, очень тяжела.

Значительное влияние на хозяйственную жизнь В. Дофинэ имело перенесение в XIV в. папской курии в Авиньон. С папой в Авиньон, ставший внезапно столицей христианского мира, явились паломники, ремесленники и торговцы. Гренобль и Бюи, лежавшие на пути в Авиньон, стали крупными торговыми центрами; Бриансон, под влиянием нового товарооборота, вызванного перенесением папской курии, превратился в крупный центр торговли продуктами скотоводства. Склафер приводит интересный эпизод из истории Бриансона, относящийся к 1420 г. и свидетельствующий о попытках рабочего законодательства во Франции во время Столетней войны.

Исследования, подобные работе Склафер, хотя и не написаны во всеоружии марксистского метода, могут крайне облегчить дальнейшую исследовательскую работу историков, поскольку являются хорошей переработкой сырого материала источников, зачастую недоступных не только иностранному, но и французскому исследователю.

И. Звавич

К. РАТКЕВИЧ. Французские рабочие в годы Великой революции. Изд. Московский Рабочий. Москва — Ленинград 1928, стр. 175. Ц. 1 р.

У нас довольно много популярных книг по Великой французской революции, но нет ни одной, посвященной судьбам рабочего класса в революции и его роли в революционном движении. Рецензируемая книга заполняет пробел в существующей литературе: она рисует положение рабочего класса, а также движение рабочих во время революции.

Перед нами проходит ряд достаточно красочных очерков, в полубеллетристической форме рисующих положение рабочего класса в предреволюционной Франции, положение рабочих и движение последних в годы конституционной монархии, в эпоху диктатуры мелкой буржуазии, а также в период реакции.

Очень хорошо показано автором, как пролетариат, настрадавшись в годы старого порядка, ринулся с отвагой и верой в революцию, надеясь, что последняя принесет ему облегчение. При каждом движении революции вперед, была ли то схватка между крупной буржуазией и двором или борьба крупной и мелкой буржуазии, вмешивается рабочий класс и своей силой решает дело. Его участие в революционном движении определило победу крупной буржуазии над двором, он же способствовал установлению диктатуры мелкой буржуазии.

За все это буржуазия отплатила рабочему классу самой черной неблагодарностью. Крупная буржуазия призывала рабочих к единению в эпоху 1789—1791 гг. Своим участием во взятии Бастилии, в движении 5—6-го октября рабочие способствовали ее победе над двором. Но как только крупная буржуазия обеспечила свою победу, так немедленно она начала борьбу против выступлений рабочих масс. Она издала законы, уничтожавшие свободу собраний, а также профессиональные организации рабочих, она закрыла рабочим доступ к политической деятельности.

С помощью пролетариата достигла власти и мелкая буржуазия. Но и в эпоху господства мелкой буржуазии рабочие ничего не получили. Правда, они добились введения закона о максимуме, от

которого они ждали облегчения своей участи. Но закон о максимуме не оправдал их надежд и даже в конце концов обратился против них.

Обессиленный в борьбе, распыленный рабочий класс постепенно потерял свою революционную энергию и не противодействовал росту реакции. «Оказался безоружным перед лицом быстро выравнявшей свои ряды буржуазии» (стр. 174).

Рабочий класс в эпоху Великой революции ждал улучшения своей участи от изменения политического устройства, от перехода власти в руки третьего сословия. «Будучи в эту эпоху уже классом для капитала, они не были классом для себя, не сознавали себя классом, до конца враждебным капиталу» (стр. 175).

Брошюра К. Раткевича дает хорошую популяризацию проблемы рабочего класса в революции, при чем основные вопросы, затрагиваемые в брошюре, трактуются с точки зрения революционного марксизма.

Написана брошюра очень легко, читается с интересом.

К числу недочетов брошюры нужно отнести некоторую растянутость книги. Автор не всегда выдерживает свое обещание затрагивать вопросы общего хода революции лишь постольку, поскольку это было необходимо для понимания положения и судеб рабочего класса.

Так следовало бы более кратко обрисовать причины революции, а также роли буржуазии в первые этапы революции, чем это сделано автором. С другой стороны, в брошюре оказались несколько затушеванными некоторые факты, касающиеся рабочего движения. Нужно было бы подробнее остановиться на движении 4-го сентября, которое было прелюдией ряда террористических мер, декретируемых Конвентом. Это движение было не только обычной вспышкой на почве продовольственных затруднений, но таким движением, в котором проявились классовые требования рабочих: рабочий требовал не только хлеба, но и повышения заработной платы. Слишком мало автор останавливается на движении в секциях в марте месяце, выставившем лозунг принудительного займа у богатых и создание революционного трибунала.

Р. Авербух.

«LA COMMISSION DES SUBSISTANCES DE L'AN II». Prosès—verbaux et actes, publiés par Pierre Caron (Collection des documents inédits sur l'histoire ékonomique de la Révolution française, publiés par le ministère de l'instruction publique). Fascie I—II, Paris 1924—1925, Стр. 880.

Имя Карона, ученого архивиста и секретаря Комиссии по опубликованию документов, относящихся к экономической истории Великой французской революции, достаточно известно всем работающим по указанной эпохе. Тщательность и об'ективность при подборе материалов, внимательное составление к ним комментариев, справок и примечаний, соединенное с глубоким знанием эпохи—вот отличительные черты кароновских изданий.

Рецензируемый сборник документов относится к истории продовольственного вопроса в эпоху Революции и тесно связан с предыдущими работами Карона в этой области, помещенными в Bulletin trimestriel названной Комиссии за 1906—1923 годы (Rapports de Grivel et de Siret, Recueil des actes, concernant les Subsistances, Une enquête sur les prix après la suppression du maximum, Notes sur la législation et l'administration du Maximum général, Notes sur les sources aux Arch. Nat. de l'histoire du Maximum Général). Сборник содержит, как это видно из самого названия, документы, относящиеся к работе Комиссии Продовольствия, созданной Конвентом I брюмера II года (22 окт. 1793 г.) и просуществовавшей фактически до 30 жерминаля II года (19 апреля 1794 г.). Таким образом, эпоха деятельности Комиссии, длившаяся почти полгода, охватывает именно тот период, когда система максимума и реквизиций достигает своего апогея и проводится с наибольшой строгостью. Все продовольственное дело революционной Франции сосредоточивается в руках этой Комиссии, бывшей по выражению Карона «чем-то вроде Комитета Общ. Спасения в вопросах продовольствия». Действительно, Комиссии было официально поручено руководство всеми закупками за границей, снабжение армии, численность которой доходила до 1.200.000 человек, забота о продовольствии Парижа и отдельных департаментов, производство переписи зерна и распределение налагаемых реквизиций, забота о развитии земледелия и увеличении посевной площади, наблюдение за сводкой леса и разработкой копей. Наконец, Комиссии вменяется в обязанность особо внимательный надзор за соблюдением законов о максимуме, а позднее составление подробных таблиц для исчисления предельных цен на товары по всем дистриктам Франц. Республики. Широте и важности поставленных задач соответствовали и полномочия Комиссии. Ей было предоставлено неограниченное право реквизиций, право принуждения (droit de préhension) и применения вооруженной силы для проведения в жизнь своих постановлений; в распоряжение Комиссии передаются все продовольственные фонды Временного Исполнительного Совета и министерства внутренних дел, не говоря уже о специальных ассигнованиях; в административном отношении Комиссия подчинена Конвенту, который по представлению

Комитета Обществ. Спасения и назначает 3 комиссаров, входящих в ее состав. На важность работ Комиссии указывает и частое присутствие на ее заседаниях парижского мэра и членов Комитета Обществ. Спасения, работавших по финансовым и продовольственным вопросам: имена Паша, Камбона, Робера Лендэ, Приёра из деп-та Кот Д'ор нередко встречаются в списке присутствующих (см. напр. заседания 15, 18, 23-го брюмера и др.). Состав самой Комиссии, о котором говорит Карон в своем обстоятельном предисловии, тоже не лишен интереса. Членами Комиссии были назначены: Брюне (Brunet) — член администрации департ-та Эро, по инициативе которого была принята та система рекрутского набора и принудительного займа, которая весной 1793 г. была известна под названием «plan d'Hérault» и распространена позднее на всю Францию; Гужон (Goujon)—прокурор-синдик департ-та Сены и Уазы, еще в ноябре 1792 г. (!) выступавший в Конвенте с известной петицией об установлении «справедливого соответствия между ценами на хлеб и заработной платой», с требованием максимума и запрещения крупной аренды,—тот самый Гужон, который, будучи передан военному суду за участие в прэриальском восстании, закололся перед лицом своих судей со словами: «Я умираю за дело народа и за равенство, которым я всегда дорожил больше всего».

Третьим членом комиссии был Рэссон (Raisson), секретарь Парижского департамента и видный член Якобинского клуба. Это назначение комиссаров из сторонников левого, «эгалитаристского» течения сказалось на всей работе Комиссии. Поддерживая сношения не только с администрацией дистриктов, но и с народными обществами, она все время стремится опереться на них в своей деятельности. Вместе с тем Комиссия ревностно заботится о том, чтобы многочисленный штат ее служащих (доходивший до 500 человек и стоивший свыше 120 тысяч ливров в месяц), был проникнут «истинными принципами гражданственности». «Революция не может достичь своей цели, пока общественные должности будут оставаться в руках холодных эгоистов, предателей или умеренных». «Только патриоты могут с пользой служить родине», заявляет комиссия 24/XI 1793 г.

И весь список служащих с указанием социального происхождения и с «доказательствами патриотизма» каждого из них подвергается неоднократному просмотру и чистке—то со стороны самих комиссаров, то Комитета Общественного Спасения и Якобинского клуба. За присылкой «пылких патриотов» Комиссия обращается с особым циркуляром к тем же народным обществам (стр. 19—20, т. I). Большинство служащих набирается из молодых людей 25—30-летнего возраста, выдвинувшихся уже в эпоху революции. Одно время в Комиссии работает и Бабеф, вычеркнутый из списков служащих, вследствие полученных о нем неблагоприятных отзывов (т. I, стр. 39).

Протоколы заседаний Комиссии (обычно полностью), ряд ее постановлений и циркуляров, взятых не только из Национального, но и из департаментских архивов—вот документы, которые публикует Карон в своем сборнике. Что же касается переписки Комиссии с органами центральной и местной власти, отдельными народными обществами и частными лицами, то она, к сожалению, не сохранилась. В Национальном Архиве имеется только регистрационная книга, по которой можно судить, что число обращений в Комиссию за несколько месяцев ее существования превысило 4.000.

Однако, несмотря на важность и интерес работы продовольственной Комиссии, самый характер и содержание опубликованных Кароном документов вызывает некоторое разочарование. Дело в том, что заваленные текущей неотложной работой члены Комиссии не заботились о том, чтобы их общие решения, прения и предложения принципиального характера заносились в протоколы заседаний; последние обычно содержат лишь запись отдельных частичных распоряжений и конкретных мер, приводившихся непосредственно в исполнение; даже работа первостепенной важности по составлению общих таблиц максимума освещена очень скудно. Так, например, в протоколе заседания от 15/XI—93 г. мы читаем: «Очень важная дискуссия привела к различным предложениям относительно постановки продовольственного дела как внутри, так и за пределами республики» (стр. 32, т. I). Но в чем заключалась эта дискуссия и каковы были вытекшие из нее предложения—протокол не указывает[1]. Однако, несмотря на сухость и лаконизм протоколов, они все же дают порою ряд очень интересных, хотя и частичных сведений о работе Комиссии. Так, не довольствуясь ранее намеченным кругом своих полномочий, Комиссия вмешивается порой и в область производства. В этом отношении любопытен наказ, данный ею 2 агентам, направленным в г. Труа с наказом во

[1] Впрочем, в этом отношении Комиссия Продовольствия не является исключением. Не говоря уже о заседаниях Комитета Обществ. Спасения, где также не велось записи прений, протоколы Комитетов Земледелия и Торговли, изданные Gerbaux и Schmidt'ом, представляют ту же каритну.

что бы то ни стало наладить работу имеющихся там текстильных заведений: «в том случае, если их владельцы-предприниматели будут пренебрегать ими и тем самым лишать рабочих их заработка», гласит инструкция Комиссии от 14 брюмера, «то Комиссары реквизируют помещения и оборудования этих мануфактур..., выберут из рабочих, руководящих производством (chefs de fabrication), наиболее разумных и патриотически настроенных граждан с тем чтобы поставить их во главе мануфактур и обеспечить им все необходимое для продолжения работы, использовав для этого в случае нужды право реквизиции и принуждения». «Торговцы отказываются покупать?—читаем в более поздней инструкции тем же Комиссарам: их злонамеренность будет наказана. Будет покупать Республика. Это для нее станет работать рабочий, и при мысли об этом его усердие увеличится» (стр. 7 и 17, т. I). Конечно, видеть в этой инструкции сознательную попытку «национализации фабрик» — отнюдь нельзя; однако она лишний раз подтверждает, что Шометт, генеральный прокурор Парижской коммуны, далеко не был одинок со своим предложением обсудить вопрос о реквизиции и передаче в полное распоряжение республики бездействующих частновладельческих фабрик.

С другой стороны, в протоколах заседаний встречаются попытки Комиссии привлечь и самих торговцев к трудной для ее членов коммерческой работе по закупкам продовольствия за границей и по налаживанию производства предметов первой необходимости внутри страны. «Эти две работы», докладывает Комиссия Комитету Обществ. Спасения, «требуют специальных знаний и навыков в торговле», тогда как «революционный путь, избранный ими (членами Комиссии), совершенно чужд торговых расчетов» (стр. 79—81, т. I). В связи с этим, в конце ноября и начале декабря при комиссии организуется, с утверждения Комитета Обществ. Спасения, особое торговое агентство (Agence de commerce), состоящее из 5 лиц, «известных своим патриотизмом, знанием и доверием, которым они пользуются в торговле» (см. зас. 30/XI—3/XII). Не менее интересна и попытка Комиссии использовать для закупок за пределами Франции заграничные кредиты частных банков (см. заседания 9 и 11 нивоза, 18 и 25 плювиоза II года).

При общем же просмотре документов не может не поразить разнообразие и размах деятельности Комиссии. Снабжение армии и флота всеми предметами первой необходимости (до дров включительно), непрерывная забота о продовольствии Парижа и департаментов, составление (к 24/II—94 г.) таблиц максимальных цен для всей Франции, реквизиции не только продовольствия, но и рабочих для нужд производства—с грозными циркулярами в случае их невыполнения, устройство складов изобилия, перепись зерна, мельниц, кузниц, лошадей, свиней, кожи, упряжи, обуви, забота о путях сообщения, об осушке прудов — для увеличения обрабатываемой земельной площади, об уплате натурой арендной платы с национальных имуществ, о скорейшем разделе общинных земель—для поднятия их урожайности, об увеличении посадки картофеля и других овощей, о сводке леса, об обязательной доставке тряпья для производства бумаги, в которой чувствовалась острая необходимость—вот далеко не полный перечень вопросов, фактически входивших в круг деятельности Комиссии. Правда, общее продовольственное положение Франции того времени изучено далеко не достаточно для того, чтобы дать точный ответ на вопрос о результатах и степени пользы работы Комиссии. Но даже одни цифры заграничных закупок, о которых с гордостью говорит Робер Линдэ в эпоху термидорианской реакции, достаточно указывают на то, что деятельность Комиссии, несмотря на всю трудность условий, в которых она работала, далеко не оставалась бесплодной. «Когда Комиссия была создана», пишут ее члены (стр. 47), «она была окружена хаосом. В ее распоряжении не было никаких рессурсов. Бесчисленные требования стекались к ней со всех сторон. Комиссия сделала все, что было в ее силах, чтобы установить хотя бы приблизительно имеющиеся рессурсы, потребности армий и департаментов и удовлетворить самые насущные из них». И думается, ни один историк, работающий по продовольственному вопросу в эпоху Революции, не сможет пройти мимо как работы Комиссии, так и сборника Карона с документами, ее характеризующими.

Н. Фрейберг

«LE PERE DUCHESNE d'HEBERT». Réimpression avec notes et introduction par F. Braesch. Société de l'histoire de la Révolution française. Fascicules I—IV. P. 1922—25, стр. 384

«Отец Дюшен» Гебера был одной из 3—4 газет, пользовавшихся в течение революции наибольшим влиянием среди столичного населения»—так начинает Брэш свое предисловие к переиздаваемым номерам Геберовской газеты. И действительно, мелкий столичный люд, ремесленное население Парижских предместий охотно разбирало листки Père Duchesne, написанные живым, простонародным языком, вперемежку с грубоватой шуткой, диалогами и сценками, сводящими на уровень понимания Па-

рижских масс серьезные политические проблемы, стоявшие на очереди. Не новостью программы, не глубиной политических мыслей, а именно общедоступностью, живостью и талантливостью изложения, а вместе с тем и бесспорной злободневностью содержания каждого ее номера об'ясняется несомненный успех Геберовской газеты. Не имея ни определенной программы, ни твердой и выдержанной линии политического поведения, Гебер лишь повторял и популяризировал на страницах «Отца Дюшена» наиболее распространенные идеи и воззрения, помещавшиеся в более серьезной демократической прессе. Его «Отец Дюшен» не столько руководил мнением масс, сколько сам был живым выразителем менявшихся политических симпатий и воззрений мелкобуржуазных слоев парижского населения. Эта чуткость к малейшему изменению настроения парижских низов, фиксирующая на страницах периодического органа политическую эволюцию, проделанную парижским населением в годы революции, делает Геберовскую газету особенно интересной для историка этой эпохи, тем более, что номера «Отца Дюшена» охватывают длительный и наиболее острый период революции. Первые отдельные выпуски «Отца Дюшена» Брэш относит еще к весне 1790 г., а памфлет «Voyage de Père Duchesne à Versailles» появился еще в марте 1788 г., последние же номера «Père Duchesne», как известно, относятся к весне 1794 года. К сожалению, в первых 4 выпусках Брэша издание доведено лишь до декабря 1790 г., но и помещенные здесь №№ очень любопытны для характеристики тогдашних политических настроений. Так, уже в № от 26 сент. 1790 г., озаглавленном «Le Père Duchesne à Saint Cloud ou son entretien avec le roi et la reine», наряду с утверждением, что Люд. XVI «был бы великим королем», «если б не министры-жулики», встречается и фраза о том, что «должен же король французов обладать добродетелями, если только он не хочет перестать быть королем»,—носящая некоторый, хотя и очень слабый оттенок того неопределенного республиканизма, который начал складываться именно с лета и осени 1790 года. Любопытны №№ 22, 26, посвященные Лафайетту. Как чуткий журналист, Гебер не мог не заметить некоторой перемены в отношении парижан к Лафайетту и, защищая популярного генерала, вместе с тем предостерегает от его чересчур усердных друзей.

В большом предисловии—оно занимает почти целиком 2 первых выпуска—Брэш, устанавливая даты и авторство отдельных номеров «Отца Дюшена», разбирая вопрос о возможных сотрудниках Гебера в его журнальной деятельности и об источниках его информации, дает вместе с тем интересный очерк по истории периодического политического памфлета эпохи революции. Появление в Париже нескольких изданий «Отца Дюшена»—Гебера, Лемэра и Рош, Маркандье, памфлетов Жан-Барта тесно связывается Брэшем с тем оживлением муниципальной жизни и формированием левых течений, которое наблюдается с осени 1790 г.

Что касается общей характеристики Гебера и его журнала, даваемой Брэшем, то с ней приходится согласиться; однако отдельные места его предисловия, в частности некоторая параллель между воззрениями Гебера и Марата, встречают возражения. В общем же остается только пожелать скорейшего издания следующих выпусков с номерами «Отца Дюшена», относящимися к более позднему периоду революции, в частности к зиме II года. Излишне говорить о том, насколько переиздание Геберовской газеты важно особенно для тех историков, которые, находясь вне пределов Франции, пытаются работать по истории Великой революции.

Н. Фрейберг

В. КОЛОКОЛКИН и С. МОНОСОВ. Что такое термидор. «Московский Рабочий». 1928. Ц. 35 к. 44 стр.

Ставя себе не исследовательские, а лишь популяризаторско-пропагандистские цели, тт. Колоколкин и Моносов сумели, однако, достаточно убедительно показать, «что представляла собой эпоха термидора в истории Великой французской революции, как она подготовлялась и по каким конкретным соображениям закономерности этой эпохи не могут быть перенесены на нашу революцию» (стр. 11); сумели также выявить исторические и классовые корни теории «русского термидора».

Книжка начинается с небольшого введения общего характера, за которым следуют три главы: I.—Великая французская революция; II.—Социалистическая революция; III—Исторические и классовые корни теории «русского термидора». Наиболее оригинальной и свежей следует признать первую главу, в которой излагается общий ход Французской революции конца XVIII в. и подробно выясняются предпосылки и смысл переворота 9-го термидора, знаменовавшего собой крушение якобинской диктатуры. Формулированные в конце этой главы общие выводы, которые кажутся нам совершенно бесспорными, гласят следующее: «Якобинцы оказались в состоянии спасти революцию от грозивших ей извне опасностей. Якобинцы совершили великое дело, до-

вершив до конца буржуазную революцию. Они уничтожили остатки феодализма в деревне, и в этом заключается их величайшая заслуга. Однако, будучи революционерами в области политической, спасая и довершая до конца буржуазную революцию, якобинцы в экономической области могли выдвигать только реакционные планы и проекты. Как представители мелкой буржуазии, т.-е. мелких собственников, они, прежде всего, были противниками накопления капиталов в одних руках, и здесь они вступали в противоречия с возложенной на них историей задачей. Задача эта заключалась в том, чтобы укрепить буржуазную революцию, т.-е. способствовать созданию таких порядков, которые обеспечили бы укрепление и рост капиталистических отношений, рост капитала, увеличение накопления. Та хищническая, спекулятивная и алчная буржуазия, которая была политически реакционна..., эта термидоровская буржуазия представляла из себя авангарды прогрессивного класса, класса, за которым было будущее и который поднимался к господству. В этом и заключался секрет его победы и секрет поражения якобинцев» (стр. 59—60). «Как представители мелкой собственности, как дети своей эпохи, той эпохи, когда капитализм находился в зачаточном состоянии, когда крупной промышленности не существовало», якобинцы «не могли намечать социалистических мероприятий», «не могли завладеть тем, что мы теперь называем «командными экономическими высотами» (стр. 61), а значит, не могли предотвратить своей гибели, ускоренной отходом широких слоев городской и сельской бедноты от не оправдавшей ее ожиданий мелкобуржуазной диктатуры.

Весьма убедительным представляется нам и то, как авторы разбираемой книжки доказывают, «что так называемый «русский термидор» означал бы по существу явление принципиально иного типа, чем термидор Великой французской революции» (стр. 69).

Авторы прослеживают этапы фракционной борьбы внутри якобинской партии, завершившейся, как известно, расколом, а затем отсечением и левого, и правого крыла победившим в этой борьбе центром. Они приходят к следующим трем выводам: 1) «раскол якобинизма не являлся самодовлеющим фактом, а выражал собою раскол мелкой буржуазии, как класса» (стр. 115); 2) «ожесточенная фракционная борьба внутри якобинских организаций, сопровождавшаяся отколами от них тех или иных частей, обусловливала собой также и распад руководящих кадров якобинской диктатуры» (стр. 115); 3) «устранение левых с исторической авансцены потому и имело непоправимо губительное значение для судеб якобинской диктатуры, что оно знаменовало уход от революции не просто политиков-одиночек..., а уход тех многочисленных слоев мелкой буржуазии, которые решительнее всех боролись против контрреволюционеров того времени...» (стр. 116). Как непохожа на эту внутрипартийную борьбу в якобинизме пережитая нами четырехлетняя внутрипартийная борьба в ВКП(б). Эта последняя, во-первых, развернулась на п о д ' е м е р е в о л ю ц и и» (а не в полосу упадка революции, как то было с якобинцами); во-вторых, «в ы р а ж а л а с о б о й б о р ь б у н е т о л ь к о п а р т и и, н о и о с н о в н ы х с и л н а ш е г о к л а с с а, против предательства и измены о д и н о ч е к» (стр. 117) (а не борьбу между отдельными слоями «ведущей социальной силы революции», как то было с якобинцами); в-третьих «развертывалась в обстановке п р и л и в а в нашу партию передовых представителей рабочего класса» (стр. 119), класса, руководящего революцией (в то время, как для кануна термидора характерен о т л и в о т якобинизма передовых элементов мелкой буржуазии); в-четвертых, сопровождалась «п е р е г р у п п и р о в к о й р у к о в о д я щ и х к а д р о в п а р т и и» (стр. 120) в сторону усиления в них роли пролетарского сектора, в сторону усиления их связи с партийной массой (в то время, как борьба внутри якобинизма сопровождалась сокращением и вырождением партийных кадров «в касту одиноких вождей»); в-пятых, не влекла за собой отхода от революции каких-либо прослоек пролетариата (в отличие от того, что имело место накануне термидора, когда каждый кризис в фракционной борьбе среди якобинцев сопровождался отходом от них какой-нибудь новой прослойки мелкой буржуазии).

Остается глава III рецензируемой книжки—Исторические и классовые корни теории «русского термидора». Эта глава, вывод из которой («теория термидора есть теория новой буржуазии того периода, когда имеют место рост и относительное, хотя и кратковременное, ее укрепление»—стр. 143) представляется нам совершенно бесспорным, является наименее оригинальной: с Устряловым и устряловщиной блестяще разделался еще в 1926 г. Н. Бухарин («Цезаризм под маской революции»).

Резюмируем: книжка В. Колоколкина и С. Моносова дает достаточно четкий и обоснованный ответ на поставленный ими в заглавии вопрос: Что такое термидор? К числу достоинств книжки необходимо отнести и ту прекрасную литературную форму (столь редкую у нас), в которую она облечена. Живое, популярное в лучшем смысле этого слова, изложение освещается удачно и в меру длинными цитатами (из докумен-

тов Великой французской революции, из работ Энгельса и Ленина, из документов оппозиции в ВКП(б)).

Можно лишь пожалеть, что эта книжка, дающая превосходную отповедь многократным попыткам ныне окончательно разбитой оппозиции опереться в своей борьбе против партии на поверхностные quasi исторические «аналогии» с эпохой Великой французской революции, увидела свет в феврале 1928 г., а не полгодом раньше, когда появление ее было бы еще более своевременным, еще более политически нужным.

А. М.

GEORGES BOURGIN. Les Premières journées de la Commune. Paris [1928]. Librairie Hachette. 127 p. („Récits d'aut- refois").

Книжка Жоржа Буржена—одного из наиболее авторитетных французских исследователей истории 72-дневного господства парижского пролетариата[1]—входит в состав выпускаемой издательством Hachette популярной исторической серии «Récits d'autrefois» («Рассказы о былом») и посвящена «первым дням Коммуны». Обнимая события, заключенные в хронологические рамки между июлем 1870 г. (началом франко-прусской войны) и концом марта 1871 г. (установлением Коммуны), разбираемая книжка состоит из семи глав, из коих 1-я посвящена войне и осаде Парижа, 2-я и 3-я—непосредственным предпосылкам Коммуны (перемирие, революционное брожение в Париже в феврале—марте 1871, политика бордосской «деревенщины»), 4-я—дню 18 марта, 5-я и 6-я—периоду десятидневной «диктатуры» Центрального Комитета нац. гвардии, и, наконец, 7-я—выборам и установлению Коммуны.

Достоинством книжки является живое, популярное в лучшем смысле этого слова и дающее в то же время ряд свежих (почерпнутых из источников), интересных данных (особенно в главах I и IV) изложение сложнейшего комплекса событий, разыгравшихся во Франции, и, в частности, в Париже осенью—зимой 1870/71 г. и раннею весной 1871 г. Необходимо также подчеркнуть, что, несмотря на небольшие размеры книжки (около 5 печ. листов), она содержит обильный фактический, притом вполне доброкачественный материал.

Существенным методологическим недостатком работы Буржена является то, что она представляет собой, строго говоря, обзор лишь политической истории избранного автором периода и почти не затрагивает социально-экономических корней и предпосылок Коммуны. Последнее, конечно, не случайно и стоит в прямой связи с научно-политической позицией Буржена, при всем своем радикализме и «социализме» достаточно далекого от революционного марксизма. Историк, игнорирующий социально-экономические корни Коммуны (восходящие к последним годам Второй Империи) и ограничивающийся непосредственными предпосылками последней (восходящими к периоду франко-прусской войны и первой осады Парижа), рискует отрезать себе возможность правильного истолкования изучаемых им событий. Именно в таком положении оказывается наш автор, когда, например, справедливо подчеркивая отсутствие «единства мысли, а следовательно, и единства действия» в неоднородном по своему составу совете Коммуны. (р. 126), он оказывается бессильным об'яснить причину этого явления, которая сводится к незрелости французского пролетариата того времени. Говоря о повороте мелкой и отчасти средней буржуазии в сторону Центрального Комитета нац. гвардии, выразившемся в капитуляции части мэров и депутатов Парижа по вопросу о выборах в Коммуну, он недостаточно подчеркивает то, чем этот поворот был обусловлен (отказ Национального Собрания продлить долговой мораторium и слухи о готовящемся в Версале монархическом перевороте, с одной стороны, заботливое отношение Ц. К. к интересам средних слоев парижского населения, с другой). Тщательно избегая формулировать сущность Коммуны, как провозвестницы диктатуры пролетариата, Буржен дает иногда основание полагать, что сам он видит в революции

---

[1] Перу Буржена принадлежат—в этой области—книга «Histoire de la Commune» (общий очерк истории Коммуны, вышедшей в 1907 г.; русский перевод его появился в 1926 г.—в издании «Прибоя»), статья «La Mouvement communaliste de 1871 en province» («Revue socialiste», mai 1909; русск. перевод ее, под заглавием «Коммуналистическое движение в 1971 г. в провинции», дан в приложении к русск. переводу упомянутой выше книги того же Буржена) и статья «La Commune de Paris et le Comité central» («Revue historique», septembre-octobre 1925). Наконец, тот же Буржен, в сотрудничестве с другим архивистом, Габриелем Анрио, выпустил в 1924 г. в свет 1-й том научного издания подлинных протоколов совета Коммуны, обнимающий март—апрель («Procès-Verbaux de la Commune de 1871». Edition critique par Georges Bourgin et Gabriel Henriot. Paris. Bibliothédue de l'Institut d'histoire, de gèographie et d'économie urbaines de la ville de Paris. 1924. Tome I-er; Mars—Avril 1871») и подготовил, сколько нам известно, к печати II том, обнимающий три недели мая.

18 марта всего лишь эпизод (или, вернее, эпилог) войны 1870/71 и вызванного последнею кризиса (р. 5). Уделяя много, даже слишком много, внимания тому, что делалось по ту сторону баррикады, в Версале, в период 10-дневной «диктатуры» Центрального Комитета, он отказывается от систематической критики оборонительно-соглашательской тактики последнего, а потому не в состоянии сделать необходимый вывод: десять дней, потерянных для революции и предопределивших ее конечное поражение. Крупным пробелом в главе 1-й, дающей подробную картину борьбы между правительством Национальной Обороны и парижской революционной демократией в период осады, следует признать отсутствие сколько-нибудь пристального анализа той патриотической лихорадки, того увлечения лозунгом «защиты отечества», которые владели в течение нескольких недель после 4 сентября парижскими массами и от которых несвободен был в это время даже авангард французского пролетариата—как бланкисты («Отечество в опасности»), так и интернационалисты. Последним Буржен вообще уделяет крайне мало внимания, совершенно не останавливаясь, например, на политической позиции парижской организации Международного Товарищества Рабочих, как накануне революционного взрыва, так и в следующие за 18 марта дни.

Странное, чтобы не сказать больше, впечатление производят те, увы, довольно многочисленные, места рецензируемой книги, где наш автор уже совершенно сходит с позиции социологического анализа и отказывается видеть классовые пружины даже там, где они совершенно отчетливо выступают наружу. Чего стоит, например, характеристика пресловутого «плана Трошю» (р. 11—12), который сводился, оказывается, к тому, чтобы «вывести парижскую армию, на запад на соединение с луарской армией». А мы, грешные, думали до сих пор, вслед за Марксом и Энгельсом, что ни о какой действительной обороне ни в Париже, ни вне Парижа, руководимое Трошю правительство (за исключением разве его лево-республиканской части — Гамбетты) никогда и не помышляло! Известно, что упомянутый генерал, монархист и клерикал, уже вечером 4-го сентября заверял своих коллег по кабинету, что для него лично все разговоры о сопротивлении Парижа немецкому нашествию — просто «безумие» (конечно, «геройское безумие», добавлял он). Правда, по Буржену, выходит, что Трошю пришел к этому выводу лишь с течением времени. В другом месте продовольственную политику правительства 4 сентября, носившую, как известно, столь же ярко выраженный классово-буржуазный характер, как и его военная политика,—наш автор защищает от «необоснованных» упреков в «мнимом социальном пристрастии» (р. 26). Правда, несколькими страницами ниже (р. 33), он вынужден все-таки признать факт бешеной спекуляции с продуктами питания в осажденном немцами Париже (поощрявшейся, добавим, бездействием или, вернее, полусодействием правительства).

В заключение несколько «мелочей». Буржуазная пресса, оказывается, существует лишь в воображении коммунистов: по крайней мере, у Буржена первое из этих двух слов заключено в кавычки (р. 32—la presse «bourgeoise»). Для характеристики Ферре, стойкого революционера и бесстрашного баррикадного бойца, одной из наиболее обаятельных фигур среди деятелей и мучеников Коммуны, наш «социалистический» историк не находит других слов, кроме пренебрежительно - иронического выражения: какой-то мелкий конторщик, «претендующий, несмотря на свой малый рост, на роль монтаньяра» (р. 61). Зато Тьер, оказывается, сделался палачем революции чуть ли не только по «недоразумению»: будь у него в душе та «искра великодушия», которая приводит к «доброте» (р. 63), он, конечно, сделал бы тот «великодушный жест» и произнес бы те «слова прощения и обещания», которые успокоили бы, утихомирили бы, удовлетворили бы» (р. 64) «парижский плебс» (plébe parisienne—характерная для Буржена терминология). Но Тьер не послушался охавших и ахавших вокруг него на все лады «социалистических» нянек и «демократических» гувернанток,—в результате чего «соглашение» между революционно-пролетарским Парижем и буржуазно-помещичьим Версалем, которое, по мнению Буржена, было лишь «затруднительным» (р. 73), стало невозможным.

Резюмируем: книжка Буржена, при всем богатстве фактического материала, при всей популярности изложения, не удовлетворит читателя, который захотел бы составить себе по ней достаточно четкое представление о периоде «первых дней Коммуны».

А. Молок

Х. ЛУРЬЕ. Между первым и вторым Интерационалами. Изд-во Ком. Академии. 1928 г. Стр. 111. Ц. 1 р. 25 к.

Период между распадом I Интернационала и созданием II меньше всего привлекал к себе внимание исследователей, и в особенности внимание наших молодых ученых. Если по истории рабочего движения эпохи II Интернационала мы имеем, если пока еще не круп-

ные работы, то во всяком случае ряд научных статей в наших журналах, если по истории I Интернационала мы имеем ряд серьезных научных работ, то 15 лет, лежащие между двумя Интернационалами, оказались совершенно забытыми.

Между тем этот период имеет колоссальное значение в истории рабочего движения. Именно, в эти годы складывались и сложились те политические партии пролетариата, которые впоследствии об'единились во II Интернационал; именно в этот период рабочее движение ценой упорной внутренней борьбы преодолело те течения, те взгляды, которые стояли на пути к массовому социалистическому рабочему движению.

Этот период, когда формировался характер партий II Интернационала, должен был оказать огромное влияние на все будущее этих партий, и целый ряд процессов, имевших место во II Интернационале, не может быть понятым без изучения этих лет. В частности, нам кажется, что правильная постановка и разрешение проблемы перерождения II Интернационала невозможны без детального изучения рабочего движения 70—80 гг. как в международных, так и, главным образом, в национальных рамках.

Изучению этого периода и посвящена рецензируемая книга.

Автор не ставит своей задачей дать исчерпывающую характеристику рабочего движения в эти годы. Его интересовали, как об этом говорится в предисловии, «лишь международные связи пролетариата и попытки создания международной организации».

Однако содержание книги еще более узко. Автор упоминает только, но не останавливается на такой форме международных связей, как взаимное участие делегаций отдельных партий в национальных партийных с'ездах, имевшее в те годы огромное значение и много содействовавшее установлению общего языка между партиями разных стран. Точно так же, в книге нет указаний на деятельность тех партий, на которые в промежутки между конгрессами и конференциями возлагалась задача подготовки к конгрессам и информации. Вся книга посвящена только одной, правда, наиболее интересной форме международных связей: именно конгрессам и конференциям, имевшим место в тот период. И надо сказать, этот вопрос получил у автора достаточно полное, если не исчерпывающее, освещение.

Тов. Лурье удалось восстановить содержание работ 5 конгрессов и конференций (Гентского—77 г., Хурского—81 г., Парижских конференций—83 и 86 гг., и Лондонского конгресса—88 г.), обстановку работы этих конгрессов, содержание прений, решения и т. д. Задача эта была не из легких. Только первые 2 конгресса получили некоторое освещение в работах Гильома и Стеклова, и только от 1 конгресса остались протоколы, и то очень неточные, изданные частным образом, даже без указания имени издателя, места и времени издания. Что касается остальных конгрессов, то от них никаких следов, кроме сообщений в тогдашней социалистической и отчасти буржуазной прессе, не осталось.

Тов. Лурье пришлось проделать очень большую и трудную работу, чтобы на основании этих отрывочных, часто противоречивых сообщений французской, английской, немецкой и австрийской прессы *дать полную картину* работы конгрессов и этим самым вскрыть их роль в подготовке II Интернационала.

Тов. Лурье считает, и это ей удалось доказать, что, несмотря на внешнюю бесплодность работ конгрессов и конференций, имевших место между I и II Интернационалом, несмотря на то, что ни один из них не привел к созданию международной организации рабочих, несмотря на то, что между самими этими конгрессами и конференциями не всегда имелась внутренняя преемственность, несмотря на все это они сыграли огромную роль. Здесь произошли решительные схватки между течениями, претендовавшими на руководство Интернационалом, и в этих схватках было нанесено окончательное поражение противникам политической борьбы пролетариата, противникам создания политических партий—анархистам и тред-юнионистам. Если впоследствии при организации II Интернационала удалось так быстро справиться с анархистами, если тогда было сравнительно так мало споров по основным принципам рабочего движения, то это в значительной мере об'ясняется тем, что эти вопросы были разрешены в предыдущий период как в национальных рамках, так и на международной арене.

Окончательное банкротство анархизма и крушение попыток английских тред-юнионов завоевать гегемонию в Интернационале — эти два момента и составляют содержание рассматриваемого периода в истории международного рабочего движения.

Тов. Лурье делит этот период на два этапа: первый — обнимающий годы Гентского и Хурского конгрессов (1877—1881 гг.) и характеризующийся «окончательным изолированием анархистов от влияния на международной арене» (стр. 110), и второй—обнимающий годы Парижских конференций и

Лондонского конгресса (1883—1888 гг.), характеризующийся борьбой с английским тред-юнионизмом (поддержанным французскими поссибилистами) за гегемонию.

Наибольший интерес, бесспорно, представляет для нас II этап.

Все конгрессы, имевшие место на этом втором этапе, были созваны английскими тред-юнионистами, совместно с поссибилистами, которые ставили своей задачей изолировать социал-демократические партии (главным образом германскую) от новой международной организации, которую предполагалось создать. В этих целях всячески подтасовывали состав конгрессов, не допуская на них представителей неугодных организаций. На конференции 1883 года и на конгрессе 1888 года вовсе не было представителей Германии, Австрии и ряда других стран. И несмотря на все это, именно эти конгрессы (в особенности Лондонский) нанесли решающий удар английскому тред-юнионизму и демонстрировали его полное идейное банкротство.

На Парижской конференции 1886 года тред-юнионисты вовсе отказались от защиты своих взглядов и воздержались при обсуждении и голосовании по вопросу о международном трудовом законодательстве, а на Лондонском конгрессе они остались в меньшинстве по ряду важнейших вопросов, несмотря на то, что они блокировались с анархистами и даже голосовали за всеобщую стачку в целях достижения 8-часового рабочего дня—лишь бы провалить ненавистное им вмешательство государства в отношения между трудом и капиталом. Такое банкротство тред-юнионистов было не только результатом того, что против них выступили рабочие других стран, в том числе и их ближайшие союзники—поссибилисты, оно было результатом и роста новых настроений в самом тред-юнионизме, разложения старого тред-юнионизма, нашедшего свое отражение в расколе среди английских делегатов. Таким образом, создалось оригинальнейшее положение: конгресс, созываемый тред-юнионистами без участия немецких и австрийских социал-демократов принимает резолюции, легшие впоследствие в основу деятельности II Интернационала, и, в частности, резолюцию о необходимости создания в каждой стране политических классовых партий и об'единения их в международную организацию, так что некоторые склонны даже считать Лондонский конгресс—I конгрессом II Интернационала.

Тов. Лурье по этому поводу пишет: «Если исходить из организационных принципов, положенных в основу созыва Лондонского конгресса, если принять во внимание количество наций, которое он представлял, если считаться с его официальным руководством,—этот конгресс не может претендовать на звание I конгресса II Интернационала, а является последним конгрессом переходного периода; если же исходить из принятых конгрессом резолюций, если учесть степень осознания делегатами возможности создания Интернационала, то в этом отношении он представляет нечто отличное от всех конгрессов переходного периода и действительно выявляет уже черты такой зрелости международного рабочего движения, что может считаться конгрессом, в котором отмирающие черты прежних неудачных попыток сочетаются с чертами нового Интернационала, долженствующего сплотить международный пролетариат».

Этими словами дана правильная оценка роли конгресса 1888 года.

Конгрессом 1888 года автор заканчивает свою книгу. С нашей точки зрения правильно было бы включить в число рассматриваемых конгрессом и поссибилистский конгресс 1889 года. Этот конгресс, хотя он заседал одновременно с первым конгрессом II Интернационала, целиком еще принадлежит второму этапу промежуточного периода, когда поссибилисты вместе с тред-юнионистами пытались захватить в свои руки Интернационал.

Тов. Лурье предпослала своей книге введение, задачей которого было дать общую характеристику экономического и политического состояния, а также социалистического движения важнейших стран Европы. В том виде, в каком введение это написано, его надо признать совершенно излишним. Нельзя предположить, чтобы читатель книги по такому, сравнительно, специальному вопросу не имел бы тех элементарных сведений, которые дает введение и которые можно найти в любом учебнике по истории Запада. Ни в какой связи с последующим изложением это введение не стоит. В нем мы не найдем, например, характеристики анархистского движения и кризиса, который оно переживало, а между тем такая характеристика была бы необходимой для понимания последующего изложения; характеристика английского тред-юнионизма, даваемая во введении, совершенно не об'ясняет событий, имевших место на Лондонском конгрессе и т. д. Создается впечатление, что введение написано, чтобы не нарушить «хороший тон», состоящий в том, чтоб каждую книгу начинать с экономики и проч. Вообще, слабым местом книги является то, что она носит сугубо-фактический характер, что автор ограничивается за немногими исключениями—лишь восстановлением протоколов конгрессов, что он, несмотря на частые экскурсы в истории I и II Интернационала, не дает достаточных выводов и об-

общений. И книга очень выиграла бы от такого введения (или послесловия), которое об'яснило бы, почему так быстро растаяло анархистское движение, которое только-что казалось переживало период расцвета, почему начали проявлять такую активность английские тред-юнионы, почему они снова после больше чем 10-летнего перерыва стали обнаруживать такой интерес к созданию международной организации, почему они потерпели крах и, наконец, почему оказались неудачными все попытки восстановить Интернационал, которые делались в этот период.

Следовало бы также осветить вопрос о позиции, занятой Марксом и Энгельсом по отношению к конгрессам и конференциям в рассматриваемый период. Между тем мы в книге не находим никаких указаний на отношение Маркса и Энгельса к попыткам воссоздания Интернационала, на их роль в конгрессах и т. д.

Можно также пожалеть о том, что автор недостаточно отделал свою работу с внешней, стилистической, стороны, благодаря чему в книжке сплошь и рядом попадаются режущие ухо, а подчас и не совсем понятные фразы. Так, на стр. 105 мы читаем: «отдельно здесь изложенные моменты совершенно ясно дают представление о физиономии либерального тред-юнионизма» и дальше: «революционный марксизм создал II Интернационал вместо претензий тред-юнионов к созданию либерального Интернационала». На стр. 108: «Конгрессы и конференции этого промежуточного периода считали основной своей задачей создание международной организации, обосновывали исторически рост этой возможности» и т. д.

Но все эти недостатки ни в какой мере не обесценивают работы тов. Лурье, восполнившей большой пробел в нашей литературе, осветившей неисследованный период в истории международного рабочего движения и, попутно, вскрывшей ряд интересных деталей из истории рабочего движения в отдельных странах (в частности Швеции и Бельгии).

Е. Р.

ЭДУАРД БЕРНШТЕЙН. Детство и юность. (1850—1872 г.) Перевод с немецкого Ар. М. Гинзбурга, с предисловием А. Тальгеймера, под ред. С. Ш. «Моск. Рабочий». М.—Л., стр. 192. Цена 1 р. 45 к.

На восьмом десятке жизни писать воспоминания весьма подходящее занятие. Маститый ревизионист взялся за это дело серьезно, рассчитав свои записки на три тома. Первый из них, вышедший уже в 1925 г., переведен на русский язык. Этот том охватывает первые 22 года жизни, еще до вступления Эд. Бернштейна в с.-д. партию. Естественно, что в нем нет политических воспоминаний. Тем не менее, и он представляет известный интерес.

Богатейшая память позволяет автору передавать с точностью не только ряд мелких фактов личной жизни, но и целые букеты ходких в то время стишков, песенок, анекдотов, содержание театральных постановок и т. п. Это не только оживляет изложение, но дает и довольно живую картину настроений и интересов той среды мелко-буржуазной Германии 50-х и 60-х г.г., в которой вырос автор. Патриотические настроения, все сильнее охватывавшие мелко-буржуазного обывателя, его узкий горизонт, его довольно благонамеренное остроумие, его своеобразно-ограниченная «оппозиционность», связанная с усложняющейся борьбой за кусок хлеба, — проступают в книге Эд. Бернштейна очень выпукло и живо.

В этой обстановке вырастает будущий ревизионист. Его личное развитие и процесс его перехода к социал-демократии типичны для той массы мелкобуржуазных попутчиков, которую в таком изобилии впитала в себя немецкая с.-д. партия с первых же годов своего существования.

«Мой отец,—пишет Эд. Бернштейн,— мыслил и чувствовал вполне как немецкий патриот... В политическом отношении он чувствовал себя душой и телом пруссаком и немцем. С подобными чувствами выросли мы, дети» (52—52). Рассказывая об австро-прусской войне 1866 г., автор заявляет: «Я настроен был в весьма германско-патриотическом духе». Конечно, этот «германско-патриотический» дух шел по линии велико-германских мечтаний и был по-своему враждебен Пруссии. Но это нисколько не помешало молодому Эд. Бернштейну во время франко-прусской войны 1870 г. «твердо решить», что, если военные дела примут желательный для Наполеона оборот,—... после второго же проигранного немцами сражения вступить добровольцем» (570). Впрочем, поскольку война развивается для Германии благополучно,—Б. с большой симпатией следит за мужественной антимилитаристической борьбой Бебеля и Либкнехта...

Воспоминания Эд. Бернштейна отличаются искренностью. Только это обстоятельство и придает им значение и интерес. Лишь кое-где срывается автор на ненужные резонерские рассуждения. Эти рассуждения, вдобавок, каждый раз весьма сомнительного качества. Таковы, напр., почти все его довольно частые соображения насчет еврейства и евреев. С комичной серьезностью и обстоятельностью «трактует» Эд. Б. в одном месте, напр. «проблему» того, является ли еврей лучшим мужем в семье, чем ариец, и «если да, то почему» (73—74).

Но такие места являются исключением. О себе автор пишет просто и очень откровенно, не стесняясь и такими характеристиками, как «жалкое зрелище», «золотушный сморчок» и т. п. (42—43). О себе в школьном возрасте Б. пишет так: «Для крупных пакостей у меня прежде всего не хватало мужества. Но и мелких проступков было достаточно, чтобы во мне не угасло сознание своей вины» (87).

Излагая годы своей юности, автор замечает: «Природа устроила меня так, что, если я что-либо признавал для себя недосягаемым, оно немедленно теряло способность оказывать на меня сильное действие» (108). Не эта ли злосчастная «природа» заставила маститого ревизиониста впоследствии заявить: конечная цель—ничто. «Я никогда не знал пожирающей зависимости или ненависти»,—пишет Б.—«Дело в том, что я... без всякого труда мог примениться ко всякому положению и утешиться, найдя замену для всякого лишения... Если бы дело зависело от меня, то человечество... продолжало бы еще долго жить пещерной жизнью. Я бы несомненно нашел, что... и в пещере можно устроиться» (123).

Политикой Эд. Бернштейн, по его воспоминаниям, стал интересоваться чуть ли не с детских лет. С комической важностью заносит он на скрижали истории, что в тридцатилетнем возрасте он «еще ничего не слыхал о войне всемирноисторического значения, которая разыгралась в то самое время в Америке за уничтожение невольничества» (72). Тем поразительнее, что в воспоминаниях о 1871 г., когда автору пошел уже третий десяток, ни слова нет насчет Парижской Коммуны. «Слыхал» о ней тогда Эд. Бернштейн или «еще не слыхал»,—мы не знаем, словно бы и вовсе никакого Парижа и никакой Коммуны на свете не было. Зато автор очень твердо помнит свое отношение к франко - прусской войне и свое решение пойти в армию добровольцем. Видимо, и богатейшая память престарелого ревизиониста тоже имеет свои пробелы.

А между тем в 70 г. Брештейн был уже самостоятельных человеком, служил в банкирской конторе и «приближался» уже к социал-демократии. Служба описывается им в самых розовых красках. Хозяева — банкиры — сама добродетель, воплощенная доброта и заботливость. Это солидные люди, во-первых. Они лишены всякой мелочности, во-вторых. Они превосходно обращаются со своими служащими, в-третьих (стр. 127—132, 171—173 и др.). Сам автор притом подчеркивает, что молодой служащий при таких условиях быстро начинает чувствовать себя частью фирмы, «мыслить и действовать в ее духе» (129).

Что же толкнуло этого человека войти в социал-демокр. партию? Как произошло это событие, «обогатившее» историю классическим образцом социал-ревизионизма и соглашательства, доведенного до целой теоретической «системы»?

Первые сведения о соц.-дем. движении (лассальянской группы) Эд. Бернштейн почерпнул от их прислуги, Мари, которая оказалась, по словам автора «возлюбленной плотника Макса Митцеля, одного из присных швейцара (167). Но эти сведения быстро отошли на задний план перед юношеской страстью к театру, писанием стихов и драм, товарищескими попойками, которым автор в то время регулярно предавался. Из этих попоек и выросло «общество», которому друзья дали название «Утопия». «Никто из нас,—свидетельствует автор,—не помышлял о политических или социалистических задачах». Больше того, «никто из нас не знал, что «Утопия» почтенного Мора изображает коммунистическое общество». Члены «Утопии» собирались просто «для выпивки, каждую неделю по средам и субботам» (184). Но скоро случилось так, что один из этих двух вечеров стали посвящать докладам членов—на медицинские, экономические и проч. темы. Как-то в одной пивной Эд. Бернштейн познакомился с Фрицше и уговорил его сделать в «Утопии» доклад о социалистическом движении. Доклад этот произвел столь сильное впечатление, что через несколько недель Б. с тремя друзьями уже «стали членами Эйзенахской соц.-дем. раб. партии» (192).

Таков внешний ход событий. Эд. Бернштейн сам останавливается в беспомощности перед об'яснением своего «обращения в социалистическую веру». Он, правда, незадолго перед этим прочел книгу Лассаля против Шульце-Деличе. Но в ней Лассаль с такой резкостью и «несправедливостью» отзывался о «прогрессивном деятеле социальной политики Шульце-Деличе» и, что еще хуже, о родном дядюшке самого Эдуарда, об Ароне Бернштейне, буржуазном радикале, редактировавшем газету «Berliner Volkszeitung», что оттолкнул от себя своего юного читателя. Еще теперь, на восьмом десятке, слышатся у автора ноты раздражения за почитаемого всей семьей дядю, когда он пишет: «Можно было во многом критиковать Арона Б-на, как политика, но выставлять его... как тип поверхностного журналиста,—такого рода способ действия нельзя было оправдать вполне законными полемическими соображениями» (187).

Эд. Бернштейн увлекся другим «социалистом» тех лет,—Дюрингом. Но тот «проводит свою критику со слишком большим чувством своего превосходства, чтобы произвести сколько-нибудь глубокое впечатление на душу читателя».

Читал Б. и лассальянский «Новый Социал-Демократ». Но «нарочито-грубый тон» газеты ему не понравился.

Итак, для самого автора его «обращение» остается загадочным. Он об'ясняет дело тем, что все же таким образом «ознакомился с идеями, о которых до тех пор слыхать мне не приходилось» (186)...

Так пришел Эд. Бернштейн к социал-демократии. Чисто-умственным путем через «ознакомление с идеями», через случайные встречи и «разговоры» с друзьями (187).

Продукт мелко-буржуазной среды, он вошел в партию со всем грузом полученного воспитания и мелко-буржуазных настроений. Шовинистически-прусская агитация после победы над Францией оскорбляла устаревшие великогерманские идеалы мелкого буржуа, подавшегося в этот момент влево. Тут подвернулись «новые идеи»,—и он вступает в социал-демократическую партию. В этой партии, однако, он остается по существу тем, чем был. В новой форме, в новом словесном и идейном облачении, еще более опасном для подлинно-революционного класса, Бернштейн выступает в роли попутчика, представителя шатающейся мелкой буржуазии, идущей по существу в хвосте у отечественного империализма.

Книга издана хорошо.

Ал. Бернштейн

М. Н. ПОКРОВСКИЙ. Империалистская война. Сборник статей 1915—1927. Издательство Коммунистической Академии. 1928. Стр. 296. Цена 2 р. 35 к.

Новая книга М. Н. Покровского может быть названа сборником статей лишь с большой долей условности. Сборник журнальных и газетных статей, предисловий к различным изданиям (гл. обр. к изданиям Центроархива) представляет собой в действительности исследование по истории империалистской войны. Начав с анализа исторических корней внешне-политических конфликтов, М. Н. Покровский переходит к выяснению непосредственных предпосылок и дипломатической подготовки войны, а затем— к дипломатической истории самой войны. Здесь в кружево, сотканное международной дипломатией, вплетается новая нить,—предисловие к солдатским письмам выводит на авансцену революционные массы—фактор, который стал решающим в период ликвидации войны. Вопросу о связи Октябрьской революции с выходом России из войны и посвящены последние статьи.

Таким образом, перед нами не случайный сборник и, конечно, не «беглые очерки» (как называет свои статьи М. Н. Покровский), а связанное внутренним единством, стройное, несмотря на встречающиеся повторения, революционно-марксистское исследование империалистской войны, точнее—ее дипломатической истории. Исследование— едва ли нужно это добавлять—единственное в нашей литературе.

Книга М. Н. Покровского писалась в разное время—первая статья сборника датирована 6 ноября 1914 г., последняя— 28 числом того же месяца 1927 г. Но 13-летний срок не повлиял на цельность работы. Известную грань провела Октябрьская революция, открывшая секретные архивы б. министерства иностранных дел. Статьи, написанные после Октября, не только ярче, точнее и насыщенней документальным материалом, они показывают большую глубину анализа,—революция дала не только новый материал, но и заострила ланцет историка.

Тем более интересны статьи, написанные М. Н. Покровским до революции. Ряд выводов, к которым пришел М. Н. Покровский в 1914—1915 гг., был впоследствии пересмотрен самим автором. Статьи дореволюционного периода акцентировали колониальное соперничество Англии и Германии, недооценивая англо-германскую конкуренцию на море («Настоящую англо-германскую войну можно понять только из колониальных отношений и, прежде всего, из англо-индийских интересов», писал М. Н. Покровский, стр. 65). В этих же статьях доказывалось, что «Россия готова была воевать и воюет теперь из-за одних только хлебных пошлин» (стр. 65). Россия—с точки зрения ее участия в войне—рассматривалась, главным образом, как суб'ект. Только документы тайных архивов, вскрывшие истинные взаимоотношения русского министерства иностранных дел с Quai d'Orsay и Foreign Office показали задолго до появления экономических исследований, что Россия в империалистской войне была в большей степени об'ектом воздействия.

Но, вместе с тем, статьи 1914—15 гг. впервые установили ряд незыблемых положений в марксистской исторической науке. Преобладающее значение «дарданелльского» мотива по отношению к России, предвидение (в 1914 году) русско-английского конфликта на этой почве (последняя страница статьи «К выступлению Турции», написанной в ноябре 1914 г., оправдалась почти буквально на протяжении всех последующих лет войны), наконец, «металлургическая» концепция франко-германского столкновения, блестяще подтвердившаяся оккупацией Рура и ролью Comitée de Forge,— все это было установлено М. Н. Покровским за 2—3 года до Октябрьской революции.

Статьи 1914—1915 гг. представляют собой яркое доказательство правильности прогноза историка-марксиста.

Нет никакой надобности пересказывать содержание сборника. Следует лишь отметить, что целый ряд статей, перепечатанных из старых газет («Голос» и «Наше Слово» 1914 и 1915 гг.; «Известия Совета Рабочих Депутатов», «Правда, «Еженедельник Правды» 1917—1919 гг.), покажутся новыми не только для широкой массы читателей, но и для более узкого круга специалистов.

Более известны две стержневых статьи, составляющих в сущности основу сборника,—«К вопросу о виновниках войны» и «Царская Россия и война».

М. Н. Покровский с полным правом мог сказать о себе, что он «разрушил на своем веку бесчисленное множество всяких легенд». Среди «всяких» легенд буржуазная интерпретация империалистской войны занимает почетное место. Чего стоит один «масштаб» фальсификации, не говоря уже о политическом значении самой темы—империалистской войны.

Заслуга М. Н. Покровского заключается в том, что он уничтожил самую грандиозную и самую отвратительную легенду буржуазной историографии.

Каталог литературы о «виновниках войны», изданный в 1925 году Биржевым Союзом немецких книготорговцев, занимает 200 страниц убористого текста; только спектральный анализ может установить все оттенки «желтых», «синих», «серых» и прочих книг, изданных империалистическими правительствами разных стран; Германия издает многотомную «Die grosse Politik»; Англия выпускает «The documents of War».

Книга М. Н. Покровского разрушает эту необ'ятную буржуазную лавину и беспощадно разоблачает фальсификаторов всех направлений.

Выяснена истинная роль версальских победителей, точно так же, как и германской дипломатии, установлен действительный виновник войны 1914—1919 гг.—международный империализм и его аппарат. Разработка предистории империалистской войны сводит на-нет значение «роковой недели», к которой апеллируют как германо-, так и антантофилы. Впервые дан анализ военной дипломатии.

Для истории Октябрьской революции важен новый угол зрения, под которым М. Н. Покровский подходит к Октябрю. Взаимная связь войны и Октябрьской революции представляет собой еще неисследованную проблему. Тем более необходима та четкая и заостренная постановка вопросов, которую дает М. Н. Покровский. «Из какой войны мы выходили в 1917 году», национальное и международное значение Бреста—все это новые вопросы, требующие большой работы от историков-марксистов. Но и здесь будущий исследователь пойдет по тем просекам, которые проложил М. Н. Покровский.

Говоря о значении сборника «Империалистская война», нельзя обойти молчанием одну немаловажную сторону вопроса. Работа М. Н. Покровского—не только история войны, но и методологическое руководство по истории внешней политики. М. Н. Покровский показывает, как историк внешней политики переходит от «взглядов и настроений отдельных лиц к психологии и идеологии правящих групп», как внутренняя политика переплетается с внешней (см., напр., анализ внешней политики Столыпина). «Русские» мотивы переплетаются с паутиной, сотканной всей международной дипломатией.

Работа М. Н. Покровского показывает необходимость внимательного изучения не только истории войны, но и военной истории.

М. Н. Покровский иллюстрирует свои выводы примерами из стратегии мировой войны; с другой стороны, тактические операции войны 1914—1919 гг. приобретают твердый материалистический базис. Доказывая, что корни англо-германского конфликта надо искать в соперничестве Англии и Германии на море, М. Н. Покровский, замечает, что «весь ход войны показал, какое значение для Англии имел этот последний конфликт: как ни грандиозны были английские операции на суше, они все, по существу, были дополнением к обороне или нападению на море, на западном театре английская армия защищала подступы к Па-де-Кале, на восточном она пыталась взять Дарданеллы — даже, когда война превратилась в интервенцию, англичане не сошли с прототоренной колеи, наложив руку на выходы Советской России к океану, на Мурман и Архангельск. И заострился весь англо-германский поединок в подводную блокаду, в которой немцы, под конец стали видеть главное средство достигнуть победы» (стр. 132). Анализ М. Н. Покровского методологически ценен еще и потому, что представляет собой блестящий образец применения марксистской диалектики к наиболее трудному разделу исторической науки. Диалектика М. Н. Покровского не «подпирает» каждое хитросплетение дипломатической кухни пудами экспортных грузов и километрами железнодорожных путей, зависимость «надстройки» от «базиса» устанавливается в результате тонкого марксистского анализа, ничего общего не имеющего с вульгарным материализмом.

Стиль статей М. Н. Покровского—как всегда—блестящий и красочный. «Импе-

риалистская война»—образец художественной документации, которой так нехватает молодому поколению историков. Надо учиться тому, как М. Н. Покровский преодолевает «сопротивление материала». Приглаженные и выутюженные «отношения» министерских канцелярий оживают под пером М. Н. Покровского, наполняются плотью и кровью. Документ и анализ его не отделены друг от друга китайской стеной—они органически слиты в изложении.

Появление книги М. Н. Покровского имеет немалое политическое значение. Каждая статья в сборнике М. Н. Покровского была одновременно исторической работой и боевым выступлением партийного публициста. Статьи 1914—1915 гг. были направлены против кадетских националистов, собиравшихся «водрузить крест на св. Софии»; комментируя в 1919 г. протоколы «трех совещаний», М. Н. Покровский разоблачал авторов 231 статьи Версальского договора; это же назначение выполняют и позднейшие работы.

Оттого, что статьи собраны в одной книге, значение их только возрастает.

Книга М. Н. Покровского сыграет свою роль на фронте борьбы буржуазной и марксистской историографии,—недаром сборник «Империалистская война» вышел в свет почти одновременно с антантофильской работой Е. Тарле.

Необходимость разоблачить секреты международной дипломатии и напомнить о прошлом империалистской войны делает из сборника статей М. Н. Покровского орудие пропаганды.

И в той и в другой связи следует поставить вопрос о возможно более широком распространении книги. Речь идет, конечно, о загранице: сомневаться в популярности книги у нас не приходится. Отдельные статьи были в свое время переведены: ст. «Три совещания» и др. статьи 1919 г. появились в немецком переводе в 1919 и 1920 гг. Нужно позаботиться о переводе всей книги (следует, кстати, вспомнить и о том, что вскоре состоится международный исторический конгресс). Книгу М. Н. Покровского должны прочесть за границей. И чем скорей—тем лучше.

Н. Р.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ. Выпуск первый. Эпоха промышленного капитализма. Составили Н. Ванаг и С. Томсинский. Госиздат 1928 г., стр. 366. Цена 3 руб., с папкой. Выпуск второй. Эпоха финансового капитализма, стр. 388, цена 3 руб. с папкой (папка отдельно 25 коп.).

До выхода книги проф. Лященко—«История русского народного хозяйства», в нашем учебном обиходе не было ни одной сводной работы, дававшей общий очерк экономической эволюции России после «реформы». Этот пробел был особенно чувствителен для XX века. Преподаватели попадали «в тупик» при проработке наиболее актуальных проблем русской истории: империализм, мировая война. Конечно, монографические работы имелись и по экономике XX в., но для провинциального студента они были недоступны. Для XIX века дело обстояло несколько лучше: по этим вопросам имеются работы Ленина, М. Н. Покровского, Тугана-Барановского. Тем не менее, издание хрестоматии, освещающей весь период от «реформы» до Октябрьской революции, дело вовсе не лишнее. Авторы придали хрестоматии характер учебника, расположив материал по отделам, совпадающим с целыми проблемами—эпохами исторического прошлого России. Уже выход хрестоматии третьим изданием сам говорит за себя: показывает, что книга прочно вошла в учебный обиход, в массы, стала заменять недостающий учебник.

Справедливость требует сказать, что из имеющихся хрестоматий это одна из самых лучших. Обладая хорошим знанием материала и большим педагогическим опытом, авторы любовно собрали огромный материал (особенно в сводных статистических таблицах) и преподнесли его довольно удачно. В книге, наряду с общераспространенным материалом, использованы все новинки и документы, появившиеся за последнее время в отдельных работах и журналах. Каждый отдел заканчивается довольно богатой библиографией, кроме того, авторы пишут, что «каждый отдел книги снабжен вводными статьями. Цель этих статей—дать читателю известную ориентацию в последующем материале». Насчет этих «вводных» статей мы скажем особо, ибо они, с нашей точки зрения, дают не то, что требуется, для хрестоматии,—серьезности и добросовестности в работе авторов. Обычно про составителей хрестоматии говорят, что они работают ножницами и клеем. Этого нельзя сказать про авторов данной работы: ножницы являлись у них лишь техническим средством, при помощи которого они реализовали свой план работы, составленный с историческим вкусом.

От этих общих похвальных рассуждений перейдем к частным. Прежде всего, несколько слов по поводу того, чего в книге нет. Это касается, главным образом, первого тома. Авторы начали его с крестьянской реформы. Важность этого переломного момента во всей истории абсолютно никем не оспари-

вается. Но нам кажется, было бы правильнее педагогически—и это необходимо из учебных соображений, а если хотите, и из научных—дать материал по экономической истории дореформенной России.

Эпоха промышленного капитализма не ограничивается временем послереформенным. Развитие капиталистической фабрики совершается задолго до реформы, с самого начала XIX века. Следовательно, составители произвольно укоротили, отрубили начало, генезис промышленного капитала. Затем, надо было дать экономические предпосылки реформы. В своем введении к первому отделу, авторы буквально в пяти строчках характеризуют экономический процесс предреформенной России. Составители дают более или менее цельный курс, поэтому эпоха распада крепостничества, формирования промышленного капитализма в недрах крепостного строя обязательно должна быть освещена в хрестоматии за счет сокращения и рационализации в построении статистических таблиц, которыми оба тома перегружены. Каждый отдел заканчивается сводными таблицами, иногда на 10 страницах. А всего в обоих томах, кроме чрезвычайно обильного цифрового и статистического материала в тексте, около 100 страниц, если не более, заняты статистическими таблицами. Абсолютно без всякого ущерба количество их можно сократить наполовину. Если прибавить еще 1—2 печатных листа, то место для нового отдела нашлось бы, и книги остались бы той же толщины, что и теперь.

Продолжим нашу мысль о статистике. Речь идет об обоих томах. Ее безусловно необходимо сократить. Все же ведь хрестоматия по истории России не статистический справочник. Надо подвергнуть статистические таблицы дальнейшей проработке и уложить их более компактно.

Первый том хрестоматии состоит из шести отделов: 1. Крестьянская реформа; 2. Русская промышленность в пореформенную эпоху; 3. Аграрный кризис; 4 и 5 отделы посвящены промышленному под'ему 90-х годов и кризису начала XX века. Последний отдел 6—Сельское хозяйство накануне революции 1905—1907 гг. Из литературы наиболее широко использованы труды М. Н. Покровского «История культуры» и 4-й том его «Истории России», Ленина, 3-й том Тугана, Брандта, Балабанова, Пажиткова, Гайстера и др. Наряду с широко распространенным и известным материалом приведено кое-что новое (во 2 томе новинок значительно больше). Цитируется «Вымирающая деревня» Шингарева, дается материал о положении аграрного вопроса на окраинах. Наиболее интересно сделаны, по нашему мнению, 3 отдела: промышленный под'ем 90-х годов, кризис начала XX века и аграрный кризис. Эти отделы богато представлены материалом, до сих пор не бывшим еще доступным широким кругам. Помимо газетного и журнального материала, приведены документы.

Из недостатков первого тома отметим два, относящихся, впрочем, ко второму выпуску. Первое замечание будет касаться «вводных статей», или «введений», которые, по нашему мнению, «вводными статьями» не являются. Обычно эта страничка, максимум 1½, текста, где составители хрестоматии дают краткий комментарий текста или таблиц. На той же страничке повторяется 10, а то и более заголовков отрывков, напечатанных в данном отделе. В результате пестрота, поверхностность. Эти введения нуждаются в большем расширении. На 3—5 страницах авторы должны дать не только комментарии или перечисление отрывков, а постановку проблем, самую общую характеристику точек зрения, которые есть по тому или другому вопросу. Авторы подбирают конкретный материал в соответствии со своими воззрениями. Это не значит, конечно, что они несут ответственность за каждое слово и цифры тех отрывков, которые они печатают, но ответственность за общий характер освещения эпохи, за общую линию подбора материала они несут, и поэтому во введении полезно дать более широкую постановку проблем, чем это сделано в данной хрестоматии.

Второе замечание относится к недостаточному вниманию авторов к освещению положения рабочего класса. Я повторяю «недостаточному», чтобы не поняли в том смысле, что авторы совсем обошли этот вопрос. И в первом и втором выпусках ими приводится несколько отрывков на эту тему, явно недостаточно освещающих вопрос. Особенно это касается положения пролетариата в эпоху финансового капитала, во время войны. Здесь надо было бы дать свежие проверенные и составленные вновь таблицы о численности пролетариата, о его составе и распределении между отдельными отраслями промышленности, о его экономическом положении и т. д. Авторы приводят значительный отрывок из Граве, в котором ничего не говорится о положении пролетариата после Февральской революции в эпоху керенщины. Указывать значение этой эпохи мы считаем лишним. Не лишним было бы привести некоторые отрывки или, по меньшей мере, статистические таблицы, характеризующие рост крестьянских движений.

Второй том гораздо интересней первого. Он посвящен новейшим проблемам, империализму и распаду капита-

лизма в России. Материал собран также богаче, новее, разнообразнее. Больше использовано документов, ставших доступными лишь благодаря Октябрьской революции. И все же, когда сравниваешь, что уже вошло в оборот, с тем, что лежит еще в наших архивах не опубликованным (я знаком лишь с материалами 2—3 архивов), невольно жалеешь эти ценности, лежащие мертвым капиталом. Эпоха реконструкции капиталистической промышленности, т.-е. депрессий, освещена достаточно полно и подробно. То же можно сказать относительно аграрной политики Столыпина. Оценку Лениным столыпинщины надо бы предпослать остальному материалу. Статистический материал о выходе на хутора и отруба надо было бы дать, но, по крайней мере, до Февральской революции, а не останавливаться на 1915 годе.

Центральными пунктами этого тома все же являются два других отдела: господство финансового капитала и разложение капитализма во время войны. В первом отделе наиболее интересно и полно представлена—«Общая характеристика развития промышленности»—в эпоху предвоенного промышленного под'ема. Этот вопрос получает четкое освещение по работам Меерсона, Кафенгауза, Цвибака и др. В подборе материала «уплыла» от составителей только одна деталь, очень важная и характерная для экономической действительности предвоенной России—это рост внутреннего накопления и его роль в предвоенном промышленном под'еме.

Впрочем, она обойдена вовсе не случайно, т. к. по вопросу о «национализации» и «денационализации» капитала в 20-м веке во всем отделе нет ни одного слова. В своем интересном введении к этому отделу т. Ванаг ни одним словом не упоминает о другой точке зрения на природу русского финансового капитала, отличной от его и т. Ронина. В своей «установке» к материалу он пишет, что к началу мировой войны гегемония над банковым капиталом России «о к о н ч а т е л ь н о п е р е ш л а к П а р и ж с к о м у б а н к о в о м у п у т и» (подчеркнуто нами). Эта формулировка является явным преувеличением, натяжкой. Под этим углом зрения подобран и материал, освещающий всю проблему.

Столыпинская реформа квалифицируется в том же введении (стр. 147), как «маневр царизма»—явная небрежность пера или описка, как превращение Х р я щ е в о й в К р е щ е в а, на стр. 232—должно быть отнесено на счет типографской ошибки и невнимательности корректора.

Наиболее слабой частью отдела «Разложение капитализма» является II часть—«Государственный капитализм». Авторы критически последовали за Рудным и окрестили военную экономику России и военпромы—госкапитализмом. В этом отделе напечатаны положения различных регулирующих органов правительства, и не выяснена их роль. В частности, совершенно не ясна экономическая роль военно-промышленных комитетов ни в деле мобилизации промышленности, ни в распределении заказов, а материал, освещающий эти стороны, имеется в печати, в отчетах Военпрома и в «Известиях», которые они издавали. Та же характеристика, которая им дана Рудым,—является неверной. Непонятно совершенно, почему авторы не напечатали записки Степанова, вносящей известную ясность в вопросы о госкапитализме и являющейся чрезвычайно ярким документом по экономике и политике временного правительства. Точно так же ничего не сказано о главном Экономическом Совете и Главном Экономическом Комитете, хотя материалы о их работе имеются в Ком. Академии. Вообще эпоха керенщины как-то смазана, а ее следовало бы выделить в отдельную главку и подобрать достаточно красочный материал. Несмотря на то, что весь этот отдел значительно обновлен и расширен, он нуждается еще в проработке и пополнении газетным, журнальным и архивным материалом. Надо дать достаточно рельефную и четкую картину того хаоса, в котором находилась экономическая жизнь России накануне Октябрьской революции.

Отмечая ряд недостатков хрестоматии, мы все же считаем ее нужным пособием, толково, добросовестно и интересно составленным. Несмотря на появление учебника проф. Лященко, хрестоматия держится еще в учебном обиходе и заслуживает рекомендации, как учебное пособие.

Арк. Сидоров

ПРОФ. А. Б. ЧАЯНОВ. О с н о в н ы е л и н и и р а з в и т и я р у с с к о й с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й м ы с л и з а д в а в е к а[1].

Русская сельско-хозяйственная литература, главным образом, дореформенная, представляет для историка очень большой интерес тем, что она являлась почти единственным поприщем, на котором с большой полнотой выявила себя дворянская общественная мысль и отразились основные процессы дифференциации, происходившие в этой социальной среде. А. В. Чаянов начинает с правильного указания, что «развитию русской сельско-хозяйственной науки и

---

[1] Дополнительная статья к книге Р. Крицимовского «Развитие основных принципов науки о сельском хозяйстве в Западной Европе», М., изд. «Нов. Агроном», 1927 г.

мысли пока еще не посвящено ни одного большого исследования». Приходится лишь отметить, что настоящая работа Чаянова почти ничего не прибавляет к немногим трудам Бажаева, Вернера и Струве, а местами явно делает шаг назад сравнительно с достижениями своих предшественников.

Статья А. В. Чаянова на три четверти посвящена агрономической мысли дореформенного периода. Для нашего автора работы первых русских агрономов «были скорее литературными явлениями, чем отражением какой-либо крупной формы русского хозяйства» (стр. 211). Опыты Бланкенагеля и др.— это «баловство» крупного помещика, «массовый» же помещик, «иногда почитывая для удовольствия... книги о заморских новинках..., вполне справедливо полагал, что ему незачем стараться напрягать свой ум и энергию, когда российский крепостной мужик все равно ему без всякого риска выплатит причитающийся оброк» (стр. 212).

Здесь дана совершенно неправильная характеристика. Агрономическое движение конца XVIII и начала XIX веков было не беспочвенным литературным движением и не барским «баловством», как думает Чаянов. Не случайно же в агрономической литературе самого начала XIX века был намечен для крестьян такой севооборот с травосеянием, к которому, как к наиболее целесообразному, только через 60—70 лет пришли земские агрономы.

Агрономическое движение конца XVIII и начала XIX веков имело экономические корни: во-1-х, в кризисе трехполья, который уже в XVIII в. надвинулся на нечерноземный центр России (на 1 д. луга здесь приходилось 5½ д. пашни; после реформы здесь наблюдается даже абсолютное сокращение пашни. См. об этом у Огановского «Закономерн. агр. эвол.», ч. II, стр. 242 и 246). Этот местный кризис не так уже легко было рассосать колонизацией окраин, да и не так это выгодно было, ибо, и это во 2-х, нечерноземный центр и прилегающие к нему черноземные губернии при тогдашних условиях транспорта имели известные монопольные возможности реализовывать выгоды от растущего внутреннего рынка с его повышающимися хлебными ценами.

Только что отмеченная основная ошибка Чаянова—непонимание корней агрономического движения—обусловила и следующий крупный недочет его работы. Чаянов не понимает и не дооценивает борьбы различных течений агрономической мысли. В XVIII веке он находит в основном борьбу между идеологами оброка и барщины (об этом ниже); при этом «общественное мнение Екатерининской эпохи» отдает явное предпочтение оброку. XIX век приносит победу барщине[1]. Здесь, в среде сторонников барщины, Чаянов различает «прогрессивное» (Шелехов, Павлов и др.) и «бытовое» движение. Но наш автор не выявляет предпосылок и не дает анализа «бытового» движения. О Муравьеве сказано лишь, что ему принадлежат «исключительно ценные примечания» к Тэеру. Сабуров, Лавров, Вилькинс не упоминаются вовсе.

Все это у Чаянова не случайно. Если все дореформенное агрономическое движение—беспочвенное литературное явление, то нет, конечно, смысла искать в нем отражение борьбы мнений и интересов различных слоев крепостников.

В одном отношении Чаянов делает шаг вперед сравнительно со своими предшественниками, в частности с П. Б. Струве. По мнению последнего «агрономическое движение XVIII в. в России следует рассматривать, главным образом, как процесс прогрессивного развития крепостного или барщинного хозяйства на данной технической основе» («Крепостн. хоз.», стр. 318). Для Чаянова же агрономическое движение XVIII века—это попытка, «не меняя своих основ натурального крепостного хозяйства, использовать рациональные основы европейского земледелия» (стр. 210). И в XIX в. Чаянов видит стремление «развернуть эти новые крупные барщинные хозяйства

---

[1] У Чаянова здесь, кстати сказать, целая «концепция». «После Наполеоновских войн,—говорит он,—Россия во всех сторонах своей жизни начинает перестраиваться в какие-то новые, ранее не бывавшие формы... видоизменяется основная экономическая база и производственные отношения в области всего нашего народного хозяйства. Начинают развиваться посессионные заводы и фабрики, развертывается экспорт хлебов, льна и других с.-х. продуктов за границу», барщина вытесняет оброк (стр. 221—222). На этой почве создается расцвет крепостного хозяйства, основывающийся на росте эксплоатации крепостных. Отсюда рост недовольства и крестьянских волнений и необходимость отказа от крепостного права, или, как «оригинально» Чаянов выражается: «эволюция политической жизни народного хозяйства создала необходимость к переходу на вольнонаемный труд и к освобождению крестьян» (стр. 228). «Концепция», надо отдать справедливость, простая. Правда, автор ее даже не задумался над тем, как мог одновременно происходить и расцвет и кризис крепостного хозяйства. Правда, он даже и не пытается доказать, что действительно перед реформой имел место такой расцвет, или хотя бы, что барщина как общее явление вытесняла оброк.

на основах более совершенной техники и организации чуть ли не плодопеременного европейского земледелия» (стр. 223).

Чаянов, однако, разрешил свою задачу только наполовину. Другая, более трудная и более важная часть задачи даже и не поставлена им. Чаянов и не пытается проследить, как новая техническая база неизбежно приходила в противоречие со старыми крепостническими производственными отношениями. Между тем дореформенной сельско-хозяйственной мысли нельзя отказать в понимании этого противоречия. Можно даже сказать, что сознание несовместимости «нового», «рационального» земледелия с крепостным трудом было одним из основных источников борьбы в агрономической литературе. Здесь для примера можно бы сослаться на Муравьева. В примечании к § 312 Тэера (ч. 2-я, стр. 104—105) он пишет: «... нам надобно беспрерывно помнить, что мы производим работы не искусными нанятыми работниками, не на хороших и сильных лошадях и не усовершенствованными орудиями, а крестьянами и худыми и бессильными лошадьми и самыми простейшими их орудиями, и что этот ш е п т е л ь (у Муравьева курсив) отнюдь не приличен плодопеременным хозяйствам».

У Чаянова, думается, здесь не простое «упущение», а непонимание неизбежности такого антагонизма между крепостным «шептелем» и плодопеременным хозяйством. Только этим напоминанием можно об'яснить упрощенное и неправильное представление, какое им дается о хозяйствах Бланкенагеля и Полторацкого. Как уже упоминалось, основную линию борьбы в XVIII в. Чаянов видит между сторонниками оброка и барщины. Идеологами первого—по его мнению—выступали в частности Рознатовский, Бланкенагель, Захаров, идеологами второго течения—Полторацкий и другие сторонники «английского земледелия».

Бланкенагель и Захаров отнюдь не были идеологами обычного оброка. Они проектировали—и частично проводили в жизнь—перевод крепостного в хуторянина-травопольщика, у которого «вся земля его будет ему принадлежать в е ч н о и б е з р а з д е л ь н о» (Захаров). Это почти законченный проект наследственной аренды и, следовательно, ломка обычных крепостнических оброчных отношений. Именно поэтому мы вправе в Захарове и Бланкенагеле видеть ранних предшественников Столыпина. Что касается Полторацкого, то его «английское земледелие», рассчитаное на применение сложных сельскохозяйственных машин,—не могло основываться на обычной барщине, т.-е. на крестьянском инвентаре. Если бы Чаянов прочел описание Авчуринского хозяйства, сделанное Е. Мином[1] в «Земледельческом журнале» за 1829 г., то ознакомился бы там со следующей организацией работ у Полторацкого: «Пахари, по большей части, выбираются из других деревень г. Полторацкого, и м п л а т и т с я з а р а б о т у п о д е с я т и н н о; жены их употребляются также в полевую работу с т а к о й ж е п л а т о й, к а к и м у ж ь я; выбираемые из дальних деревень должны быть холостые и определяются на 3 года, а потом на место их поступают другие, молодые же, и так в с я к а я р а б о т а п р о и з в о д и т с я, п о д о б н о к а к н а ф а б р и к а х и л и з а в о д а х, н а к о и х у п о т р е б л я ю т с я п о м е щ и к а м и и х с о б с т в е н н ы е к р е с т ь я н е» (курсив мой. *И. З.).*

Конечно, здесь не наем рабочей силы, подобно тому, как и на крепостной «фабрике» обычно не было этого найма. Но здесь л о м к а старой барщины, ломка, которая должна была толкать к дальнейшим социальным преобразованиям внутри хозяйства. И эти преобразования вызывались подведением под барщину новой технической базы.

Бланкенагель и Полторацкий тем и интересны, что в них чувствуется сознание связи перехода к новой технике с частичной ломкой старых крепостнических производственных отношений; что в их опытах намечаются два пути этой ломки. Видеть в них идеологов оброка и барщины—это непонимание.

Оговоримся. Мы вовсе не считаем, что всякий опыт перехода к многополью сопровождается реформами в барщине или оброке. Помещиков-новаторов было не так уже мало. Про Смоленскую, напр., губернию Соловьев говорит: «почти в каждом уезде можно найти одно, два или несколько помещичьих имений, в которых введено многопольное хозяйство, в большем или меньшем размере» («Сельско-хоз. статистика Смол. губ.», стр. 258). Рядовой новатор-помещик действительно пытался многополье сочетать с барщиной. Если бы работа Чаянова основывалась на серьезном изучении дореформенной сельскохозяйственной литературы, а не на знакомстве с ней из вторых рук, то он нашел бы немногие, но очень характерные и яркие доказательства, что такое сочетание вызывало разорение «самостоятельного» крестьянского хозяйства, т.-е. хозяйственной базы барщины[2], а иногда

[1] Не мифическим Н. Мининым, как это значится у Чаянова.

[2] Горько, но нельзя не сказать, что от этих улучшений помещичьего хозяйства иногда страдают крестьяне, которые с их тощими лошадьми и дурными сохами с трудом поднимают землю после клевера». (Соловьев).

и «недовольство» крестьян, «недовольство», пугавшее помещиков и настраивающее их враждебно к новаторам-помещикам.

Пореформенная сельскохозяйственная литература охарактеризована Чаяновым совсем коротко (на 10 страничках). Наш автор различает здесь в основном два периода: от крестьянской реформы до аграрного кризиса и от этого последнего до войны 1914 г. Деятели первого периода продолжают старую (дореформенную) «Павловскую» школу, «они были связаны своими корнями с отмиравшим уже к началу XX в. помещичьим хозяйством» (стр. 233). Думается, что «корни» следует в данном случае искать в прогрессивном, капитализирующемся слое помещиков, а не в «отмиравшем». Второй период характеризуется тем, что «в круг наблюдений ученого все больше и больше входят вопросы, связанные с крестьянским хозяйством» (стр. 235). При этом, только «пятилетие с 1909 г. по 1914 г. было той эпохой, когда более или менее четко оформились эти новые веяния и когда перед агрономической наукой были поставлены во весь рост задачи организации крестьянами хозяйства, его кооперирования и создания форм общественного содействия ему» (стр. 238). Дело, однако, на наш взгляд, не столько в том, что вопросы крестьянского хозяйства стали разрабатываться, а в том, как они разрабатывались различными течениями сельскохозяйственной мысли. Но этого Чаянов не исследует.

И. Зак.

ЗАПИСКИ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ. Том I. Изд. Г.Р.М. Лнгр. 1928. 4°. Стр. IV + 345 + 1. Цена 9 руб. 50 коп. (Редактор издания—М. Приселков).

Изящно изданный том «Записок» содержит 19 статей, посвященных, главным образом, разработке богатого и ценного архива Шереметевых за XVIII—XIX вв. Лишь пять статей (С. Платонова, Е. Заозерской, Е. Котовой, В. Каменского—2 статьи), выходят за пределы изучения архива «Фонтанного дома» Шереметевых, и только одна из них (Е. Заозерской)) посвящена быту торговых людей XVII в. Помимо ряда статей, имеющих преимущественно музейно-бытовой интерес, хотя и содержащих отдельные историко-бытовые черточки [1], мы находим статьи и сообщения, содержащие значительный историко-культурный и историко-экономический материал.

Центральное для историка место по значению и интересу в «Записках» занимают—статья А. А. Степанова «Крестьяне-фабриканты Грачевы. К характеристике крепостных капиталистов 2-й полов. XVIII—нач. XIX в.», и его же сообщение «Описи имущества крестьян с. Иванова 1-й полов. XIX в.». В своей работе о крепостных фабрикантах Грачевых А. А. Степанов дает любопытный и красочный «реальный комментарий» к попыткам «определить место крепостного крестьянского капитала в судьбах русской дореформенной торговли и промышленности» (стр. 213). Вместе с тем, это—основанные на архивных документах сведения об одних из первых Ивановских фабрикантах, исправляющие и дополняющие печатные данные Я. Гарелина («Город Иваново - Вознесенск», Шуя, 1884) и др.

Как известно, крестьяне, даже крепостные крестьяне, еще в начале XVIII в. основывали свои, порой значительные, промышленные предприятия [2]. В вотчине Шереметевых, селе Иванове, уже в 1742 г. была выстроена «полотняная фабрика» крестьян. Г. И. Бутримова. Разбогатевший от торговли крестьянин Ив. Ив. Грачев в 1748 г. завел вторую фабрику (52 стана), быстро прогрессировавшую затем вплоть до 1820-х гг. Номинально перед Мануфактур-коллегией обе фабрики числились за гр. П. Б. Шереметевым. А. Степанов описывает, как оба фабриканта заботились о привлечении и обучении рабочих, изображает их столкновения с вотчинными крестьянами, покровительство графской администрации, рост влияния Грачева и его преемников, приобретение ими на имя графа земли и крестьян. Эти данные «дают возможность наблюдать на конкретном примере обстановку и условия возникновения одного из любопытнейших моментов в хозяйственной жизни и социальных отношениях того времени: появление в среде крестьян крепостной вотчины крупных фабрикан-

---

[1] С. Платонов. Что такое «циркульзем»? М. Фармаковский. Три жалованных кубка из «старинного семейного серебра» Шереметевых. В. Лесючевский. Походная церковь-палатка фельдмаршала Б. П. Шереметева. Н. Лансере. Фонтанный дом. В. Станюкович. К вопросу о картинных галлереях русских вельмож XVIII века. М. Приселков. Гардероб вельможи конца XVIII нач. XIX в. в. Ю. Олив. Крепостной серебряных дел мастер Федот Ильин. Е. Котова. Секреты в мебели и проч.

[2] См., напр., у Кириллова («Цветущее состояние Всероссийск. Госуд.» и т. д. М. 1831) известия о железных заводах (по данным 1727 г.)—в Муромск. уезде—«Действит. Стат. Советн. кн. Алексея Черкасского, человека Петра Александрова» (кн. I, с. 115); в Ржеве—«Осташковской слободы Иосифова монастыря крестьянина Игнатья Уткина» (ib., 79) и пр.

тов» (стр. 227)[1]. Оставшийся, в конце концов, единственным наследником Ив. Ив.— Ефим Ив. Грачев, своей энергичной деятельностью, улучшил дела фабрики, так что к 1808—10 гг. на фабрике было 14 каменных и 10 деревянных корпусов, 900 ткацких станов и 103 набойных стола («набоечный завод» устроен в 1789 г.), 1.200 рабочих, соткано миткаля и набито ситцу в 1808 г. на 1.100.000 р. (стр. 241—2). Е. Грачев снабжал постоянно нуждавшегося в деньгах графа ссудами (стр. 231 и др.), а в 1795 г., при Н. П. Шереметеве, Грачев выкупился на волю за 135 тыс. руб. и за уступку фабрики и всех своих владений. В дальнейшем Грачев был арендатором быв. своей фабрики, при чем очень непокорным арендатором, с которым не мог справиться и граф, так как администрация вотчины и даже губернские власти «держали руку Грачева». Грачев выступает и в роли покровителя старообрядческого кладбища и пр. С его смертью (1819 г.) фабрика постепенно сходит на-нет и переходит в 1837 г. к Гарелиным. Автор статьи правильно считает фигуру Еф. Ив. Грачева типичной (сравните—Морозовых, Прохоровых и др.), но не делает никаких социологических обобщений, не ставит даже проблем.

Между тем перед нами чрезвычайно интересный частный случай уже и раньше известного (Туган-Барановский, Гарелин и др.), но еще недостаточно изученного процесса: процесса формирования нашей промышленной буржуазии, купцов-«фабричников». Вырастая еще в XVIII в., отчасти из расслоившегося крестьянства, эта буржуазия на первых шагах своего развития не разрывала покамест оков крепостного строя: фабрика Грачевых—лишняя доходная статья вотчины. Но с течением времени растет экономическое могущество фабриканта; крепостной, имеющий собственных крепостных и ссужающий барина, это— противоречивое явление. В недрах крепостного хозяйства растут новые буржуазные отношения; к концу XVIII века Грачев выходит из крепостной зависимости; на его фабрике крепостные крестьяне получают зарплату. Начинает намечаться, пока еще очень незначительная, правда, трещина в крепостном хозяйстве.

Социальной почвой, на которой вырастали Грачевы, было расслоение крестьянства. Это расслоение в бытовом разрезе иллюстрируется очень редкими документами—описями имущества крестьян с. Иванова 1-й полов. XIX в. К сожалению, материал относится к разному времени: описи имущества беднейших крестьян—к 1801—07 гг. (их имущество—58 р. 57 к., 322 р. 31 к., 188 р. 28 к.), а опись имущества крестьян. А. А. Бурылина, владельца небольшой ситценабивной ф-ки—к 1856 г. (1.222 р. 35 к.). Описи, а также записи покупок крест. Д. А. Бурылина за 1827—46 гг., показывают проникновение денежных отношений (городские предметы обихода) и перестройку быта богатого крестьянства на купеческую ногу.

Осветив так подробно любопытную страницу жизни с. Иванова, составители сборника совсем не коснулись в о т ч и н н о г о с е л ь с к о г о х о з я й с т в а, которое у Шереметевых представляет (как видно уже из некоторых опубликованных документов, идущих еще с Петровской эпохи) значительный интерес[2]. Точно так же составители сборника напрасно не воспроизвели б ю д ж е т о в Шереметевых, уже разработанных и наглядно показывающих, как рост доходов не поспевал за ростом разнообразных расходов жившего на широкую ногу вельможи XVIII—XIX вв.

Этот вельможа жил в роскошных домах (см. ст. Лансере и др.), имел несчетный гардероб (по описи 1809 г., напр., одних жилетов—268) (ст. Приселкова), покупал картины (ст. Станюковича) и имел собственных крепостных живописцев. Л. Б е л я е в а в заметке «Заграничные покупки гр. П. Б. Шереметева за 1770—88 гг.» приводит данные о закупках парижской модной одежды, книг, продуктов для барского стола и пр., иногда привозимых контрабандой; вместе с тем, это—страничка из истории нашей внешней торговли XVIII века. П. Ш е ф ф е р («Из материалов о библиотеках Шереметевых») сообщает некоторые данные о составе библиотек (гл. обр., французские книги) и об обязанностях библиотекаря. Барин еще в XIX в. чувствовал себя совершенно владетельной особой, так что даже выпускал свои портреты в продажу для крепостных (см. М. Е г о р о в а - К о т л у б а й. Портреты гр. Д. Н. Шереметева для крестьян).

Интересную страничку из жизни «крепостной интеллигенции» рисует статья В. С т а н ю к о в и ч а «Крепостные художники Шереметевых. К двухсотлетию со дня рождения Ивана Аргунова». Помимо данных о произведениях живописи и пр. крепостной семьи Аргуновых, А. Миронова и др., сообщаются сведения о быте художников, их идеологии.

[1] «Вероятно, — справедливо замечает А. А. Степанов, — не исключение в быту своего времени и....факт записи крестьянской фабрики на имя помещика. Кто знает, сколько, быть может, фабрик, владельцев которых исследователь, доверяя официальным показаниям, готов считать дворянами, принадлежало их крепостным?» (с. 227).

[2] См., напр., «Архив села Вощажникова», в. I., М. 1901, и др. издания Шереметевых.

о переживаемых ими трагедиях, порою происходящих от страстного желания вырваться на волю.

Из статей, не связанных с основным источником сборника—архивом Шереметевых, отметим две. Е. Заозерская в статье «Вологодский гость Г. М. Фетиев (Из быта торговых людей XVII в.)» рисует картину торговой деятельности и быта «вологодского торгового человека». Интересны связи Фетиева с иностранными купцами, данные о его торговле с.-х. продуктами, об его крепостных, быте и пр., но все это дано чисто описательно. Между тем подметить, как иностранное культурное влияние приходит посредством торговли, как связываются наши внутренний и внешний рынки в XVII в., и т. д.—значит получить многие любопытные черточки для марксистского понимания эпохи. Работа Е. Заозерской примыкает к работам С. В. Бахрушина (см. его ст. в «Ученых записках» И-та Истории Ранион) и его учеников по изучению торговли, гл. обр., северных областей, в XVII в., и основана на материалах Московского Древлехранилища. В. Каменский в статье «Работа заводских мастеров на металлическом заводе в 20-х гг. XIX в.» дает детальное изображение техники, преимущественно уральских заводов, и данные о положении рабочих (гл. обр., в производстве).

Таково разнообразное содержание сборника; многие конкретные данные его статей представляют значительный интерес[1]. Жаль только, что обработка ценного архива Фонтанного Дома ведется, как-будто, преимущественно, немарксистами и притом с музейно-бытовым «уклоном». Кроме централизации архива Шереметевых, весьма желательно деятельное участие в его разработке не только описателей и собирателей музееведов, но и историков-марксистов.

Пока это условие не выполнено, ценность научной обработки материалов будет ничтожна. Авторы сборника умудрились в толстом томе, посвященном истории отношений помещиков, крестьян, купцов не употребить почти ни разу даже слов «класс», «классовая борьба», «эксплоатация». Совершенно очевидно, что именно это обстоятельство вызвало у авторов сборника ту отчаянную беспомощность по части выводов и обобщений, которую мы отмечали. Именно поэтому они были вынуждены подменить историю быта, как изображение живых классовых взаимоотношений прошлого, описанием музейных экспонатов.

[1] Кроме того, И.Б.О.Г.Р.М. выпустил и др. издания и серию популярных дешевых (10—40 к.) брошюр, отчасти на темы статей «Записок».

Эта беспомощность не случайна. Лучшие буржуазные историки давали широкие схемы и обобщения (первые ли,—это другой вопрос). Их эпигоны занимаются близоруким крохоборчеством.

В. Зельцер

НАРОДОВОЛЬЦЫ ПОСЛЕ 1 МАРТА 1881 ГОДА. Труды кружка народовольцев при Всесоюзном о-ве политкаторжан и ссыльнопоселенцев). Изд. Всес. о-ва политкаторж. и сс.-пос. 1928, вып. I, стр. 191.

История «Народной Воли» в обычных представлениях вращается вокруг акта 1 марта 1881 г. До этого—расцвет, который освещается с тщательностью и в мемуарной литературе и в литературе исторической, а после того—упадок, который, большей частью, никакими фактами не изображается, а о котором только говорят отвлеченно. А между тем, именно после 1 марта из небольшого ядра, которое сами участники, подсчитывая его накануне 1 марта, доводят едва до 500 лиц, «Народная Воля» превращается в широкое движение, которое в значительной мере изменяет социальный облик партии в ее целом, и которое создает новые проблемы, программные и тактические, не без воздействия марксизма, и польского, и русского.

Эта новая, вторая эпоха в истории «Народной Воли», еще ждет своего освещения и, прежде всего, ждет и мемуарных и документальных публикаций: без источников, ведь, истории не построить.

Только что вышедший сборник, выше обозначенный, отвечает вполне этой назревшей историографической потребности, хотя на нем и лежат некоторые отпечатки первого опыта. Почти весь состоящий из мемуаров, он уже отразил на себе отчасти тот общий характер, который, по видимости, будет иметь мемуарная литература послемартовского периода. Не захватывающие эпизоды героической борьбы, которые покоряют своим драматизмом, и не факты государственного характера будут здесь основными. Движение, ставшее широким, должно найти мемуаристов местных и мемуаристов частных и, понятно, им и будет принадлежать подавляющая масса воспоминаний, в то время, как факты центрального значения количественно займут второе место.

Несомненно, если проводить аналогию недавнего прошлого, то мемуарная литература послемартовского периода должна по типу своему несколько напомнить столь обильную местную литературу, еще недавно заполнявшую страницы «Пролетарской Революции». Если

для последнего времени получилась в результате хода публикаций довольно парадоксальная картина, что деятельность периферии нам стала гораздо яснее, чем деятельность руководящего центра, то для 80-х годов дело обстоит наоборот. Все факты и акты центрального значения были предметом разбирательства в судебных инстанциях (через суд прошли почти все домартовские члены Исполнительного Комитета, Лопатин, Оржих и др.), и тем самым они известны хотя бы по обвинительным актам. Что же касается местных организаций, то глубина движения, его носители и их взгляды потому-то до сих пор и не находили надлежащей оценки, что решавшиеся административным путем местные дела оставляли случайные следы лишь в глухих упоминаниях арестной хроники нелегальных изданий, а официальные документы погребены до сих пор в архивах действовавших тогда учреждений. Итак, можно пожелать, чтобы начатая кружком народовольцев серия захватила как можно обстоятельнее места, отдельные организации, недолговечные опыты литературных предприятий и т. п.—на первый взгляд мелкие явления общественно-политической истории 80-х годов.

Статьи первого выпуска, расположенные в хронологическом порядке, охватывают время от непосредственных отзвуков 1 марта 1881 г. и кончаются воспоминаниями, относящимися ко «второму» 1 марта—1 марта 1887 г.

Л. А. Кузнецов в своих кратких воспоминаниях сообщает об эпизоде с подпиской на венок Александру II, а попутно и некоторые скудные, но новые сведения об университетской народовольческой группе в Московском Университете. Эпизод из истории народовольческой военной организации, в общих чертах известный в литературе, освещает небольшая статья В. Н. Светловой, единственная в сборнике архивно-документальная работа, в которой рассказана история тифлисской попытки А. П. Корба организовать офицерский кружок в Мингрельском полку. Следующие две статьи—воспоминания М. П. Шебалина и И. Н. Попова о петербургских кружках 1882—1883 и 1882—1885 гг., являются, несомненно, центральными и важнейшими во всем сборнике. Хотя И. И. Попов и касался затрагиваемых здесь тем в своих предшествовавших работах (в «Минувшем и пережитом», т. 1, и в «Г. А. Лопатин»), однако надо признать, что здесь его изложение детальнее, точнее и в то же время богаче по своему содержанию. Точно так же, хотя статья М. П. Шебалина соприкасается с его предшествовавшею старой о «Летучей типографии Н. В. в. 1883 г.», он и здесь обстоятельнее и гораздо шире, чем там. Оба автора касаются одного из самых темных моментов в истории народовольческого центра. Что заменяло собою народовольческий центр после ареста В. Н. Фигнер (февраль 1883 г.) и до приезда Лопатина в качестве фактического главы центральной организации (март 1884 г.), и как в то время назрел тот глубокий идейный кризис, который едва не привел к организации новой партии, под названием «Молодой партии Народной Воли»,—эти вопросы оставались до последнего времени без ответа. В традиционном освещении, после ареста В. Н. Фигнер, изложение событий представлено в виде разрозненных вспышек—Лопатин—Оржих—Ульянов, С. Гинзбург и т. п. обрывков исторического целого.

Оба автора дают ряд сведений о петербургских кружках 1882 г.; М. П. Шебалин дает ряд сведений, и очень существенных, к истории создания и деятельности того временного центра, который был назван Лопатиным «Союзным Комитетом», и впервые сообщает сведения об октябрьском с'езде 1883 г.; И. И. Попов, входивший в состав рабочей группы, но имевший обширные личные связи в тогдашнем революционном мире, тем самым имеет возможность выйти за узкие пределы своих только наблюдений и сообщить ряд данных (хотя, именно поэтому, и не всегда вполне достоверных) к истории многих действовавших тогда кружков.

Благодаря этому у И. И. Попова отчетливее, чем где бы то ни было, представлено то воздействие, которое нарождавшиеся марксистские группы (и будущие благоевцы и петербургские сторонники «Пролетариата») оказали на оформление идейного кризиса, обнаружившегося в 1883 г., и как в изложении М. П. Шебалина история центра, так у И. И. Попова история «Молодой партии Народной Воли» вносят теперь свет в указанные выше пробелы наших знаний. Правда, у обоих мемуаристов есть некоторые ошибки, об'ясняемые, главным образом, их тогдашним положением, но их все же слишком мало для какого-либо подрыва значения этих воспоминаний. Так, напр., М. П. Шебалин, ставший в более близкие отношения к петербургскому центру, очевидно, лишь с основанием типографии относит появление Дегаева в Петербурге и передачу ему «всего», судя по контексту, не ранее, чем к маю, в то время, как уже 15 марта состоялось совещание Дегаева с Усовой, Карауловым и Антоновским, где ему было сообщено об общем положении дел в Петербурге. Так и начальные моменты истории флеровской рабочей группы и ее связи с рабочей группой допервомартовской у И. И. Попова неточны: Н. М. Флеров в своих показаниях указывает на воздействие на него известных по делам о пропаганде среди

рабочих в 1880—1881 гг. студентов Поповича и Перова. Точно так же неточны у И. И. Попова детально, на первый взгляд, изложенные сведения о русско-польских отношениях: их пред'история 1881—1882 г. осталась неизвестной И. И. Попову, январский с'езд 1883 г. отнесен им к лету; о с'езде «жандармам» нельзя было не знать, так как уже в № 17 «Przedswit'a» от 14 мая 1883 г. были опубликованы постановления с'езда; Г. Л. Лопатин в переговорах участия не принимал (об этом есть данные в одном из его неопубликованных писем); в эмигрантской польской среде эти переговоры протекали сложнее, чем полагает И. И. Попов, и привели к некоторому расколу и т. д. Аналогичные же ошибки можно отыскать и в других местах (№№ «Студенчества» было не 5, а 8; к коронации выпущена целая брошюра, а не прокламация; Д. Н. Добружкина права в суждениях о начале «течения» молодой партии, так как уже на октябрьском с'езде дебатировались ее будущие основоположения и т. д.). Укажу в заключение на одну забытую, очевидно, П. М. Шебалиным деталь, которая, однако, довольно ярко характеризует переживавшийся «Народной Волей» кризис: об октябрьском с'езде 1883 г. нам известны также неопубликованные пока показания Ст. Росси, в которых, сообщая в основном те же данные, что и М. П. Шебалин, он указывает, что было решено устроить на юге типографию для издания рабочей газеты. Отмечу, кстати, что у Росси это связано с решением «усилить деятельность среди рабочих» (для дальнейшей характеристики этого пункта см. воспоминания И. И. Попова).

Ряд следующих воспоминаний эпизодически примыкает к только что отмеченным. М. В. Брамсон пишет о «Союзе молодежи партии Н. В.», созданном Якубовичем и оставившем след в партийной литературе (отмечу, что забытая М. В. Брамсоном фамилия предателя, стр. 84,—Алексей Карпищиков). П. А. Аргунов вспоминает о московском кружке милитаристов, причем, как кажется и автор, и редакция преувеличивают значение этих кружков; существенна, однако, у П. А. Аргунова, другая сторона—освещение литературно-издательской деятельности и выпуска марксистской литературы,—вопрос, которым не так давно в упор занимался Н. Л. Сергиевский в своем обширном исследовании (Истор.-рев. сб., т. II). Отрывок из сохранившейся автобиографии М. Р. Гоца, является московскою параллелью к воспоминаниям Шебалина и Попова, которую дополняет К. М. Терешкович.

Следующая группа воспоминаний переносит нас на юг, с которым связана и последняя, сделанная Оржихом, попытка воссоздания партийного центра. П. К. Пешекеров, поместивший более двадцати лет тому назад в пятой книжке бурцевского «Былого» (1924) свои воспоминания о «пропаганде среди рабочих в Ростове на Дону в 1882—1884 г.» (они напечатаны там без подписи), написал их за небольшими исключениями вполне заново для сборника; однако необходимо заметить, что хотя теперь им гораздо детальнее изложена фактическая история, чем это возможно было сделать при наличии органов политического розыска, все же его старые воспоминания не теряют значения; в частности по важнейшему для этой эпохи вопросу о пропаганде среди рабочих в старых воспоминаниях П. К. Пешекерова мы найдем гораздо более отчетливые формулировки, быть может, именно потому, что теперь в центре его внимания—факты, а тогда—более общие явления. Краткое дополнение к П. К. Пешекерову дает Т. М. Романенко для 1885—1887 гг. Для истории созданной Оржихом организации существеннейшее значение будет, несомненно, принадлежать сообщающим много нового воспоминаниям Н. А. Шехтер-Минор, дополняемым А. А. Кулаковым и М. М. Поляковым. Отмечу, кстати, и здесь некоторую ошибку: об организационно важнейшем факте—екатеринославском с'езде следственнные власти знали задолго до ареста Ясевича: С. Турский сообщил ряд сведений о нем 13 апреля 1887 г., а Ясевич был арестован в Вене, лишь в сентябре.

Несколько новых штрихов, хотя и малозначительных, о 1 марта 1887 г. дают воспоминания Л. И. Ананьиной—тогда невесты М. В. Новорусского.

В сборнике есть и приложения. Первое— программа воспоминаний В. С. Лебедева, бывшего недолгое время членом Исполнительного Комитета, но также деятельно работавшего в московской группе. В программе этой для исследователя есть любопытные новые данные, но есть и целый ряд недоразумений, на которые редакция не обратила внимания, снабдив их лишь двумя случайными примечаниями. К тому же и напечатана эта программа неисправно, так что трудно различить ее главы (напр., отсутствие курсива в IX и X; где конец «Исп. К-та»?; почему бар. и Игнатовы, а не бр-ья; Н. Д. Смирницкая и др.). Второй документ—«Программа для собирания сведений в провинции», составление которой А. П. Корба датирует мартом—апрелем 1881 г. Однако необходимо указать, что вся первая часть этой программы (без отдела о первом марта) уже была издана ранее; имеется гектографированное издание этой части программы с датой 30 октября 1880 г. Таким образом, после 1 марта, эта программа была лишь дополнена, при чем, первая переиздаваемая часть претерпела при некоторых редакционных одно существенное изменение—опущен почему-то имев-

щийся ранее отдел о «войске». Издана она не без ошибок (в отделе «Крестьянство» после п. 6 следует п. 8, на самом же деле п. 7 начинается со слов «Как относится...», в п. 5 «незаметно» вместо «вместо «не заметно»; «Гатард» вместо «Гангард» в примечании). Маленькое сообщение о киевских организациях 1880—1883 гг. замыкает сборник.

К сборнику приложен указатель—о нем не буду говорить, так много в нем ошибок, которые могут ввести в заблуждение, ибо на обложке все же «труды кружка народовольцев». На него надо условиться не ссылаться. Сборнику предшествует общая статья Н. И. Ракитникова, которая именно о данном периоде говорит менее всего.

С. Валк

С. Д. САЗОНОВ—Воспоминания. Берлин. 1927 г.

От мемуаров недавно умершего в эмиграции С. Д. Сазонова можно было ожидать многого. Человек, руководивший иностранной политикой царской России в продолжение шести лет с 1910 по 1916 г., один из непосредственных поджигателей мировой войны, министр российской контр-революции в период интервенции, несомненно располагал интересными сведениями, которые—будь они опубликованы—значительно уточнили бы наши представления о международной дипломатической кухне накануне и во время войны.

Положение Сазонова, как мемуариста, нельзя, конечно, не признать затруднительным. После того, как секретные документы русского министерства иностранных дел перестали быть секретными, задача, поставленная Сазоновым—оправдать царскую Россию и ее союзников, обвинив в подготовке войны одних только немцев—является покушением с негодными средствами. Игнорировать тот факт, что действительные пружины войны стали теперь известны, Сазонов не мог—это отразилось на его книге. Подтверждать опубликованные советским правительством документы, делать новые разоблачения—очевидно не хотел,—ведь еще Энгельс писал, что «дипломаты всех стран составляют тайный союз, члены которого никогда не станут публично компрометировать друг друга».

Все же мемуары Сазонова, несмотря на абсолютное отсутствие «сенсации», представляют некоторый интерес—они подтверждают и—в редких, правда, случаях—пополняют материалы о подготовке войны, — чаще, впрочем, гораздо большее значение представляет не то, что автор написал, а то, о чем он умалчивает.

Сазонов начинает свою книгу с анализа «политического наследства», полученного им от своего предшественника—Извольского.

Боснийско-Герцеговинский кризис означал поражение России на дипломатической арене—недаром Сазонов, который признает это поражение, не скупится на соответствующие комплименты по адресу виновника торжества барона Эренталя. Царское правительство проглотило пилюлю, и Сазонов вполне откровенно рассказывает о причинах такой сдержанности.

«С окончанием злополучной японской войны,—пишет он,—прошло тогда неполных пять лет. Экономическое и финансовое положение России еще не пришло в состояние должного равновесия после напряжения полуторагодовой войны, а в военном отношении силы наши были в самом безотрадном положении... Для полноты картины внутреннего положения России весной 1909 года надо еще прибавить, что Столыпину, который принял власть, вывалившуюся из слабых рук Витте и Горемыкина, едва удалось к этому времени успокоить расходившиеся революционные страсти и задержать надвигавшуюся мутную войну анархии» (стр. 21).

Столыпин настаивал на том, чтобы обождать с активной политикой.

Сазонов заявляет, что Столыпин не играл никакой роли в назначении его, Сазонова, министром иностранных дел, но вскоре сам проговаривается. Политическая линия Сазонова вне сомнений была определена Столыпиным.

К числу перечисленных выше причин, по которым Россия вынуждена была к выжиданию (Сазонов называет эту тактику «жертвой, принесенной русским правительством делу сохранения европейского мира») присоединялась также неудовлетворительность стратегических железных дорог, для устранения которой, по словам Сазонова, нужны были не только займы, предоставляемые союзниками, но «прежде всего... прочный и продолжительный мир».

«Ранее того, что я приехал в Петроград и успел разобраться во внутреннем положени России и, таким образом, дойти самостоятельно до сознания означенной истины,—пишет Сазонов,—меня в ней убедил Столыпин, постоянно возвращавшийся в своих частных, а затем и официальных сношениях со мной к вопросу о необходимости избегать, во что бы то ни стало, всяких поводов к европейским осложнениям еще долгие годы, по крайней мере до того времени, пока Россия не достигнет должной степени развития своих оборонительных средств» (37).

Сазонов усвоил уроки своего родственника и постарался всемерно использо-

вать «передышку», укрепляя союз с Англией, Францией и Японией. Он подробно рассказывает о препятствиях, которые ему пришлось преодолевать. Так, напр., русское правительство вынуждено было согласиться с некоторыми требованиями Германии, не только угрожавшими монополии России в северной Персии, но и весьма обеспокоившими Англию и Францию. Сазонов, впрочем, отсрочил выполнение соглашения на добрый десяток лет. «Я был убежден,— пишет он,—что за это время нам удастся привлечь Англию к нашему железнодорожному строительству и парализовать таким образом опасность захвата Германией в свои руки всего торгового движения в северо-западной Персии» (стр. 38).

Итак, министр иностранных дел, был твердо уверен в том, что в течение десяти лет удастся закрепить антигерманский блок на прочной основе. Результаты частых встреч Сазонова с руководителями английской и французской внешней политики были благоприятны для русского правительства: «entente cordiale» обволакивалось морскими конвенциями, соглашениями.

Рассказывая о своей деятельности, Сазонов всячески очищает мемуары от «неудобных» фактов. Приведем в качестве доказательства лишь один случай. Сазонов повествует о свидании с королем Георгом, английским министром иностранных дел Греем и лидером оппозиции Бонар-Лоу в Бальморале в 1912 г.

Рассказ об этом свидании, имевшем немалое значение в деле подготовки войны, весьма поучительно сравнить с докладом о переговорах в Бальморале того же Сазонова Николаю II, написанным в 1912 году.

В официальном документе Сазонов высказался гораздо более правдиво и ярко, нежели в мемуарах.

Сазонов был, напр., удовлетворен полным единством в русском вопросе между Греем и Бонар-Лоу и не замедлил сообщить об этом Николаю. В мемуарах солидарность английского премьера и лидера оппозиции по русскому вопросу («единственному вопросу—по словам Бонар-Лоу—по которому между консерваторами и либералами в Англии нет никакого разногласия») претерпевает чудесные метаморфозы.

«В Англии,—пишет Сазонов, «забывая» о своем докладе 1912 г.,—внешняя политика исключается из области политических вопросов, в которых правительство и оппозиция занимают непримиримое друг к другу положение».

В 1912 г. Сазонов не отказывался понимать, что Грея и Бонар Лоу об'единяет именно отношение к России.

В том же докладе Николаю (см. М. Н. Покровский. «Империалистская война», стр. 91) Сазонов для характеристики анти-германских настроений в Англии рассказывал об обещании Георга утопить в случае войны всякое немецкое судно, которое попадется в руки англичан. В мемуарах не только выпал этот яркий штрих, но и весь рассказ о свидании в Бальморале подан едва ли не в пацифистском освещении.

Сазонов посвящает много внимания вопросу о проливах. Он свободен от славянофильской фразеологии о Царьграде и рассматривает задачу завоевания Дарданелл и... как важнейшую цель русской внешней политики, направленную к обеспечению экономических и стратегических позиций России; также правильно об'ясняет Сазонов англо-германский конфликт — экономической конкуренцией Англии и Германии. «Всякое среднее решение этого коренного вопроса русской политики, — пишет Сазонов,— считалось у нас настолько недопустимым, что, из-за угрозы проливам с чьей бы то ни было стороны, Россия сочла бы себя вынужденной отказаться от миролюбивой политики».

Любопытен рассказ Сазонова о попытке Германии отвлечь внимание царского правительства от Дарданелл. В 1912 г., во время встречи Николая и Вильгельма в Балтийском порту, Вильгельм начал беседу с Сазоновым о восточной политике России. Сославшись на «желтую опасность», порицая позицию Англии в русско-японской войне, Вильгельм настаивал на необходимости для России перенести центр тяжести своей внешней политики на Дальний Восток. Формулировка «дружественного» совета была весьма откровенна: «вам остается только одно—взять в руки создание военной силы Китая, чтобы сделать из него оплот против японского натиска», — убеждал Вильгельм Сазонова. Последнему пришлось, в свою очередь доказывать, что «Россия не может и не должна уходить из Европы» и поторопиться передать содержание беседы японскому послу в Петербурге. В связи с ориентацией на Дарданеллы находится и политика русского правительства в Сербии и Болгарии, о которой рассказывает Сазонов. Он нисколько не скрывает той истины, что Балканский союз был инспирирован Россией с целью вовлечь Сербию и Болгарию в войну с Турцией.

Интересно, что, когда Балканская война началась, то Сазонов настаивал на том, чтобы державы вмешались в ход событий, только после первого решительного сражения. Расчет был ясен— если бы стали побеждать турки, то Сазонов «надеялся спасти от разгрома силы союзников»—в случае победы сербов и болгар—с вмешательством можно

было и не торопиться (как это и случилось в действительности).

Старания Сазонова изобразить внешнюю политику России в мирных тонах становятся особенно усердными по мере того, как автор переходит к описанию событий непосредственно предшествовавших войне. Излагая прения на совещании 8 февраля 1914 г. (о предыдущих совещаниях Сазонов скромно умалчивает), он замечает, что большевики оказали старой русской дипломатии «большую услугу» опубликованием секретных документов, в том числе и протокола февральского совещания. Документы эти, оказывается, обнаруживают «миролюбие императорской политики и чистоплотность ее приемов». Сазонов-дипломат остался и здесь верен себе—делать хорошую мину при плохой игре—одно из правил дипломатии.

Спустя три месяца после февральского совещания произошел любопытный инцидент, который—если бы он не остался только инцидентом—мог существенным образом изменить дальнейший ход событий. Сазонов рассказывает, что в мае 1914 г., когда в Ливадию прибыло Турецкое посольство, министр внутренних дел Турецкого правительства, виднейший деятель младо-турецкой партии Талаат-бей предложил Сазонову заключить союз с Турцией. Как мы знаем из опубликованных архивных документов, настроения Талаата не были исключением. Но все же воспоминания Сазонова прибавляют к нашим сведениям интересный штрих. Сазонов сообщает, что он пытался продолжить через русского посла в Турции многообещающий разговор с Талаатом. Однако, и здесь б. министру нельзя верить на-слово. Секретные документы, найденные в архиве б. министерства иностранных дел, доказали с полной очевидностью, что Сазонов всячески противодействовал мирным стремлениям некоторых представителей турецкого правительства. Без войны с Турцией—о Дарданеллах нечего было и думать.

Глава мемуаров, посвященная июню—июлю 1914 г., написана в обычном духе антантофильской публицистики. И недаром Сазонов, сделавший комплимент по адресу большевистских публикаций, предпочел воспользоваться документами, данными Каутским. Подбор материала для мемуаров оказался, мягко выражаясь, тенденциозным. Как известно, предисловие М. Н. Покровского к сборнику, изд. Каутским, и такие документы, как напр., поденная запись канцелярии Сазонова дали гораздо больше для выяснения истины.

Уличать Сазонова в искажении документов и исторически установленных фактов (сравн. напр., «невинное» изложение знаменитого разговора по телефону между Сазоновым и Янушкевичем) занятие бесполезное. В этой части мемуаров Сазонов наименее откровенен. Лишь изредка у него прорывается, напр., замечание о том, что царское правительство послало по просьбе Франции армию Самсонова «почти на верную гибель».

Также малоинтересен рассказ Сазонова о переговорах с Англией и Францией по поводу Константинополя в 1914—15 гг. Сазонов излагает все трудности, предшествовавшие соглашению 1915 г., и не забывает сообщить о «неприятном впечатлении», которое произвела на него Галлиполийская экспедиция союзников.

Вспоминая о событиях, предшествовавших его отставке, Сазонов подробно рассказывает об оппозиции к Щегловитову, о заявлении «левых» министров и т. д. Фигура самого Сазонова, считавшего себя продолжателем столыпинской политики, вырисовывается в этой части мемуаров вполне отчетливо. Его личная карьера—в особенности к ее концу — отражала борьбу октябристов и к.-д. против «зубров», представленных Щегловитовым, Горемыкиным и др. Столыпина Сазонов восхваляет на каждом шагу. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы Сазонов в своей деятельности, руководствовался советом Столыпина, который, как вспоминает Сазонов, неоднократно твердил: «для успеха русской революции необходима война».

Мемуары Сазонова обрываются на 1916 году. Деятельность его, в качестве одного из руководителей интервенции—Сазонов был представителем Колчака за границей—не нашла никакого отражения в воспоминаниях. И немудрено. Этот отрезок карьеры бывшего министра иностранных дел не гармонирует с «национальной» деятельностью Сазонова» до революции. Продажа страны «распивочно и на вынос», унижения перед союзниками — все это плохо вяжется с «патриотизмом» и преданностью Антанте—чувствами, в которых расписывается Сазонов на протяжении четырехсот страниц своей книги. Сазонов предпочел помолчать, и не испортил неосторожным мазком благолепной олеографии.

Н. Р.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ.—Стенограф. отчет подготовил к печати М. Цапенко, предисловие Я. Яковлева. Центроархив. Гиз. 1928, ц. 4 р. 50 к.

Если не считать протоколов Петроградского Совета, изданных недостаточно научно и тщательно, то теперь, с опубликованием стенографического отчета заседаний Всероссийского Сове-

щания Советов, Центрархив впервые издает полностью все архивные материалы, имеющие отношение к какому-либо определенному эпизоду революции 1917 года. Все предыдущие издания по истории революции 1917 года, ценные уже тем, что извлекали из архивохранилищ интереснейшие материалы и пускали их в научный оборот, носили, однако, преимущественно хрестоматийный характер (рабочее движение, крестьянское движение, разложение армии, буржуазия накануне революции), со всеми следовавшими из такого характера неудобствами для научного исследования и известным обесценением самих исторических документов. «Всероссийское Совещание Советов» относится уже к иному типу изданий.

«Благодушное абстрагирование от классовых противоречий, сентиментальное примирение противоречивых классовых интересов, фантастическое воспарение над классовой борьбой»—все то, что Маркс считал наиболее характерным для февральской революции 1848 г., явилось типичным и для начала русской революции 1917 г. Корни всех этих явлений коренились глубоко, в классовой структуре страны, в которой мелкая буржуазия численно играла огромную роль, в слитности классовых потоков в первый период, в отсутствии политического опыта у огромных масс, впервые только приобщенных к работе государственного и общественного переустройства. «Всероссийское Совещание Советов» и является несомненно одним из наиболее ценных документов, характеризующих этот период.

Само совещание, характер его работ, его состав, выступления одинаково, как политических лидеров, так и рядовых участников, носят на себе печать политической бесформенности первых дней, недостаточной определенности классовых отношений, еще зачаточного размежевания партийных групп, отсутствия резкой классовой дифференциации.

Значительная часть делегатов Совещания состояла из представителей армии, которая, в свою очередь, в значительной части, а возможно и в большей части—была представлена офицерством и военным чиновничеством. Ни одного фронтового или армейского совещания до всероссийского совещания советов не было, нормы представительства командного состава были много больше солдатского, солдатская масса в большинстве своем «передоверяла» свое представительство прапорщику, интеллигенту, писарю. Численность последних в представительстве армии сильно увеличивалась в дивизионных комитетах по сравнению с полковыми, в армейских по сравнению с дивизионными. Какой процент этих групп составляли делегации от армий, можно судить по тому, что делегация части, непосредственно находившейся на фронте—от Комитета Монзундской позиции, состояла из 1 матроса, 1 прапорщика и 1 инженера.

Большинство докладчиков на Совещании были «околопартийные» люди (Станкевич, Громан, Венгеров и фактически внефракционные—Стеклов и Суханов). Большевистская фракция насчитывала всего 55—60 человек, но из них почти четверть составляли т. н. большевики-оборонцы (Войтинский, Севрук и др.), у социалистов-революционеров было зато немногочисленное свое интернационалистское крыло (Камков), то же и у меньшевиков (Ларин, Ерманский). Но фракционные разногласия еще так мало чувствовались, что по вопросу, являющемуся, как неоднократно говорил Ленин, коренным вопросом во всякой революции—по вопросу о власти (формально об отношении к Временному Правительству) удалось составить резолюцию, на которой согласились все фракции. Политические оттенки сказывались здесь только в ударениях при чтении и раз'яснении резолюций. Даже квалифицированные политические деятели, иногда настроенные и весьма осторожно, тем не менее поддавались тому всеобщему опьянению, которое тогда господствовало. Лучшим образом такой политической расслабленности может служить, например, следующее место из доклада Стеклова — «все мы, тт., прекрасно знакомы с историей революций,— говорил Стеклов,—все мы далеки... от политического сентиментализма. Все мы знаем, что стоят слова, слова проходят, а факты остаются... Тем не менее при всем скептицизме в высшей степени поучительно было зрелище перерождения в дни революционного пожара, в вихре революционных событий психологии той группы цензовых буржуазных слоев, которое совершалось перед нами». И далее Стеклов рассказывал, как Родзянко и Гучков были до того потрясены всеми событиями, что потеряли способность сопротивляться самым крайним требованиям. Сейчас, конечно, когда в наших руках все факты, когда перед нами телеграфная переписка Родзянки со ставкой, когда почти во всех деталях известна та двух-трехдневная «борьба за монархию», которую попыталась вести буржуазия, говорить о «перерождении психологии» цензовых групп нелепо. На самом деле было, как известно, не перерождение психологии, а только перемена тактики, вынужденная революционной уличной борьбой. Таких примеров в выступлениях на Совещании великое множество.

Общая политическая и историческая оценка Совещания дана в довольно большом предисловии Яковлева. В

основном оно появляется уже в третий раз в печати—впервые в виде фельетонов в «Известиях», затем в виде статьи в «Пролетарской Революции» и сейчас в почти совершенно неизменном виде, в качестве предисловия в стенограмме. Поправки т. Яковлева сводятся только к незначительным сокращениям. В этом предисловии, в общем правильно освещающем ход работ совещания и дающем им правильную оценку, есть все же некоторые частные ошибки. Нельзя, например, согласиться с т. Яковлевым, когда он, в доказательство того, что защита рядовыми участниками идеи коалиции по существу означала предложение Советам взять власть в свои руки, ссылается на ряд выступлений, напр., Скачкова, Котлярова, Семенова и т. д. Ни один из упомянутых нами делегатов не вносил таких предложений, которые по существу можно было бы сравнивать не то, что с прямым предложением, но и с косвенным подталкиванием к власти советов. Скачков, действительно, предлагал коалицию, но исключительно потому, что «у нас, кроме революции, есть еще война, и вот для того, чтобы война эта протекала так, как нужно, чтобы армия была обеспечена снабжением... мы должны знать, что в это министерство входят представители социалистических партий» (162 стр.). Этот же Скачков предлагал поступиться, как это сделали Гэд и Вандервельде, чистотой своих риз и войти в правительство. Он же предлагал вычеркнуть из характеристики временного правительства слова «представляющее интересы либеральной и демократической буржуазии», т.-е. поддерживал внесенное до него предложение того самого Брамсона (см. 142 стр.), которого, как сторонника ликвидации Советов, т. Яковлев противопоставляет Скачкову. То же нужно сказать и о выступлении Котлярова: оглашенная им резолюция—типичная скрыто-кадетская, офицерская резолюция, где нет ни слова о Советах, где говорится о «доведении войны совместно с союзниками до торжества права и справедливости», где земельный вопрос откладывается до Учредит. Собрания. В речи его нет и фразы, приписанной ему т. Яковлевым. Делегат обещал отказаться от временного правительства не тогда, когда оно хоть на шаг отступит от Советов, а тогда, когда оно отступит на шаг от интересов русской демократии—разница понятная. Что касается выступления Семенова, то оно совершенно бесцветно и ничем не интересно, но т. Яковлев приписал ему речь Усова. Усов же—офицер, хотя и записавшийся в эсеровскую фракцию (он встречается во фракционном списке эсеров в «Деле Народа» от 1-го апреля)—но явно перекрашенный кадет. Он требует поспешить на помощь армии в борьбе против тевтонов, верит, что Совещание не пойдет за господами, группирующимися около газеты «Правды», снимет с очереди все узко-партийные и классовые вопросы, всеми средствами поддержит временное правительство. Этот же Усов сообщает, что «общий клич большинства офицеров, что дисциплина падает и дезертирство увеличивается, и вот я стою за правительство, которое обеспечило бы нам твердую, сильную и авторитетную власть». Эту власть—господин офицер хотел бы видеть, как во Франции, Англии, Бельгии, властью коалиционной, и этой власти он согласен поручить те меры (чистка командного состава, закрытие черносотенно-армейских газет), за которыми т. Яковлев увидел стремление оформить власть Советов. Тов. Яковлев совершенно правильно разграничивает требования коалиции со стороны Брамсона или Плеханова от требования коалиции со стороны рядовых участников Совещания. Но среди последних были и рядовые представители серой солдатской массы и рядовые прапорщики, врачи, инженеры. К числу последних и относятся такие, как Скачков, Усов, и только беглое чтение их выступлений могло побудить т. Яковлева противопоставлять их Брамсону и прочим.

К числу недостатков самого издания нужно отметить отсутствие—в приложениях — хотя бы приблизительного списка городов, которые были представлены на Совещании и состав фракций—хотя бы эсеров и большевиков, которые можно найти. Насколько нам известно, можно найти и текст 4 поправок большевиков, предлагавшихся на Совещании.

В общем же мы имеем одну из ценнейших публикаций, изданных Центроархивом. Мимо этой книги не сумеет пройти ни один исследователь революции 1917 года, а некоторые отрывки из речей—как, например, из речи солдата Остромоухова уже сейчас, буквально, просятся в хрестоматию.

М. Югов

П. АЛЕКСЕЕНКОВ. «Крестьянское восстание в Фергане». Издательство «Средазкнига». Ташкент. 1927 г., стр. 104.

Автором выбран для своей работы очень интересный момент в истории революции в Средней Азии—восстание русских крестьян переселенцев, живущих в районе Джаляль-Абада, бывшего Андижанского уезда, Ферганской области (конец 1918 и 1919 гг.).

Довольно многочисленные переселенческие поселки в Средней Азии, насажденные до революции царским правительством, в эпоху революции тоже

представляли собой реально существующую и действующую социальную силу.

Пред автором стояла задача на примере описанного им восстания показать характер этой силы и направление этого действия.

Со своей задачей в общем автор справился. Через всю брошюру автором проведены переселенцы, как сила, которая стояла между двумя огнями: с одной стороны, власть советов, возглавляемая пролетариатом,—кулаку-переселенцу эта сила была чужда по своему социальному характеру; с другой—басмачество, движение местного байства, борьба местной торговой буржуазии за власть в крае, против власти пролетарско-дехканской. Эта сила очень близка переселенцам по своему социальному характеру, но очень чужда им, как силе колонизаторской и, следовательно, вообще враждебной всему туземному.

Движение переселенцев возникает как движение против басмачества.

На этой почве у организованной крестьянской армии складывается даже союз с пролетариатом, организовавшим в городах советы.

Но противоречие между интересами пролетариата и линией политики советской власти, с одной стороны, и, интересами переселенческого кулачества—с другой, очень скоро вступает в свою силу и, в результате крестьянская армия оказывается союзником другого своего врага—басмача.

Но и здесь с первых же дней у новых союзников развертываются совершенно неизбежные трения.

Красная армия между тем развертывает борьбу и против басмачей и против крестьянской армии. Новое заигрывание крестьянской армии с Красной армией не приводит ни к чему. Кончается тем, что, использовав противоречия между басмачами и поселенцами, Красная армия натравляет их друг на друга. Разбитые басмачами переселенцы сдаются Красной армии.

Такова канва истории этого восстания.

Автор правильно уловил основную нить событий и их социально-исторический смысл, хорошо по форме изложил собранный им материал. Брошюра, поэтому, читается с большим интересом и заставляет пожалеть, что еще не появилось в печати работ, которые бы осветили аналогичную борьбу русских переселенцев в других районах края.

Но у автора имеются в то же время и довольно крупные недочеты в работе. Необходимо на них остановиться.

Совершенно неверной является основная установка автора в вопросе о том, почему царское правительство колонизовало Туркестан русскими крестьянами. Ход мыслей такой: Россия после завоевания края сделала туда крупные капитальные вложения. Переселяли крестьян, чтобы закрепить свое господство и сохранить за собой эти вложения. Фергана—район наиболее крупных вложений, туда поэтому особенно стремились продвигать переселенцев.

Здесь совершенно определенное недоразумение, имеющее своей причиной две фактические ошибки.

Первое—ни о каких крупных капитальных вложениях России в Среднюю Азию вообще говорить не приходится. Две железные дороги, да Голодно-Степская оросительная система—это вещи настолько незначительные, что определять политику они не могли.

О Голодно-Степском канале должно к тому же сказать, что как-раз именно он был построен для колонизации, а не колонизация была придумана для его сохранения в русских руках.

Второе—никогда не было, чтобы Фергану колонизовали сильнее всех других районов. Это видно хотя бы из количества поселков на область накануне войны и революции: в Фергане насчитывалось 59 поселков, в то время, когда в Семиречье их было 228 и в Сыр-Дарьинской области 190. По предположению же автора эти две последние области как области с наименьшими капитальными вложениями (в Семиречье даже железной дороги не было) должны бы иметь наислабейшую колонизацию.

Совершенно очевидно, что эта постановка вопроса принята быть не может. Причины колонизации нужно об'яснять как-то иначе.

Другой крупнейший недочет брошюры, это—совершенно очевидная недооценка автором того расслоения, которое имело место в среде переселенцев. На основании свидетельств русской администрации, огульно указывавшей на зажиточность поселенцев, автор выводит положение, что «крестьяне Ферганы в массе своей, за исключением новоселов, не успевших еще разбогатеть и превратиться в эксплоататоров колонизаторского типа, не имели ни одной точки соприкосновения с советской властью». (стр. 18).

Так стоит вопрос в начале брошюры, когда автору нужно об'яснить борьбу переселенцев против советов. Но уже иначе несколько вынужден автор расценивать тех же переселенцев в конце брошюры, после изложения ряда фактов, говорящих об отсутствии полного единства у переселенцев. Там уже вместо почти сплошной кулацкой массы фигурирует только «кучка контр-революционно настроенных крестьянских кулаков и офицеров», которая «потеряла положение гегемона ферганской контрреволюции». (стр. 101).

Сам об'ективно описанный автором ход событий внес в его работу ту поправку, которую должно бы сделать ему самому на основании имеющихся в пе-

чати статистических данных о расслоении переселенцев. Эти данные автору так и остались неизвестными, а из них бы он как-раз увидел, что, во-первых, ферганские переселенцы из всех переселенцев, живших в Средней Азии, были, пожалуй, самыми бедными и что поэтому, во-вторых, не только в среде только-что осевших, но и в среде живущих довольно давно там, был большой процент хозяйств не-эксплоататорских. Это же наложило соответствующие оттенки и на движение 1918—19 гг.

Недооценка расслоения ведет за собой и еще один, уже 3-й, из'ян работы— это далеко неточное об'яснение причин побед Красной армии над крестьянской армией под Андижаном в сентябре 1919 года. Там на первом плане фигурируют причины порядка совершенно второстепенного и очень слабо оттеняются трения в среде самой крестьянской армии, которые, нет сомнения, имели своей основой отмеченное расслоение.

Последний недочет—это недопустимое в научной работе обращение с источниками. В работе совершенно нет ссылок. Только в предисловии указывается, что работа основана на данных Ср.-Аз. Архива. Этого далеко недостаточно.

П. Галузо

М. ГАЛКОВИЧ. С. Штаты и дальневосточная проблема. С пред. Е. Пашуканиса. ГИЗ. М. 1928. Стр. 208. Ц. 1 р. 90 к.

Книга М. Галковича охватывает тему значительно более широкую, чем это указано в заголовке. Автор не ограничился рассмотрением только одного вопроса о С. Штатах и Д. Востоке, но коснулся дальне-восточной проблемы в целом, начиная с конца XIX ст.

Сюда вошло, таким образом, рассмотрение дальне-восточной политики и взаимоотношений С. Штатов, Японии, Англии, России и частично некоторых других государств. Начинается книга кратким очерком истории С. Штатов со времени открытия Америки и их внешней политки на Д. Востоке вплоть до конца XIX века. Весьма ценно, что история внешней политики увязана в книге с экономическим развитием соответствующих стран и их экономическими интересами на внешних рынках.

Отличаясь на первый взгляд принципиальным либерализмом, особенно в конце XIX в., американская внешняя политика, на самом деле, что весьма выпукло показано автором, являлась определенным тактическим маневром молодого американского империализма, не имевшего достаточно сил и возможностей следовать примеру европейских империалистических держав в деле захвата для себя «сфер влияния».

С. Штаты предпочитали, да и сейчас предпочитают, как говорит поговорка «и невинность соблюсти и капитал приобрести».

Отсюда и так называемая доктрина «открытых дверей для Китая», сформулированная в 1899 г. американским статс-секретарем Гэем (кстати, автору следовало бы отметить, что впервые этот термин ввели в употребление англичане), план Нокса в 1909 г., по нейтрализации манчжурских ж. д. и т. д.

Истинный смысл этой политики прекрасно вскрыт автором, указывающим, что «Циркуляр Гэя от 6 сентября вызван к жизни исключительно интересами соответствующих финансовых групп, заинтересованных в экономической эксплоатации Китая. Вся последующая дальневосточная политика Соединенных Штатов преследует ту же цель»...

Верно и с достаточной полнотой освещает автор вопрос об отношении С. Штатов к Японии и России как до русско-японской войны, так и после нее; когда проявляется и растет существующий и поныне японо-американский антагонизм, причиной которого явилась усиливающаяся экспансия Японии в Манчжурии и Китае. Попутно касается автор возникновения дружественных отношений между царской Россией и Японией после 1905 г., что выразилось в заключении ряда опубликованных и секретных соглашений.

Приходится отметить, что автор, цитируя книгу Dennet'a: Roosevelt and the Russo-Japanese war (кстати, в рецензизируемой книге указанная книга называется почему-то: «Roosvelt and the Russian war») не слишком верно, делал вместе с этим на стр. 62, в сущности неправильный вывод. Автор переводит: я (т.-е. Рузвельт. *Г. Р.)* заявил Германии и Франции в самой категорической форме, что если коалиция из России, Германии и Франции, существовавшая с 1905 г., нападет на Японию» и т. д. У Деннета мы читаем: «я заявил Германии и Франции в наиболее вежливой и скромной форме (in the most polite and discreet faschion), что если коалиция из России, Германии и Франции, существовавшая с 1894 г...» и т. д. Смысл, как мы видим, несколько иной. Основываясь на этой выдержке, автор делает на наш взгляд следующее неверное заключение—«о слабых познаниях Рузвельта или слабом знакомстве американских дипломатов с историей международных отношений Европы». Та же книга Деннета и исторические факты говорят о «познаниях» Рузвельта другое, чем то полагает автор.

В другой цитате из Деннета допущена искажающая смысл ошибка. В книге написано: «я (т.-е. Рузвельт. *Г. Р.).* верю, что наша будущая территория будет больше определяться нашим положением на тихоокеанском берегу Китая»...

У Деннета мы читаем: «я верю, что наша будущая история» и т д...

Далее, автор подробно останавливается на новой фазе финансового закабаления Китая, а именно на истории банковского консорциума, начиная с 1911 г., а также на роли и отношении к нему С. Штатов. Перегруппировке сил и др. переменам на Д. Востоке, последовавшим за мировой войной и русской революцией 1917 г., уделено на страницах книги много внимания. Сюда вошли 21 требование, соглашение Лансинг-Исил, интервенция на русском Д. Востоке и многое др. Дан также анализ решений Версальской и Вашингтонской конференций применительно к Д. Востоку. Отдельные главы посвящены рассмотрению проблемы взаимоотношений С. Штатов и Японии в плоскости иммиграционного вопроса и японо-американской войны. В последнем случае, как указывает сам автор, его рассуждения «являются продуктами обобщения мнений целого ряда военных специалистов». Следует подчеркнуть правильную мысль автора, что после землетрясения 1923 г., когда Японии пришлось обратиться за финансовой помощью к С. Штатам, на что те по многим причинам охотно шли и идут, создалась известная финансовая зависимость Японии от Америки. «Этим самым,—пишет автор, — проблема японо-американской войны становится более отдаленной, но не решается окончательно, так как мировая война показала, что, несмотря на достижение державами соглашений по вопросам, составляющим основной предмет их споров, возможен неожиданный военный исход»...

Этот вопрос, однако, требует еще своего изучения и делать какие-либо окончательные выводы пока нельзя. В данном случае можно говорить только о наметившихся тенденциях.

В общем рецензируемая книга, автор которой использовал большое количество иностранных источников, является весьма ценным вкладом в нашу не столь обширную литературу по истории международных отношений на Д. Востоке. Ценность книги увеличивается еще больше, если принять во внимание всю сложность и в то же время актуальность Дальневосточной проблемы.

Несколько слов о транскрипции иностранных имен и названий. В японских и китайских в большинстве случаев попадаются ошибки. Например: шагун вместо сегун (стр. 25), Гваймушо вместо Гаймусе (стр. 26); Шимода, вместо Симода (стр. 26); Цзи-Сы вместо Цы-Си (стр. 54); Тзинг, вместо Цин (стр. 78) и много других. Неверно также Монроэ вместо Монро, Гай вместо Гэй и Коростовцев вместо Коростовец.

Авторам, пишущим о Д. Востоке, следует быть более внимательными к транскрипции дальневосточных имен и названий.

Г. Рейхберг

Ц. ФРИДЛЯНД. История Западной Европы. (1789—1914). Ч. I. Изд. 2, переработан. — «Пролетарий». 1928 г. 627 стр.

Учебные пособия по истории Западной Европы, написанные тов. Фридляндом, пользуются у нас совершенно заслуженным успехом. Вышедшая сейчас вторым изданием первая часть его курса представляет собой, в значительной мере, совершенно новую работу. Книга расширена более, чем вдвое, и изложение доведено в ней уже до распада Интернационала. Эпохе от революции 1848 г. до Коммуны уделено более двух пятых книги. Между тем все имеющиеся учебные пособия не шли дальше характеристики Франции и Германии перед 48-м годом. Книга тов. Фридлянда устраняет поэтому весьма важный пробел, так как до сих пор при изучении второй империи, истории германского об'единения, I-го Интернационала — приходилось пользоваться отдельными брошюрами или главами из книг, совершенно не предназначенных к тому, чтобы служить учебным пособием. В книге в отличие от других подобных пособий, освещается история Америки, в частности гражданской войны, Италии, Нидерландов. Очень подробно изложено экономическое развитие Европы эпохи расцвета промышленного капитализма.

Все обычные достоинства работ тов. Фридлянда—достаточно полная и наглядная характеристика экономики страны или эпохи, четкое определение классовых сил, социальной обусловленности идеологических направлений, изложение, насыщенное фактами, и наряду с тем достаточно живое,—полностью представлены в этой книге. В освещении движущих сил как Великой Французской Революции, так и революционных переворотов 30-х и 48 гг. Ц. Фридлянду удалось дать совершенно выдержанные марксистские оценки и, в частности, наглядно иллюстрировать ленинскую мысль о гегемонии низов в революционных буржуазных движениях. По вопросу о роли демократических и пролетарских элементов в буржуазных революциях, в полемике с меньшевиками Ленин писал: «Историческим опытом всех европейских стран подтверждена идея о том, что в эпоху буржуазных преобразований (или вернее—буржуазных революций) буржуазная демократия каждой страны оформляется так или иначе, признает тот или другой минимум демократизма, смотря по

тому, насколько гегемония переходит в решающие моменты национальной истории не к буржуазии, а к «низам», к «плебейству» XVIII в., к пролетариату XIX и XX вв. Эта гегемония и составляет одно из коренных положений марксизма» (т. XIII). Именно из этого положения исходит автор в освещении, например, хода Великой Французской Революции (главы о ней принадлежат к числу лучших в книге): «В истории Великой Французской Революции 1789—1791 гг. мы видим прямое подтверждение правильности революционной тактики большевизма: революция, даже буржуазная, может быть успешна лишь постольку, поскольку в ней, как активная революционная сила, выступают народные низы. Только та группировка сможет разрешить насущные задачи революции, которая сорганизует массы для борьбы против контр-революции и сумеет привлечь их на сторону революции. А это возможно только тогда и будет сделано только теми, кто решится во имя интересов революции пожертвовать интересами собственности. Но в таком случае, конечно, не «деловая» буржуазия станет вождем революции... Это сможет сделать только мелкая буржуазия» (стр. 143 и 153). В другом месте автор пишет: «История Великой Французской Революции сводится не только к истории борьбы буржуазии с феодальным порядком, но и к истории борьбы внутри третьего сословия, между буржуазией и народными массами, крестьянством и рабочим классом. Вот это и есть та марксистская поправка, которую мы вносим в историю В. Ф. Р.» (стр. 117) [1].

Изменение роли городской мелкой буржуазии в XIX в., новое соотношение между ней и пролетариатом, новый тип «левого блока», уже под руководством пролетариата, и резкое поправение—в этой связи—либеральной буржуазии—достаточно отчетливо показаны автором по отношению к революции 1848 г. Совершенно правильно освещена социальная эволюция Германии—вскрыта своеобразная диалектика в сохранении старой политической надстройки (хотя и эволюционирующей) при резком изменении курса политики и капиталистической эволюции страны в целом.

Само собой разумеется, что книга, интересно и ново освещающая ряд проблем, не лишена недочетов; многие формулировки в ней представляются спорными. Выработка единой точки зрения, устранение всех методических недостатков книги, как учебного пособия,—дело большой коллективной работы. К обсуждению книги Фридлянда придется еще возвращаться—мы отметим пока лишь некоторые ее погрешности.

Вводная глава, характеризующая эпоху торгового капитала, слишком схематична и недостаточна, как введение к курсу. Хотя история Англии затронута еще с XV—XVI вв., но об английской революции глава не упоминает. Спорной представляется характеристика аграрной революции, как следствия промышленного переворота. Система общинного севооборота, «открытых полей», чресполосица—представляются т. Фридлянду сохранившимися, в главных чертах, до второй половины XVIII в. (стр. 35, дальше «имеются некоторые оговорки). Известно, что Маркс считал (и к выводам его присоединяются новейшие исследователи), что «„yoemenry" исчезает в половине XVIII в., а в последние его десятилетия изготовляются всякие следы общинной собственности земледельцев». Капиталистическая перестройка земледелия, наиболее законченная именно в Англии, более ранняя, чем в других странах Зап. Европы, обусловила совершенно иной тип воздействия торгового капитала на народное хозяйство Англии, явилась предпосылкой промышленного переворота, хотя и темп дальнейшего проникновения капитализма в сельское хозяйство ускорен был этим переворотом.

Данное тов. Фридляндом определение цеха, как «регулятора взаимоотношений» между подмастерьем и мастером

[1] В № 11 «Большевика» М. Князев в рецензии, основанной, повидимому, на полном игнорировании того, что действительно написано в книге Фридляндом, обвиняет в том, что «авангардом третьего сословия, вождем революции автор считает деловую торгово-промышленную буржуазию. О крестьянстве, как движущей силе революции, автор ни слова не говорит». Приведенные нами выдержки показывают, какими средствами достигает М. Князев своей легкой победы. Прием этот повторяется на протяжении всей рецензии: Фридлянд оказывается, например, повинным в том, что считает сословное деление совпадающим с классовым. «Если это верно для привилегированных сословий, то принадлежность к третьему сословию (буржуа, крестьянин, рабочий) не совпадает с классовым положением»,—поучает М. Князев. Но оказывается, что именно это и сказано у Фридлянда: «третье сословие—это одно сословие. Но сюда входят члены разных классов; во-первых, буржуазия во всех ее подразделениях, затем крестьянство и рабочий класс. Различные классовые группировки объединены одной юридической оболочкой «третьего сословия» (стр. 69).

предупреждающим конфликты, было бы правильнее,—по крайней мере для Франции,—заменить определением цеха, как примитивной организации хозяев, в частности для борьбы с подмастерьями.

Определение промышленного строя предшествующего появлению машины, у т. Фридлянда очень неточно. Он говорит о «домашней и мануфактурной промышленности», не рассматривая взаимоотношения этих двух типов промышленности. Вообще от применения—в стиле Бюхера — термина «работы на дому», без классификации форм связи этой работы со случайным покупателем, скупщиком или мануфактуристом, Ленин, строго следуя Марксу, рекомендовал марксистам воздерживаться (см. «Развитие капитализма в России», возражения Струве). Тов. Фридлянд характерным признаком мануфактуры считает «сосредоточение под одной кровлей». Маркс на первое место выдвигал подчинение «команде капитала», распространение мануфактурного разделения труда, «низводящего рабочего до степени частичного рабочего». Естественно, что Маркс мануфактуру считал «формой капиталистического процесса производства», мануфактурный период—стадией промышленного капитализма,—тогда как тов. Фридлянд считает, что «до появления машины... не было условий для развития промышленного капитализма» (стр. 41).

Эта неясность несколько мешает данной в книге характеристике экономического развития Франции перед революцией. Совершенно справедливо автором оспаривается представление о Франции, как стране натурального хозяйства, развитое в свое время Лучицким. Правильно об'яснение так наз. «феодальной реакции», «вызванной капитализацией сельского хозяйства которое пытались связать с феодальными повинностями» (стр. 65). Но данная тов. Фридляндом характеристика промышленного развития Франции, роли мануфактуры—совершенно недостаточна. Нельзя ограничиваться ссылкой на «королевские мануфактуры» и Лион, считая, что в остальной Франции господствует деревенская промышленность (стр. 66). Выяснение подлинной роли мануфактуры дало бы возможность тов. Фридлянду более прочно обосновать его совершенно правильные замечания об элементах капитализма во Франции перед революцией [1].

Классовая характеристика крестьянства перед революцией, его чрезвычайная «неоднородность»—выяснены в книге достаточно выпукло и обстоятельно. Сторонником раздела общественных земель автор считает зажиточных крестьян, а противником—бедноту, с которой борется по этой линии среднее крестьянство. Несомненно, что именно среднее крестьянство выступало за сохранение общинных земель, тогда как беднота — при всех ее колебаниях—все же чаще всего склонялась к требованию раздела.

Спор Ковалевского и Лучицкого о роли мелкой крестьянской собственности тов. Фридлянд разбирает—методологически вполне верно—в свете вопроса о роли капитализма в сельском хозяйстве. Напрасно лишь он противопоставляет богатому слою крестьян, как полярно ему противоположный—малоземельное крестьянство; нужно было говорить о с.-х. пролетариате, кадры которого к концу XVIII в. уже начинают образовываться [2].

Автор вполне прав, заявляя, что «нельзя утверждать, будто накануне революции во Франции не было пролетариата. Может итти речь лишь о том, что не было классово сознательного пролетариата» (стр. 75). Однако нельзя признать, что роль рабочих в Великую Французскую Революцию обрисована им исчерпывающе. В частности, вопрос о связи между «бешеными» и рабочими им не

[1] Упомянутый нами М. Князев полагает, что «если во французской деревне уже созданы были условия для развития капиталистической промышленности», как думает тов. Фридлянд, то «тем самым исчезает одна из основных причин Вел. Франц. Революции». Подобного рода рецензентам до выступления в печати следовало бы хоть коротко ознакомиться с вопросом о противоречии между производительными силами и общественными отношениями. Невежеству М. Князева прямо пропорционален только его апломб: на вид Фридлянду ставится, что тот считает «Коммунистический Манифест» первой научной попыткой обоснования коммунизма и пролетарской революции. Ну, а кто же, кроме М. Князева, давал другое определение роли «Коммунистического Манифеста»?

[2] Кстати, М. Князев упрекает Фридлянда в том, что тот не видит расслоения крестьянства, тогда как в книге совершенно отчетливо формулировано—«французское крестьянство до революции чрезвычайно неоднородно. Процесс расслоения зашел далеко» (стр. 61). На основе столь «внимательного» чтения понятен другой упрек: «половничество не есть вид собственности, как думает автор». У Фридлянда сказано, разумеется, совершенно иное,—«колоссальная нужда в земле заставляла крестьян брать землю у собственника и пользоваться ею, отдавая ему треть, а иногда и половину урожая. Это так называемая система половничества» (стр. 63). На что рассчитывал М. Князев, прибегая к подобным передержкам,—трудно сказать.

освещен сколько-нибудь ясно. Вообще, хотя тов. Фридлянд и неоднократно оспаривал схему Кунова, но в определении социальных корней борьбы фракций он злоупотребил «интеллигентскими расхождениями». Так, Дантон—«наиболее умный представитель левого крыла буржуазной интеллигенции», Гебер и Шометт — вожди «люмпен-пролетарской интеллигенции», бешеные—«левая группировка демократии эпохи революции». Такое определение едва ли может быть признано достаточным, как не вполне обоснован и упрек, что «бешеные не имели никакой политической программы, и в этом была их слабость и беспомощность», что требования «бешеных» не шли дальше продовольственного вопроса. Статья тов. Фрейберг (№ 6 «Ист.-маркс.»), показала, что вопрос значительно сложнее и требует более обстоятельного рассмотрения.

Связь между «бешеными» и Бабефом тов. Фридляндом почти не показана. Между тем ее давно подчеркивал Маркс (хотя Олар и считает, исходя именно из этой мысли Маркса, что тому «никогда не хватало терпения» ознакомиться с историей В. Ф. Р.). Вообще, «заговору равных» уделено непропорционально мало места, — всего одна страничка, меньше, чем Вольтеру, чем Клопштоку и Виланду. Эту непропорциональность, встречающуюся в других главах, в дальнейших изданиях нужно будет устранить.

Классовая характеристика политики Конвента и робеспьеризма дана в книге совершенно правильно. Однако, в разрез с неоднократными подчеркиваниями двойственности в политике мелкобуржуазных колебаний,—в книге имеется и такая—случайная, но неверная формулировка: «Конвент, будучи представительным собранием широчайших слоев мелкой буржуазии, опирался на рабочие трудовые массы. В своей деятельности он противопоставлял бедных богатым, труд — капиталу» (стр. 161). Не вполне последователен и вывод в другом месте—«в классовом отношении опора мелкобуржуазной диктатуры была неустойчивой и чрезвычайно пестрой» (стр. 166), противоречащий другим указаниям автора о классовой базе Конвента. Гораздо правильнее было бы говорить не о неоднородности базы, а о «колебаниях», столь присущих мелкой буржуазии. Советским историкам, наблюдавшим колебания мелкой буржуазии диапазон ее шатаний, следовало бы вообще подчеркнуть именно эти неизбежные колебания класса и его политиков, вместо мало производительного подведения этих сложных социальных явлений под различные «интеллигентские приказы».

Замечание, что с «весны 1794 г. мелкая буржуазия, одержав ряд побед над внешней и внутренней контр-революцией, снова вернулась к чисто-буржуазному законодательству» (стр. 155), непонятно именно в работе т. Фридлянда, столь убедительно подчеркивающего значение «вантозовских декретов». В описании партии Конвента речь идет (стр. 154) почему-то о трех резко враждебных политических группах; едва ли правильно выделять «Равнину»—как ясно очерченную фракцию с самостоятельной политической линией.

При анализе внешней политики революции тов. Фридлянд (см. также его предисловие к переводу Матьезовской «Как побеждала французская революция») отходит от пацифистских традиций Жореса, переносившего свою конкретную позицию в вопросах внешней политики на XVIII ст. и не считавшего, в силу этого, конфликт между феодальной Европой и буржуазной революционной Францией неизбежным. В противовес этому совершенно правильно в книге выдвигается утверждение о «неизбежности войны»—«задача революции сводилась теперь не к пассивной обороне, но к активному сопротивлению и наступлению на внешнюю контр-революцию». Позиция жирондистов и монтаньяров в вопросах внешней политики, ход войны, якобинская организация борьбы, международное значение В. Ф. Р. — изложены достаточно четко и ярко[1].

[1] Верный своему методу «чтения», М. Князев полагает, что по Фридлянду жирондисты — только оборонцы, тогда как в действительности «жирондисты сделали все возможное, чтобы ускорить ее начало». Однако именно это и сказано у Фридлянда—«правильно понятые классовые интересы буржуазии заставили жирондистов начать шумную агитацию за войну, способствовать ее возникновению, чтобы задержать революцию... Наступательная политика диктовалась необходимостью» (стр. 150). О международной роли В. Ф. Р. Фридлянд, между прочим, говорит—«В. Ф. Р. развернулась на континенте в обстановке еще неуничтоженного феодального порядка... Вот почему на долю Великой Революции выпало пройтись железной рукой по Германии и вымести значительную часть феодального мусора» (стр. 116). По мнению же Князева,— «в рецензируемой книге вопрос о международном значении французской революции обойден»... Но сейчас же вслед за этим Фридлянд обвинен в том, что он утверждает, будто В. Ф. Р. ликвидировала пережитки феодализма во всей Европе». Уличать в подобных проделках попросту неприятное занятие.

Если автору удалась классовая характеристика В. Ф. Р. и бисмарковской Германии во всем их конкретном своеобразии, то характеристика бонапартизма (1-й и 2-й империи) страдает некоторым упрощением. В период первой империи «интересы крестьянства совпадали с интересами буржуазии, и их прочный союз был опорой грядущей империи» (190). «Главой союза» и явился Бонапарт. Социальную базу бонапартизма во второй империи тов. Фридлянд определяет, как «власть буржуазной аристократии» (стр. 448). Думаем, что такое определение не дает возможности отличить вторую империю хотя бы от июльской монархии. «Бонапартизм есть лавирование монархии, потерявшей патриархальную и феодальную опору, монархии, которая принуждена эквилибрировать, чтобы не упасть... Бонапартизм есть об'ективно неизбежная, прослеженная Марксом и Энгельсом на ряде фактов новейшей истории эволюция монархии во всякой буржуазной стране» (Ленин, т. XI/I, стр. 157). К сожалению, своеобразия этой переходной полосы тов. Фридлянд не вскрыл, а скорее затушевал. Так, в частности, определяя круг сторонников Наполеона на президентских выборах, он причисляет к ним—крестьян. изрядную часть ремесленников, часть рабочих, буржуа, коммерсантов и промышленников (341). Естественно напрашивается вопрос о том, чьим же кандидатом был Кавеньяк, поскольку кандидатом городской мелкой буржуазии и социалистов был Ледрю-Роллен. Едва ли правильно утверждение, что правительство Наполеона III «начало свою деятельность защитой интересов „всех классов"».

Анализируя причины крушения первой империи, т. Фридлянд, между прочим, замечает, что причина поражения наполеоновских армий в России не в морозах, а в том, что «против наполеоновской стратегии... начали действовать силы, наполеоновскую стратегию породившие, т.-е. народное восстание» (стр. 214). Здесь, очевидно, имеются в виду общеевропейские сдвиги, но понята данная фраза может быть, как указание на русское крестьянское движение, вначале, как известно, бывшее отнюдь не враждебным французской армии.

Характеристика экономического развития Европы, как мы уже указывали, является очень ценной частью книги. Однако некоторые шероховатости в ней имеются. Неоднократно, подчеркивается быстрый темп развития капиталистической промышленности во Франции, особенно, начиная с 40-х гг., однако при описании 2-й империи—тов. Фридлянд приходит к выводу, что преобладает все-таки мелкое предприятие и что господствующими отраслями (по переписи 1866 г.) являются производство одежды (700 т. рабочих и 427 т. хозяев) и строительное дело (480 т. раб. и почти 342 т. хозяев). Но и из приведенной в книге таблицы ясно, что первенство должно быть отдано текстильной промышленности (825 т. рабочих и только 178 т. хозяев). По мнению же автора, «количество хозяев и рабочих в текстильном производстве свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело еще с весьма мелким предприятием». Даже следуя осужденному Лениным методу средних цифр: получения среднего от деления числа рабочих на число хозяев,—более крупный тип текстильного предприятия очевиден, но вообще-то такая ссылка на общее количество хозяев и рабочих неправильна. Нужен был конкретный анализ процесса концентрации, который, вне всякого сомнения, показал бы, что в северо-восточном углу Франции в текстильной промышленности господствовало именно крупное предприятие. Характерно, что и в металлургии на 2291 хозяина—почти 50 т. рабочих,—концентрация здесь наглядно проявляется.

В сравнении промышленного уровня Германии и Франции в книге есть противоречие в цифрах и обобщениях: в лекц. 11 Германия в 1850 г. обгоняет Францию по своим торговым оборотам (2 млрд. 100 млн. марок, а Франция—только 1 млрд. 500 млн.), в лекц. 15-й Франция занимает второе место (1500), а Германия третье (1120 млн.)... Слишком односторонне выпячен, как основной фактор под'ема Европы в 50 гг., приток золота (350 и 402),—тов. Фридлянд сам же подчеркивает несколько ниже значение железнодорожного строительства, именно в конце 40—50 гг. развернувшегося впервые во всю ширь (стр. 406).

Неудачен термин «власть финансового капитала» по отношению к Франции 50 гг. (стр. 350).

При характеристике развития Англии в XIX в. тов. Фридлянд переоценивает значение реформы 1832 г., полагая, что уничтожение «хлебных законов»» было уже только небольшим эпизодом, обусловленным этой реформой (стр. 279). Неправильно считать «вигов» представителями «Новой Англии», т.-е. промышленной буржуазии. Маркс эпоху подлинного политического господства промышленной буржуазии не датировал избирательной реформой: «полное господство промышленного капитала признано английским купеческим капиталом и финансовой аристократией лишь со времени отмены хлебных пошлин» («Кап.» т. III, (1/311).

Неудовлетворительной, нам кажется, характеристика социальной базы чартизма—«чартистское движение не опиралось на организованный рабочий

класс, но было продуктом разрушения старых докапиталистических форм производства, разорения крестьянства, ремесленников и лишь первыми шагами формирования фабрично-заводского пролетариата. Оно зависело от роста безработицы (стр. 283). Обычное определение чартизма, как «первого революционно-классового движения современного пролетариата», гораздо точнее и правильнее. Не следовало Стеффенса рассматривать как идеолога, руководителя значительной части чартистов-рабочих. Стеффенс — несомненно случайная фигура в движении и считать на основе его взглядов, что «рабочие, идущие за Стеффенсом... ведут борьбу во имя престола, «алтаря и отечества» (стр. 282) было бы слишком поспешно. Борьба течений среди чартистов изложена правильно, выделено пролетарское крыло, руководимое Харнеем и Джонсом (стр. 283, 288, 528,—любопытно, что указанный «рецензент», М. Князев, ухитряется заявить, что в книге «ни слова нет о группе Харнея!»), но изложение слишком сжато, и эта глава потребует расширения.

Истории Германии уделено пять лекций,—из них две—Германии эпохи национального об'единения. При совершенно правильной характеристике движущих сил крестьянской реформы несколько непонятны первые фразы параграфа об аграрном законодательстве: «в XVIII в. правительство выступает „на защиту" крестьян и разрабатывает ряд проектов аграрной реформы. Решающую роль при этом играют заинтересованность государства (к. н.) в сохранении массы налогоплательщиков, необходимой воинской силы и, наконец, требования хозяйственного развития: рост городов и успехи промышленной деятельности (стр. 357). Роль хлебного экспорта для развития восточно-прусского поместья—подчеркнута т. Фридляндом только для XIX в. Между тем, в значительной мере на дрожжах экспорта, происходило «вторичное закрепощение», складывалось прусское барщинное поместье еще в XVII и уже подавно в XVIII веке. В XIX в. для этого поместья выгоден был уже переход от барщинного к вольно-наемному труду (хотя остатки крепостнических порядков, в частности Gesindeordnung», о которых писал Ленин, долго еще оставались живучими), — этот процесс тов. Фридляндом обрисован не достаточно выпукло. Роль юнкера для всего социально-политического развития Германии показана прекрасно, но обрисована она как раз в более поздних лекциях, а в лекции о 48-м г., при анализе причин неудачи, выявлена лишь слабость революционных элементов, но сила сопротивления реакционных классов подчеркнута и об'яснена недостаточно.

Слушателей наших комвузов при изучении истории Запада очень интересует конкретное знакомство с указанным Лениным «прусским» и «американским» путем развития. Тов. Фридлянду—при дальнейшей переработке книги следовало бы при анализе путей развития капитализма в сельском хозяйстве Пруссии сопоставить его как с Америкой, так и с Россией.

Последние четыре лекции посвящены истории I-го Интернационала и Парижской Коммуне. Тов. Фридлянд совершенно прав, рассматривая эти темы неоторванно; в наших учебных планах первоначальный полный разрыв этих тем—изучение распада Интернационала до знакомства с историей Коммуны—сейчас уже в ряде случаев уничтожается. Изложение истории Интернационала сделано удачно и полностью использует новейшие изыскания тов. Рязанова. Несколько противоречиво лишь определена социальная природа бакунизма—«Бакунин верит в осуществление своих идеалов путем организации люмпен-пролетарской черни.. эти люмпен-пролетарские массы и будут носителями грядущей революции» (стр. 558—9). Само по себе это верно, но отнюдь не здесь главное в определении социальной природы бакунизма. Несколько ниже подробно и правильно изложено значение, уделенное бакунистами крестьянству. Было бы, несомненно, вернее, если бы автор полностью исходил из определения сущности бакунизма, как идеологии, созревшей именно в крестьянских странах, на почве распада старых социальных отношений, разложение деревни под влиянием проникающего капитализма. Люмпен-пролетарская масса (городская или деревенская?) едва ли может считаться основной опорой бакунизма и во всяком случае не может об'яснить социальной подпочвы бакунистского движения.

Как учебному пособию, книге т. Фридлянда не хватает карт и библиографии. Эти недочеты автор может устранить при выходе в свет второй части книги. Мало преимуществ, на наш взгляд, имеет и лекционная форма изложения, от нее, в следующих изданиях, нужно будет отказаться. Нельзя не отметить небрежности издательства в отношении корректуры—опечаток чрезвычайно много: Бильо-Варенн превращен в Пимо-Варени (стр 172), «якобинцы не шли (вместо: были), сторонниками планового хозяйства» (161), «ашафот» и т. д. Следовало также повсеместно для иностранных денежных единиц, мер, веса и т. д. дать соответствующие раз'яснения.

При все неизбежных в такой большой работе недочетах и спорных формулировках книга тов. Фридлянда целиком отвечает поставленной

перед ней ГУС'ом задаче—служить пособием для высшей школы. Наряду с книгой тов. Лукина, новая работа тов. Фридлянда даст возможность при изучении истории, как в университетах, так и в высших звеньях нашего коммунистического просвещения, опереться полностью на выдержанные марксистские учебники.

Разумеется наши замечания могли быть только беглыми и предварительными. В процессе применения нового учебного пособия критическое обсуждение, выявление всех его достоинств и недостатков будет совершенно необходимо,—разумеется, не по типу упомянутой нами рецензии М. Князева, основанной почти исключительно на передержках.

Примеры некоторых из них мы уже привели,—исчерпать их трудно, так как почти каждая строка представляет искажение текста книги. «Диктатура якобинцев везде датирована „1792—95 гг." что явно ошибочно» упрекает Князев, ссылаясь на стр. 143, на которой, понятно, сказано совершенно обратное: «второй период революции—эпоха господства буржуазии (со 2 июня 1793 г. до 9 термидора — 27 июля 1794 года)».— «Франко-Прусская война со стороны Франции была войной династической»— рецензент спешит исправить эту ошибку. В рецензируемой же книге приведено совершенно противоположное об'яснение: «виновником войны во Франции отнюдь не являлась династия. Ответственность за войну несут широкие круги французской буржуазии» (стр. 571), вслед за чем подробно изложена позиция буржуазных групп, во главе с Оливье добивавшихся войны.

— «Кроме сервов, живших преимущественно на монастырских землях, подавляющая масса крестьянства не была закрепощена и никакой речи быть не может „об эксплоатации рабочей силы крепостного крестьянства феодалами". Нечего уже говорить об укреплении крепостного состояния крестьян, раз не было, как правила, этого крепостничества»,—таково одно из основных обвинений М. Князева. Трудно понять, как можно пред'явить его автору, у которого сказано «основная масса крестьянства была лично свободна, но была все же группа крестьян, которая остановилась на положении крепостных. Это—сервы. Большинство сервов—их было не больше 200 тыс.,—жило на монастырских землях» (стр. 72).

При таких приемах нет уж ничего удивительного, если М. Князев, найдя в «тезисах и планах», не Фридляндом написанных, изложение синдикалистских взглядов о том, что «синдикат выше партии», приписывает и эту фразу Фридлянду и невозмутимо умозаключает: «Здорово сказано! Сколько недоумения вызывает такая формулировка у читателя».

Мы нисколько не сомневаемся, что редакция «Большевика», введенная в заблуждение явно недобросовестным рецензентом, даст еще место серьезному разбору книги т. Фридлянда.

В. Далин

ХРОНИКА

В секции Истории рев. движения Ком. Ак. [1]

Основной работой секции Истории русского революционного движения явилась в текущем году подготовка юбилейного издания избранных сочинений Н. Г. Чернышевского. Секцией подготовлен первый (исторический) том издания. Он сконцентрирован на двух крупнейших вопросах, оказавших огромное влияние на революционное мировоззрение Чернышевского, и на изучении которых особенно ярко проявился его талант исследователя классовой борьбы: крестьянский вопрос в России и революционная борьба Франции 1-й половины XIX в. Первый вопрос представлен в историческом томе работами: «Труден ли выкуп земли», «Материалы для решения крестьянского вопроса», «Письма без адреса», воззвание «Барским крестьянам», «Studien Гакстгаузена». Вторая проблема освещена в работах: «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия» и «Кавеньяк». Об'ем тома, и так превысивший 30 печ. листов, не позволил включить другие работы Чернышевского, характеризующие его, как историка. Текст публикуется по рукописям и корректурам, хранящимся в доме-музее им. Н. Г. Чернышевского, и снабжен подробным комментарием и словарем—указателем имен. Прототипом издания были 2-е и 3-е издания сочинений Ленина, издаваемые Институтом Ленина. В результате работы над Чернышевским оказалось, что до сих пор в нашем распоряжении был неполный и искаженный цензурой текст сочинений Чернышевского («Полное собрание сочинений», в 11 т. 1905—06 гг.), число разночтений и купюр, восстановленных в первом томе избранных сочинений, подготовленном секцией, доходит до нескольких сотен, иные купюры превышают размером страницу. В частности, установлен по архивному подлиннику ряд разночтений в воззвании «Барским крестьянам». Том снабжен фотокопиями рукописей и корректур. В настоящее время набор текста почти закончен, и том выйдет к юбилею.

Кроме того, секция принимала участие в составлении «Книги для чтения по русской истории», включенной в план работы общества историков-марксистов при Ком. Академии: членами секции дан ряд статей по истории XVIII—XX вв. Участие секции в журнале «Историк-марксист» выразилось в помещении статей, критических обзоров и рецензий, а также в организационной работе отдельных сотрудников секции. Работы сотрудников секции публиковались и в других изданиях, как, напр., работа А. Н. Штрауха — «Стрелецкий бунт 1682 г.» (в Уч. Зап. И-та Либнехта), работы М. В. Нечкиной по декабризму и др.

[1] Ныне секция методологии истории.

Научно-исследовательская работа американских историков

Нам казалось не безынтересным познакомить широкие круги советской общественности с любопытным движением, происходящим за последние полтора-два года в Северо-Американских Соединенных Штатах в среде историков, ведущих научно-исследовательскую и преподавательскую работу, а в связи с этим движением отметить ряд характерных явлений и черт общего культурного облика той страны, которая со времени окончания войны в экономической области является мировым гегемоном.

Известно, что в Соединенных Штатах с 1884 г. существует так называемая Американская Историческая Ассоциация, имеющая с 1895 г. свой весьма солидно поставленный периодический орган (American Historical Review), выходящий 4 раза в год.

Эта Ассоциация, обнимающая к 1926 г. 2.900 членов и имеющая в своей среде довольно крупные имена, как Чарльз Андрюз, Эверт Грин, Сидней Фэй и др., пришла в последнее время к мысли о необходимости оживить историческую науку, подняв производительность американских историков в области научного исследования.

С этой целью в 1926 г. была выделена особая комиссия, которая прежде всего предприняла широкое обследование ученых историков, имеющих высшую степень «доктора философии в истории» [2], для выяснения причин недостаточной продуктивности их исследовательской работы и препятствий, которые встречает

[2] Doctors of Philosophy (Ph. D.).

опубликование «задуманных, подготовляемых и даже законченных» исследований. Была выработана анкета из 10 вопросов и разослана более 500 ученым, имеющим указанную степень. Получилось около 260 ответов, на основании которых комиссия смогла сделать приблизительные выводы как относительно состояния вопроса в настоящее время, так и относительно тех мер, которые им диктуются и которые комиссия была уполномочена немедленно провести в жизнь. Одна из сводок этих ответов с большим количеством красочных цитат и послужила материалом для настоящей заметки [1].

Выясняется следующая довольно любопытная картина, которую мы здесь дадим лишь в ее существеннейших чертах, а интересующихся деталями отсылаем к самой статье Джернегана. Прежде всего, оказывается, что в среде самих историков нет единообразия в понимании того, к чему обязывает докторская степень. В то время, когда она вводилась (около 1870 г.), она согласно германскому образцу, присуждалась сравнительно молодому ученому, проявившему известные способности к самостоятельной исследовательской работе и предназначавшемуся прежде всего для преподавания своей специальности. При этом постепенно масштаб требований понижался в зависимости от размеров и авторитетности того ученого учреждения, которое присуждало это звание. И в настоящее время даже Гарвардский университет считает, что звание доктора философии выражает «признание, что данное лицо может руководить кандидатами на ту же степень по той же специальности, а также содействовать успехам науки в этой области своей собственной исследовательской работой», т.-е. преподавателя он ставит на первое место, а исследователя на второе. Между тем Американская Историческая Ассоциация, предпринимая свое обследование, стояла на той точке зрения, что «степень Ph. Д. означает не только, что ее обладатель способен к самостоятельному исследованию, но что она ему дается по меньшей мере в надежде, что он окажется продуктивным ученым» (productive scolar). Отсюда вполне понятна ее неудовлетворенность выявившейся из обследования цифрой основательных продуктивных историков (consistent produceps), составляющей менее 25% всего числа докторов философии.

Куда же идут остальные более чем 75% квалифицированных историков? Оказывается, что они идут не только на непосредственное руководство «сменой», молодыми кандидатами на степень, т.-е. в высшую школу, университеты, но и в среднюю школу, в лучшем случае в качестве преподавателей истории, а зачастую и на административные посты [2].

Многие прямо говорят о том, что «приобретение докторской степени жизненно необходимо для получения более или менее сносного поста преподавателя в колледже или в университете». Это обстоятельство может быть и можно приветствовать, как показатель высокого уровня преподавания в средней школе, но это, конечно, не содействует успехам истории, как науки. Те же анкеты свидетельствуют о том, что 50% руководителей этих школ относятся либо отрицательно, либо прямо враждебно к исследовательской работе их преподавателей, или потому, что «не имеют понятия о том, что такое исследование», или потому, что считают первой и единственной их обязанностью—преподавание. «Дело преподавателя — преподавать».

Остальная половина школьных администраторов относится к этому делу равнодушно (lukewarm), никак не отличая, не продвигая, не поощряя преподавателя, ведущего одновременно с преподаванием и научную работу.

В виде исключения встречается такой директор колледжа, сам имеющий степень доктора, который совершенно правильно расценивает значение исследовательской работы даже для преподавания. Он говорит: «Я полагаю, что большинство преподавателей ведет работу гораздо лучше, если у них имеется или задумано какое-либо исследование. Это стимулирует их интерес к делу; это обогащает иллюстративным материалом их научные положения и во многих отношениях улучшает их преподавание». Он идет даже дальше и выступает защитником реальных мероприятий для содействия исследовательской работе преподавателей: «сокращения часов преподавания, установление годичных отпусков и такого вознаграждения, которое давало бы возможность вести научную работу летом».

Однако анкеты показывают, что не только и администрация колледжа или университета препятствует исследовательской работе: в среде самих докторов философии намечаются два течения: меньшинство считает существующее положение вещей нормальным; подобно тому, как в природе, в силу борьбы за существование, выживают только наиболее сильные, так и среди докторов философии истории должно быть много званных, но мало избранных.

[1] См. M. W. Jernegan, Productivity of Doctors of Philosophy in History «Amer. Hist. Rev». Oct. 1927 г.

[2] Tey sell themselves to the devie of administration», стр. 10.

Кроме того, по способностям и склонности среди них вырабатывается 2 типа: «преподаватель» и «исследователь». Последних меньшинство, и лишь очень ограниченное число совмещает оба этих дарования.

Большинство же заполнявших анкеты вполне присоединяется к точке зрения Ассоциации о необходимости поднятия производительности труда историка-исследователя. Принадлежащие к последней группе указывают целый ряд препятствий для исследовательской работы и намечают пути к их устранению. Они жалуются на низкую оплату труда, что заставляет их набирать много лекционных часов, искать побочных заработков, читать специальные курсы и загружаться множеством других занятий для поддержания соответствующего уровня жизни (a sutable standard of liwing), при чем любопытно, что в числе особенно обременительных расходных статей бюджета упоминается расход на газолин.

Анкеты дают нам материал для еще более конкретного представления о том, что американский преподаватель называет «маленьким окладом» и какие жизненные блага он не считает возможным принести в жертву исследовательской работе. Вот наиболее красочная из выдержек (стр. 15, 37 сноска):

«Я согласен, пишет один из Ph. D., на любую, необходимую для этого жертву, но я не считаю себя в праве при моем маленьком жалованьи в 3.000 долларов, (что в Чикаго составило бы 3.600). требовать от моей жены, чтобы она пожертвовала обычными удовольствиями общественного характера, на которые она имеет право, обстановкой, не представляющей собой ничего особенного, удобством и удовольствием иметь автомобиль, свободой от домашней работы, стряпни и стирки. Так же неправильно было бы отношение к моим детям, самому мне употреблять почти все время на историю, а время жены тратить на упомянутую работу и в результате оставить их без всякого обеспечения в случае моей смерти».

К большому нашему удивлению, раздаются жалобы на недостаток материалов для исследовательской работы в библиотеках и архивах. Правда, около двух третей докторов имеют в своем распоряжении лишь небольшие школьные библиотеки, содержащие либо литературу слишком общего характера, либо сырой материал чисто местного значения. Работа по истории данного штата уже сопряжена с поездками за сто миль, исследование по национальной истории—за тысячу, а по истории Европы и вовсе за границу. Однако в тех же анкетах раздаются голоса, отмечающие неосновательность таких отговорок: это недостаточное сознание значения местной истории, привитое неправильным направлением преподавания, цеплянье за темы «национального масштаба», хотя бы они были так избиты, как, например, доктрина Монро. Это часто простое неуменье найти и оценить имеющийся на месте материал.

Еще более неожиданным, на первый взгляд, кажется нам массовый вопль американских историков (70% ответов) на полную недоступность для большинства из них издания своих научных трудов.

Приводятся красноречивые факты. Так, один автор истратил 2.800 долларов на печатание своей книги, не считая расходов, связанных с исследовательской работой и подготовкой книги к печати. И эту сумму ему пришлось занять, так как таких денег у него не было.

Другой факт: благодаря рекомендации со стороны авторитетного ученого учреждения, указавшего, что очень желательно напечатание данного исследования, одна из крупных издательских фирм согласилась на печатание при условии, что автор внесет аванс в 1.600 долларов. Больше того: даже работающие при исследовательских институтах заявляют, что «единственный шанс на опубликование труда—это смерть автора, ибо тогда книга издается в память его»[1].

При таких условиях не каждый решается начать какую-либо работу, о которой он, заведомо знает, что она не увидит света. Первым пробным камнем, о который спотыкается большинство докторов, является печатание их диссертации. Один из них пишет: «Что касается меня, то одной из самых сильных побудительных причин начать новое исследование было напечатание моего предыдущего труда. Но, по всей вероятности, холодный душ, который вновь испеченный доктор получает, когда ищет издателя своей диссертации, приводит его в такое отчаяние, что у него нехватает мужества на новое исследование».

Председатель комиссии по обследованию и автор сводки—Джернеган добавляет от себя, что «финансовые жертвы, которые требуются от историков, безусловно являются серьезной проблемой. Расходы по написанию и изданию книг резко увеличились за последние десять лет и невозможно ожидать, чтобы доктор-историк платил половину и больше своего годового оклада за напечатание книги, которая уже стоила ему, может быть, несколько тысяч долларов».

И дальше тот же Джернеган, резюмируя основные причины недостаточности и даже падения творческой продуктивности в области исторической науки, дает следующую меткую и яркую характеристику общего направления культурного развития современной Америки.

[1] Стр. 12.

Материал анкет свидетельствует о том, что «в Соед. Штатах по сравнению с европейскими странами слишком низка общественная расценка ученого, как такового, и его исследовательской работы. В частности констатируется тот факт, что страна не придает достаточно значения исследованию в области социальных наук, по сравнению, напр., с тем, как в ней ценится научная работа в области точных естественных наук; если исследование даже произведено, оно встречает недостаточное признание со стороны общества; дальнейшие успехи этих наук всецело зависят от того, готово ли общество и нация впредь оказывать больше уважения настоящей учености».

В основе такого отношения американского общества к социальным наукам сами корреспонденты признают «прежде всего низкий уровень культуры в Америке по сравнению с Европой или Англией и затем высокую расценку материального прогресса, измеряемого на доллары и на центы».

Таков суровый приговор, который выносят над своей страной ее, казалось бы, культурнейшие силы.

Где же выход из создавшегося для американских историков положения? Ассоциация ищет его, по обычаю Америки, в привлечении крупного пожертвования, на проценты с которого и собирается печатать ряд работ по программе, выработанной комиссией. Это у них вызывается launch a «dipue» for an endowment».

О. С.

Письмо в редакцию

В редакцию «Историка-марксиста»

Читателей моего обзора «Материалы по истории польского большевизма», в № 7 «И.-М.», прошу иметь в виду, что мой обзор сдан был в редакцию «И.-М.» в январе и был напечатан еще до того, как были приняты и стали известными позднейшие решения ЦК ВКП(б) о реорганизации польской истпартработы. В настоящее время работа Польской Ист. Комиссии и Полькомархива, о которых я писал в моем обзоре, передана непосредственно Истпарту ЦК ВКП(б).

С комм. приветом

Ст. Бобинский

У К А З А Т Е Л Ь

Указатель книг по истории, вышедших в Англии, Германии, САСШ, СССР и Франции за **июль—декабрь 1926 г.** (Продолжение; см. № 6 «Ист.—Марксист».)

Внешняя политика

Г у с, М. С.—Британский империализм и Восток. Харьков. «Украинский рабочий». 64 стр.

Т а й г и н, И.—Англия и СССР. Л. «Прибой». 94 стр.

A l v o r d, C. W.—Lord Shelburne and the founding of British-American goodwill. (British Academy: Raleigh Lecture on History.) Oxford Univ. Pr.

Доминионы и колонии

А р т е м (С е р г е е в, Ф. А.)—«Счастливая страна». Австралийские очерки. С портр. автора и вступ. статьями тт. Рухимовича и Александровой. М. ВЦСПС. 72 стр.

A s p i n a l l, A.—The Handbook of the British West Indies: British Guiana and British Honduras, 1926—27. West India Ctte. 220 стр.

C h i d e l l, F.—Australia—white or yellow? Heinemann. 225 стр.

C l y d e, C. and M u l g a n, A. E. New. Zealand: country and people, with an historical outline. Whitcombe et G. 58 стр.

C o l e m a n, W. H. South Africa v. England and Australia: Test cricket, 1888—1924. Old Royality Book Pub. 128 стр.

D u g m o r e (A. R a d c e y f f e, M a j)—The vast Sudan. Arrowsmith. 312 стр.

G l e e s o n, A. C.—Colonial Rhode Island. Pawtucket, R. J., Automobile Journal Pub. Co. 260 стр.

H a r l o w, V. T.—A History of Barbados. 1625—1685. Oxford Univ. Pr.

H a r r o p, A. y.—England and New Zealand: from Tasman to the Taranaki war. Intro. by Adm. the Rt. Hon. Earl jellikoe. Methuen. 349 стр.

H o l e, H. M.—The makins of Rhodesia. N. Y. Macmillan. 426 стр.

H u m e, M. A. S.—Sir Walter Raleigh: The British dominion of the West. New impr. Unwin. 304 стр.

K e m p f f, L.—Kanada und seine Probleme. Stuttgart. Deutsche Verlags. Anst. 48 стр.

L e w i s, A.—Reminiscences of South Africa: with further forecasts of the Rand and Transvaal mining share values. Fleetway Pr. 78 стр.

L e w i s, F.—Sixty-four years in Ceylon: reminiscences of life and adventure. 516 стр. Simpkin.

M a c d o n a l d, H. G.—Canadian public opinion on the American Civil war. (Studies in hist., economics and public law, no 273). N. Y. 237 стр.

M a c k a y, B. A.—The unreformed senate of Canada; introd. by G. N. Wrong. N. Y., Oxford. 300 стр.

M c P h e e, A.—The economic revolution in British west Africa. Routledge. 334 стр. (Studies in economics and political science).

P r o t h e r o e, E. From Ceylon to Hongkong. (Story of Empire Ser.). Epworth Pr. 112 стр.

P r o t h e r o e, E.—In Australia and New Zealand (Story of Empire Ser.). Epworth. Pr. 112 стр.

R o u t, E. A.—Maori symbolism: the origin, migration, and culture of the New Zealand Maori as recorded in certain sacred legends. Pref. by W. Arbunthnot Lane K. Paul. 354 стр.

S a v i l l e, W. У. V.—In unknown New Guinea. 316 стр. Phil., Lippincott.

S h e p h e r d, W. R.—The story of New Amsterdam. N. Y., Knopf. 222 стр.

S i d n e y, R. J. H.—Malay land «Tanah Malayn» some phases of life in Modern British Malaya. C. Palmer. 300 стр.

T a l b o t, P. A m a u r y.—The peoples of Southern Nigeria. 4 v. various p. N. Y., Oxford.

T o u l b a, A. F.—Ceylon: the land of eternal charm. Forew. by L. E. Blaze. Hutchinson. 352 стр.

И н д и я

К о л о с о в, А.—Почему Индия стала страной нищих. М. ЦК МОПР. 15 стр.

С н е с а р е в, А. Е.—Индия (Страна и народ). Вып. 1. Физическая Индия. М. Инст-т Востоковедения. 165 стр.

B a n e r j e e, D. N.—The indian constitution and its actuale working. Longmans.

B e s a n t, A.—India bond or free? A world problem. Putnam. 222 стр.

E l l e n b o r o u g h.— India under Lord Ellenborough, March, 1842—June, 1844: a selection from the hitherto unpublished papers and secret despatches of Edward, Earl of Ellenborough. Edit. with intro. and appendices by sir A. Law. Murray. 211 стр.

Forrest, G. W., ed.—Selections from the state Papers of the Governors-General of India. 2 vols. Blackwell.

Foster, W.—The Embassy of sir Thomas Roe to India, 1615—19. New and rev. ed. Oxford Univ. Pr.

Gait, E.—A History of Assam. 2-nd. ed. rev. Thacker.

Holitscher, A. — Das unruhige Asien. Reise durch Indien—China—Japan—Berlin. S. Fischer Verl. 348 стр.

Holland, W. E. S.—The Indian outlook: a study in the way of service. 256 стр. Edin. House Pr.

Molony (I. Chartres).—A Book of South India. Methuen. 264 стр.

Ramsbotham, R. B.—Studies in the land revenue history of Bengal, 1769—1787. Oxford Univ. Pr.

Ronaldshay, E.—India: the inaugural lecture delivered at the Nineteenth Local Lectures Summer. Meeting of the University of Cambridge. 1926. 32 стр. Camb. Univ. Press.

Rose, I. B.—Our parish in India; lights and shadows of missionary life. 191 стр. N. Y., Revell.

Ross, C.—Heute in Indien. 2 Aufl. Leipzig. F. A. Brockhaus. 330 стр.

Sabin, E. L.—White Indian. 285 стр.

Seton, sir Malcolm C. C.—The India Office. N. Y., Putnam. 299 стр.

Seymour, F. W.—The Indians today. Chic., Sanborn. 239 стр.

Shah and Bahadurji.—Constitution, functions and finance of Indian municipalities. P. S. King. 582 стр.

Thomas, P. У.—Mercantilism and East India trade: an early phase of the protectionand free trade controversy. P. S. King. 193 стр.

Vaidya, C. V.—History of medeieal Hindu India. Vol. 3, Downfall of Hindu India, 507 стр. Luzac.

Woodroff, У.—Criminal procedure in British India. Thacker.

Ирландия

Hull, E.—A History of Ireland and her people: to the close of the Tudor period. Harrap. 525 стр.

Somerville, E. Œ and Ross, M.—Some Irish yesterdays. Nelson. 285 стр.

Рабочее движение

Английская стачка и рабочие СССР. М. ВЦСПС. 103 стр.

Андреев, А.—Английская стачка и единство мирового профдвижения. Доклад на чрезвычайном пленуме ВЦСПС 12 августа 1926 г. М. ВЦСПС. 35 стр.

Андреев, А.—«Мужественная» защита Генсоветом английских углекопов (Парижское заседание Англо-Русского Комитета). (Харьков), «Пролетарий».

Асин, И.—Англия после всеобщей забастовки. М. Моск. Рабочий. 14 стр.

Бергман, Г.—Молодежи о борьбе английских рабочих. С предисл. секретаря ИК КИМ'а Р. Шиллера. М. «Молодая Гвардия». 80 стр.

Джемс, М.—Всеобщая стачка и борьба углекопов в Англии. С предислов. Г. Н. Мельничанского. М. ВЦСПС. 105+(1) стр.

Зиновьев, Г.—Великие события в Англии. М. Госуд. Изд-во. 85 стр.

Кук, А. Д.—Девять дней. История английской всеобщей забастовки в изложении секретаря федерации горняков. Предисл. А. Лозовского. М. Госуд. Издательство. 32 стр.

Кук, А. Дж.—Девять дней (История всеобщей забастовки). Перев. с англ. с предисл. М. Рафаила. Л. Изд-во Ленингр. Губпроф. Совета. 31 стр.

Кук, А. Д.—Девять дней (История всеобщей забастовки в Англии). Перев. с англ. В. А. Игельстрома. Курск. «Советская Деревня». 25 стр.

Кук, А. Д.—О всеобщей забастовке. М. Моск. Рабочий. 40 стр.

Кук, А. Д.—Секретная история забастовки в Англии. Днепро-Петровский «Звезда» и «Зірка» 14+(2) стр.

Левин, И. и Зубок, Л.—Документы и речи английских вождей о всеобщей забастовке. Составили И. Левин и Л. Зубок. М. Профинтерн. 138 стр.

Ленин, В. И.—Вожди и рабочая масса в Англии. Сборник. С прилож. стенограммы доклада Г. Зиновьева «Всеобщая забастовка в Англии и ее мировое значение». Л. Госуд. Изд-во. 112 стр.

Лоба, И.—Пути английского пролетариата. С предисловием В. Кужелова. Артемовск. АПО Окркома КП(б)У. 84+(4) стр.

Лозовский, А.—Английский пролетариат на распутьи. Сборник статей. М. 312 стр.

Мерфи, Д. Т.—Новый этап в английском рабочем движении. Великая стачка 1926 года. Перев. с англ. рукописи. М. «Правда» и «Беднота». 112+(1) стр.

Радек, К.—Всеобщая забастовка и социальный кризис в Англии. Н.-Новгород. «Нижегородская Коммуна». 61 стр.

Томский, М.—Английская стачка и задачи международного рабочего движения. Доклад на расширенном Пленуме МГСПС. 8 сентября 1926 г. М. Госуд. Изд-во. 43 стр.

Файф, Г.—За кулисами всеобщей забастовки. С предисл. А. Лозовского. Перев. с англ. В. Игельстрома. М. «Профинтерн». 84 стр.

Citrine, W. M.—Die Gewerkschaftsbewegung Grossbritanniens. Amsterdam: Verlag d. Internat. Gewerkschaftsbundes. 126 стр.

Cole, G. D. H.—A short history of the Britisch working class movement, 1789—1925. Vol. 2. 1848—1900. Allen et U. 211 стр.

Communist papers: documents selected from those obtained on the arrest of the communist leaders on Oct. 14 and 21, 1925. HMSO.

Dokumente und Reden englischer Arbeiterführer über den Generalstreik Zsgest. u. mit Erl. vers. von I. Lewin u L. Zoobok. M. Rote Gewerkschafts-Internationale; Ausliefg: Berlin Führer-Verlag. 139 стр.
Fontenay, F.—La grève générale en Angleterre. Paris. La Libr. de l'Humanité. 16 стр.
Grève (la) anglaise et les ouvriers de l'U. R. S. S. Paris. 112 стр.
Guest, (L. Haden).—The Labour Party and the Empire. Labour Pubg. Co. 95 стр.
L—s s, A.—Der Streik in England und die Arbeiterklasse der Sowjetunion. Mit e. Vorm. von F. Heckert. Moskau. Verl. d. Roten Gewerksschafts-Internationale. 52 стр.
Pepper, J.—Grève générale et trahison générale. Paris «Humanité». 83 стр.
Schüller, R.—Der englische Generalstreik und die Jugend. Berlin: Schöneberg: Verlag der Jugendinternationale. 52 стр.

Экономическая история

Bowies, W. H.—History of the Vauthall and Ratcliff Glass Houses and their owners, 1670—1800. Cassell.
Briggs, M. — Economic history of England. 2-nd ed. Univ. Tutorial Pr. 556 стр.
Clapham, J. H.—An economic history of modern Britain: the early railway age, 1820—1850. Camb. Univ. Pr. 641 стр.
Seebohm, F.—The english village community; an essay in economic history 4-th ed. reprinted. N. Y., Macmillan. 485 стр.
Waters, Ch. M.—A short survey of the economic development of England and the Colonies, 1874—1914. N. Douglas. 176 стр.

Германия

Bapst, E.—Le siège de Metz en 1870, d'après les notes manuscrites laissées par G. Bapst. Paris. A. Lahure. 560 стр.
Biedenkapp, G.—Aus Deutschlands Urzeit. Nach Funden u. Denkmälern. Neu-Finkenkrug b. Berlin H. Paetel. VIII+ +194 стр.
Bucher, J.—Volk ohne Politik. Von d. europäischen Grossmacht zum paneuropäischen Pufferstaat. Rostock. «Nationale Revolution». 385 стр.
Franz, G.—Bismarcks Nationalgefühl. Leipzig. Teubner. 125 стр.
Freytag, G.—Deutsche Not nach dem Dreissigjährigen Krieg. Leipzig. R. Voigtländer 62 стр.
Dankworth, H.—Die Entwicklund der grossdeutschen Idee. Volksvereins-Verlag. 1926. 74 стр.
Einhart [d. i. H. Elass].—Deutsche Geschichte. 13 Aufl. Leipzig. Th. Weicher. XVI+747 стр.
Germanische Wiedererstehung. Ein Werk über d. german. Grundlagen unserer Gesittung unter Mitw. von... hrsg. von H. Nollau. Heidelberg. Winter. VII+702 стр.
Guichen, vicomte de. L'Allemagne depuis 1914. Saint-Amand. 43 стр.
Hohlfeld, J.—Geschite des Deutschen Reiches 1871—1926. 2 erg. Aufl. Leipzig. S. Hirzel. VIII+816 стр.
Lambach, W.—Die Herrschaft der Fünfhundert. Ein Bild d. parlamentar. Lebens im neuen Desttschland. Hamburg. Hanseat. Verlagsanualt. 167 стр.
Leidolph, E.—Die Schlacht bei Jena. Jena. Frommann'sche Buchh. 111 стр.
Mantey, E. — Deutsche Marinengeschichte. Charlottenburg: «Offene Worte». 336 стр.
Melzer, G.—Der nationalistische Staat der Deutschen. Leipzig. Th. Weicher. 100 стр.
Du Moulin-Eckart, R.—Vom alten Germanien zum neuen Reich. 2 Jahrtausende deutscher Geschichte. Stuttgart. Union. Lfg. 4—15. 97—480 стр.
Müller-Langenthal, F.—Die Geschichte unseres Volkes. Bilder aus Vergangenheit u. Gegenwart d. Deutschen in Rumänien. Hermannstadt. W. Krafft. 188 стр.
Peper, H. — Anhaltische Fürsten als Bewerber um den deutschen Königstron bei den Wahlen in den Jahren 1273 und 1308. Bernburg: Verein f. Geschichte u. Altertumskunde. 12 стр.
Peters, W. — Der deutsche Freiheitskampf vor hundert Jahren. Stuttgart. Union. 217 стр.
Preuss, H.— Staat, Recht und Freiheit. Aus 40 Jahren deutscher Politik u. Geschichte. Mit e. Geleitw. von Th. Heuss. Tübingen. I. C. B. Mohr. VII+588 стр.
Rapp, A.— Der Kampf um deutsche Einheit. Stuttgart. W. Kohlhammer. 18 стр.
Reissner, L.—Im Lande Hindenburgs. Eine Reise durch d. deutsche Republik (Vorw: A. Tarassoff-Rodionoff). Berlin. Neuer deutscher verlag. 83 стр.
Schmidt, O.—Uberblick über die deutsche Geschichte von der deutschen Vorgeschichte bis zum Ende des Weltkrieges mit bes. Berücks. d. bad. Geschichte. Karlsruhe. Badische Druckerei u. Verlag. I. Boltze. 96 стр.
Schwantes, G. — Aus Deutschlands Urgeschichte. 4 verb. Aufl. Leipzig. Quelle et Meyer. VII+225 стр.
Stadtler, E.—Werden und Vergehen des Bismarckschen Reiches. Berlin. Verlag d. Bundes d. Grossdeutschen. 44 стр.
Steinhausen, G. — Der politische Neidergang Deutschlands in seinen tieferen Ursachen. Osterwieck am H. A. W. Zickfeldt. VIII+206 стр.
Timerding, H.—Brunhilde und Fredegunde. Fränkische Königsgeschichten. Nach Gregor von Tours u. a Quellen bearb. Jena. E. Diederichs. 85 стр.
Die Ursachen des Deutschen Zusammenbruches im Jahre 1918. Abt. 2. Der innere Zusammenbruch. Unten Mitw. von. E Fischeru. W. Bloch hrsg. vo. A.Philipp. B. 8. Berlin. Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte. 421 стр.

Vehse, E.—Deutsche Hofgeschichten. München. G. Müller. 232 стр.
Von den alten Germanen. — Essen. Fredebeul et Koenen. 75 стр.
Wachtler, H.—Römer und Germanen während der Völkerwanderung. Leipzig. Teubner. 32 стр.
Wahl, A.—Deutsche Geschichte. Bd. I. Die 70-er Jahre. Lfg. 8. Stuttgart. W. Kohlhammer. 561—640 стр. XXIII, 641—717стр.
Wülker, L.—Guellenstücke zum Werdegang der deutschen Einheit. Ausgew. u. erl. Bielefeld: Velhagen et Klasing. 24 стр.

Биографии, воспоминания, письма и т. под.

Barnick, E.—Kaiser Friedrich Barbarossa in der Geschichte. Den alten Quellen nachert. Jena. Diederichs. 1926. 88 стр.
Berdrow, W.—Alfred Krupp. B. I. Berlin. Reimar Hobbing. XVI+344 стр.
Bismarck, H. A.—Die merkwürdigsten Begebenheiten und Abenteuer aus dem sehr bewegten Leben des Herrn H. A. von Bismack. weil. Offizier. d. Kgl. preuss. Gardedukorps. Von ihm selber verf. u. treu gezeichnet. 3 Aufl. Berlin. K. Curtius. XII+ +259 стр.
Bismarck, H. F. W. A. von.—Die merkwürdigsten Begebenheiten und Abenteuer aus dem sehr bewegten Leben des Heinrich Friedrich Wilhelm Achaz von Bismarck. Von ihm selben verf. u. treu gez. Hrsg. von M. Krammer. Volksverband d. Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag. 200 стр.
Bismarck, O. — Die gesammelten Werke. 3 Aufl. Hrsg. u. bearb. von W. Andreas. Berlin. Verlag f. Politik u. Wirtschaft XV+499 стр.
Bismarck, O.—Gedanken und Erinnerungen Taschenausg. Stuttgart. J. G. Cottasche Buchh. Nachf. XXXIX, 906 стр.
Bithorn, W.—Rückblicke. Bilder aus m. Leben 1858 — 1881. Bad Pyrmont. E. Schnelle.
Boehn, M.—Wallenstein. Wien. K. König. 185 стр.
Brandt, R.—Albert Leo Schlageter. Leben u. Sterben eines deutschen Helden. Hamburg. Hanseat. Verlagsanstalt. 103 стр.
Braun-Artaria, R.—Von berühmten Zeitgenossen. Lebenserinnergn. e. Siebzigerin. 22 Aufl. München. C. H. Becksche Verlb. III+215 стр.
Buddecke, A.—Der König-Pilosoph Friedrich der Grosse. Langensalza. H. Beyer et Söhne. 24 стр.
Decken, Th.—Erinnerungen des letzten Kgl. hannoverschen Garde-Husaren-Offiziers Theodor v. d. Decken. Hannover. 224 стр.
Der deutsche Kronprinz [2 Bde]. Leipzig. M. Koch. 428 стр.+247 стр.
Doehring, B.—Kaiser Wilhelm II. Geschichtl. Dokumente aus d. letzten Jahrzehnt. I. Regierg in Stichproben aus d. «Berliner Tageblatt», d. «Vossischen Zeitung» der «Frankfurter Zeitung» nebst I. Anh. «Das Urteil d. Auslandes über Kaiser Wilhelm II als Friedensfürst». Berlin. Fr. Zillessen. 63 стр.
Elwenspoek, K.—Jud Süss Oppenheimer. Der grosse Finanzier u. galante Abenteurer d. 18 Jh. Stuttgart. Süddeutsches Verlagshaus. 192 стр.
Frank, B.—Friedrich der Grosse als Mensch im Spiegel seiner Briefe, seiner Schriften, zeitgenössicher Berichte und Anekdoten. Berlin. Deutsche Buch-Gemeinschaft. 306 стр.
Freytag, G.—Erinnerungen aus meinem Leben. (vorw. F—F. Fischer). Greiz. Deutscher Bücherbund. 251 стр.
Friedländer, F.—Das Leben Gabriel Riessers. Ein Beitr. Zur inneren Geschichte Deutschlands im 19 Jh. Berlin. Philo-Verlag. 185 стр.
Jacob, K.—Friedrich der Grosse. Ein deutscher König des 18 Jh. 6 Aufl. Stuttgart. Union. 243 стр.
Jäger, E.—Erinnerungen aus der wilhelminischen Zeit. Augsburg. Haas et Grabherr. XVI+88 стр.
Haas, L.—Lebensbekenntnisse eines früheren Sozialistenführers. Berlin. Sonnenweg-Verlag. 31 стр.
Der Heilige von Sanssouci. Ein Charakterbild, geschichtl. Rückblick u. Weckruf zugl. Nachruf zur Jahrtausendfeier d. Rheinlande von e. Altgermanen. Köthen-Anhalt. Sächsisches Tageblatt. 215 стр.
Hoffmann, H.—«Struwwelpeter-Hoffmann», erzählt aus seinem Leben. Lebenserinnergn. Dr. H. Hoffmanns, hrsg. von E. Hessenberg. Frankfurt a. M. Englert u. Schlosser. VI+231 стр.
Kleinmann, O. и H. Rahms.—Aus vergangenen Tagen. Heimatgeschichtl. Leseb. f. Essen u. Umgegend. Frankfurt a. M.; M. Diesterweg. 87 стр.
Krebs, J. Aus dem Leben des Kaiserlichen Feldmarschalls Grafen Melchior von Hatzfeld 1632—1636. Hrsg. von. E. Maltschke. Breslau. W. G. Korn. 8+VIII+ 273 стр.
[Ein Beitrag zur Geschichte d. 30 Krieges.]
Kretzschmar, I. Johann Friedrich Hach, Senator u. Oberappellationsrat in Lübeck. Lübeck. Hansischer Geschichtsverein. 109 стр.
Louise von Coburg, Prinzessin, geb. Prinzessin von Belgien. Throne, die ich stürzen sah. Wien. Amalthea-Verlag. 318 стр.
Ludwig, E. Bismarck. Geschichte e. Kämpfers. Berlin. E. Rowohlt. 694 стр.
Ludwig, E. Kaiser Wilhelm II. Trans. from the German by E. C. Mayne. Putnam. 475 стр.
Ludwig, E.—Wilhelm der Zweite. Berlin. E. Rowohlt. 495 стр.
Meyer, J.—Aus J. Meyers Wanderjahren. Eine Lebensepisode in Briefen. London. 1817—1820. Zur Hundertjahrfeier d. Bibliographischen Instituts hrsg. von I. Hohl-

Внешняя политика

Документы

Die Aktenstücke zum Frieden von S. Germano (Acta pacis ad S. Germanum anno 1230. Initae). Hrsg. von K. Hampe. Berlin. Weidmann. XIII+123 стр.

Deutsche Reichstagsakten. Hrsg. durch d. histor. Komission bei d. Bayer. Akad. d. Wissenschaften. Bd. 13. Deutsche Reichstagsakten unter König Albrecht II. 1 Abt: 1438. Hrsg. von G. Beckmann. Reg. Stuttgart, Gotha: F. A. Perthes. VI+XXXV стр., 923—992 стр.

Krabbo, H. — Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause. Lfg. 8. Berlin-Dahlem. 561—640 стр.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi 560 usque ad annum 1500. — Auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medi aevi. Leipzig. K. W. Hiersemann. 727—957 стр.

Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser.—Hrsg. von d. Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. 5. Tl. 1. Berlin. Weidmann. 267 стр.

Zucker, F. u. F. Schneider. — Jenaer Papyrus-Urkunden und spätmittel alterliche Urkunden nebst den ersten Universitätsordnungen und Statuten vom Jahre 1548. Jena. Staatsarchiv.

Колонии

Breyne, M. R. — Deutsch-Ostafrika ruft: Briefe u. Tagebuchblätter aus d. Nachkriegs-Deutsch-Ostafrika. Berlin. Safari-Verlag. 221 стр.

Dix, A. — Was Deutschland an seinen Kolonien verlor. Mit e. gemeinsamen Vorw. von H. Schnee u. Th. Seitz. Berlin. Reimar Hobbing. 56 стр.

Freudenberg, W. — Von deutscher Arbeit auf Ceylon. Erinnerungen u. Erfahrgn. d. Hauses Freudenberg et C°, Colombo seit 1873. Stuttgart. Ausland et Heimat. VIII+79 стр.

Eisenbacher, H.—Stellung der württembergischen Presse zu den Anfängen von Bismarcks Kolonialpolitik in den Jahren 1878/1885. Stuttgart. W. Kohlhammer. VIII+99 стр.

Kolonial-Kalender. — Hrsg. von der Deutschen Kolonialgesellschaft. Neudamm: I. Neumann. 105 Bl.

Paasche, H. — Deutsch-Ostafrika. Grossen — wörden [Nieder-Elbe] «Rüsch'sche Verlbh.». IV+430 стр.

Крестьянство и крестьянское движение

Раткевич, К. — Крестьянская война в Германии. Популярный очерк. Л. «Прибой». 77+[2] стр.

Delhoven, I. P.—Die rheinische Dorfchronik des Ioan Peter Delhoven aus Dormagen (1783—1823). Hrsg. v. H. Cardauns u. R. Müller. Neuss: Gesellschaft f. Buchdruckerei. 260 стр.

Dietz, B.—Der Bauernkrieg im Obermaintal (Lichtenfels) 1925/26. 88 стр.

Franz, G.—Der deutsche Bauernkrieg. 1525. Hrsg. in zeitgenöss. Zeugnissen. Berlin. Deutsche Buch-Gemeinschaft. 363 стр.

Honecker, F.—Der grosse Bauernkrieg im Bezirke Waldshut. Waldshut. H. Zimmermann. 28 стр.

Krüger, G.—Dreissig Dörfer des Fürstentums Ratzeburg. Geschichte d. Bauernschaft. 2 Aufl. erweitert u. bis zur Gegenwart fortgef. von H. Ploen. Schönberg i. Meckl. XVI+352 стр.

Kühnert, O.—Pirnik. Die Geschichte e. Dorfes im Mähr.-Neustädter Ländchen. Mähr.-Neustadt. Gemeindeverlag. 3, 72 стр.

Lerch, H.—Hessische Agrargeschichte des 17 u 18. Jahrhunderts, insonderheit d. Kreises Hersfeld. Hersfeld. H. Ott-Verlag. 192 стр.

Lorenz, K.—Der schicksalsweg des deutschen Siedlungsdorfes in 700 jähr. Entwickelung. Ein Beitr. zu Bauer u. Scholle. Breslau. Priebatsch's Buchh. 80 стр.

Reinhofer, H.—Geschichte des deutschen Bauernstandes. H. 6—9. Graz. Heimatverlag. 241—431 стр.

Stolze, W.—Bauernkrieg und Reformation. Leipzig. M. Heinsius Nachf. 127 стр.

Местная история и краеведение

Allgäuer Geschichtsfreund.—Hrsg. vom Hist. Verein f. d. Allgäu zu Kempten. Nr 25.

Die alte Markgrafenstadt Durlach (in Baden). — Berlin. Verlag H. Burkhard. 41 стр.

Das alte Röbel.—Ein Gedenkbuch zur 700 Jahrfeier. Hrsg. von d. Kirchgemeinde-räten Röbel (St. Marien), Ludorf u. Nätebow. Rostock. K. Hinstorff. Röbel. 128 стр.

Alt-Hannover.—Beiträge zur Kultur und Geschichte der Stadt Hannover. Hrsg. von K. F. Leonhardt. Bd. 1. Hannover.

Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbes. die alte Erzdiözese Köln.—H. 108. Köln. I. et W. Boisserée. III+163 стр.

Aventinus, J.—Baierische Chronik. Im Auszug bearb. u. mit Einleitg von G. Leidinger. Jena. Diederichs. XVIII+210 стр.

Bab, J.-W. Handl.—Wien und Berlin. Vergleich. Kulturgeschichte d. beiden deutschen Hauptstädte. Neue bearb. Ausg. Mit e. Schlusskap. von H. Kienzl. Deutsche Buch-Gemeinschaft. 329 стр.

Bartelt, A. — Geschichte der Stadt Ueckermünde und ihrer Eigentumsortschaften Ueckermünde. I. Schneider. XIV+415 стр.

Becker, P.—Brenckenhoffs Verdienste um die preussische Ostmark. Stolp (Pomm) O. Eulitz. 54 стр.

Altertumskunde. Bd. 23. Lübeck. Verein für Lübeckische Geschichte u. Altertumskunde. III+289 стр.
Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins.—(Schriftl. F. Schwarz. H. 66. Danzig. Danziger Verlags-Gesellschaft. 179 стр.

Партии

Мануильский, Д. — Исторический перелом в Германской компартии. [Харьков]. «Пролетарий». 21+[3] стр.
Bachem, K.—Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei. Zugleich e. Beitr. zur Geschichte d. Kath. Bewegung, sowie zur allgem. Geschichte d. neueren u. neuesten. Deutschland 1815 — 1914. Bdl. Köln. I. P. Oachem VIII+353 стр.
Bleier, G.— Warum war ich früher Sozialdemokrat und jetzt nicht mehr? Regensburg. G. I. Manz. 48 стр.
Krellmann, P.— Die Sozialpolitik der Deutschnationalen. Berlin. Deutschnationale Schriftenvertriebsstelle. 24 стр.
Salomon, F.—Die deutschen Parteiprogramme. H. 3. Leipzig. Teubner. VI+165 стр.

Рабочее движение

Фишер, К.—Современная Германия и ее рабочее движение. Краткий очерк. Перев. с рукописи Л. Б. Грюнберга. Л. «Прибой». 66+[2] стр.
Arbeiter-Jahrbuch. — Hrsg. vom Parteivorst. d. deutschen sozialdemokr. Arbeiterpartei in d. Tschechosl. Republik. Schriftl.: E. Paul. Prag. 159 стр.
Bericht über die Reichskonferenz des Verbandes der sozialistischen Arbeiterjugend Deutschland am 17und 18 April 1926 in der Stadthalle zu Hildesheim.—Berlin. Arbeiterjugend Verlag. 32 стр.
Einheit (Die) der Arbeiterklasse.—Bericht über d. Organisationsproblem, erst. der Exekutive d. Sozialist. Arbeiter-Internationale vom Sekretariat der S. A. Y. Deutsche Ausg. Hrsg. vom Vorstande der S. P. D. Berlin. Dietz. Nf. 16 стр.

Революц. деятели Германии

Ацаркин, А.—Карл Либкнехт (Библиотека Молодого ленинца). Харьков, «Пролетарий». 48 стр.+[2].
Иойриш, Б.—Август Бебель (Биография). (Биографии революционных деятелей. Под общей ред. Равич-Черкасского). [Харьков]. «Книгоспілка». 59+[5] стр.
Яковлев, Г.—Фердинанд Лассаль в русской литературе. Опыт библиографии произведений Лассаля и о Лассале на русском языке. К 100-летию со дня рождения (1825—1925). Под ред. М. Пакуля. [Харьков] Гос. Изд-во Украины. 67+[5] стр.
Ebert, F.—Schriften, Aufzeichngn, Reden. Mit unveröffentl. Erinnergn aus d. Nachlass Bd. 1, 2. Dresden. C. Reissner. 384; 357 стр.
Kohn, E.—Lassalle der Führer. Wien Internationaler psychoanalyt. Verlag. 115 стр.
Stresemann, G.—Reden und Schriften. Politik, Geschichte, Literatur 1897—1926. Bd 1, 2. Dresden. C. Reissner. 388+413 стр.

Революция

Рейснер, Л.—Гамбург на баррикадах. Переклад М. і М. Пілінських. [Харків], Держ. Вид-во України. 108+[4] стр.
Toller, E.—Deutsche Revolution. Rede. Berlin. E. Laub. 13 стр.

Справочники

Deutscher Geschichtskalender.—Hrsg: F. Purlitz u. S. Steimberg. Abt. B. Ausland (Ig. 40) 1924. II Juli—Dez. Leipzig. F. Meiner. IV+259 стр.
Deutscher Geschichtskalender.— Sachlich geordnete Zstellg. d. wichtigsten Vorgänge im In- und Ausland Begr. von K. Wippermann. Hrsg. von F. Purlitz u. S. H. Steinberg. Inland. Ig 41, Bd 1. Leipzig. III+352 стр.
Führer durch die Deutschvölkische Freiheitsbewegung.—Hrsg. von d. Reichsleitung d. Deutschvölkischen Freiheitsbewegung. Berlin. 21 стр.
Meyers historisch-geographischer Kalender.—[Ig. 30] 1927. Leipzig. Bibliograph. Institut. 381 стр.

Экономическая история

Фрелих, П.—Ни гроша князьям. Борьба за конфискацию дворянских поместий в Германии. М. «Моск. Рабочий». 48+[1] стр.
Gallwitz, S. D.—Lebenskämpfe der alten Hansestadt. Bremen. Jena. E. Diederichs. 98 стр.
Geschichte der bayerischen Industrie.—Hrsg. von A. Kuhlo. München. Bayer. 527 стр.
Geschichte der freien und Hansestadt Lübeck.—Hrsg. von F. Endres. Lübeck. Quitzow. 306 стр.
Mass, K.—Die deutsche Hanse. Jena. E. Diederichs. 87 стр.
Für Volksbegehren, für Volksentscheid.—Für d. Volk, gegen d. Fürsten. Berlin. Vorwärts-Buchdr. 16 стр.
Das Volksbegehren und der Volksentscheid über die Enteignung der Fürstenvermögen im Jahre 1926 im Stimmkreise. Nr. 34.—Hamburg. Meissners Verl. 63 стр.

Греция

Cosmin, S.—L'Entente et la Grèce pendant la grande guerre. T. 1 (1914—

1915). T. 2 (1916—1917). Paris. Société mutuelle d'édition, T. 1—333 стр. T. 2—539 стр.
Driault, E. et Lhéritier, M.—Histoire diplomatique de la grèce de 1821 à nos jours. T. 5. La Grèce et la grande guerre. De la révolution turque au traité de Lausanne (1908—1923). Paris. XVI+568 стр.
Ferriman, Z. Duckett.—East and west of Hellespont: memories of fifty years. Bost. Houghton. 320 стр.
Hewlett, M. H. — The letters of M. Hewlett, to which is added a diary in Greece, 1914; ed. by L. Binyon; introductory memoir by E. Hewlett. Bost., Small, Maynard. 307 стр.
Nicholas (Prince, of Greece) (Prince of Denmark). — My fifty years. Hutchinson. 328 стр.

Испания

Kehr, P.—Das Papsttum und der Katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon. Berlin. Verlag. d. Akad. d. Wiss. 1926. 91 стр.
Schraudenbach, L.—Psyche u. Organisation des «Volkskrieges» untersucht am spanischen Freiheitskampf gegen Napoleon u. anderen neuzeitl. Volkserhebungen. Berlin. Mittler et Sohn. III+III+75 стр.
Ballvé, F.—Spanien als Betätigungsfeld für fremden Handel und Industrie. Essen. G. D. Baedeker. 48 стр.

Италия

Сандомирский, Г.—Италия наших дней. М. Госуд. Изд-во. 107 стр.
Brinton, S. J. C.—The golden age of the Medici (Cosimo, Piero, Lorenzo de Medici) 1439—1494. Bost., Small, Maynard. 248 стр.
Cohn, W.—Die Geschichte der sizilischen Flotte unter der Regierung Friedrichs II (1197—1250). Breslau. Priebatsch's Buchh. 153 стр.
Flandreysy, J. de, Baroncelli de Javon.—La maison de Baroncelli en Italie du X au XV siècle. La république de Florence. Paris. A. Lemerre. XII+87 стр.
Flandreysy, J. de, Baroncelli de Javon.—La maison de Baroncelli en Italie du XV au XVII siécle. Les Baroncelli et les Médici. La conjurtion des Pazzi. Paris. A. Lemerre. 95 стр.
Gregorovius, F. — Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Dresden. W. Iess.
Klaczko, I.—Rome and the Renaissance: the pontificate of Iulius II; tr. by I. Dennie. N. У., Putnam. 401 стр.
Kohlrausch, R.—Herrschaft und Untergans der Hohenstaufen in Italien. Jena- E. Dieberichs. 80 стр.
Lama, F. R.—Papst und Kurie in ihrer Politik nach dem Weltkrieg. Dargst. unter des. Berücks. d. Verhaltnisses zwischen d. Vatikan und Deutschland - Jllertissen (Bayern) Martinusbuchhandlung. VIII+694 стр.
Matter, P.—Cavour et l'Unitéi talienne 1848—1856. Paris. F. Alcan. 415 стр.
Mortora, G.—La salute publica in Italia durante e dopo la guerra. (Economic et social hist. of the worlol war). New. Haven, Conn., Yale. Univ. Press. 600 стр.
Nitti. F.—Bolschewismus, Fascismus und Demokratie. München. F. Hanfstaengl. 103 стр.
Orsi, P.—Camillo Cavour and the making of modern Italy, 1810—1861. Putnam. 4¢5 стр.
Pastor, L.—Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd 10. Freiburg. Herder. XXXI+666 стр.
Victoria, Königin von England Briefwechsel u. Tagebuchbläter.—Hrsg. von G. K. Buckle. Übers. von R. Lennot. Tl. 1. 2. Berlin K. Siegismund Tl 1—XV+526 стр. Tl 2—VIII+536 стр.
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken.—Hrsg. vom Preuss. Histor. Institut in Rom. Bd. 18. Rom. W. Regenberg. XII+336 стр.
Schneefuss, W. — Italienische Geschichte· Berlin. W. de Gruyter et C°. 128 стр.
Waters, Brig. Gen. W. H. H.—«Secret and confidential»; the experiences cf a military attaché. N. Y., Stokes. 301 стр.
Waters, W. H. H. Brig-Gen. — «Secret and confidential»: experiences of a military attaché. Murray. 402 стр.

Биографии, воспоминания, письма и т. п.

Cigala (abbé Albin de).—Vie intime de sa Sainteté le Pape Pie X. Paris. P. Lethielleux. 242 стр.
Hartmann, C. H.—The Vagabond Duchess: the life of Hortense Mancini Duchesse Mazarin Routledge. 304 стр.
Paléologue, M.—Un grand réaliste, Cavour. Paris. Plon-Nourrit et C-ie. 327 стр.
Paléologue, M.—Un grand réaliste, Cavour. Paris. Plon-Nourrit et C-ie. 331 стр.
Sabatini, R.—The life of Cesare Borgia. 10-th ed., rev. Illus. S. Paul. 502 стр.

Фашизм

Асин, И.—О фашизме. М. «Московский Рабочий». 13 стр.
Muriello, R.—Mussolini: his work and the new Syndical Law. Foreword by Prof. Stalker. 64 стр. Edinburgh. Macniven et wallace.
Nitti, F.—Bolschewismus Fascismus und Demokratie. München. F. Hanfstaengl. 103 стр.
Prezzolini, G.—Fascism. Trans. by K. Macmillan. Methuen. 217 стр.
Sarfatti, M. G.—Mussolini. Lebensgeschichte. Nach autobiograph. Unterlagen Deutsche Ausg., hrsg. von A. M. Balte. Leipzig. P. List. XVI+342 стр.

Sturzo, L. — Italy and Fascismo. Trans. by B. B. Carter. Pref. byi G. Murray. Faber et G. 317 стр.

Tittoni, T.—International economic and political problems of the day, and some aspects of fascism. Ed. by baron B. Q. di San Severino. With autograph letter from sir A. Chamberlain. Simpkin. 302 стр.

Польша

Домбаль, Т.—На заре новой Польши. В литературной обработке Е. Д. Холоденко. М. «Новая Москва». 68 стр.

Иойриш, Б.—В панской Польше. Харков. Всеукр. ЦК МОПР'а. 47 стр.

Иойриш, Б.—В Панськiй Польщi. Харькiв. Всеукр. ЦК МОПР'у. 47 стр.

Лучанiн, М.—Заходняя Беларусь пад панаваньнем Польшчы. Менск. Дзярж. Выд-ва Беларусi. 56 стр.

Мархлевский, Ю. Б.—Legiendy o królach Polski [Легенды о польских королях] Wydanie posmiertne. Pod. red. St. Bobinskiego. M. «Trybuna». 31 стр.

Шабсин, Я.—Как живут в Польше украинские и белорусские крестьяне. М. ЦК МОПР. 15 стр.

Brandenburger, C. u. Laubert, M.—Polnische Geschichte. 2, umgestaltete Aufl. Berlin. W. de Gruyter et C°. 167 стр.

Dyvoski, R.—Poland old and new; three lectures. N. У., Oxford. 76 стр.

Etenegoyen, O.—Polens wahres Gesicht. Persönliche Erlebnisse aus d. Gegenwart. Übers a. d. Franz. Berlin. K. F. Koehler. 232 стр.

Das neue Polen. München. Süddeutsche Monatshefte. 96 стр.

Smogorzewski, C. — La politique polonaise de la France. Déclarations d'hommes d'etat, savants, écrivains et publicistes français: Introduction de M. Z-L. Zaleski, homme de lettres. Paris. Société anonyme. 120 стр.

Революционное движение

Люксембург, Р.—Памяти «Пролетариата». Перевод с польского К. Орлинской. [Харьков]. Гос. Изд-во Украины. 66+[2] стр.

Лясоцкий, Я.—Комсомол Польши в борьбе. М. Л. «Молодая Гвардия». 141 стр.

Лясоцький, Я.—Комсомол Польщi у боротьбi. Переклад О. Ус. [Харкiв]. Держ. Вид-во України. 99+[5] стр.

Фин, В.—Так умирают революционеры. (Ботвин, Гибнер, Книевский, Рутковский). М. «Гудок». 64 стр.

Россия

Кушева, Е.—Из истории публицистики Смутного времени. Саратов. Правл. Сарат. Госуд. Ун-та. [2]+(21—97) стр.

Никишин, П. О.—Пензенские помещики и их крепостные накануне реформы 1861 года. (Бытовые очерки, составленные по архивным документам). Пенза. «Пензпечать». X+49 стр.

Платонов, С. Ф.—Москва и Запад. Берлин. «Обелиск». 155+[3] стр.

Радциг, Н. И.—Россия Николая I по мемуарам Фаллу. Ярославль. 9 стр.

Фирсов, Н. Н.—Исторические характеристики и эскизы. Т. III. Вып. I. Победоносцев. Призрак социализма пред Николаем I и др. Казань. 129+[1] стр.

Хмелев, А. Н.—Крестьянская реформа 1861 г. Л. Брокгауз-Ефрон. 96 стр.

Яковлев, В. И.—Охрана царской резиденции. Л. 169 стр.

Daudé-Bancel, A.—La réforme agraire en Russie. Paris. 190 стр.

Jungfer, V.—Alt-Litauen. Eine Darst. von Land u. Leuten, Sitten u. Gebräuchen. Berlin. G. Neuner. 143 стр.

Kluchevsky, V. O.—A history of Russia. Trans. by C. J. Hogarth. Vol. 4. Dent. 390 стр.

Miller, A.—Essai sur l'histoire des institutions agraires de la Russie Centrale du XVI au XVIII Siécle. Préface de G.-L. Duprat. Paris. M. Giard. VIII+387 стр.

Pares, B.—A History of Russia. J. Cape. 582 стр.

Pares, sir Bernard.—History of Russia. 450 стр. N. I. Knopf.

Plékhanov, G.—Introduction à l'histoire sociale de la Russie. Traduite du russe en français par Mme Batault-Plékhanov. Paris. Bossard. XII+160 стр.

Pokrowski, M.—Kurzer Abrisz der russischen Geschichte (seit den ältesten Zeiten bis zum Ende des 19 Jahrhunderts). M. u. Pokrowsk. «Nemgosisdat». 955+[1] стр.

Tobien, A. V.—Die livländische Ritterschaft in ihrem Verhältnis zum Zarismus und russischen Nationalismus. Bd. 1. Riga. G. Löffler. XV+523 стр.

Библиография

Данилевский, С. Л.—Опыт библиографии Октябрьской Революции. Под ред. и с предисл. С. Пионтковского. Л. Госуд. Изд-во. 274+[2] стр.

Добраницкий, М. — Систематический указатель литературы по истории русской революции. М. Госуд. Изд-во. 152 стр.

1 мая.—Биб-ка читателю, [указатель книг о 1-м мая]. [Харьков] «Пролетарий». 6+[2] стр.

1 мая 1926 г.—Металлисту от биб-ки «Металлист». [Указатель книг о 1 мая]. Харьков. 11+[1] стр.

Хороших, П. П.—Литература о революционном и общественном движении в Бурятии. Иркутск «Власть Труда». 13 стр.

Внешняя политика

Зайончковский, А. — Подготовка России к мировой войне в международном

Воспоминания, письма и т. п.

Документы

Крестьянство и крестьянское движение

О СОЗЫВЕ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

Быстрый рост марксисткой исторической науки и то огромное значение, какое приобретает изучение истории в наши дни, ставят вопрос о необходимости созыва всесоюзной конференции историков-марксистов. Идя навстречу многочисленным пожеланиям, О-во историков-марксистов созыв всесоюзной конференции историков-марксистов наметило на 27 декабря 1928 года. Порядок дня конференции следующий:

1. Развитие современной исторической науки и задачи историков-марксистов—Докл. М. Н. Покровский.

2. Сообщения (информационного характера) о работе научных исторических учреждений: а) Общества историков-марксистов, б) Института Маркса и Энгельса, в) Института им. Ленина и Истпарта ЦК ВКП(б), г) Сообщения с мест.

3. Секционные работы (намечены секции: Истории России, Истории ВКП(б), Истории Запада, Истории Востока, Социологическая, Секция военной истории, Архивная и Учебно-методическая).

В задачи конференции входит подведение итогов развития современной марксисткой исторической науки, выявление анти-и псевдо-марксистских течений и намечение проблем, требующих своей научной разработки. Поставленные задачи, конечно, могут быть успешно разрешены только при условии самого активного участия историков-марксистов как в подготовке, так и в проведении конференции. Поэтому Общество историков-марксистов обращается ко всем его членам, а также и к историкам-марксистам, невходящим в него, приглашая их всемерно помочь Организационной Комиссии по созыву конференции. Эта активная помощь, прежде всего, мыслится в посылке в Оргкомиссию своих пожеланий о конференции, а также заявок докладов, которые будут заслушаны в секциях.

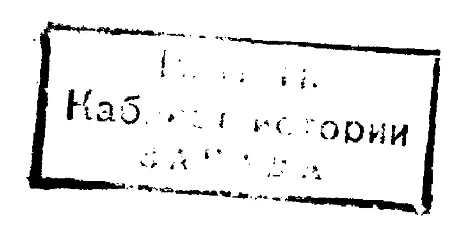
Секционной работе будет уделено большое внимание. Общество Историков-Марксистов поэтому обращается ко всем историкам-марксистам с просьбой прислать не позднее 1-го октября заявки на свои доклады, а также тезисы к ним. Со своей стороны Общество историков-марксистов предупреждает, что 1 октября является последним сроком, после которого Оргкомиссия приступит к рассмотрению заявок, намечению секционных докладов и предварительной рассылке тезисов, утвержденных до-

кладов. В работе секций особенное внимание будет уделено докладам иногородних историков-марксистов и поэтому Общество просит всех иногородних товарищей присылать свои заявки на доклады и тезисы к ним.

Вопрос о форме представительства в настоящее время еще не решен и о ней будет сообщено дополнительно. Однако, в виду того, что конференция ставит особо научно-исследовательские задачи, каждый член Общества историков-марксистов может являться делегатом конференции с правом совещательного голоса и принять активное участие в работах пленума и секций. Для тех же историков-марксистов, которые не являются членами Общества, право совещательного голоса будет предоставлено только по получении рекомендации того научного и учебного заведения, в котором он работает и по утверждении его кандидатуры в Оргкомиссии. Заявления о желании присутствовать на конференции с правом совещательного голоса должны быть поданы до 1 ноября 1928 года. Общество историков-марксистов предупреждает, что никаких расходов по приезду делегатов, пользующихся совещательным голосом, оно на себя не берет.

Председатель Совета Общества Историков-Марксистов ***М. Покровский***

Ученый Секретарь Общества ***П. Горин***



Ответственный редактор **А. В. Шестаков**